

Русская литература

№ 1

Историко-литературный журнал

1996

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Д. С. Лихачев. Через хаос к гармонии	3
Н. К. Телетова. Андре Шенье и Александр Пушкин	6
Л. М. Лотман. Русская историко-филологическая наука и художественная литература второй половины XIX века (взаимодействие и развитие)	19

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

И. А. Доронченков. «Поздний ропот» Владимира Вейдле	45
В. Вейдле. Россия. Революция. Религия	68

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

О. Б. Лебедева. А. С. Грибоедов и Д. И. Фонвизин: к проблеме типологии действия и сюжетосложения русской высокой комедии	129
Б. А. Кичикова. Жанровое своеобразие «Горя от ума» Грибоедова (поэтические жанры в структуре стихотворной комедии)	138
Н. Е. Мясоедова. К биографии А. С. Грибоедова. Новые материалы о финансировании Российской Императорской миссии в Тегеране и Генерального консульства в Тавризе в 1828—1829 годах	150
В. Г. Березина. Цензор о цензуре (А. В. Никитенко и его «Дневник»)	159
М. Д. Эльзон. О тексте письма А. И. Герцена к И. С. Аксакову от 8 ноября (27 октября) 1858 года	174
П. М. Лавринцев. Н. С. Лесков в журнале «Сельское чтение»	175
О. Б. Кафанова. Лев Толстой — читатель и критик Жорж Санд	182

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«НАУКА»

А. Г. Прокофьева. Оренбургский край в жизни и творчестве С. И. Гусева-Оренбургского	201
Е. Н. Соболевская. Трансформация мотива «молчания» как единство поэтического текста (Пушкин—Вяч. Иванов—Цветаева)	203
«Из мира я должна уйти неразгаданной...» Письма Е. И. Дмитриевой (Васильевой) М. А. Волошину (публикация В. П. Купченко)	210
В. В. Перхин. Одиннадцать писем (1920—1937) и автобиография (1936) Д. П. Святополк-Мирского. К научной биографии критика	235
Владимир Глоцер. «Даниил Иванович... уехал к Николаю Макаровичу» (письмо Т. А. Липавской к А. И. Введенскому и Г. Б. Викторовой)	262

ХРОНИКА

А. В. Дубровский. Чтения памяти К. Р.	266
Л. П. Егорова, А. М. Любомудров. Русская классика XX века: пределы интерпретации	267
Ю. Д. Левин. Необходимое уточнение	271
Памяти Георгия Михайловича Фридендера	272

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ, Г. А. ГОРЫШИН,*
В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА, Б. Ф. ЕГОРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ,
А. М. ПАНЧЕНКО, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

ЧЕРЕЗ ХАОС К ГАРМОНИИ*

Мы редко задумываемся над тем, как совершается переход из одного состояния в другое. Для нас обычно важнее, что было и что стало. Предполагается, что переход происходит каждый раз по-своему и каких-либо общих условий перехода, особенно в творческом процессе, нет.

В известной мере это действительно так, но тем не менее в состояниях перехода есть всегда что-то общее, одинаковое. Условия перехода могут быть определены как состояние хаоса — полное или частичное. К хаосу у нас почти всегда резко отрицательное отношение. Между тем в хаосе кроется условие творческого начала, и это условие творчества должно нас интересовать при изучении искусств, — как и то, что сопротивляется этому творческому началу. Последнее (т. е. сопротивление творчеству, затруднение его) выступает в совершенно неожиданных формах.

Внимательное рассмотрение творчества в сфере искусств (и, разумеется, литературы в том числе) не может быть замкнуто в сфере закономерностей. Случайность появления талантов, как и случайность их индивидуальностей, хотя и сглаживаемых господствующими в ту или иную эпоху стилями, направлениями, идеями, уровнем и характером культуры, не позволяет предсказывать более или менее точно траекторию продвижения искусств в будущее.

Творчество облегчается тем, что стиль и содержание искусства не являются устойчивыми, могут изменяться, не поддаются точным законам своего существования. При этом некоторая хаотичность и неустойчивость на макроскопическом уровне (в области стилистических формаций — термин введен Александром Флакером) и хаос и неустойчивость на микроскопическом уровне (прежде всего в области индивидуального, авторского творчества) различны. Это связано с тем, что, скажем, на макроскопическом уровне индивидуальные стили разрушают стилистические формации, направления. На микроскопическом же уровне эти же стилистические формации и направления разрушают индивидуальные стили. Столкновение микро- и макрозаконов ведет к взаимному разрушению и к возобладанию хаотического начала и тем самым способствует появлению нового. Разрушение стилей эпохи или стилистических формаций происходит под влиянием индивидуальных стилей, авторской воли. Разрушение же, вернее, задержка индивидуального начала происходит под влиянием общих направлений эпохи, стилистических направлений и господствующих идей.

Стилистические макросистемы (направления) стремятся к уничтоже-

* Настоящая заметка является продолжением моих заметок, печатавшихся в журнале «Русская литература»: 1) Строеие литературы (к постановке вопроса) // Русская литература. 1986. № 3. С. 27—29; 2) Закономерности и антизакономерности в литературе // Там же. 1990. № 1. С. 3—5; 3) «Принцип дополнительности» в изучении литературы // Там же. 1991. № 3. С. 36—37; 4) Искусство и наука (мысли) // Там же. 1992. № 3. С. 3—13.

нию индивидуальных элементов творчества. Творчество, послушное веяниям эпохи, господствующим направлениям, волей или неволей ведет к снижению индивидуальности в творчестве, что, например, очень ярко видно на примере древнерусской литературы.

Творчество в строгих нормах определенных стилистических систем и направлений сводится в основном к «вкладыванию» неких информационных «коробки» стилистических канонов.

Индивидуальность в творчестве в известной мере связана с неустойчивостью стилистических систем, в которых творчество ведется. Неустойчивость открывает возможности. Индивидуальное творчество так или иначе ведет к разрушению макросистем — стилистических формаций, направлений, объединяющих и в конечном счете обедняющих все виды искусств.

Творчество есть борьба творческих индивидуальностей с обезличивающими их направлениями, стилями, господствующими идеями и т. д. и создание индивидуальных систем, частично превращающихся затем в общие.

Случайность в творчестве, обуславливающая неустойчивость материала творчества, преобладает в индивидуальном творчестве, как уже было сказано, и зависит от целого ряда моментов — социальных, исторических, биологических (например, генетических) и т. д.

Однако неустойчивость, облегчающая художественное творчество, разнообразит выбор и тем способствует созданию новых систем — сперва индивидуальных или даже выраженных в одном только произведении автора, а затем становящихся направлением и слагающихся с другими индивидуальными стилями в нечто характерное для эпохи.

По определению В. М. Жирмунского, главное в стиле — его единство и целостность художественной системы. Вот эта целостность создает известного рода «жесткость» и неподатливость стиля к изменениям, стесняет свободу творчества. Естественно, что творец (автор) требует свободы творчества и вступает на путь разрушения стилистической системы, как только она приобретает более или менее законченный характер и начинает мешать оригинальному творчеству.

Этим объясняется, почему наиболее выдающиеся творцы обычно работают на стыке стилей. Шекспир принадлежит барокко и классицизму, Пушкин — романтизму и реализму, Гоголь — романтизму и натурализму. Последним двум течениям принадлежит и Достоевский. Растрелли строил в стиле барокко с элементами рококо, Ринальди соединял классицизм и рококо. Примеры могут быть подобраны в музыке, живописи, скульптуре и пр.

Периоды, в которые разрушена система, преобладает случайность, и отдельные элементы стилей не соединяются между собой по родству и органическому сходству, даже просто по механической близости в искусстве, близки к хаосу. В хаосе в той или иной мере отсутствуют закономерности. Поэтому-то они и позволяют создавать новое на «свободном» материале хаоса.

Под влиянием каких сил элементы хаоса объединяются в новое единство и создается новый стиль, новое направление? Силы эти в основном идейные, философские. Философия, идейные направления появляются раньше их конкретных воплощений в тех или иных произведениях различных искусств. Так, «философия» пейзажных (романтических) парков опередила появление этих парков почти на полвека. (Аддисон в «Зрителе» создал в начале XVIII века идеологию пейзажных парков, получивших конкретное воплощение в середине XVIII века.) Идейные корни романтиз-

ма в литературе старше самого романтизма, и то же можно сказать о готике, классицизме, возникшем в теории раньше, чем он воплотился в строениях Адама и палладианской архитектуре.

На практике развитие каждого стиля происходит довольно спокойно, стиль консолидируется и формируется, пока не достигает критической точки, мешающей творчеству. Тогда происходит обвал, наступает хаотическое состояние, более или менее выраженное, и начинается формирование нового стиля под влиянием существующей идеологии.

Вглядываясь в череду сменяющих друг друга стилей, мы замечаем одну характерную особенность: простой стиль, постепенно усложняясь, становится декоративно-сложным, а затем, внезапно обрываясь, без всякой постепенности и без переходов сменяется снова простым стилем, но не похожим на предшествующий. Так, романский стиль постепенно переходит в готику, а когда готика достигает пределов сложности («пламенеющая готика»), сменяется, через короткий промежуток хаоса, без переходов, рациональным и простым ренессансным классицизмом. Ренессансный классицизм, снова усложняясь, переходит в барокко, а то, в свою очередь усложняясь, дает в одних случаях маньеризм, в других рококо. Затем снова классицизм (палладианский) и резко сменяющий его романтизм. За романтизмом — по-своему «простые» натурализм и реализм.

Такой смены не знает традиционно устойчивое народное искусство и не знает XX век, в котором начинают преобладать индивидуальные стили и неустойчивость становится постоянной чертой искусства, ее фоном, на котором облегчено появление любых творческих манер. Элементы хаоса становятся постоянным явлением, стимулирующим всякого рода стилистическую новизну. Срыва в хаос при переходе от усложненного стиля к простому уже нет, в нем нет нужды.

* * *

Итак, творчество всегда связано с некоторой неустойчивостью, то большей, то меньшей, — неустойчивостью, которая является отражением хаотического начала в мире. Этим объясняется некоторая неустойчивость и в исследованиях творчества, постоянные переходы от точных описаний к неустойчивым, ибо характер изучения всегда связан с характером изучаемого предмета.

Нельзя стремиться к большей точности, чем та, которая допускается самой природой изучаемого предмета (Аристотель). Поэтому, скажем, литературоведческие исследования допускают эмоциональные построения и в известной мере параллельны исследуемому предмету (особенно в критических статьях).

АНДРЕ ШЕНЬЕ И АЛЕКСАНДР ПУШКИН

26 июля 1994 года исполнилось 200 лет, как был гильотинирован на тридцать втором году жизни поэт А. Шенье, проведенный перед этим четыре с половиной месяца в тюрьме Сен-Лазар. При его жизни в печати появились всего два его стихотворения — «Присяга в зале для игры в мяч» (1791) и иронический «Гимн швейцарцам» (1792), а в 1795-м — «Юной узнице». Но трагическая участь его была известна всей Европе, и ненапечатанные его стихи расходились в списках среди тех, для кого слово поэта много значило.

В период после 9-го термидора (27 июля 1794 года), т. е. низвержения кровавой диктатуры якобинцев, и в пору Директории, а затем единовластного Наполеона, и, наконец, первых годов Реставрации — не было ни одного издания стихотворений поэта. Не было мужества прикоснуться к судьбе тысяч казненных в годы революции. В парижском музее Консьежери, таблица за таблицей, представлены списки более трех тысяч обезглавленных — только по приговору якобинского Конвента и только на площади Революции (ныне пл. Конкорд — Согласия). Списки составлялись после 94-го года и вызывали ужас.

Лишь в 1819 году, как известно, Анри де Латуш выпускает том стихотворений Шенье со своими комментариями. Так начинается слава поэта — в кругу относительно широком.

Из трех изданных в 1790-е годы стихотворений Шенье Пушкин ко времени создания оды «Вольность», в 1817 году, несомненно знал одно — «Присяга в зале для игры в мяч». Это гимническое прославление Свободы, условием существования которой является Закон. И Пушкин обращается к Вольности-Свободе, которую просит:

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама среди славных бед
Ты гимны смелые внушала.

«Славными бедами» были события революции, когда раздавались «гимны смелые» Шенье, а в его стихотворении «Присяга...» звучали слова: «Учитесь справедливости, учитесь тому, что ваши права не есть ваш пустой каприз... Народ! Не будем воображать, что нам все позволено... Свобода своей божественной рукой сохраняет в неподвижном равновесии все права человека».

Пушкин называет поэта «возвышенным галлом», по следам которого он намерен устремиться. Имея в виду Шенье, он не забывает и Радищева — название оды «Вольность» восходит к одноименному произведению русского писателя. Размышляя над призывами к Вольности и русских и французских поэтов, Пушкин замечает, что те и другие испытывали равное отвращение к кровавым оргиям, которые заменили собой несбывшуюся мечту либертинов.

Позже он пишет: «Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во времена *Ужаса*? мог ли он без омерзения глубоко слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукописаниях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального *Мирабо*, он уже не захотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра».¹

То, что «возвышенный галл» для Пушкина именно Шенье, было самоочевидным. Но в начале нашего века появились предположения, не имел ли в виду Пушкин поэта Лебрена (то ли Экушара, то ли Пиго). В полемику включился молодой Томашевский, полагавший, что этим «галлом» Пушкин назвал Экушара Лебрена, так как, по его мнению, «политические стихи Шенье незначительны и при этом вовсе не „внушены вольностью“... В *Jambes* Шенье нападает на „убийц, взлелеянных Робеспьером“, и заявляет себя умереннейшим по политическим воззрениям человеком. Вряд ли кто мог когда-либо считать Шенье смелым революционным поэтом».²

Пройдут годы, и Б. В. Томашевский, уже известный пушкинист, будет по-прежнему отстаивать свое мнение о «возвышенном галле» Э. Лебрене, но теперь, скорее, в силу политической необходимости. В работе «Пушкин и французская революционная ода» (1940), а затем в монографии «Пушкин» (1956) (переиздание 1990 года) он повторит свое утверждение, завершив его странной фразой: «Не так существенно, кого именно из поэтов революции разумел Пушкин»,³ тем самым сделав парадоксальную и знаменательную для исследователя оговорку.

Анализируя в 1956 году элегию Пушкина «Андрей Шенье», он замечает, что «политическое поведение Шенье не давало материала для того, чтобы изобразить его трибуном свободы». И далее: «Для Пушкина все было искажено той интерпретацией революционных событий, какую он с детства воспринял из уст пристрастных историков».⁴

Оставим без комментариев эти цитаты. В 1964 году в замечательной статье «О каком „возвышенном галле“ говорится в оде Пушкина „Вольность“?» последовательно доказывает несостоятельность этой версии А. Л. Слонимский.⁵ Приведя точный уже цитированный перевод стихотворения Шенье «Присяга...», Слонимский обнаруживает близость свободлюбивого творения Шенье юношеской оде Пушкина, тем самым текстуально подтверждая стремление русского поэта открыть «благородный след» этого «возвышенного галла» в своей оде.

Что касается Экушара Лебрена, то он был почитаемым в 80-е годы XVIII века предшественником Шенье в создании гимнографического жанра (его прозвали Лебрэн-Пиндар). Шенье полагал его во многом своим учителем. Однако испытание страхом в годы революции Лебрэн не прошел — сначала приветствуя бессудную казнь короля, затем переворот 9-го термидора и, наконец, Бонапарта. Уважение современников сменилось полупрезрением.

Интерес Пушкина к Лебрэну был невелик и пришел к нему, скорее, через почитание Шенье. Осенью 1824 года он просит брата Льва прислать

¹ Пушкин. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. XII. С. 34. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

² Томашевский Б. В. Заметки о Пушкине. СПб., 1916. С. 16.

³ Томашевский Б. В. Пушкин. М., 1990. Т. I. С. 143.

⁴ Там же. Т. II. С. 323.

⁵ Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. Л., 1964.

ему сочинения Лебрена (XIII, 118), а затем дважды дает доказательство своего знакомства с его эпиграмматикой (XII, 279; XIV, 147). На этом связь с Лебренем кончается.

Делалась, наконец, попытка «сосватать» в прототипы «возвышенного галла» Руже де Лилия. Но Пушкин не знал ни его имени, ни, по-видимому, его «Марсельезы». Анализируя текст будущего гимна Франции, убеждаемся, что он вовсе и не цитируется Пушкиным, как почему-то полагали. В четвертом куплете «Марсельезы» стоят слова:

Tremble, tyrans, et vous perfides,
L'opprobre de tous les partis;
Tremble, vous projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix!

Трепещите, тираны, и вы вероломные,
Позор всех партий;
Трепещите, ваши отцеубийственные планы
Наконец получат свою оценку!

У Пушкина:

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Два слова о трепете тиранов явно недостаточны для отыскания сходства текстов, а о восстании рабов в «Марсельезе» нет ни слова.

Однако несомненная связь Шенье и Пушкина оказалась распатанной, и поэты были как бы отведены друг от друга, что и требовалось в политических видах времени. В 1959 году появились строки Т. Г. Цявловской: «Кого из французских поэтов подразумевает здесь Пушкин — неясно: в литературе назывались имена Андрея Шенье, Руже де Лилия, Экушара Лебрена и др.; употребленная Пушкиным цитата из „Марсельезы“ («Тираны мира, трепещите!..») дает основание предполагать, что речь идет об авторе этого гимна, Руже де Лиле».⁶

Вскоре имя «подозреваемого» Шенье вовсе устраняется — так, в «Истории французской литературы» говорится: «Именно Лебрена вспоминал Пушкин в первой строфе поэмы (так!) „Вольность“».⁷

Все эти странные предположения отменяются обстоятельной статьей А. Л. Слонимского, возвращающего пушкиноведение к логичному и самоочевидному варианту «возвышенного галла» Андре Шенье.⁸

На протяжении XIX века во Франции несколько раз издаются сочинения Шенье, открывая многообразные его жанры — оды, ямбы, идиллии (буколики-эклоги), пьесы, прозу. В России Шенье почти не переводился, исключая отдельные его стихи в сборнике «Песни первой французской революции» (М.; Л.: Academia, 1934) и томик его «Избранных произведений» 1940 года. Юбилеи никак не отмечались, его благородная, на греческий лад настроенная лира, вдохновенно-возвышенный стиль после Пушкина на протяжении целых ста лет почти никем не прославлялись — назовем разве его почитателя, поэта и критика Юрия Веселовского, авто-

⁶ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 1. С. 562.

⁷ Черневич М. Н. и др. История французской литературы. М., 1965. С. 224.

⁸ Слонимский сообщает также, что останки казненного были погребены в саду Пикплюс в Париже, где в 1897 году установили мраморную плиту с надписью: «Андре де Шенье, сын Греции и Франции. 1762—1794. Служил музам. Любил мудрость. Умер за правду».

ра очерка о Пушкине и Шенье, опубликованного в т. III венгерского «Пушкина» (СПб., 1909). Переводы двух стихотворений Шенье В. Брюсовым и несколько фраз по его поводу идти в счет не могут.⁹

И только трагедия русского октябрьского переворота, судьба Н. С. Гумилева как бы исподволь воссоздали историческую аналогию — и то, как задушена была свобода якобинцами, и то, как ее уничтожали большевики, и то, как оказалось возможным убить поэтов, об этой погибшей свободе вспоминавших.

И заговорили о Шенье поэты — А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Цветаева; последняя в триптихе «Андре Шенье» пророчествует и догадывается о своей, подобной же участи.

Поняли эту аналогию судеб Шенье—Гумилева и сторонники физического уничтожения несогласных. Так, в 1934 году в статье «Поэзия братьев Шенье» критик Ц. Фридлянд пишет о Шенье: «Эта поэтическая грусть скрывает кровожадные инстинкты белогвардейца. В оде в честь Шарлотты Кордэ поэт отбрасывает свою лиру, он наносит удар кинжалом Другу Народа вместе со своей героиней... Он стал палачом народа».¹⁰

Однако возвратимся к двадцатым годам XIX века. В пору южной ссылки, в Одессе получает Пушкин томик Шенье, изданный Латушем. Стихи читают, обсуждают вместе с Н. Раевским-младшим. Томик войдет в собрание книг Пушкина. Первым откликом на издание Шенье явится в марте 1821 года стихотворение «Кинжал» — одно из самых мятежных творений Пушкина, где утверждается право кинжала, когда «Зевса гром молчит». Как в «Кинжале», так и в элегии «Андрей Шенье» (авг.-сент. 1825 года) русский поэт цитирует строки Шенье, погружая эти цитаты в свой контекст, создавая сплав вчерашнего и сегодняшнего.

Идея насилием ответить на насилие, когда «молчит закон», следует за провозглашенной А. Шенье в «Оде Шарлотте Корде»:

О, добродетель, *кинжал*,¹¹ единственная надежда земли,
Он — твое священное оружие, в то время как *гром*
Позволяет властвовать преступлению и предаёт тебя его произволу.
(ст. 77—78)

Эти последние строки оды Пушкин перелагает в «Кинжале»:

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной *Немезиды*,
Свободы тайный страж, карающий *кинжал*,
Последний судия позора и обиды.
Где *Зевса гром молчит*, где *дремлет меч закона*...

Шенье пишет о Корде:

Меч вооружил твою руку, великая и возвышенная дева,
Чтоб устыдить богов, чтоб исправить их преступление.
.....
И хоры на твоей могиле в священном опьянении
Воспевали бы *Немезиду*, медлившую богиню,
Которая разит злодея, уснувшего на своем троне.

(ст. 16—17; 34—36)

⁹ См.: Брюсов В. Собр. соч. СПб., 1913. Т. 21 (Французские поэты XIX в.).

¹⁰ Песни первой французской революции. М.; Л., 1934. С. 566.

¹¹ Здесь и далее курсив мой. — Н. Т.

(Насмешка Шенье: Марат уснул в ванне, когда был сражен кинжалом Корде.)

Здесь Немезида сливается с «возвышенной девой», которая свершает отмщение. Пушкин, уплотняя речь и поминая «бессмертную Немезиду», не упрекает ее в медлительности, но предоставляет людям свершать веления богов — и Зевса, и Немезиды. На примере трех тираноборцев — Брут, Корде, Занд — в «Кинжале» дается образ праведного суда героя над злодеем. Корде им названа Эвменидой. Между тем, сблизив героиню с Немезидой, Шенье не называет ее именем этого архаического божества. Примечательно, что как Шенье, так и Пушкин именуют мстительницу за пролитую кровь Эриннию (римскую фурию) Эвменидой (см. А. Шенье: «Хоть не был обречен я / Эвмениде черной, как некогда Эдип...»¹²).

Эсхил, известный обоим поэтам, в III части своей «Орестей» устами Афины провозглашал преобразование злобно-мрачных мстительниц за убийство Эринний в Эвменид, благосклонных к человеческому роду, покровительствующих законности и праву. Для Пушкина недопустима мысль о связи темной злобы с жертвенной, именно Законность и Право защищающей Шарлоттой Корде. Если задушена свобода, когда

Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник...

то в нем, в Марате, соединились свойства неустанных преследовательниц Эринний, но

Вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.

Кинжал и дева Эвменида, защитница чести Франции, единственные, противостоящие преступлению.

«Ода Шарлотте Корде» возникла, видимо, в конце июля 1793 года, когда поэт жил в опустевшем городке Версале.

Что известно вообще об Андре Шенье, которого Анатолий Франс назвал «единственным истинным поэтом, порожденным Францией в XVIII столетии»?¹³

Родился он в Константинополе, где отец его, Луи Шенье, находился на службе. Матерью его была полугречанка-полуславянка Елизавета Ломака. Когда Андре было три года, семья переселилась на родину отца, во Францию. У поэта было три брата — Константин, Луи-Совер и Мари-Жозеф — и три сестры. Окончив лицей в средневековом, экзотическом городке Каркассон, Андре поселился в Париже. Как положено дворянину, пытался стать военным, но через полгода оставил службу, мало соответствовавшую его интеллекту и вкусам — восторженному грекофильству, культу наивной поэзии великого Гомера. Затем Шенье уезжает в Лондон, где служит во французском посольстве до весны 1790 года, посещая семью в Париже. В салоне матери собираются замечательные люди тех лет — химик Лавуазье, историк Гюи, поэт Ле Брюн и др.

Вокруг Шенье — Франсуа и Абель де Панж, поэт маркиз де Бразе, братья, из которых Мари-Жозеф — драматург и поэт.

¹² Шенье А. Избр. произв. М., 1940. С. 27. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

¹³ [Франс А.] Последние дни Андре Шенье // Новый журнал иностранной литературы. 1903. Т. II. № 4. С. 82.

События лета 1789 года вызывают его восторг — мечты о конце тиранической абсолютной монархии начинают сбываться. Неизвестно, где застало его 14 июля и разрушение Бастилии, рождение Национального собрания, собравшегося 23 июня 1789 года в Версале, в зале для игры в мяч, ибо по воле короля иные помещения были заперты. Граф Мирабо — герой и авантюрист, умница и бунтарь — передал тогда королю знаменитые слова: «Подите и скажите своему господину, что здесь собрались те, кого избрал народ Франции». Национальное собрание 4 августа навсегда отменило барщину, т. е. крепостное право во Франции. Так рождалась желанная свобода. Шенье пишет поэму «Присяга в зале для игры в мяч», воспевая конец Бастилии:

Напрасно нам грозят, — слабея ежечасно,
Ты скоро запылаешь вдруг
Во взрывах яростных зубчатых стен и башен,
В крушеньи мерзостей твоих.
И ад Бастилии не страшен:
Всем бурям брошенный, растерзан он и тих.
Развейся, склеп гнилой...

(с. 135—136)

Поэт принимает участие в построении свободной Франции. Он публикует зажигательные статьи в «Мониторе», в «Journal de Paris». Но происходящее все сильнее отходит от того, к чему шли просветители—Монтескье, Вольтер, Дидро, Руссо и сам Андре Шенье.

Уже в январе 1790 года Мирабо пытается помочь королю с семьей бежать от буйства и озлобленности толпы. Король отвечает отказом: и друзья, и враги — его дети, его подданные. Последующие попытки спасения проваливаются, время возможностей упущено.

Кровавое взятие дворца Тюильри 10 августа 1792 года кладет конец надеждам фельянов на разумный путь преобразования Франции. Среди них и Шенье. Король в Тампле, без права общения с королевой и детьми, находящимися в том же мрачном замке Парижа. В конце 1792 года, по свидетельству Ипполита Тэна, Шенье видели среди буйствующей толпы, которую он пытался образумить, но это не получилось. Для чести и судьбы Франции приближался позор и ужас, т. е. бессудная казнь доверившегося своему народу короля, о которой в «Вольности» скажет Пушкин:

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной поник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

По мысли Пушкина, возмездием явится Наполеон — «самовластительный злодей».

В дни перед казнью короля Шенье удаётся связаться с бывшим министром Франции благородным Мальзербом (его гильотинируют незадолго до поэта), а через него каким-то образом с королем. Тогда от имени Людовика XVI он обратится к гражданам и гражданкам, взывая к поверженному закону — возникает *Manifeste à tous les citoyens*. Тогда же

якобинский Конвент с Маратом во главе (граф Мирабо умер от болезни в 1791 году, предварив несомненный иной конец) получает письма в защиту правосудия, против зверской расправы, от Фридриха Шиллера, от Витторио Альфиери, покинувшего Париж после неудачи.

21 января 1793 года Людовик XVI был гильотинирован, сын его Людовик XVII еще в 1792 году в возрасте семи лет отдан «на перевоспитание» «сознательному» сапожнику Симону и вскоре умер, вдова перевезена в полутемное узилище в Консьержери, откуда 16 октября 1793 года будет отправлена на гильотину, как и сестра короля madame Елизавета.

Сразу после гибели короля родные упростили Шенье покинуть Париж. Он переселился в опустевший Версаль. Огромные сады и парки вызвали к жизни поэму «Гермес», вернее ее начало, с гимническим обращением к природе. Он пытается восстановить внутреннюю гармонию, уйти от злобы, вернуться к себе:

Быть естества рабом мне более приятно,

 Среди первенцев земли — дубов и сосен древних
 Следа несчетных слез на сих громадах нет.
 Божественным огнем исполненный поэт
 Взнесен на высоту, впивает воздух горный,
 И мощный глас его стихии непокорней
 С ветрами борется, и бурных волн морских
 Неистойей гремит неукротимый стих.

 Так, вдохновлен слепца великого примером,
 Во мгле людских сердец я странствую с Гомером...
 Я мчусь с Лукрецием при факеле Ньютона
 Изведать глубь небес и мирозданья лоно.

(с. 119)

Тогда же слагает он гимн своей музе, которой

кров
 Дриады темные дают среди лесов.
 Она, держа свирель, из дола в дол стремится,
 И воздух веселит певучая цевница.
 И криком радостным долины, воздух, луг
 На сладостный напев ей отвечают вдруг.

(с. 73)

Пушкин суммирует в своей элегии «Андрей Шенье» версальские настроения 1793 года, представляя их ночной исповедью поэта перед казнью:

Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
 Я кинулся туда, где ужас роковой,
 Где страсти дикие, где буйные невежды,
 И злоба, и корысть! Куда, мои надежды,
 Вы завлекли меня! Что делать было мне,
 Мне, верному любви, стихам и тишине,
 На низком поприще, с презренными бойцами!

Вдали от Парижа, по-видимому, застала его весть об убийстве Шарлоттой Корде 13 июля 1793 года Марата, затем весть о ее казни 18 июля. Тогда он пишет Оду, где славит ее подвиг. Ее деяние пробудило в нем стыд:

Лишь ты была мужчиной и отомстила за человечество.
А мы, презренные евнухи, трусливое стадо без душ,
Мы можем лишь повторять жалобы женщин,
Но железо слишком тяжело для наших слабых рук.

(ст. 63—66)

Переход настроений, от лирических, сознательно удаляющих от парижских событий, к экспрессивному, яростному, ямбическому в Шенье Пушкин обозначил своими строками:

О, нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных.

«Светочем» были ямбы Шенье, что и записывает Пушкин в примечании к своей элегии.

В конце 1793 года Шенье возвращается в Париж и ведет, по-видимому, полуправильный образ жизни. К началу 1794 года Робеспьер, сменивший Марата в стане «бешеных», усилился до чрезвычайности. Ему удается «свалить» любимца парижских простолоудинов Дантона, которого казнят 5 апреля с другими единомышленниками и недавними друзьями Робеспьера, но соперниками его абсолютной власти.

7 марта 1794 года в Пасси, в доме семейства Пасторé, куда пришли арестовать madame Пасторé, виной которой было, кажется, только то, что она принадлежала к первому сословию, т. е. дворянству, арестован был гость — Андре Шенье. Хозяйке удалось скрыться, а вина как бы пала на Шенье. В участке поведение или «дурная слава» арестованного дали повод перевести его в одну из многих парижских тюрем — Сен-Лазар. Среди заключенных — и аристократы, и люди искусства, и преступники. Здесь герцог Монморанси и маркиз Монталамбер, давний знакомый Шенье;¹⁴ здесь 23-летняя mlle Эме де Куаньи, герцогиня Флери. Здесь поэт Руше и художник Сюве,¹⁵ который делает хорошо известный портрет Шенье за несколько недель до его гибели.

Когда я был печален и в заключении,
Моя лира все-таки пробуждалась, —

заметит Шенье в стихотворении «Младая узница», посвященном mlle де Куаньи. Строки эти Пушкин делает эпиграфом к своей элегии, посвященной французскому поэту.

В стихотворении — этой мольбе несчастной девушки о жизни — Шенье передает ужас перед террором, ведь только аристократическое происхождение является виной Куаньи. Он перелагает ее громкую мольбу:

¹⁴ Оба казнены вместе с Шенье. Это Александр-Шарль Креки де Монморанси, 60 лет, и Грациан де Монталамбер, 62 лет.

¹⁵ Жозеф Бенуа Сюве (1743—1807), член Королевской Академии живописи, профессор, с ноября 1792 года ее директор.

О смерть, не тронь меня! Пусть в мраке гробовом
Злодеи бледные с отчаяньем, стыдом
От бедствий думают скрываться;
Меня ж, невинную, ждет радость на земле.

(с. 117, пер. А. Козлова)

В экспозиции Шенье пишет, как возникли эти строки:

Так, пробудясь в тюрьме, печальный узник сам,
Внимал тревожно я замедленным речам
Какой-то узницы. И муки,
И ужас, и тюрьму — я все позабывал
И в стройные стихи, томясь, перелагал
Ее пленительные звуки.¹⁶

«Младая узница» — это начало последнего, тюремного периода творчества. Это путь к ямбам, которые при свидании с родными он передает с грязным бельем. Записанные на клочках бумаги, стихотворения не всегда закончены. Одно подписано «Гражданин Архилох», подписано именем греческого ямбографа VII века до н. э., зачинателя как этой формы стиха, так и ее бичующего, высмеивающего наполнения.

Полностью «Ямбы» по-русски увидели свет впервые в 1989 году, в переводе Геннадия Русакова («Иностранная литература», № 7). Они многообразно представляют чувства и состояния, но фактическая сторона жизни — одной из ранних тюремных форм мучительства людей «по классовому признаку» — почти отсутствует. Шенье ограничивается строками:

Мне ясен мой удел. Не надо ждать ответа.
Пора к забвенью привыкать<...>
А что могли друзья? Рукой родной и близкой,
Мой истомленный дух леча,
В решетку передать случайную записку
Да золотой для палача...

(VII ямб)

Страстность, ненависть, насмешка представлялись Шенье не пустым плодом отчаяния. Он звал и вызвал Эвмениду-Эриннию, мстившую Робеспьеру. Не пройдет и двух суток после казни Шенье, как на гильотине оборвется жизнь этого обезумевшего истребителя заключенных. Боги услышали поэта — возмездие свершилось. От имени Шенье, уплотняя в единый блок вещее предсказание обреченного, Пушкин обратится к Робеспьеру:

Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран!<...>
Теперь иду... пора... но ты ступай за мною;
Я жду тебя.

В ямбах представлено могучее, как казнящее оружие, начало Слова. В этом Шенье следует древним грекам — «Для факелов огонь у эллинов

¹⁶Шенье А. Младая узница / Пер. А. Апухтина // Иностранная литература. 1989. № 7. С. 146.

возьмем» (стихотв. «Творчество»). Слово-Логос. Не жалоба, но заклинание. Еще в «Гермесе», «стихий непокорный», он утверждал избранничество творца:

Божественным огнем исполненный поэт
Взнесен на высоту.

Теперь, в тесноте и мраке тюрьмы, в ожидании фактически бессудной казни, когда его «лира все-таки пробуждалась», он повторяет свои призывания Богов:

Дай мне, владыка, жизни!
Тогда-то эта свора
Закрутится от стрел моих!
И не укрыться им в безвестности позора:
Я вижу, я лечу, я их уже настиг!

(V ямб)

Сын Архилоха, встань Андре!
Не опускай свой лук — он утрашенье сброда.

(IV ямб)

Обращаясь к Истине, Правоте:

В разгуле зла
Я мститель твой, я длань, разящая громами!
.....
Мое перо, мой крик, мой гнев — пора, за дело!

(IX ямб)

Примечательно, как представляет путь поэта Шенье в своей элегии Пушкин. Можно увидеть три резко отличных периода. Первый — блаженный, ранний, где воедино сливались и голос природы, и зов «свободы гордой певички», которая повлекла юношу в глубь Истории, творимой на его глазах и с его участием:

Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: «Блаженство!»

Второй, когда рухнули надежды и тягчайшая тирания, палачество вытеснили из Франции «священную свободу»; тогда возникли сетования, ведь «жить — такое наслаждение» (IX ямб), начались упреки самому себе «певца любви, дубрав и мира».

Душа поэта расщепляется между склонностью естественной и долгом перед Францией — чисто классицистический мотив, замеченный Пушкиным. Но урок Шарлотты Корде заставляет устыдиться, и Шенье пробуждается:

Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-Эвмениду!

И в этом третьем периоде рождается соединение всех душевных сил, чтобы, восславив невинных, проклясть их губителей, — рождаются ямбы.

Последний, IX ямб создан уже не в предчувствии, но в осознании конца.

Дело в том, что заключенным стало известно о решении Конвента «очистить» переполненные тюрьмы, для чего сочинена была версия о тюремном заговоре, якобы связавшем арестованных во всех парижских тюрьмах. Три дня отпущено было на разбирательство дел каждой тюрьмы.

Они начали опустошаться. Сен-Лазар подлежала этой экзекуции с 23 по 25 июля. 10 июля Конвент принял решение об упрощении суда — отменялись адвокаты и право последнего слова подсудимого.

25 июля утром Андре Шенье и еще 25 человек были доставлены на судилище, в котором Андре зачитали приговор, связав его имя с неизвестными ему друзьями Луи-Совера, тоже заключенного, но в Консьержери. Братьев спутали, но это было не существенно для того суда. Совер остался жив — три дня, отпущенных для суда над заключенными его тюрьмы, не состоялись: самого Робеспьера отправили туда, перед тем как казнить 27 июля, а арестованных освободили.

Андре погиб около 6 часов вечера 25-го на гильотине, расположенной у Венсенских ворот — одной, на площади Революции, было уже недостаточно.

Пушкин полагал, что суд был накануне, казнь же произошла утром.

До того, пытаюсь спасти братьев, Мари-Жозеф, драматург и член Конвента, как рассказывает правдоподобное предание, подсовывал вниз дела братьев перед разбирательством суда. Так удалось спасти одного и prolongить жизнь другому.

Ямб IX возник в двадцатых числах июля 1794 года. Он начат строками:

Погас последний луч, пора заснуть зефиру.
Прекрасный день вот-вот умрет.
Присев на эшафот, настраиваю лиру,
Наверно, скоро мой черед.

И завершен:

Смерть, не стучись! Я отопру.
Страдай, гневись, душа, отмищения взыскуя!
Плачь, Доблесть, если я умру.

Пушкин этот финал, эти последние слова поэта введет в заключительные строки своей элегии:

Вот плаха. Он взошел. Он славу именует...
Плачь, Муза, плачь!..

IX ямб начинается словами «Погас последний луч», которые связывают служителя Аполлона с ранней идиллией Шенье «Слепец». Там гимном солнцу-Аполлону начинает свое моление Гомер-Шенье.

Здесь — в последнем ямбе — луч погас, Аполлон не властен.

В идиллии торговцы, недостойные божественных строф аэда, не получив плату, высадили слепого старца на неведомый берег — им оказался остров Сикос.¹⁷ Пастухи лишь с одним из бессмертных могут сравнить пришельца:

Кто этот старец, слепой и беспомощный?
Не обитатель ли небесного царства?

¹⁷ Возможно, описка Шенье. Остров Сирос, западнее о. Делос, на последнем родине и святилище Аполлона.

Облик его величав и благороден; на его грубом поясе
Висит простая лира, и звуки его голоса
Сокрушают воздух, и волны, и небо, и леса.

Гомер обращается к Аполлону-Сминтею, гонителю мышей, отождествляя с ними низких двуногих тварей, его не почтивших. Он знает ближайшее к его родному городу Кимее святилище бога в Кларосе и туда обращает свои молитвы.

Первое слово идиллии-поэмы — Бог. С этого возгласа-обращения, с сакрализации речи Гомера начинается Шенье:

Бог, которого лук из серебра, Бог из Клароса, услышь,
О Сминтей-Аполлон, я вероятно погибну,
Если ты не послужишь поводом сему слепому страннику.

И Бог посылает ему трех пастухов, подобных «богоравному» Евмею из «Одиссеи».

Время отняло у старца все, но по воле Аполлона и Муз, говорит он, «голос мне оставлен». И теперь

Он воспевал все плодоносные семена,
Начальные огонь, воду, землю и воздух,
Потоки, ниспадающие из сердца Юпитера,
Оракулы, искусства, братские города
И со времен хаоса бессмертную любовь.

Гомер призывает Муз — «мы, смертные, не знаем ничего, что не приходило бы от вас». На острове, где оказался аэд, еще исполняют закон древних: избранника богов чтят как их посланца;¹⁸ но это забыто торговцами.

Пророчество Шенье сбылось — погас последний луч для него самого, у власти мышьяная стая, и не придет Сминтей.

«Слепец» Шенье явится первым стихотворением, которое решится летом 1823 года переводить Пушкин. Дар творца и дар прелазгателя чужих мыслей и слов на другой язык различны. Чем крупнее поэт, тем труднее ему подчиниться звукам чужой лиры. Нет сомнения, что как этот перевод, так и другие из Шенье свидетельствуют о тождестве, родственности поэтов. Находясь под обаянием Шенье и через год, Пушкин в письме от 5 июля 1824 года замечает: «Никто более меня не любит прелестного André Chénier» (XII, 102). В переводе идиллии, как всегда, Пушкин «уплотняет» текст источника — это касается и документов, с которыми он работает, и фигур поэтического языка. Не вдаваясь в подробный анализ пушкинских переводов,¹⁹ процитируем начальные строки этого неоконченного текста (переведены 25 строк; идиллия написана александрийским стихом, Пушкин применяет гекзаметр):

Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий,
Внемли, боже Кларосский, молению старца, погибнет
Ныне, ежели ты не предыдешь слепому вожатым...

¹⁸ А. Франс, посвятивший Шенье очерк, находясь под влиянием этой идиллии, пишет рассказ «Певец из Кимеи», превосходно переведенный в начале века М. А. Кузминым.

¹⁹ См. об этом статьи В. Б. Сандомирской в сб. «Пушкин. Исследования и материалы» (Т. VII. Л., 1974; Т. VIII. Л., 1978).

Гомер

Горд и высок; висит на поясе бедном простая
Ли́ра, и голос его возмущает волны и небо.

Среди неведомых просторов, пасущихся стад и пастухов раскрывается душа певца. Простота и безвестность радуют Муз — это станет темой другого важного творения Шенье и почти манифеста Пушкина. Первая строка его перевода — «Близ мест, где царствует Венеция златая...»

Ночное одиночество гондольера, поющего «без цели», среди вод лагуны — так представит Шенье еще один лик творчества. Пушкин переводит это «венецианское» стихотворение в сентябре 1827 года, через десять лет после своего первого поминания погибшего поэта в оде «Вольность». Знаменательно, что стихотворение не попало в первое издание 1819 года Латуша, но Пушкин каким-то образом получает его, вписывает в томик Шенье, переводит и в 1828 году публикует в «Невском альманахе» с указанием: «Перевод неизданных стихов Андрея Шенье». Очень может быть, что передатчиком рукописи был тот же человек, который еще до издания стихов во Франции предоставлял Пушкину возможность узнать столь близкого ему по духу поэта, и восхищенный автор «Вольности» устремился тогда по «благородному следу» Шенье. «Венецианское» стихотворение (в точном переводе) заканчивается строками:

Он поет — и, полон Богом, который нежно вдохновляет его,
Умеет кое-как прокладывать свой путь над бездной —
Как ему, мне нравится петь в безмолвии,
И неведомые стихи, в которые я люблю погружаться,
Смягчают для меня жизненный путь,
Где мой парус преследуют так много Аквилонов.

Пушкин только что — август 1827 года — в Михайловском закончил стихотворение «Поэт» о таинстве вдохновения, ведомого лишь избраннику Богов; лишь ему внятен «божественный глагол» Аполлона, когда

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

«Поэт» встанет между двумя переводами из Шенье — «Слепца» и «венецианского» стихотворения, органически дополняя оба, находясь в ближайшем родстве с тем и другим. Представим этот последний, сделанный Пушкиным перевод из Шенье.

Близ мест, где царствует Венеция златая,
Один, ночной гребец, гондолой управляя,
При свете Веспера по взморию плывет,
Ринальда, Готфреда, Эрминию поет.
Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальних умыслов, не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и, тихой музы полн,
Умеет услаждать свой путь над бездной волн.
На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокий,
Как он, без отзыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

РУССКАЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ)

1

Историко-филологическая наука второй половины XIX века явилась источником мощного движения теоретической мысли, по своей интенсивности и по воздействию на интеллектуальную жизнь новых поколений не уступавшего «чистой» философии предшествующей эпохи. С великими философскими теориями XVIII—XIX веков историко-филологические концепции второй половины XIX столетия роднит их широта, ориентация на выявление общих закономерностей культуры, ее истоков и направленности.

Вместе с тем историко-филологическая наука, связанная по преимуществу с позитивистским направлением, пользовалась индуктивным, а не дедуктивным методом. Ее представителям было присуще стремление к приумножению положительных знаний и на их основе — к уточнению и конкретизации представлений об историческом процессе, истоках и формах развития современной культуры. Ученые считали необходимым постоянное обогащение арсенала конкретных аргументов, которыми оперирует теория, требовали точности выводов, опирающихся на обширный, если не исчерпывающий, набор фактов, добытых в результате самостоятельных разысканий.

Впервые вводимые в научный оборот факты ставили перед учеными новые проблемы, приводили к обновлению и пересмотру установившихся мнений и стимулировали формирование увлекательных концепций. Историко-филологическая наука XIX века объединила в своих исследованиях широчайший круг вопросов. По сути дела она явилась смелой попыткой создать научно обоснованную и документированную концепцию возникновения и развития мировой, региональных и национальных культур.

«Познание народа отечественной этнографией, фольклористикой, социологией, литературой XIX столетия — познание огромного континента духовной жизни в его зависимости от общих процессов российского бытия и в его относительной суверенности — привело к тому, что за термином „народная культура“ закрепилось разумение совокупности сообщавшихся между собой, взаимодействовавших традиционных видов фольклора, плазмы народного красноречия, переходных памятников рукописной книжности, творений, вышедших из местных школ исконного письма, искусства, созданного ремесленниками-прикладниками. Термин очерчивал всю сферу умственного бытия простолюдинов», — пишет современный исследователь, характеризуя основную направленность интересов гумани-

тарной науки и литературы XIX века.¹ Непосредственно наблюдавший народоведческие «увлечения» своих современников П. В. Анненков утверждал, что исследованию подвергаются все проявления «верований и бытовых привычек масс».²

Таким образом, и ученый-фольклорист нашего времени, и критик XIX века, непосредственно участвовавший в литературном процессе, говоря о народознании, не проводят резкой грани между научным исследованием, с одной стороны, и отображением народной жизни и самой «физиономии» народа в художественной литературе — с другой. Изучение народного быта, определение его кардинальных черт осознавалось как задача и искусства и науки уже с 30-х годов XIX века.

Фольклористы, вырабатывавшие научные подходы к проблеме народного творчества, были литераторами, оказывавшими непосредственное воздействие на журнальные и салонные эстетические и политические споры своего времени. Они нередко побуждали писателей собирать фольклорные тексты, привлекали внимание художников к народному искусству.

Однако с середины XIX века историко-филологическая наука приобрела новый характер. Связи ее с литературой не оборвались, может быть даже укрепились, но воздействие стало более сложным, опосредованным.

Научное народознание искало опоры в широких историко-культурных размышлениях, в построении теорий, перспективы которых не замыкались даже таким обширным кругом вопросов, как русский фольклор и русская литература.

Национальная культура предстала в новых научных теориях как сложный феномен, явление единое в своем историческом развитии, включающее в свою систему язык, мифологию и фольклор — начало, исток и арсенал национальной литературы — и высшие ее достижения — произведения гениальных художников прошлого и современности.

Язык народа был осмыслен как богатый источник исторической информации, вековое хранилище реликтов древних верований и мировоззрения племени. Таким образом, национальная культура изучалась как единство, история литературы — как органически целостное явление от древнейших эпох до настоящего времени,³ язык — как основополагающая часть культуры нации. Одни и те же ученые посвящали свои труды вопросам языка, истории литературы и этнографии. Они изучали и публиковали памятники древнерусской литературы — и создавали монографии о крупнейших писателях, анализировали художественные особенности фольклорных произведений — и тайны мастерства писателей-романтиков и реалистов, характеризовали идейные движения целых эпох — и традиции, литературные направления и эстетические каноны, в рамках которых создавались оригинальные произведения новаторов искусства.

Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, Н. С. Тихонравов, А. Н. Пыпин, А. Н. Веселовский — каждый из этих замечательных ученых предложил новые, решительные, захватывавшие своей смелой категоричностью ответы на самые сложные вопросы истории литературы и культуры в целом, свой оригинальный метод исследования, демонстрировавшийся на обширном, заново «открытом» и прокомментированном материале. Мифологические

¹ Горелов А. А. Н. С. Лесков и народная культура. Л., 1988. С. 4.

² Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 479.

³ См.: Серман И. З. Академическая наука XIX века и ее отношение к проблемам истории русской литературы // Русская литература. 1975. № 1. С. 27, 28, 30, 31.

теории Буслаева и Афанасьева как бы расширили горизонты истории. Там, где привычно было видеть конец истории, внеисторическое «варварское бытие» народов, труды ученых, восстановивших через анализ языка, мифов, фольклорных сюжетов психологию и верования людей древнейших эпох,⁴ раскрывали неизвестную, неведомую до того цивилизацию, культуру общества, создававшего духовные и эстетические ценности, религиозные и нравственные нормы.

И Буслаев и Афанасьев видели в этих глубинах древней духовной жизни человечества истоки современной народности, по выражению Пыпина, т. е. ту сторону интеллектуальной деятельности масс, которую современный исследователь обоснованно назвал «словесной художественной культурой нации».⁵

Фольклористы-мифологи не придавали этим истокам духовной культуры ограниченно национального значения. Мысль об общих индоевропейских корнях современной цивилизации и об общности славянского и русского культурного процесса составляла важное звено их концепций. Проблема истока, начала этого процесса была для них кардинальной. Естественно поэтому, что, открывая своим современникам эстетическую значимость древней литературы и фольклора, Буслаев утверждал, что примитивное, наивное искусство представляет большую эстетическую ценность и что произведения живописцев и писателей древней Руси — создания высокой и изысканной художественной культуры.

Эти положения концепции Буслаева оказали значительное воздействие на восприятие древнего и современного народного искусства и осязательно повлияли на развитие новых тенденций в изобразительном искусстве и в литературе. В частности, несомненно в русле этих идей развивалась мысль Л. Н. Толстого о великом эстетическом значении народных примитивов, которые не только могут быть поставлены в один ряд с высшими достижениями изощренного искусства образованных классов, но должны быть противопоставлены им — как образцы другого, более высокого и одухотворенного искусства.

Ученики Буслаева, младшие современники Афанасьева, выдвинули на передний план в своих исследованиях не вопрос генезиса искусства, его взаимодействий с мифом, а проблему бытования, развития и видоизменения художественных форм в искусстве. В этом контексте они рассматривали межнациональные отношения в культуре, фольклоре и литературе, изучали такие явления, как миграция сюжетов и литературных мотивов, факты усвоения, адаптации и переосмысления в процессе активного взаимообогащения культур художественных средств и элементов содержания.

Разрабатывая сравнительно-исторический метод или исследуя пути миграции сюжетов и целых произведений, они отказывались от прямолинейных и стереотипных выводов, характерных для сторонников мифологической школы, в особенности от интерпретации широкого круга явлений культуры как непосредственного отражения «небесных» мифов, обожествления сил природы. Однако наиболее вдумчивые ученые, осуществляя исследования «миграций» ради отделения «чужого от своего» и выявления оригинальных черт каждой литературы, не отвергали идею значения мифа как кардинального элемента, формирующего религию, обрядовые ритуалы и первоначальные формы искусства.

⁴ См. об этом: *Беландин А. И.* Мифологическая школа // Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 31—35.

⁵ *Серман И. З.* Указ. соч. С. 25.

Умением сочетать разные научные методики и, удерживая достижения представителей разных научных школ, избегать односторонности и заблуждений, им присущих, был наделен А. Н. Веселовский. Сочетая исследования частных проблем и широких общеевропейских культурных процессов, творчества и биографии отдельных писателей и происхождения искусства, он хотел сделать историю литературы ключом к поэтике, «извлечь сущность поэзии из ее истории».⁶ Если, создавая историко-генетическую поэтику, Веселовский использовал некоторые принципиальные положения теории мифологов, подчас решительно переосмысливая их,⁷ то, прослеживая историческую судьбу жанров и сюжетов, он сближался со сторонниками теории исторической миграции,⁸ а интерпретируя поэтику как историко-этнографическое исследование литературы,⁹ обнаруживал общность подхода к предмету с представителями культурно-исторической школы. И в этом последнем случае он умел избегнуть ограниченности своих предшественников и современников. Как справедливо отмечает исследователь творчества Веселовского, «он... никогда не сбивался на путь обособленного изучения народных обычаев, политической истории, религиозных и иных течений. Все это принималось им в расчет лишь в той мере, в какой, предохраняя от узости взгляда на литературу, способствовало лучшему пониманию художественного слова».¹⁰ Вместе с тем, резко возражая против стирания граней между литературоведением и смежными с ним дисциплинами,¹¹ Веселовский сочувствовал стремлению охарактеризовать целые литературные эпохи, направления и этапы развития общественной мысли. Классические работы этого типа создавал А. Н. Пыпин, стоявший во главе культурно-исторической школы.

В своей монографии «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения» (1904) Веселовский через анализ содержания и стиля произведений поэта, художественного осмысления им реальных ситуаций создает типологическое описание духовной жизни культурного поколения.

Важной стороной деятельности ведущих фольклористов и теоретиков историко-филологической и этнографической науки явились многочисленные публикации текстов древнерусской литературы и устного народного творчества. Эти публикации не только ввели в культуру эпохи целый пласт полузабытых или вовсе забытых высокохудожественных произведений, но во многом перестроили эстетическое сознание общества.

В подборе публикуемых текстов сказалась специфика подхода ученых к проблеме народности. Народ предстал в их трудах в ореоле своей длительной и подчас трагической истории. Интерес ученых к духовным исканиям простых людей, к «неофициальным», неортодоксальным системам религиозных и нравственных воззрений, складывавшимся в народной среде, к утопиям и фантастическому выражению идеалов крестьянства породил ряд публикаций и исследований исторического и филологического плана.

⁶ Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 54.

⁷ См.: Мелетинский Е. М. «Историческая поэтика» А. Н. Веселовского и проблема происхождения повествовательной литературы // Историческая поэтика: истоки и перспективы изучения. М., 1986. С. 25, 26, 28, 36.

⁸ Там же. С. 29.

⁹ Жирмунский В. М. Историческая поэтика А. Н. Веселовского // Веселовский А. Н. Указ. соч. С. 16.

¹⁰ Горский И. К. Александр Веселовский // Академические школы в русском литературоведении. С. 226.

¹¹ См.: Веселовский А. Н. Указ. соч. С. 53, 390.

Ф. И. Буслаев пояснял: «Масса поэтических элементов русской старины, не сосредоточенная к избранным личностям гениальных представителей, вполне согласуется с степенью развития древнерусской жизни, жизни сплошной, по преимуществу народной. Этим основным своим характером литература древней Руси доселе соответствует поэтическим воззрениям и убеждениям простого народа; так что, изучая древнюю Русь, исследователь яснее понимает и современное нам нравственное состояние русского народа, точно так же, как изучение устной народной поэзии нечувствительно вводит нас в художественный мир древней Руси».¹² Буслаев изучал духовные стихи.

Пыпин утверждал, что «отреченные» книги, легенды, духовные стихи, рассказы «калик переходных», далекие от канонических религиозных текстов, выражают народные верования и питают народную поэзию.¹³ В этом плане он изучал и апокрифы.

Тихонравов предпринял издание памятников «Летописи русской литературы и древности» (8 выпусков. 1859—1863). Здесь были опубликованы русские драматические произведения, памятники повествовательной литературы, в частности популярная повесть о Еруслане Лазаревиче и вновь открытая ученым повесть о Савве Грудцыне, образцы народной сатиры, повесть о Шемякином суде. Во втором выпуске впервые появился и великий памятник народной духовной культуры «Житие протопopa Аввакума». В подготовке издания принимал участие Ф. И. Буслаев. В 1861—1862 годах вышло фундаментальное издание «Памятники старинной русской литературы, изданные Гр. Кушелевым-Безбородко» под редакцией Н. Костомарова. В двух выпусках этого издания были собраны повести, легенды, сказания и апокрифы. В «Памятниках отреченной русской литературы» (1863) также содержались народные легенды, житийные произведения, духовные стихи, старообрядческие сочинения. Теоретические статьи Буслаева, Пыпина, Афанасьева и других ученых, насыщенные материалом и предлагавшие принципиально новые подходы к проблемам народознания, появлялись в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы» и т. д.

Большое впечатление не только на умы, но и на воображение современников произвела деятельность А. Н. Афанасьева. Хотя крайности его увлечения «небесной мифологией» давали аргументы его оппонентам и настраивали скептически многих ученых в отношении его теорий, это не мешало им относиться с глубоким уважением к Афанасьеву как историку, фольклористу и этнографу.

Подлинный подвижник науки, А. Н. Афанасьев издал первый обширный свод русских сказок — «Народные русские сказки» (8 выпусков. 1855—1863), снабдив их обстоятельным комментарием, подготовившим его фундаментальный трехтомный труд «Поэтические воззрения славян на природу» (1865—1869). Через анализ фактов истории языка, сюжетов, мотивов и героев сказок, обобщая огромный материал, Афанасьев делает попытку восстановить мир древних языческих верований славян, их мифы и обряды, их отношение к природе и нравы. Не столько строгое развитие мифологической концепции, сколько поэтическая реставрация «предыстории» славян увлекала и «завораживала» современников.

Однако Афанасьев, стремившийся расширить пределы и горизонты

¹² Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 2. С. 62.

¹³ Пыпин А. Н. История русской литературы. СПб., 1911. Т. 1. С. 470.

исторического народознания, не мог ограничиться дальними областями своего предмета. Более позднее мифотворчество народа, его современные религиозные и нравственные воззрения нашли свое отражение в изданном Афанасьевым сборнике «Народные русские легенды». Очевидно предвидя цензурные затруднения, с которыми он может столкнуться при публикации сборника в России, Афанасьев опубликовал его сначала в Лондоне (1859), затем он был напечатан в России. Издание это было воспринято как «современная» книга, отвечающая на волнующий интеллигенцию вопрос о духовном потенциале народа, об этике и эстетическом его «самостоянии». Книга молниеносно разошлась, и составитель сборника и автор комментария к легендам А. Н. Афанасьев подготовил новое издание. Это издание было запрещено, когда тираж уже был отпечатан, и пошло «под нож». Причин запрещения, вызвавшего скандал в обществе, было несколько. Возможно, известную роль в этом сыграли преследование, которому подвергались корреспонденты Герцена (одним из них был Афанасьев),¹⁴ и публикация сборника в Лондоне, но главной причиной цензурного запрета явились сами тексты, в которых в высшей степени неортодоксально трактовались религиозные сюжеты, образы героев Евангелия, Библии, святых.

Безусловно, запрещение произведений, созданных народной средой и широко бытовавших в ней, было абсурдно, но подобная мера неоднократно применялась и впоследствии, в борьбе против «еретических» народных сочинений.

Вслед за сборником Афанасьева в серии «Памятники старинной русской литературы, изданные Гр. Кушелевым-Безбородко» появились новые публикации текстов древнерусской литературы, в том числе повести и рассказы апокрифического характера. Это издание, более академическое и дорогое, чем «Народные русские легенды» Афанасьева, не вызвало такого общественного резонанса, как сборник. Однако оба собрания древнерусских текстов заинтересованно рассматривались критикой как явления современные и значительные: особенно серьезны были посвященные им статьи А. Н. Пыпина (Современник. 1860. № 3 и 11).

Ученые, публиковавшие народные легенды и апокрифические рассказы (Афанасьев, Костомаров, Буслаев, Пыпин), видели в этих произведениях отражение идеалов и исторического опыта народа, пусть подчас и фантастически переосмысленного.

Большинство писателей XIX века слышали подобные рассказы непосредственно из уст простых людей, преимущественно крестьян, наблюдали их бытование в народной среде, однако появление их текстов в печати в комплексе, в виде целого собрания, в сопровождении научного комментария, раскрывавшего их историческое значение, углубив их эстетическое восприятие, активизировало их воздействие как на творчество отдельных писателей, так и на стиль реалистической литературы в целом. Древняя литература и фольклор стали осознаваться как живой элемент современного художественного развития.

¹⁴ Афанасьев присылал Герцену исторические материалы, которые не могли быть опубликованы в России и появление которых в изданиях Герцена имело большое общественное значение. См.: *Эйдельман Н. Я.* Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966. С. 163—181.

2

Благодаря публикациям ученых-фольклористов сказки, духовные стихи и произведения других жанров народного творчества стали явлением современной литературы, а труды знатоков древнерусской литературы, изданные ими памятники древней словесности по-новому осветили историческую жизнь народа, его религиозные представления и культуру.

Эти материалы не оставили равнодушными большинство писателей-реалистов. Их неоднозначные реакции на эти публикации отразили богатство и разнообразие позиций, эстетических принципов и идеалов деятелей литературы. Вместе с тем обращение в свете этих материалов к осмыслению проблемы характера и мировоззрения народа наложило отпечаток на интерпретацию в литературе проблемы характера вообще, способствовало обновлению сюжетов и самого стиля произведений. Одним из авторов, в творчестве которого эта тенденция просматривается достаточно определенно, является Тургенев, всегда чутко реагирующий на «веяния времени».

Интерес Тургенева к проблеме народной веры, духовных исканий простых людей совпал по времени с обращением крупнейших ученых — историков, филологов и фольклористов — к этой стороне народной жизни.

Материалы о народных верованиях, о формах народной религиозности, долгое время бывшие под запретом, вызывали к себе живой интерес людей самых разных направлений. В их публикации принимали участие и Мельников-Печерский — ученый, историк, писатель, но и деятельный чиновник Министерства внутренних дел, и А. И. Герцен — последовательный враг реакционной бюрократии. Герцен содействовал публикации не только документов о неофициальных религиозных движениях народа, но и материалов по политической истории и истории общественной мысли, что способствовало развитию идей культурно-исторической школы филологии. По сути дела его работа «О развитии революционных идей в России» была одной из первых попыток осмыслить разные эпохи русской общественной мысли и культуры в связи с политическим состоянием общества.

Герцен не без основания усматривал в истории раскола и в настроениях старообрядцев выражение духовной независимости, способности народа к отстаиванию своих убеждений перед лицом грубой силы. Их самобытность и стойкость он расценивал как свидетельство революционных потенций старообрядческой среды.

П. И. Мельников-Печерский, так же как и Герцен опирающийся на вновь введенные в оборот учеными (к числу которых принадлежал сам) факты, сведения и документы, приходил к прямо противоположным, чем Герцен, выводам, и тоже не без оснований. Он видел в старообрядцах консервативных хранителей древних традиций, с одной стороны, и инициативных купцов, в длительной борьбе накопивших богатый опыт «дипломатии» в общении с администрацией, умение вести широкую торговлю и промышленную деятельность, обходя стеснительные и репрессивные меры правительства, — с другой.

Тургенева те же исторические и социологические материалы побудили размышлять над другими проблемами, преимущественно над вопросами психологии отдельной личности и народной массы. В этом контексте он вел в письмах спор-диалог с Герценом об историческом значении старообрядчества и сектантства, настаивая на том, что консервативные тенден-

ции косности, сектантской замкнутости, ненависти ко всем исторически возникающим изменениям и к просвещению являются кардинальными чертами раскола. Старообрядчество для него — воплощение попятных исторических движений, опасность которых существует во все эпохи. В расколе, утверждал он, господствует «глушь и темь, и тирания».¹⁵

Тургенев отмечал, что именно в сектантстве особенно зримо проявляется возможность перерастания свободных духовных исканий сильных натур в добровольное рабство, с одной стороны, и в безграничное властолюбие, неограниченную тиранию — с другой. Писатель ставил вопрос: на чем основывается влияние «темных, невежественных» пророков и агитаторов из сектантов, бессвязные речи которых подчиняют им толпу?¹⁶ Анализ психологии людей ищущих, благородных смыкается в его произведениях конца 1860-х—начала 1870-х годов с постановкой проблемы власти и подчинения, убежденности и фанатизма. В «Дворянском гнезде» покаянный уход Лизы в монастырь самоценен. Куда она ушла, как проходит ее жизнь в монастыре, находит ли она удовлетворение в этой традиционной форме религиозного служения — подобные вопросы в романе не ставятся. Поэтому «уход» Лизы из родного гнезда, несмотря на его отличие по идейному содержанию от ухода из дома Елены в «Накануне», психологически и нравственно подобен разрыву Елены со своей средой во имя самоотверженного служения чужому страдающему народу.

В рассказе «Странная история» Тургенев сопоставляет поступок барышни Софи, покинувшей родной дом для религиозного подвижничества, с самоотверженным уходом девушек в революцию, но подвергает критике путь, который избирает Софи, чтобы «замолить» грехи отца-откупщика. Порыв девушки благороден, но поступок ее «странен», вера ее обращена не на достойный поклонения объект. Если таинственная, загадочная духовная жизнь крестьян — героев «Записок охотника» и «Муму» — «прекрасная тайна», разгадывание которой сулит радостные и полезные открытия, то «странная» загадка веры Софи, ее фанатического поклонения наводит на печальные мысли.

В 60-х годах Тургенев впервые сопоставил искания и идейные «блуждания» интеллигенции с древними и современными народными верованиями и суевериями. Странные судьбы барышень-энтузиасток, ищущих подвижничества, изображенных Тургеневым в эти годы, складываются в обстановке народной массовой веры в утопические, иллюзорные мифы. Впоследствии сходную мысль выразил В. Г. Короленко в рассказе «Чудная» (1880).

С этим кругом проблем связан и замысел Тургенева создать роман на историческую тему, героем которого должен был стать старообрядческий теоретик, вождь Никита Добрынин Пустосвят, а центральным эпизодом — бунт, поднятый старообрядцами в Москве 5 июня 1682 года. Замышляя исторический роман на этом материале в середине 1860-х годов, писатель утверждал, что тема религиозных движений XVII века вызовет интерес у современного читателя — ввиду общности психологий революционно настроенных радикалов и сопротивляющихся духовному насилию людей отдаленной эпохи.¹⁷ Тургенев не осуществил своего замысла, но его мысль о работе в историческом жанре, которая может на первый взгляд

¹⁵ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1964. Т. 7. С. 14.

¹⁶ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 9. С. 325—326.

¹⁷ См. об этом: Левин Ю. Д. Неосуществленный исторический роман Тургенева // Тургенев: Статьи и материалы. Орел, 1960. С. 96—131.

показаться не соответствующей характеру его творчества, объяснима в свете тех идей, которые возбудили в обществе новые публикации о старых и современных религиозных движениях.

Однако Тургеневу было более свойственно видеть историю в ее строго ограниченных, завершенных или завершающихся фрагментарных воплощениях. Каждой эпохе в его представлении соответствовал свой стиль, своя «злоба», свои человеческие типы и сюжеты. Не случайно, говоря о кардинальном содержании своих романов, он отмечал темп исторического движения, которое служило предметом его наблюдений, «быстро изменяющуюся» физиономию времени и взращенных им типов людей.

Эта сторона его творчества оказала влияние на культурно-историческую школу в русской гуманитарной науке. Ученые этой школы внедрили представление о делении культуры России на исторические эпохи по десятилетиям. Тургенев видел историю в еще меньших фрагментах, каждая эпоха для него «укладывалась» чуть ли не в пятилетие.

Эта кратковременность исторического цикла в романах Тургенева накладывает трагический отпечаток на судьбы личностей, с наибольшей отзывчивостью откликающихся на требования и стремления эпохи. Едва заявив о себе, они обречены сойти с исторической сцены. Вторжение же древнего зла в современный мир еще более губительно в изображении писателя, чем эти быстрые смены.

Иначе воспринимал соотношение исторического прошлого и современных процессов в обществе А. Н. Островский. Наблюдая жизнь простых людей — городских обывателей (Русь с древнейших времен — «страна городов»), он видит историю как медленный консервативный процесс, в ходе которого новое пробивается с трудом, при неколебимой силе обычая, привычек, нравственных традиций. Вместе с тем именно эта медлительность и сила сопротивления новым потребностям придает нередко чрезвычайно обостренный, драматичный характер конфликтам. Старое и новое сосуществуют в борениях.

3

В конце 1840-х годов Островский, сотрудничавший в журнале «Москвитянин», редактором которого был М. П. Погодин, вел большую редакционно-организационную работу и попытался изменить направление журнала. Он привлек к участию в журнале молодых сотрудников, которые составили «молодую редакцию», теоретически обосновывавшую новую платформу журнала. Вокруг Островского и А. Григорьева сформировался кружок художественной интеллигенции, который, при всем разнообразии идейных принципов его членов, объединялся общим всем им интересом к народному быту, старине и фольклору в его живом, современном бытовании. Собираательство фольклора выразилось в этом кругу, в частности, в активной поддержке сказителей, певцов народных песен, в стремлении «овладеть» их репертуаром, приобщиться к художественной культуре народа.

Каждый из членов талантливого кружка делал это по-своему. А. Григорьев, воспитанный на романтической философии, осмыслил и фольклорные тексты, и самые сходки кружка, постигавшего народную культуру, в духе высокого романтизма и новых нарождавшихся почвеннических теорий. Островский, так же как и А. Григорьев бывший притягательным центром кружка, по характеру и по умственным склонностям представлял совершенно другой человеческий тип, чем этот его горячий поклонник, столь высоко ставивший его художественное творчество.

Если мышление А. Григорьева носило по преимуществу дедуктивный характер (он классифицировал и оценивал явления литературы соответственно духу и пафосу своих идей), то Островский был склонен к строгой умственной дисциплине, к осторожной осмотрительности выводов, для которых, как ему представлялось, необходимо тщательное изучение предмета, привлечение широкого спектра фактов и материалов. Он шел путем индукции, и ему были близки научная методика современной историко-филологической науки и многие ее идеи.

Изучение памятников древности Островский начал в древлехранилище Погодина, но затем продолжал в течение всей своей жизни, приобретая и внимательно обследуя исторические и литературные издания, содержащие публикации древних текстов и материалов, собирая свою обширную библиотеку.

Современная жизнь народа, обращенная в будущее, для него была неотделима от прошлого, от истории, запечатленной в документальных источниках, литературных памятниках, фольклоре и бытовой, этнографической культуре народа. Слияние исторических и филологических интересов, отношение к языку как хранилищу народной памяти и воплощению эстетической активности народа, характерное уже для молодого Островского, свидетельствовало о том, что он не только творчески усваивал «новейшие теории искусства», которые возникали в исторической и филологической науке, но сам был носителем такого рода идей и исследователем «изящных памятников древности».¹⁸

В своих произведениях 1840-х годов он стремился отразить и воплотить стихию народного юмора, критицизма, которому соответствует обличительный характер русской литературы нового времени. Вместе с тем правоописательная задача, интерес к самобытному укладу жизни Москвы, этнографии города уже зримо обозначились в его творчестве.

Произведения Островского начала 1850-х годов — «Не в свои сани не садись» (1853), «Бедность не порок» (1854), «Не так живи, как хочется» (1855) — должны были, по замыслу автора, отразить наиболее устойчивые традиционные формы народного быта и народные идеалы. Язык и фольклор выступали в этих произведениях как важнейшие эстетические элементы, организующие драматическое действие, передающие поэзию народного быта. Во всех трех пьесах герои выражают свои чувства песнями, говорят традиционными формулами народного красноречия, фольклора. Во всех трех пьесах сказывается владение драматурга древними историческими и литературными памятниками и знание фольклорных текстов,¹⁹ публиковавшихся учеными-собирающими, стремление соединить свой «социальный», аналитический подход к действительности с поэтизацией народной культуры. Известные черты романтического восприятия фольклора, присущие некоторым членам кружка «Москвитянина», также ощущимы в пьесах Островского начала 1850-х годов. В пьесе «Не в свои сани не садись», например, на типовую социальную ситуацию (попытка разорившегося дворянина «поправить свои дела» браком с богатой невестой) «накладывается» фольклорный сюжет, пользовавшийся особой популярностью у поэтов романтической эпохи, — похищение купеческой дочери разбойником, таинственным и опасным незнакомцем (ср. балладу Пушкина «Жених»). В пьесе «Бедность не порок» распространен-

¹⁸ Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1978. Т. 10. С. 524.

¹⁹ Старостина Г. В. Функции «игры» и своеобразие жанра в драматургии А. Н. Островского. Л., 1990. С. 3—6.

ный в народных песнях, сказках, духовных стихах мотив о двух братьях, обидах, которые чинит богатый брат бедному, и моральной победе бедняка сочетается с изображением реальных обстоятельств и условий современной социальной жизни.

В пьесах этих лет дает себя знать тенденция идеализации «старинных нравов», но наряду с этой романтической формой выражения интереса к историческому прошлому в них проявляется прекрасное знакомство с Домостроем и с укладом семейного быта Руси, зафиксированным и узаконенным в Уложении, изданном царем Алексеем Михайловичем в 1649 году. Последнее особенно ярко отразилось в народной драме «Не так живи, как хочется», где нарушение семейного уклада трактуется как преступление против закона божеского и человеческого, чреватое опасностью разрушения основ существования общества. В этой пьесе также с большой степенью конкретности воссоздаются социальные обстоятельства. Здесь драматург, впервые обращаясь тематически к историческому прошлому, рисует быт XVIII века — периода, когда культура предшествовавшего XVII века была еще живым явлением, когда совершался переход от древней Руси к новой России.

Выраженная в «Не так живи, как хочется» идея исторического единства русской культуры — старой и современной, восприятие писателем древнерусской литературы, фольклора и быта как нерасторжимого духовного целого соответствовали кардинальным принципиальным положениям историко-филологической науки эпохи, в частности теориям Буслаева.²⁰

Острое ощущение эстетической ценности, красоты древнего искусства, фольклора и самого быта в его устойчивых этнографических чертах также роднит Островского с учеными его времени, и прежде всего с Буслаевым.

В пьесах начала 1850-х годов Островский от картин и драматических конфликтов московской жизни переходит к изображению провинциального быта, а в последней из трех пьес, «Не так живи, как хочется», изображая Москву, противопоставляет ее, как город, уже в XVIII веке утерявший строгость в соблюдении патриархальных нравов, богомольной провинции. В этой пьесе он «сталкивает» также две системы традиционных верований народа — древние языческие представления, запечатленные в празднике масленицы, в обрядах и обычаях, ему сопутствующих, и христианский средневековый аскетизм. Исторической конкретностью, в условиях которой происходит это столкновение, является переломная эпоха, когда народная культура болезненно осваивает новации, уже прочно «разработанные» высшими слоями национальной культуры, когда начинает заявлять свои права личность, индивидуальность, подчас агрессивно добиваясь свободы от косных сословных и семейных отношений.

Интерес Островского к проблеме древнейшего языческо-мифологического начала народных верований — одно из ранних проявлений формирующейся русской мифологической школы, ее проблематики. «Исторический» аспект пьесы, своеобразная интерпретация культурного периода XVIII века, воспринятого драматургом сквозь призму не дворянской, а народной цивилизации, находится в непосредственном «родстве» с теориями Буслаева, который позже дал обобщающую характеристику этому «потoku» научного и общественного сознания: «Нашему времени принадлежит великая заслуга оценить по достоинству скромную деятельность народных масс, вызвать из прошлого целые периоды духовного развития,

²⁰ См.: Сержан И. З. Указ. соч. С. 27.

не отмеченные ни одним заметным именем выдающейся из сплошной среды личности. Наука и нравственное чувство слились вместе в этом подвиге высокой гуманности».²¹ Отсюда ученый делает смелый вывод: «Таким образом, история уступает место *этнографии*».²²

Осуществленная Островским удачная попытка «прививки» поэтических средств «наивного» народного искусства к древу высокого социального реализма базировалась на мысли, сходной с той, которую горячо отстаивал Буслаев, утверждавший, что современная эстетика «в массе народных безыскусственных произведений ищет новых жизненных законов, захватывающих вместе с вышней формой все обилие содержания, в ненарушимой связи народной словесности с народным бытом во всех его теоретических и практических проявлениях».²³

Обращение к изображению провинции, помимо очевидной ориентации Островского на быт периферии как более консервативный, соответствовало принципиальной установке Буслаева на изучение областных особенностей памятников древней литературы, его утверждению, что древнерусская литература во многих случаях была областной, «а каждая область имеет свой собственный характер в истории русской литературы и быта».²⁴

А. И. Журавлева высказывает мысль, что обращение Островского к изображению быта провинции связано с тем, что в Москве он уже не мог наблюдать патриархальных нравов, сохранившихся в чистом, неискаженном виде, и что, стремясь создать идеальный образ семейственности, он рисовал «несколько условный мир — неведомый русский городок».²⁵

Нельзя не согласиться, что в провинциальном быту Островский увидел более «сохраненные» черты традиционного семейного быта. Не только в «романтических», идеализирующих этот быт пьесах начала 1850-х годов, но и впоследствии, в «Грозе», он давал выразительные картины прочного еще в провинции семейного уклада. Точность этого изображения обнаруживает в Островском знатока этнографических особенностей быта разных местностей и городов, ценителя красоты их обычаев и критика их косности.

В исторических пьесах Островский стремился через сохранившиеся в современных городах древние обычаи и обряды «прозреть» конкретные особенности быта народа, питавшие областные явления древней русской литературы и культуры.

Островский был художником впечатлительным, наблюдательным, испытывавшим постоянную потребность в общении с людьми, обогащении своего жизненного опыта. Однако и научная методика, и отбор и изучение исторических источников и материалов, знакомство с публикациями и трудами ученых были для него исполнены живого интереса, привлекали его. Это сближало писателя с филологами, фольклористами и историками. Присущая науке его времени любовь к положительным знаниям, к доказательности обобщений и выводов, к их всестороннему обоснованию побуждала писателя к научным занятиям и делала для него увлекательными беседы с историками, этнографами и краеведами.

²¹ Буслаев Ф. Сравнительное изучение народного быта и поэзии // Русский вестник. 1872. Т. 101. № 10. С. 651.

²² Там же. С. 653.

²³ Там же.

²⁴ Буслаев Ф. И. Идеальные женские характеры древней Руси // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 2. С. 245.

²⁵ Журавлева А. И. А. Н. Островский-комедиограф. М., 1981. С. 87.

М. И. Семевский, встречавшийся с Островским в 1855—1856 годах, записал 19 ноября 1855 года: «Был у Островского. Застал его за выписками из актов Археографической комиссии. Толковали о множестве ныне изданных материалов отечественной истории... Островский, любя отчизну, ревностно занимается памятниками нашей старины».²⁶

Большое значение для осуществления планов исследования народной жизни в разных аспектах имело для Островского его участие в этнографической экспедиции, организованной Морским министерством.²⁷ Сама идея организации такой экспедиции и привлечения к участию в ней писателей возникла в Морском министерстве не без влияния того глубокого интереса, который литераторы проявляли в конце 1840-х—начале 1850-х годов к проблемам этнографии. Писатели — В. И. Даль, Н. И. Надеждин и др. — были инициаторами создания Русского географического общества (осенью 1845 года) и развернули работу по изучению этнографии и собиранию фольклора, исторических и краеведческих сведений. «Москвитянин» был в числе журналов, печатавших подобные материалы.

Как участник экспедиции, Островский совершил две поездки на Верхнюю Волгу весной и летом 1856-го и 1857 года, изучал этнографию края, занятия населения, ремесла, быт народа, фольклор и язык. Собираением словаря русской живой бытовой речи он также стал серьезно заниматься в эту пору. Во время экспедиции им был создан «Опыт Волжского словаря». Продолжая работу над словарем в течение десятилетий, он, как известно, составил обширный словарь разговорного языка, которым заинтересовалась Академия наук. Словарь этот частично вошел в составленный II Отделением Академии наук словарь русского языка.

В годы, когда Ип. Тэн только формировал свои концепции, оказавшие столь большое влияние на идеи культурно-исторической школы, Островский вплотную подошел к проблемам, стоявшим перед филологической наукой его времени, и в своих художественных произведениях обнаружил самобытный подход к этим проблемам.

Современный исследователь отмечает: «Позитивизм имел свой восходящий период и был в определенной связи с развитием материализма в науке и реализма в литературе... Правда, проповедуя реализм, позитивисты даже терминологически упорно отождествляли его с натурализмом».²⁸

Отождествление реализма и натурализма Островский решительно отвергал. В 1880 году, готовя Пушкинскую речь, он возражал «против какого-то нового реального направления, которое очень громко и вместе с тем довольно неясно и сбивчиво себя пропагандирует».²⁹ Но поднятые позитивистами культурно-исторической школы и самим Тэном вопросы привлекали внимание Островского, и, размышляя над ними, он сближался в этих размышлениях с учеными — своими современниками, а иногда и предвосхищал их выводы.

На протяжении 1860-х годов он работает над историческими пьесами-хрониками, ставя перед собой задачу воссоздать и вживе представить не только внешнюю, бытовую или «обрядовую» обстановку жизни населения

²⁶ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966. С. 134—135.

²⁷ В 1950 году в Ленинградском университете была защищена кандидатская диссертация Л. В. Черных о литературной экспедиции 1855 года. См.: Черных Л. В. Изучение А. Н. Островским народной жизни во время литературной экспедиции 1855 года // Учен. зап. Башкирск. ун-та. 1958. Вып. 6. № 5. С. 181—205.

²⁸ Русская наука о литературе в конце XIX—начале XX в. М., 1982. С. 174 (глава 1; автор А. Л. Гришунин).

²⁹ Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 10. С. 557.

города, но и массовую психологию людей определенной эпохи. «Реставрацию» образа мыслей и способа их выражения через произведения искусства ученые культурно-исторической школы считали одной из кардинальных задач искусствознания и литературоведения.³⁰

Ученые культурно-исторической школы извлекали, таким образом, из творчества художников познавательный материал. Островский искал в ученых трудах и публикациях исторических документов пищу для все оживляющего и одухотворяющего воображения. Он утверждал: «Ученый-историк только объясняет историю, указывает причинную связь явлений; а историк-художник пишет как очевидец, он переносит вас в прошлые века и ставит зрителем события».³¹ Но условием, делающим писателя авторитетным интерпретатором реальных событий прошлого и целостной его картины, должно стать доскональное знание о нем, свободное проникновение в дух времени, в интересы, заботы, мысли и в самую стихию речи людей изображаемой эпохи. Уверенный в этом, Островский посвятил много лет изучению одной эпохи жизни русского общества — XVII столетию. С историко-филологической наукой его времени Островского связывала особенная его заинтересованность в «народной истории», в проблеме массовой психологии и исторических судеб целых социумов. Спецификой его подхода к прошлому было то, что жизнь Руси рисовалась ему как жизнь городов.

В отличие от большинства современных ему русских писателей, Островский видел Россию не как страну деревень и усадеб, а как страну древней, исконной городской культуры. Этот взгляд отличал его и от большинства ученых-этнографов его времени.³² Обращению к жанру исторической драматургии сопутствовали изменения в художественной системе писателя. На смену бытовой драме, разыгрывающейся в четырех стенах, в замкнутых купеческих семьях, в узком кругу родственников, пришли пьесы о судьбах городов, диалоги сменились «толками» толпы. Уже в «Грозе» нашли свое выражение признаки этого нового стиля пьес Островского.

В хронике «Воевода», как и в «Минине», Волга, ее берега становятся не фоном, а активно воздействующей на судьбы героев средой. Такое значение обстановки действия в драме было художественной новизной. В этих художественных открытиях Островского ощущается сродство с идеями науки его времени, которая придавала исключительно большое значение «природному» фактору в жизни общества, в формировании его национальных и культурно-исторических особенностей.

Главным «персонажем» хроник Островского является народная толпа, которая типична, как может быть типичен герой, — ей дается четкая социальная, историческая и этническая характеристика. Нижегородцы

³⁰ См.: Тэн Ип. 1) *Философия искусства*. М., 1933. С. 3, 6; 2) О методике критики и об истории литературы. СПб., 1896. С. 3.

³¹ *Островский А. Н.* Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 10. С. 554. Характерной иллюстрацией к этому утверждению Островского является рассказ С. В. Максимовича в его воспоминаниях о споре А. Н. Островского и Н. И. Костомарова о русско-польской дипломатии XVII века: «Соревнование художника-драматурга с художником-историком действительно было полно интереса и увлекательности» (А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 122—123).

³² Современный исследователь отмечает, что взгляд на народную Россию как крестьянскую по преимуществу был распространен в этнографической науке второй половины XIX века: «Если в работах зачинателей русской этнографии и в особенности после Отечественной войны 1812 г. использовались материалы не только о сельском, но и о городском населении, то в 60—70-х годах XIX в. носителем национальных традиций стали считать только крестьянство...» (*Рабинович М. Г.* Очерки этнографии русского феодального города. М., 1978. С. 3).

предприимчивы, решительны, инициативны. Это люди промышленные и торговые, мастеровитые и независимые, привыкшие многие дела делать сообща. Волга, главная водная артерия России, природа Поволжья, богатство и простор края и большой многолюдный город порождают характеры отдельных героев и массы горожан.

Представление Островского о России как стране древней городской культуры, для которой рост городов — органический процесс, опиралось на обширные его познания в области истории и было его самостоятельным выводом из личных наблюдений и ученых занятий.

Когда появилась работа А. П. Щапова «Великорусские области и Смутное время (1606—1613)», А. Григорьев усмотрел в ней «начало фактического оправдания всего того, что думает о Руси и ее истории Островский».³³ Идея значения городской культуры для развития Руси как государства постепенно проникала в историческую науку и утверждалась в ней. Историк Д. Я. Самоквасов в 1873 году ссылаясь на известный факт, что скандинавы называли Русь «garda riki» — «страна городов», и объяснял этот факт значением городов в древней Руси.³⁴

Говоря о древней Руси (главным образом с VIII по XII век), В. О. Ключевский утверждает, что в каждой ее земле «политическим и хозяйственным центром является большой торговый город, первый устроитель и руководитель ее политического быта... Это Русь Днепровская, городова, торговая».³⁵

Таким образом, основополагающий мотив творчества Островского — изображение быта русских городов как характерного выражения исторически сложившейся цивилизации русского народа — опирался как на личный жизненный опыт писателя — городского жителя, москвича, считавшего себя выходцем из Костромы (по происхождению отца), как на плоды его самостоятельных научных занятий в области этнографии, краеведения, истории и языкознания, так и на достижения науки его времени.

4

А. Н. Пыпин видел капитальную заслугу Ф. И. Буслаева в том, что в дополнение к социальным теориям, выдвинутым прогрессивными мыслителями эпохи (подразумевается, в частности, Чернышевский), он установил новое отношение к народной старине и поэзии, открыв путь к проникновению «в смысл его преданий и душевных тайн его поэзии».³⁶

Ф. И. Буслаев, чьи труды по фольклору и языку составляют нерасторжимое единство, утверждал, что язык «является сокровищницей верований и преданий, им запечатленных в памяти народа».³⁷ Началом народности, краеугольным камнем культуры, хранящим на себе отпечаток всей истории ее развития, является, по Буслаеву, язык. Эти взгляды Буслаева встречали сочувствие и поддержку другого крупнейшего фольклориста — А. Н. Афанасьева, который утверждал, что слово, природа языка, его законы определили возникновение раннего мировоззрения народа, мифологических представлений.

³³ Письмо А. Григорьева Н. Н. Страхову от 21 декабря 1861 г. (А. А. Григорьев: Материалы для биографии. Пг., 1917. С. 289).

³⁴ Самоквасов Д. Я. Древние города России. СПб., 1873. С. 91.

³⁵ Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I // Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1987. Т. 1. С. 51.

³⁶ Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 2. С. 86.

³⁷ Буслаев Ф. О влиянии христианства на славянский язык. М., 1848. С. 10.

Островский был тем писателем, который сделал народный язык, его метафорическую природу, его традиционные, прочно сложившиеся особенности и бурное насыщение его новациями в периоды социальных сдвигов, в частности в современную писателю эпоху, главным средством характеристики состояния народа и воссоздания его истории.

В этом он был несомненным союзником фольклористов, способствовавших осознанию обществом значения национальной языковой культуры и воспитывавших чувство любви к ней. Разделяя некоторые научные идеи Буслаева и Афанасьева и не столько следуя им в методологическом отношении, сколько живо чувствуя поэтическое зерно их теорий, Островский создал пьесу, в которой попытался по произведениям современных фольклорных жанров, прежде всего сказки, «реставрировать» древнюю мифологию славян.

В «весенней сказке» «Снегурочка» (1873) мифологический сюжет реализовался на фоне этнографической картины древнего славянского быта. Быт этот был воссоздан на основе фольклора широкого спектра: легенд, лирических, игровых песен, игр, обрядов земледельческого календаря, заговоров, народных сатирических и пародийных представлений, а прежде всего народного языка, древность которого была мастерски стилизована.

История сближалась и смыкалась со сказкой. Обобщающие обширный материал теории русских и зарубежных фольклористов открыли новые исторические горизонты перед осмыслявшими прошлое современниками Островского. Пределы истории раздвинулись. В доисторическом тумане обнаруживались древнейшие общества со своей социальной структурой, с целым миром космогонических, религиозных и нравственных представлений, с началами эстетического творчества, пронизывающего религиозные обряды и самый быт.

Поэзия этого научного «прорыва» вдохновила не только Островского, но и других художников его времени в России и Европе. «Снегурочка» занимает видное место — как одно из наиболее ранних и значительных проявлений нового направления художественной мысли эпохи — в ряду опытов «исторического мифологизма».

Русские ученые трактовали проблемы народного творчества в соответствии с филологическими теориями своего времени. Фольклор они рассматривали на широком фоне мировой культуры. Исторические материалы, закономерности языка, бытовой обиход народов, религия и ее обряды анализировались ими синтетически. Их концепции строились на многообразном сравнительно-историческом материале. Эволюция языка связывалась с развитием религиозных и космогонических представлений народа, художественное творчество человека ученые объясняли его бытом и материальным производством. Древнейшая история народа сопоставлялась с бытом других народов на его ранних стадиях. Истоком мирового развития оказывалась «массовая» народная жизнь.

Островский хорошо знал труды А. Н. Афанасьева, был несомненно знаком с работами Ф. И. Буслаева; с Е. И. Забелиным его связывали общие интересы: Забелин был признанным знатоком старинного русского быта и истории Москвы. Следил Островский и за деятельностью теоретиков-фольклористов, и за публикациями собирателей устной народной поэзии.³⁸

³⁸ См.: Ревякин А. И. Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского. М., 1962. С. 433–436.

Гипотезы ученых-мифологов, делавших на основании своих обстоятельных исследований выводы об укладе жизни славян и их предков в глубокой древности, об их языческих культах, стимулировали его воображение. Глубокое самостоятельное осмысление этих проблем, сложившаяся в сознании драматурга живая картина быта древних, «доисторических» поселений славян нашли свое отражение в «Снегурочке».

Опираясь на труды ученых своего времени, на собственное изучение фольклора и этнографические наблюдения, но главное, на свою художественную интуицию, Островский восстанавливает с тонким пониманием природы мифологического мышления религию и мировосприятие людей, живших в «доисторическое» время. Жители Берендеева царства в пьесе Островского поклоняются богу Солнца — Яриле, подателю летнего тепла и плодородия. Они обожествляют Весну и празднуют ее победу над зимним холодом. Зиму, несущую стужу, омертвление природы, они воспринимают как враждебную людям могущественную силу.

Древняя мифология заключала в себе в нерасчлененном виде космогонию, описание мироздания и предписание законов поведения народа и человека. Мифология «упорядочивала» хаос окружающего человека мира, по-своему объясняла зависимость человека от природы, его «подчиненность» ее законам.

Мифологическое мышление стремится при помощи магических ритуальных средств поддержать природный и социальный порядок.³⁹ Рисуя древний мир и его эпическую покорность заведенному порядку, Островский видит и черты архаической жестокости в нем, и залогов его разрушения. Драматург хотел, например, насколько это возможно и допустимо, подчеркнуть эротическое, «оргийное» начало праздника Ярилы. А. Н. Афанасьев говорит о «буйных, нецеломудренных игрищах» и «бестудии народных игрищ в честь Ярилы».⁴⁰ За ритуалами «светлого мира» язычества, за его смягченными более поздними обрядами кроются архаические и жестокие обычаи (человеческое жертвоприношение «палящему богу»). Сказка о Снегурочке, которую положил в основу сюжета своей пьесы Островский, в вариантах, зафиксированных в многочисленных записях, отражает древний ритуал принесения весенним богам в жертву девушки (по одному варианту Снегурочку заводят в лес и там бросают, по другому — она тает, прыгая во время праздника Ивана Купалы через костер).⁴¹ Своеобразной жертвой огненному богу Солнца и в пьесе Островского является Снегурочка.

Почему Островский сделал именно Ярилу богом, которому поклоняются берендеи?

Драматургу приходилось наблюдать сохранившиеся еще до его времени остатки культа Ярилы. В дневнике за 1867 год имеется запись: «Воскресенье (Ярилин день)».⁴² Островский в этот день присутствовал на народном гулянье в Ярилиной долине, записывал песни.⁴³ Жители окружав-

³⁹ См.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 74. Совмещение положения князя, вождя и жреческих функций — обычное явление в древних обществах. См.: Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1987. С. 295.

⁴⁰ Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1856. Т. 1. С. 446, 798. Ср.: Терещенко А. Быт русского народа. СПб., 1848. Ч. 6. С. 142.

⁴¹ Современный исследователь отмечает, что «для архаических земледельческих обществ» характерен ритуал «принесения в жертву девушки (первая умершая превращается в злаки, дает жизнь растительности)» (Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 203).

⁴² Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 10. С. 404.

⁴³ См.: Часовников А. В усадьбе драматурга // А. Н. Островский: 1823—1948. Кострома, 1948. С. 58—59.

ших имене Островского Щельково деревень отмечали, очевидно, день Ярилы во время Троицы. Обряды, связанные с культом Ярилы, сохранились в быту населения Костромы и Костромской губернии. В Костроме совершали обряд похорон куклы Ярилы как умирающего и воскресающего бога. Гулянья в честь Ярилы происходили в Ярилиной роще под Кинешмой (город, наиболее близкий к Щелькову), на Яриловом поле возле Чухломы и т. д.

В трудах современных Островскому ученых, в первую очередь Афанасьева, характеризовали бога Ярилу исходя из анализа имени этого божества и сопоставления его со сходными именами богов других народов и функциями этих богов.

В. И. Даль, который предоставил Афанасьеву немало фольклорных и лингвистических материалов, в частности записей сказок, в своем «Толковом словаре» дал объяснение особенностей «древнего славянского бога» Ярилы среди толкований слова «ярый»: «Ярый, огненный, пылкий, сердитый, злой, лютый, горячий, запальчивый, крепкий, сильный, жестокий, резкий... белый, блестящий, яркий, горячий, похотливый».⁴⁴ Афанасьев развивал те же идеи, что и Даль, выводя характеристику бога Ярилы из сравнительного анализа слов «яровистый», «ярый», «разъяренный» и дополняя оттенки смысла слов и характеристику Ярилы, которую предложил Даль: «Раздраженный, неукротимый, серб. жаритисе — гневаться... прийти в гнев, разжечь в ком ненависть, желание мести...» и т. д.⁴⁵

Подобные объяснения, очевидно, и побудили Островского дать богу берендеев имя Ярило, уже в самом своем звучании содержащее ту характеристику, которая затем получает свое выражение в сказочно-мифологическом сюжете пьесы и в реально-историческом плане изображения в ней быта и верований древнего славянского племени.

В «Снегурочке», как и в других, более ранних произведениях Островского, его участие в исследовании народности сказалось в его умении, согласуя с научным подходом к языку свое замечательное художественное чутье, проникнуть в суть особенностей современного языка, выделить архаические элементы народной речи и осмыслить их как источник исторической информации. В фольклоре, эстетическое богатство которого он остро чувствовал, он в то же время видел неиссякаемый источник познания, живой поток, несущий современным людям вести о верованиях, искусстве и самой жизни их далеких предков. Фольклор и язык были для него звеньями, связующими художественное сознание и культуру прошлого и современности.

В этом комплексе научно-художественных воззрений Островский особенно ощутимо сближался с историко-филологической наукой своего времени. В его отношении к языку как истоку культуры и источнику сведений о ней несомненна общность с воззрениями на этот счет А. Н. Афанасьева. Вместе с тем его эстетический подход к языку и фольклору несомненно сродни взглядам Ф. И. Буслаева и А. Н. Веселовского. Последний искал в истории культуры ответа на вопрос о художественной природе фольклора, о его поэтике, стремился объяснить феномен искусства, проникнуть в его исторические корни, «извлечь сущность поэзии из ее истории».⁴⁶

⁴⁴ Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 4. С. 679—680. Первое издание словаря Даля вышло в 1863—1866 годах.

⁴⁵ Афанасьев А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 440, 443.

⁴⁶ Веселовский А. Н. Указ. соч. С. 54.

С Веселовским Островского сближала и широта его взгляда на пути научного познания бытия народа. Его не привлекала в целом ни одна из школ историко-филологической науки. Вдохновившись поэтической стороной мифологической школы, Островский сумел избежать крайностей воззрений ее представителей, сводивших все древние верования к «небесному мифу», обожествлению сексуальной силы человека и плодородия земли. В «Снегурочке», воссоздавая быт древней славянской цивилизации, он дополнял выводы науки о том, *что было* в глубокой древности, изображением того, *как это было*, и здесь сказывалась специфика его «драматического» мироощущения. Жизнь для него во все времена была исполнена конфликтов и движения. И в древнем, «устойчивом», покоившемся на вековых традициях и уходящих в даль времен верованиях мире драматический конфликт нарушает «незыблемый» порядок. Неординарные, «особенные» люди, наделенные слишком щедро способностью любить, чувствовать, красотой, силой, неизбежно вступают в конфликт со средой. Сначала они воспринимаются ею как чудо, затем как «уродство», источник нарушения заведенного порядка. Они обречены на гибель во имя сохранения «рутинных» форм жизни. В этом отношении судьба Снегурочки похожа на участь Катерины в «Грозе».

Основополагающая идея культурно-исторической школы — мысль о закономерности и прогрессивности смены культурных эпох и соответствующего им социально-бытового уклада — легла в основу сюжета праздничной пьесы Островского «Комик XVII столетия» (1873), посвященной 100-летию организации театра в России. Это событие изображается в пьесе на фоне реального, ежедневного бытия людей эпохи, не всегда понимающих или принимающих совершающиеся перемены, не сразу осознающих, что началась большая ломка привычных понятий и обычаев. Первые представления придворного театра даются по случаю праздников в ознаменование рождения царевича Петра. Это историческое событие предвещает новый, более резкий слом старины, которого не предвидят герои пьесы, но неизбежность которого известна ее зрителям.

Предшествовавшая организация театра в России, многовековая народно-балаганная, скоморошеская традиция «лицедейства» подготавливает почву для усвоения нового явления культуры, но и усложняет процесс усвоения, создавая прочную «привычку» осуждения такого развлечения, восприятия его как греховного и низкого.

Конечно, в данной пьесе драматург не мог совсем обойти интересовавший его и его современников-историков вопрос о происхождении, поэтике и эстетическом своеобразии театрального искусства. Так, здесь изображаются бытовые эпизоды, дающие материал для выводов о взаимодействии драматургических жанров в процессе становления театра, о соотношении высокой трагедии и народной комедии-фарса. Этим комплексом проблем много занимался А. Н. Веселовский. В «Исторической поэтике», подводя итог своим исследованиям народных корней европейского театра, значения религиозных сюжетов как основы трагедийных действий и соотношения высокой комедии и фарса, он, в частности, утверждал: «Вышедшая из культа трагедия подняла комедию из бытового шаржа в мир художественных обобщений».⁴⁷

Все исторические хроники Островского объединяются общим характером: они рисуют историческую действительность, как бы непосредственно увиденную из толпы народа.

⁴⁷ Там же. С. 316.

А. Н. Пыпин писал о значении исторической науки своего времени: «Особенною заслугой новейшей историографии было стремление раскрыть народную сторону истории — роль народа, его сил и характера, в создании государства — и судьбу народа в новейшем государстве... Больше, чем когда-нибудь, историческая пытливость обращалась к тем эпохам и явлениям истории, где высказывалась деятельная роль народа».⁴⁸ Перечисляя эти эпохи, Пыпин в числе других называет и «междоцарствие», время «народных волнений» XVII века, т. е. ту эпоху, которой Островский замался по существу всю жизнь.

Островский как художник раскрывал «народную сторону истории» своими средствами, но познавал ее путем упорных, длительных изучений исторических материалов, фольклора, источников, научной литературы, широко пользуясь научной методикой.

Следует сказать, что в этом отношении он не составляет исключения в русской реалистической литературе XIX века, хотя и представляет наиболее сознательно сблившийся с наукой ее «отряд».

5

Русская историко-филологическая наука вызрела в лоне художественной литературы, была ее детищем. Пушкин сочетал поэтическое творчество с научными разысканиями, особенный интерес проявлял к переломным эпохам и истории народных движений.

Следуя за Карамзиным, он все более погружался в изучение документов, однако считал необходимым собирать и фиксировать также «живые свидетельства», рассказы непосредственных участников исторических событий, людей, вольно или невольно причастных к ним. В собирании материалов о движении Пугачева на Урале ему оказал содействие В. И. Даль. Впоследствии Даль в своей многообразной и разносторонней деятельности воплотил принцип сближения и взаимного обогащения художественного творчества и научных историко-филологических исследований.

Даль охотно делился с молодыми литераторами своими богатыми наблюдениями и материалами, побуждая их собирать, хранить и изучать сокровища устного народного творчества и языка. Вместе с тем ученых, историков и фольклористов, хорошо знавших реальную жизнь народа, он вовлекал в литературу, советуя им испытать свои силы в художественном творчестве. Так, наблюдательный, «бывалый» чиновник П. И. Мельников, зарекомендовавший себя как ученый-историк и этнограф, стал под влиянием В. И. Даля писать повести и рассказы, которые, будучи опубликованы под псевдонимом «Андрей Печерский», принесли своему автору большую популярность. П. В. Анненков, который ценил Даля прежде всего как «известного этнографа», хотя и «по ремеслу писателя»,⁴⁹ считал, что этот литератор явился главой целой школы беллетристики, к которой относил А. А. Потехина, А. Ф. Писемского и ряд других писателей.⁵⁰ В числе этих писателей Анненков называет и Мельникова (Печерского), рассматривая его в эту пору, в начале 1850-х годов, только как очеркиста, изображающего быт в стиле этнографизма.

⁴⁸ Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. 2. С. 171.

⁴⁹ Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 375.

⁵⁰ См.: Анненков П. В. По поводу романов и рассказов из простонародного быта // Современник. 1854. № 2. Отд. III. С. 53—61.

Мельников-Печерский как ученый-этнограф, историк и краевед в своих исследованиях работал в духе формирующейся историко-культурной школы. Начав с обличительных «департаментских» анекдотов, он в эпоху подготовки реформы написал две повести, в которых воссоздал образ исторической эпохи расцвета крепостничества, — «Старые годы» (1857) и «Бабушкины рассказы» (1858). Ставя перед собою историко-культурную задачу воссоздания исторически сложившегося комплекса быта, нравов и понятий общества XVIII века, Мельников-Печерский имитировал документальную достоверность анекдотов, из которых сформирован сюжет обеих повестей.

В дальнейшем, создавая свою эпопею из двух романов «В лесах» (1871—1874) и «На горах» (1875—1881), писатель воплотил более сложный литературный замысел, потребовавший от него использования обширных этнографических, фольклорных и исторических материалов.

Происшествия частной жизни героев включены в «неофициальную», во многом скрытую, подспудную историю народа, герои с их характерами, семейными и деловыми отношениями участвуют в социальных процессах, происходящих в стране (в частности, в развитии промышленности и торговли, в распространении просвещения, в сложных взаимоотношениях старообрядческой среды с администрацией и официальной церковью). За современным благополучием героев-старообрядцев, их тайных монастырей-скитов стоит многовековая борьба за существование — с многочисленными поражениями, потерями и частичными победами, преступлениями (подкупами администрации) и подвигами в отстаивании своей веры.

Роман становится своеобразным «компендиумом» знаний о народной жизни: традиционные календарные праздники, уклад быта патриархального купца, смотрины, свадебные и похоронные обряды, национальный костюм и народная кухня, устройство тайных старообрядческих монастырей-скитов, внутренний распорядок их быта и внешние связи, отношение к религии в народной среде (религия простых людей и богатых хранителей «древлего благочестия») — все эти стороны жизни русского населения Поволжья находят свое отражение в романах Мельникова-Печерского. В действительные романы органически включены легенды, песни, плачи и даже обширные сведения из области народной медицины, рассказы о травах и их целебных свойствах, почерпнутые из «травников», которые как литературный и исторический источник изучал и описывал Буслаев.⁵¹

Не меньшее значение имеет в романах «В лесах» и «На горах» социальная характеристика жизни волжан: пути составления капиталов, способы и приемы ведения торговли, взаимоотношения хозяев и работников, «лесных», деревенских и городских жителей, бурлаков и судовладельцев. На этих сюжетных уровнях Мельников-Печерский обнаруживает себя как большой знаток этнографии и фольклора, последователь культурно-исторической школы.⁵²

Иная «теоретическая» основа питает линию романа, которая дает истолкование взаимоотношений человека и природы. Стихия природы и вечная, порождаемая ею стихия человеческих чувств, вторгающаяся в строгий чин патриархального семейного быта и вносящая в его религиозно-аскетическую строгость свои непредсказуемые «возмущения» и бури,

⁵¹ См.: Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 2. С. 33.

⁵² Разыскания о Мельникове-Печерском как этнографе, исследователе и собирателе фольклора см. в кн.: Соколова В. Ф. П. И. Мельников (Андрей Печерский): Очерк жизни и творчества. Горький, 1981.

в эпопее Мельникова-Печерского характеризуется через поэтические образы, заимствованные из древней мифологии, реставрированной Афанасьевым в его труде «Поэтические воззрения славян на природу».⁵³

Двоеверие — явление, привлекавшее внимание ученых-фольклористов и получившее свое глубокое истолкование в трудах Веселовского,⁵⁴ — выступает в романах Мельникова-Печерского как отражение в религии народа вечно противоборствующих начал жизни — страстей и самоограничения, строгой духовной дисциплины, особенно сильной в среде набожных старообрядцев.

Следует отметить, что писатели обратились к мифологическим сюжетам и к поэтическому истолкованию мифологии в годы, когда научная фольклористика, подвергнув критике одностороннее увлечение теорией «небесных мифов» как основы всего мировоззрения древнего человека, укрепила широкий интерес к разнообразным проявлениям культуры древнейших периодов национальной жизни, к фольклору. Последняя тенденция оказала особенно осязаемое воздействие на искусство. Не только поэты, драматурги и романисты, но и живописцы и композиторы черпали из научных теорий фольклористов-мифологов импульсы для художественного творчества.

В романах Мельникова-Печерского мифологические образы выражают мысль о том, что человек подвластен велениям природы, не может им противостоять и постигнуть смысл сил, которые им владеют. Так в эпопее Печерского возникает мотив власти могущественного языческого бога Ярилы, одолевающего все запреты и побуждающего грешить набожных, воспитанных в канонах «древлего благочестия» молодых людей. Этот мотив, а также простота, психологическая однозначность героев, которые характеризуются при помощи своего рода постоянных эпитетов, говорят стереотипными формулами, наделяются «этикетными» жестами, придают обоим романам особую стилистическую окраску. Поэтически-возвышенная эпопея временами переходит в трезвое «исследование» экономического и социального быта целого края, а затем снова «переключается» в русло романтической идеализации. Стиль таких многочисленных ее эпизодов предвещает «вспышку» романтических тенденций в литературе конца XIX—начала XX века.

А. Ф. Писемский, как и Мельников-Печерский, в начале своей литературной карьеры близкий к кружку молодой редакции «Москвитянина» и не избежавший влияния А. Н. Островского, может быть с достаточным основанием противопоставлен автору романов «В лесах» и «На горах» — как создатель художественной системы, исключавшей романтическую идеализацию изображаемого. Современники нередко отзывались о нем как о писателе без идеала. Чернышевский считал, что «в таланте... Писемского отсутствие лиризма составляет самую резкую черту».⁵⁵

Стремление Писемского к точности, сближающей его художественные произведения с популярным в 1850-х годах жанром «рассказов очевидца», мемуаров из недалекого прошлого, стилизаций, в духе которого

⁵³ Вопрос о книжных источниках фольклоризма романа Мельникова-Печерского «В лесах», особенно об использовании писателем трудов А. Н. Афанасьева, тщательно рассмотрен в статье: *Виноградов Г. С.* Фольклорные источники романа Мельникова-Печерского «В лесах» // Мельников П. И. (Андрей Печерский). В лесах. М., 1936. С. VIII—LXVII. О фольклорных источниках романа см. также: *Чистов К. В.* 1) П. И. Мельников (Печерский) и И. А. Федосова // *Славянский фольклор.* М., 1972. С. 312—317; 2) Ирина Федосова. Петрозаводск, 1988. С. 6—7.

⁵⁴ См.: *Горский И. К.* Указ. соч. С. 273—274.

⁵⁵ *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 4. С. 570.

творил и Мельников-Печерский, ощущалось в «народных рассказах» и повестях Писемского, но еще более в его исторических драмах и романах. Здесь в полной мере обнаруживается воздействие на писателя трудов и документальных публикаций ученых — представителей культурно-исторической школы.

Интерпретация Писемского исторической темы особенно тесно связана с деятельностью А. Н. Пыпина, его трудами. В романах «Люди сороковых годов» (1869) и «Масоны» (1878—1880) Писемский пытается воссоздать целые эпохи русской жизни через типы людей, их быт и идеи времени, которыми они охвачены. При этом «идеи времени» даются им в сниженном варианте, «расхожем», подчас и обывательском их преломлении. В его романах связь времен трактуется нередко как выражение идущей через десятилетия идейно-нравственной преемственности порядочных, интеллигентных, одухотворенных людей и их борьбы против своекорыстных и агрессивных интриганов.

Масоны первых десятилетий XIX века, усвоившие нравственные принципы и независимость суждений просветителей XVIII столетия, передают идеалы гуманности и высокое понятие чести людям сороковых годов, отвлеченным, но бескорыстным идеалистам. Эта несложная историко-культурная концепция объединяет два монументальных романа Писемского — «Люди сороковых годов» и «Масоны». Писатель относится скептически к идеям своих героев. Он не придает им особого значения, видя историческую заслугу носителей прогрессивных идей эпохи в сохранении определенного нравственного уровня общества, этического градуса в нем. Благородных «идеалистов»-мечтателей в этом смысле Писемский противопоставляет и жадным потребителям материальных благ, и радикалам-экстремистам.

История общественной мысли, движение эпохальных идей были предметом неумолимого изучения Пыпина, создавшего ряд обобщающих трудов, посвященных этому предмету. Эти работы имели большое значение для осмысления русским обществом истории XVIII и начала XIX века, духовных исканий, проходивших на фоне крепостного права и борьбы с ним.

В драме «Самоуправцы» (1865—1867) Писемский основал конфликт на столкновении представителей двух исторических эпох: деятелей «екатерининского» века — сурового, закаленного в боях, честного, но жестокого «екатерининского орла» генерал-аншефа князя Платона Имшина, его брата, «искавшего счастья» при дворе, дипломата-карьериста Сергея Имшина — и молодого «гатчинского офицера» Рыкова — человека нового, «павловского» времени. Трагические события, изображенные в пьесе, происходят на «сломе» исторических периодов, в обстановке расцвета крепостного права, самоуправства знатных, богатых вельмож, лихих авантюров армейских офицеров и постоянно тлеющего недовольства крестьян. Писемский пользуется трудами историков, пересматривавших официальную версию, согласно которой Павел I противопоставлялся, как сумасброд и тиран, гуманным просвещенным монархам Екатерине II и Александру I. Окружавшие Павла I офицеры из незнатных и небогатых семейств надеялись, что новый государь, ненавидящий фаворитов матери, развращенных ее покровительством, установит порядок в стране и уймет неограниченное самоуправство вельмож.

Конкретное, основанное на изучении исторических материалов изображение общественной обстановки, эпохи, типов людей, их убеждений делает эту драму Писемского его лучшим произведением на историческую тему.

Цикл историко-филологических исследований в трудах ученых XIX века предстал в нерасчлененном, неспециализированном виде. Буслаев, Афанасьев, Тихонравов, Веселовский, Пыпин выступали и как историки, и как фольклористы, и как исследователи литературного процесса. Взаимодействие науки и литературы тоже носило комплексный характер. Разные писатели и целые направления литературы в зависимости от художественных интересов и самого их творческого метода сближались с той или иной школой историко-филологической науки.

Как выше отмечалось, важнейшей сферой науки этого периода, получившей большое развитие и вызвавшей особенно сильный общественный резонанс, было собирание фольклора и публикация фольклорных текстов. В эту работу включился широкий круг литераторов. Ряд писателей-фольклористов, принявших участие в собирании и публикации материалов устного народного творчества, был связан с литературным движением 40-х годов, с участием в кружке молодой редакции «Москвитянина» и в литературной экспедиции 1856—1857 годов. Следующая генерация очеркистов-этнографов, произведения которых появились в конце 1850-х—начале 1860-х годов, была органически связана с демократической, разноточинной литературой, «шестидесятничеством». Беллетристические очерки писателей, изучавших народный быт, в равной мере принадлежали как художественной литературе, так и этнографической науке.⁵⁶

Для расширения представления о народе и его искусстве, а также и для обогащения содержания и стилистических красок реалистической литературы большое значение имело появление таких фундаментальных фольклорных публикаций, как «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева (1855—1863), вып. 1—8, «Великорусские сказки» И. А. Худякова (1860—1862), вып. 1—3, сборники былин, записанных П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом, и др. Исключительно живой отклик в обществе и в среде литераторов вызывали те издания, которые проливали свет на духовную самостоятельность, независимые и самобытные нравственные искания народа. Публикации духовных стихов, изучением которых занимался Буслаев, появление в «Памятниках старинной русской литературы» под редакцией Н. Костомарова апокрифов и легенд, издание сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» — все это оказало заметное влияние на творчество великих русских писателей — Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова. Этот чрезвычайно сложный и интересный вопрос, изучение которого в нашем литературоведении активно ведется,⁵⁷ в данной статье рассматриваться не будет.

⁵⁶ Проблема развития очерка в свете его этнографизма, история участия писателей в трудах Российского географического общества и ряд других вопросов, связанных с этнографическим содержанием литературы, рассматриваются в диссертации В. Ф. Соколовой «Проблема этнографизма в русской художественной литературе 40—70-х годов XIX века» (Л., 1987; автореферат).

⁵⁷ Назовем несколько работ, в которых рассматриваются эти проблемы: *Зайденинур Э. Е.* 1) Народная песня и пословица в творчестве Л. Н. Толстого // Лев Николаевич Толстой. М., 1951. С. 511—576; 2) Работа Л. Н. Толстого над русскими былинами // Русский фольклор. М.; Л., 1960. Т. 5. С. 329—366; 3) Лев Толстой и русское народное творчество // Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 34—65; *Бурсов В. И.* Национальное своеобразие русской литературы. М.; Л., 1964. С. 49—50; *Куприянова Е. Н.* Эстетика Л. Н. Толстого. М.; Л., 1966. С. 240—249; *Ветловская В. Е.* 1) Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых»: «Житие Алексея человека божия» и духовный стих о нем // Достоевский и русские писатели. М., 1971. С. 325—354; 2) Достоевский и поэтический мир древней Руси (литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых») // ТОДРЛ. 1974. Т. 28. С. 296—307; 3) Творчество Достоевского в свете литературных и фольклорных параллелей: «Строительная жертва» // Миф—фольклор—литература. Л., 1978. С. 81—113;

* * *

Выборочное обследование части поистине необъятного материала, который должен быть привлечен для полного обзора явлений, отражающих взаимодействие художественной литературы и историко-филологической науки во второй половине XIX века, дает возможность сделать некоторые выводы. Прежде всего несомненно, что в этот период резко активизировался процесс взаимного влияния художественного творчества и научной мысли. Рост интереса к древним эпохам национальной культуры, стремление приобщиться к эстетическим ценностям народного искусства и художественного наследия средних веков, переоценить их значение нашли свое выражение и в подъеме исторической науки, и в развитии, обогащении содержания, стиля, самого метода художественной литературы.

Уже в первой половине XIX века литература в лице своих выдающихся представителей поставила перед собой задачу проникнуть в тайну исторического бытия нации, стихийных движений народа и в импульсы духовной жизни современного человека. Эти проблемы в числе других получили углубленное осмысление во второй половине века. Творческие искания, связанные с их интерпретацией, определяли кардинальные стороны литературного процесса.

Постоянное расширение и умножение знания жизни народа, сведений о ней, выявление существенных, устойчивых ее черт рассматривалось писателями-реалистами как условие осуществления литературой ее главной функции — инструмента самосознания общества.

Ученые, составлявшие цвет русской науки, воспитывались художественной литературой, влияние которой на умы было исключительно велико. Они усваивали вместе с умственным ростом пафос неуклонного стремления к расширению круга наблюдений и познания духовного наследия нации, материалов и сведений о быте народа, произведений, сохраненных народной средой и обществом, памятников старины и проявлений современной культуры. Задачи литературы и науки сближались. Их взаимное «притяжение» и обогащение можно проследить и в том, какие темы привлекают представителей этих двух сфер духовной деятельности, и в том, как видоизменяется и развивается методика научных исследований, с одной стороны, и художественный метод литературы — с другой.

Несомненно, например, что творчество Тургенева и Герцена явилось важнейшим стимулом развития историко-культурологических исследований и способствовало становлению и популяризации историко-культурной школы в литературоведении. Вместе с тем Тургенев в романе «Отцы и дети» обратил внимание на прямую связь мышления современного ученого-позитивиста с эпохальным характером «героя времени» — аналитика, рационалиста и политического радикала.

Л. Толстой, создавая свою грандиозную историко-философскую и психологическую эпопею «Война и мир», тщательно вникал в материалы, «добытые» историками и опубликованные ими.

Историки и филологи второй половины XIX века отличались широтой интересов и разнообразием научных занятий: фольклор, старинное искус-

4) Ф. М. Достоевский // Русская литература и фольклор (вторая половина XIX века). Л., 1982. С. 12—75; Лотман Л. М. 1) Романы Достоевского и русская легенда // Русская литература. 1972. № 2. С. 129—141; 2) Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974. С. 285—315; Михнюкевич В. А. Фольклор в «Бесах» Ф. М. Достоевского // Русская литература. 1991. № 4. С. 18—33; Сухачев Н. Л., Туниманов В. А. Развитие легенды у Лескова // Миф—Фольклор—литература. С. 114—136; Горелов А. А. Указ. соч.

ство и история, современная литература и древнейшие пласты культуры представлялись им единым объектом познания. Фольклорные тексты и памятники древнерусской литературы зачастую публиковались и комментировались одними и теми же учеными авторами и печатались не только в научных изданиях, но и в популярных журналах. Это способствовало тому, что произведения древней литературы воспринимались сквозь призму фольклоризма как образцы народного творчества, отражающие идеи и верования масс. Наряду с этим древние произведения включались в контекст современной литературы как живые эстетические явления, что повлияло на художественное мировоззрение эпохи, отразилось на художественных принципах реализма, видоизменило их.

Если ученые создавали концепции, долженствовавшие обобщить и истолковать обширный материал фактов истории и памятников культуры, то писатели пришли к новому, более сложному строю художественных ассоциаций, к сюжетам и образам, предполагавшим совмещение в сознании читателя преданности интересам современности и активной исторической памяти. Вторжение в современную реалистическую литературу большого числа древних текстов, их свежее эстетическое восприятие не было нейтральным по отношению к сложившейся, «устоявшейся» художественной системе. Оно повлекло за собою расширение проблематики литературы, ее этического содержания и образной системы. Эхо исторического художественного опыта, вековых проблем зазвучало в ней с беспрецедентной силой.

В трудах теоретиков мифологической школы было немало смелого полета фантазии. Они отражали пафос литературного увлечения народным бытом, этнографией и фольклором в художественных кружках Москвы начала 1850-х годов. Однако ученые разрабатывали научную методику, стремились к объективности в исследовании материала и к доказательности, придающей подлинную ценность теории. Они уходили от романтики к научной точности, литераторы же были увлечены более поэзией их теоретического поиска и богатством привлекаемого ими материала, чем строгой методикой, которая ими разрабатывалась.

Новое плодотворное направление мысли ученых, увидевших в языке, живой речи, в быте крестьянства и фольклоре неисощимый источник информации о древнем, «доисторическом» бытии народа, изменило самое отношение к истории. Прозреть за далью даль, заглянуть в неизвестный и как бы не существовавший еще недавно для знания мир предыстории народа казалось задачей более поэтической, чем научной.

В настоящей статье речь шла лишь о некоторых, хотя и весьма характерных, эпизодах взаимодействия историко-филологической науки и художественной литературы. Изучение этой проблемы во всех ее аспектах впереди.

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

© И. А. Доронченков

«ПОЗДНИЙ РОПОТ» ВЛАДИМИРА ВЕЙДЛЕ

Долгое время имя Владимира Васильевича Вейдле (1895—1979) было известно, главным образом, изучающим «серебряный век» филологам, исследователям общественной мысли русской эмиграции и слушателям радио «Свобода». В легальной советской печати оно практически не упоминалось, надо полагать, из-за того, что голос Вейдле звучал на враждебных волнах радиозэфира. Краткая литературная энциклопедия обошла молчанием первую в России (рискну сказать — одну из лучших по сей день) статью Вейдле о Марселе Прусте.¹ Пример этот не единствен, но характерен. В последние годы имя Вейдле регулярно появляется на страницах различных изданий, публикующих ранее недоступные произведения эмигрантов. В большинстве случаев дело, однако, ограничивается перепечаткой тех или иных эссе, собранных в послевоенных книгах «Задача России» (Нью-Йорк, 1956), «Безымянная страна» (Париж, 1968), «О поэтах и поэзии» (Париж, 1973).²

¹ Вейдле В. Марсель Пруст // Современный Запад. 1924. № 1 (5). С. 155—162; ср. КЛЭ. 1971. Т. 6. Стлб. 61. Если верить именному указателю, в этом издании имя Вейдле не упомянуто вовсе.

² Из очерка «Умерла Ахматова» // Ахматова А. После всего. М., 1989. С. 71—74; Из статьи «Три России» // Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989. С. 90; Поэзия Ходасевича / Предисл. и примеч. А. В. Лаврова // Рус. лит. 1989. № 2. С. 144—163; Умерла Ахматова // Лит. учеба. 1989. № 3. С. 158—161; Берег Искии // Лит. газ. 1990. 21 марта. № 12. С. 6; «Когда опомнится повеся и глупец...»; «Перед смертью, закрыв глаза...»; Похороны Блока; «Чего мне ждать еще, когда приходит сон...»; «В седые дни мой, бессилён и согбен...» / Предисл. и подгот. текста В. Перельмутера // Радуга, Таллинн, 1989. № 10. С. 47—49; О Блоке / Публ. и послесловие А. Маньковского // Наше наследие. 1990. № 6. С. 48—49; О любви к стихам // Лит. учеба. 1990. № 6. С. 146—151; Пастернак и модернизм // Лит. учеба. 1990. № 1. С. 156—163; Пикассиана / Предисл. и публикация А. Каретникова // Смена. 1990. № 8. С. 129—147; Похороны Блока; «Когда опомнится повеся и глупец...»; Стихи о стихах; «Зачем, рассудок беспокоя...»; Берег Искии / Публ. и вступит. ст. В. Молодякова // Простор, Алма-Ата, 1990. № 8. С. 133—137; Статьи о русской поэзии и культуре. [Разговор о бахвальстве; Петербургская поэтика] / Вступит. ст. и подгот. текста В. Перельмутера // Вопр. лит. 1990. № 7. С. 97—127; О. Мандельштам. Шум времени. Л.: Время, 1925 (Рец.) / Вступит. заметка и публикация К. Поливанова // Лит. обозрение. 1991. № 1. С. 57; Пушкин и Европа / Публикация и комментарий. М. Д. Филина // Рус. речь. 1991. № 3. С. 29—42; Россия и Запад / Предисл. к публ. Е. В. Барабанова // Вопр. философии. 1991. № 10. С. 58—71; Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. Глава IV. Умирание искусства / Примеч. В. В. Библихина и А. И. Фрумкиной // Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991. С. 268—292; Цветаева — до Елабуги / Послесл. Н. Поздняковой // Человек. 1991. № 4. С. 165—169; Из книги «О поэтах и поэзии» // Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 410—412; Критические заметки об истолковании стихотворений, по преимуществу касающиеся трудов Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотмана и К. Ф. Тарановского / Вступит. заметка Е. Сидорова // Вопр. лит. 1992. Вып. I. С. 284—323; Пора России снова стать Россией; Искусство при советской власти // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. М., 1994. Т. II. С. 354—358; 576—598; Берег Искии; К*** («Напрасно тень свою ты в зеркале искала...»); «Зачем, рассудок беспокоя...»; Стихи о стихах; Умирать надо в бедности. // Вернуться в Россию — стихами... 200 поэтов эмиграции. Антология / Составитель, автор предисловия, комментарий и биографич. сведений о поэтах В. Крейд. М., 1995. С. 121—123; (О М. Алданове) // Огонек. 1995. № 12. С. 66. Также см.: Вейдле В. Журнал «Русский современник». Франко-русские встречи / Публ. Р. Герра // Русский альманах. Зинаида Шаховская. Ренэ Герра. Евгений Терновский. Париж, 1981. С. 393—400 [в оглавлении: Вейдле В. Главы из воспоминаний];

Биография Вейдле, подобно жизни людей, посвятивших себя умственным трудам, небогата внешними событиями. Она в большей или меньшей степени отражена в опубликованных источниках.³ Вейдле родился 13 марта нового стиля 1895 года⁴ в Петербурге и сразу по рождении был усыновлен бездетной семьей крупного предпринимателя Вильгельма Генриха Людвиговича Вейдле. Тайна рождения, как это чаще случается в романах, была открыта юноше в день его семнадцатилетия, но и тогда, и потом он продолжал звать своих приемных родителей «отцом» и «матерью». С детства в его жизнь вошли языки, которые трудно назвать иностранными, когда думаешь о Вейдле, — семья говорила по-русски, благодаря бонне он усвоил немецкий, на котором затем и учился в Реформатском училище на Мойке. Еще в пору недолгой работы корректором иностранных языков в Oxford University Press он писал Л. В. Барановской: «Джонсы хвалят мое английское произношение, находят, что оно лучше, чем у Ростовцева, и удивляются, что за всю свою жизнь я провел в Англии только две недели; другое начальство, решив, что я знаю все языки, принесло мне сегодня для корректуры ни более, ни менее, как китайскую грамоту».⁵ В Париже Вейдле писал и говорил по-французски, работы по эстетике и теории искусства были созданы и опубликованы по-немецки, приходилось ему читать лекции по-английски (он скромно замечал, что говорит бегло, хотя и не совершенно⁶), регулярные путешествия в Италию, а затем и публикации в этой стране предполагали знание итальянского, в последние годы Вейдле проводил время отдыха в Испании, где приобрел небольшую квартиру на средиземноморском берегу в окрестностях Валенсии, — очевидно, что язык и этой страны не был для него чужим.

В 1912 году Вейдле и его приемная мать провели три месяца в Италии. Эта

Малмстад Дж. Цветаева в письмах. Из Бахметевского архива Колумбийского университета // Лит. обозрение. 1990. № 7. С. 104 [письма к В. В. Вейдле от 30 ноября 1936 года и 26 мая 1937 года]; Из писем Владимира Вейдле к Игорю Чиннову / Вступит. заметка Л. Миллер // Новый журнал, Нью-Йорк, 1991. Кн. 183. С. 364—370. Также: *Ходасевич В.* «Умирание искусства» (Рец.) // Новый мир. 1990. № 3. С. 180—182.

³ См., например: *Ульянов Н.* Забытый юбилей // Новое русское слово. 1966. 12 июня; *Иваск Ю.* 80-летие Владимира Васильевича Вейдле // Там же. 1975. 16 марта (в основе публикации — рукописная автобиография В. В. Вейдле, посланная Ю. П. Иваску 18 февраля 1975 года: Библиотека редких книг и рукописей Колумбийского университета, Нью-Йорк. Бахметевский архив. Фонд В. В. Вейдле. Коробка 38 (далее приводится номер коробки)); *Небольсин А.* Владимир Вейдле // Новый журнал. 1975. Кн. 118; *Бахрах А.* 1) Памяти В. В. Вейдле // Русская мысль. 1979. 16 авг. № 3269. С. 4; 2) Энциклопедист // Новое русское слово. 1979. 29 сент.; ср.: *Бахрах А.* По памяти, по записям... II / Публикация Г. Поляка // Новый журнал. 1992. Кн. 189. С. 352—355; *Струве Г.* Дневник читателя // Новое русское слово. 1979. 29 сент.; *Шмеган А.* Памяти Владимира Васильевича Вейдле (1893 [так]—1979) // Вестник РХД. 1979. № 129. III. С. 175—179; *Иваск Ю.* Владимир Васильевич Вейдле // Новый журнал. 1979. Кн. 136. С. 213—218; также см. некрологи: *Le Monde.* 1979. 9 août; *Le Figaro.* 1979. 5 août; *Les Nouvelles Littéraires.* 1979. 23—30 août. № 2700. О ранних годах жизни см.: *Вейдле В.* Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний. Вашингтон, 1976. Наиболее полный свод публикаций см.: Библиография русской зарубежной литературы, 1918—1968 / Сост. Л. А. Фостер. Boston, 1970. Т. 1. С. 322—327. Краткий очерк занятий Вейдле в области истории искусства см.: *Доронченков И. А.* Владимир Вейдле — русский искусствовед за рубежом (к столетию со дня рождения) // Проблемы развития зарубежного искусства. Тезисы. СПб., 1995 (СПб. гос. академ. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина). В печати.

⁴ В рукописной автобиографии, датированной 18 февраля 1975 года, Вейдле писал, что «родился в Петербурге 1/14 марта 1895 г.» (Кор. 38). Однако в XIX веке разница в юлианском и григорианском летоисчислении составляла двенадцать дней, следовательно, датой рождения по новому стилю нужно считать 13 марта.

⁵ Письмо В. В. Вейдле Л. В. Барановской от 30 сентября 1929 года (Кор. 8). Людмила Викторовна Барановская (1904—?) — вторая жена Вейдле. После революции жила с родителями в Финляндии, в поселке Райвола (Рошино), где прежде была дача семьи Вейдле, затем переехала в Париж. Первая супруга Вейдле оставалась в России, что долгое время препятствовало заключению нового официального брака.

⁶ Application for the Bowes Chair of Russian (University of Liverpool) [1949] (Кор. 38).

поездка накануне поступления в Санкт-Петербургский университет была не просто временем узнавания единственной в своем роде страны. Чувство, пробужденное Италией, Вейдле сам считал решающим для своего становления: «Первая [это была любовь] (...) и основная, воспитательница всех loves, узанных мною позже, и которых без нее не узнал бы я быть может никогда, — к странам, провинциям, городам, к очеловеченной природе, к воплощенной в очеловечении этом истории. Эрос такого рода захирел и выветривается теперь, но многим был свойствен в прошлом веке и в начале нашего века. Ему научила меня Италия. Если б я ее на пороге юности не встретил, не стал бы я тем, кем я стал».⁷

В 1912 году Вейдле поступил в университет на историко-филологический факультет и занимался там в семинаре И. М. Гревса (среди его участников был тогда В. Ф. Левинсон-Лессинг, впоследствии один из «столпов» Эрмитажа). Некоторое время после революции Вейдле работал в Перми и Томске, а в 1921 году возвратился в родной город. 10 августа он был среди тех, кто нес на Смоленское кладбище гроб Александра Блока. В эту же пору он начал выступать в печати. 1 января 1922 года датирован его отклик на статьи Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума о Блоке. Уже здесь, в наиболее раннем из известных мне сочинений, определилась позиция Вейдле — противостояние рационалистическому, формально-аналитическому подходу к явлениям искусства, которая сделала его впоследствии одним из наиболее серьезных критиков филологического структурализма.⁸

В начале 1920-х годов Вейдле стал преподавать историю зарубежного средневекового искусства в Петроградском университете. В 1922 году ему удалось съездить в командировку в Германию. В 1924 году он добился разрешения на новую поездку туда на шесть месяцев «для окончания работы по готическому искусству <...> за свой личный счет по поручению Ленинградского Университета».⁹ «В середине 24-го года, — вспоминал он впоследствии в одной из радиопередач, — когда я уехал из России, было всем, как и мне, совершенно ясно, что привязь эта (на которой оказалась печать после революции. — И. Д.) будет укорачиваться, что свободное слово и совсем будет загнано в собачью будку, не такую, как при Николае I-ом: гораздо более тесную, — оттого я из России и уехал».¹⁰ «Так называемую формальную свободу склонен я ценить даже и выше, чем реальную», — писал он немногим позже и пояснял, что прожил в Париже восемь лет, прежде чем снова смог увидеть Италию. Важно, однако, было сознание, что он волен поехать туда.¹¹

Вейдле поселился в Париже в октябре 1924 года после трехмесячного пребывания в Финляндии. Поначалу он занимался поденной журналистской работой, репетиторством, выступал с лекциями, зарабатывал как экскурсовод. Свободное время проводил в библиотеках, заполняя конспектами записные книжки, а летом путешествовал по Франции, изучая старинные города и храмы, — на пригородных поездках, пешком, подчас буквально стаптывая сапоги. Уже во второй половине 1920-х годов он приобрел репутацию критика строгого, но доброжелательного

⁷ Вейдле В. Зимнее солнце. С. 195—196.

⁸ «Нигде не выражено так ярко самодовольство теоретического человека, которому все безразлично, кроме слов и схем и придуманной им „точки зрения“» (Вейдле В. По поводу двух статей о Блоке // Завтра. Берлин, 1923. Вып. 1. Цит. по: Вейдле В. О Блоке / Публ. и предисл. А. Маньковского // Наше наследие. 1990. № 6. С. 48). Отклик Вейдле относится к изданию: Об Александре Блоке. Пг.: Картонный домик, 1921. Ср.: Вейдле В. Критические заметки об истолковании стихотворений, по преимуществу касающиеся трудов Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотмана и К. Ф. Тарановского // Новый журнал. 1974. Кн. 115, 116.

⁹ Отношение в Отдел Управления Ленинградского Совета от 21 мая 1924 г. № 5695А/5813/Н (Кор. 38). Поездка была разрешена на срок с 15 июня по 15 декабря 1924 года.

¹⁰ Скрипт передачи «Беседы Вейдле. 152. (Цикл) „О критике“». 2. После „Октября“». Рукопись. 1972 (Кор. 22).

¹¹ Русская мысль. 1975. 13 марта. № 3042. С. 7. Во время поездки в Германию в 1922 году Вейдле безуспешно пытался получить итальянскую визу.

(З. Гиппиус замечала, правда, что «так у него все без соли, что не проесть; по Евангелию „вон выбросить“...»¹²). В эту пору он сотрудничал в «Звене» (здесь его статьи и рецензии появлялись как под полным именем, так и под псевдонимом «Д. Лейс»¹³ или криптонимами «В. В.» и «Д. Л.»), в газетах «Дни», «Возрождение» (последнюю ему пришлось покинуть в начале 1930-х годов).

Русская колония жила в большой мере собою, своей культурой, своим прошлым, своими иллюзиями. К тому же русская эмиграция в целом логоцентрична, она в общем лишена реального интереса к пластическим искусствам, в особенности современному (такова тенденция, знающая, конечно, яркие исключения). Тем более что за рубежом оказались, в основном, мастера более или менее «консервативные», в то время как художники, мыслившие свое искусство в связи с развитием живописи последних пятидесяти лет, оставались в России. Вейдле же открывал соотечественникам современную культуру Запада. К примеру, несколько лет из недели в неделю он вел в «Звене» парижскую художественную хронику. Писал о Пикассо и Клее, о Сутине и Руо, о художниках недавнего прошлого. В 1932 году очерки эти составили сборник, который предполагалось издать под заглавием «Завтра и вчера. Книга о новой живописи».¹⁴ Сборник так и не вышел, но пристрастный и последовательный анализ в нем современной ситуации в художественном и литературном мире Европы стал основой главного труда Вейдле тридцатых годов — «Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества».¹⁵

Самое название книги говорит о ее направленности. На склоне лет Вейдле рассуждал: «Книгу мою <...> я назвал „Умирание искусства“. Если бы я желал проявить совершеннейшую объективность или безучастность к тому, о чем я в этой книге говорю, я мог бы ее назвать „Переосмысление искусства“, а если бы всякие предвидения захотел из нее изъять, о будущем не гадать, <...> тогда „Оскудение искусства“ было бы наилучшим заглавием для нее. Так я думаю теперь. Тогда мне эти другие заглавия и в голову не приходили. Я ведь об умирании искусства не просто рассуждал, я горевал о нем, горевал о начавшемся исчезновении того, что было мне дорого и что я называл, как и все до меня, искусством».¹⁶ Переведенная на многие языки, книга встала в ряд с произведениями, в основе которых стремление не просто оценить современное искусство, но и увидеть в нем симптомы состояния западной цивилизации, а также найти противоядие упадку и разложению двухтысячелетней эллинско-христианской культуры. Я имею в виду работы П. Клоделя, Т. С. Элиота, Х. Ортеги-и-Гассета. Эта книга включала Вейдле в традицию европейского культурного консерватизма. Без учета причастности к этому умственному движению трудно понять ригоризм его поздних произведений. Но у русского эмигранта, покинувшего страну, где осуществлялось «организованное упрощение культуры»,¹⁷ были и особые, коренящиеся в личном и национальном опыте, основания для такого рода позиции. Позднее Вейдле сознательно подчерк-

¹² Письмо Г. В. Адамовичу от 2 августа 1930 года // *Pachmuss T. Intellect and Idea in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippus. Munchen, 1972. P. 396.*

¹³ См. письма Г. П. Струве В. В. Вейдле от 28 октября 1965 года и 15 декабря 1973 года (Кор. 3). Вейдле писал также под псевдонимом «Н. Дашков».

¹⁴ Материалы к книге, главным образом уже опубликованные эссе, см.: Кор. 16.

¹⁵ Вейдле В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. Париж, 1937. (Издание Русского Студенческого Христианского движения в Эстии и газеты «Путь жизни». Петсери). Французское издание вышло годом раньше: *Weidlé W. Les abeilles d'Aristée. Paris, 1936.* Второе, переработанное и расширенное французское издание — 1954. Существуют переводы на немецкий, английский, испанский, итальянский и японский языки.

¹⁶ Вейдле В. Путь к переосмыслению искусства. Скрипт радиопередачи из цикла «Девять бесед об искусстве нашего века» (Кор. 22).

¹⁷ Название замечательной своим редукционистским энтузиазмом статьи М. Ю. Левидова, журналиста, впоследствии близкого к Лефу (Красная новь. 1923. № 1).

нул скрытую вначале от него самого родственность «Умирания искусства» русской мыслительной традиции.¹⁸ Отсюда, в частности, тот строгий счет, который он предъявлял — не всегда справедливо — современному Западу, его либеральной интеллигенции и осторожным прагматичным политикам. В сущности, сбережение, консервация западного мира, сохранение западных религиозных, культурных, общественных ценностей были для Вейдле не самоцелью, но последним залогом возможного возрождения России — через возвращение к этим ценностям.

Сочинения, подобные «Умиранию искусства», важнее скорее как диагноз или *historia morbi*, нежели как рецепт исцеления. Их позитивная программа слабее картины упадка, предстающей перед читателем. Книга заканчивается словами: «Страстная Суббота. Париж. 1935», которые равносильны возгласу «Чаю воскресения мертвых!»¹⁹ Вейдле связывал возможное возрождение искусства с насыщением его религиозным смыслом, религиозным отношением. Концепция эта, утопизм которой не мог быть, по-видимому, вовсе скрыт и от самого ее автора, диктовалась осознанным выбором — с 1932 года он преподавал историю церковного искусства в парижском Православном Богословском институте, тесно общаясь с его сотрудниками (Сергий Булгаков, которого Вейдле считал самым выдающимся из встреченных в жизни людей, был его духовным отцом²⁰), принимал участие в заседаниях Религиозно-философской академии. Не случайным было и обращение к эпохе крупнейшего культурного перелома, к творчеству первохристиан, в котором Вейдле увидел именно то, чего было лишено современное искусство, — устремленность к высшему смыслу, когда становятся несущественными чувственная красота и техническое мастерство: «...перерождение не могло совершиться до конца в пределах <...> последовательной смены вкусов или форм. (...) Дабы ожить и возродиться, искусству пришлось отречься от себя и окунуться, как в крещальную купель, в чистую стихию веры».²¹ Опираясь на этот принцип, Вейдле сформулировал свое решение проблемы религии и культуры, которому остался привержен всю жизнь: «...вера и религия <...> имеют право ничего не знать о

¹⁸ Ср.: Письмо В. В. Вейдле о. Александру (Шмеману?) от 22 февраля 1974 года (Жор. 7. С. 55 настоящей публикации). Ср.: «Вы сказали, что Ваши ПЧЕЛЫ (*Les abeilles d'Aristée*. — И. Д.) — Ваш русский ответ и приговор Западу... Это меня как-то осенило» (Письмо Ю. П. Иваска В. В. Вейдле от 26 октября 1965 года. Жор. 2). Помимо давней традиции русского «суда» над Западом, к которой примыкает, без сомнения, западник Вейдле, начало нового столетия принесло и традиции «русского суда» над современным искусством, выступающим знаменителем растления духа европейской цивилизации. Среди наиболее значительных примеров назову: *Бердяев Н. 1*) Пикассо // София. 1914. № 3; 2) Кризис искусства. М., 1918; *Булгаков С.* Труп красоты (По поводу картин Пикассо) // Русская мысль. 1915. № 8; *Муратов П.* Анти-искусство // Современные записки. 1924. Кн. 19; *Федотов Г.* Четверодневный Лазарь // Круг. Альманах [Кн. 1. Берлин. 1936]. О конкретных ранних проявлениях такого рода интерпретаций современного искусства см.: *Доронченков И. А.* Пикассо в России на рубеже 1910—20-х годов. К истории восприятия // Зарубежные художники и Россия. Сб. по учебно-методич. вопросам. СПб., 1991. Ч. II. (АХ СССР. Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина).

¹⁹ Причастность книги Вейдле русской традиции философствования о современном искусстве очевидна уже на уровне образности и словоупотребления. Ср. практически одновременный очерк Г. Федотова «Четверодневный Лазарь», а также эпиграф к статье С. Булгакова о Пикассо «„...Вижу в гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразну, безславну, не имущую вида...” (Из погребальных песнопений)» (*Булгаков С.* Указ. соч. С. 90. 2-я пагинация). В то же время французское название книги — «Пчелы Аристея» — акцентирует не столько смерть, сколько возрождение. Оно восходит к рассказу Вергилия о воскресших после искупительной жертвы пчелах Аристея, повинного в смерти Эвридики (Георгики. IV. 317—558).

²⁰ См.: *Вейдле В.* (Ответы на вопросы об о. Сергии Булгакове) // Вестник РСХД. 1971. № 101—102. III—IV. С. 61; *Иваск Ю.* Владимир Васильевич Вейдле. С. 213.

²¹ *Вейдле В.* Крещальная мистерия и раннехристианское искусство // Православная мысль, Париж. Вып. VI. 1948. С. 34; Также см.: *Вейдле В.* Перерождение античного искусства // Там же. Вып. V. 1947; *Weidle W.* The Baptism of Art. Notes on the Religion of the Catacomb Paintings. Westminster: Dacre press, [1950].

культуре, но (...) культура не имеет права ничего не знать о религии, особенно о той религии, которая ее породила и воспитала. Культура остается укорененной в религии и солидарной с ней, даже если носители ее, так называемые культурные люди, этого не знают или это отрицают».²²

Парижская литературная среда Вейдле еще нуждается в изучении. Ближайшим его другом был В. Ф. Ходасевич. В тридцатые годы Вейдле активно печатался в различных французских журналах. Круг его общения той поры можно лишь обозначить: католические мыслители Франции — Жак Маритен, Габриэль Марсель и др., Т. С. Элиот, способствовавший публикации Вейдле в Англии,²³ крупнейший искусствовед Бернард Беренсон, откликнувшийся на «Умирание искусства» словами: «...это практически та книга, которую я мог написать сам...»,²⁴ Генри Миллер, который «был молод, необыкновенно, с виду, малокровен, и разговаривал со мной отнюдь не о том, о чем писал, а все больше о суете земного бытия, о Боге и о Достоевском».²⁵

В тридцатые же годы, на страницах «Современных записок» и других изданий, Вейдле сформулировал свой взгляд на проблему культурных отношений России и Запада.²⁶ Он был убежден, что Россия, с момента крещения Владимиром, принадлежит европейскому миру, а потому ее отрыв от Европы болезнен для всего целостного западного организма и губителен для русской национальной культуры.

Вейдле воплощает то явление отечественного самосознания, которое следует назвать «новым русским западничеством». Оно плод столетнего спора западников и славянофилов, своего рода синтез двух позиций, родившийся отчасти в полемике с евразийством 1920-х годов. В основе «нового русского западничества» — представление о культурной целостности европейского мира, в который Россия входит изначально и, в конечном счете, непротиворечиво. Русские мыслители 1920—1930-х годов внесли свой вклад в формирование идеи единой Европы. Об этом уместно вспомнить сейчас, когда из культурологической модели она превращается в политическую реальность. «Это западничество, — писал Ю. Иваск о взглядах Вейдле, — не белинско-герценовское, а христианское, но включающее и античное наследие — общее для всей Европы».²⁷ Оно порождено не только послекарамзинским развитием русской мысли, но, в немалой мере, и собственно «серебряным веком» с его способностью эстетически переживать действительность. Запад остался «страной святых чудес», но составляющие эту «формулу» слова наполнились особым смыслом. Можно сказать, что восприятие Европы «новым западником» напоминает выбор веры послами Владимира — об истинности культуры свидетельствовала красота, «прелесть» которой искупалась святостью, не случайно соседствующей с «чудесами» в знаменитой строке Хомякова. Отсюда и более «языческий» Муратов «Образов Италии», отсюда и Вейдле «Вечернего дня».²⁸ Конечно, в «эсте-

²² Вейдле В. Вера, религия и культура. Фрагмент текста книги «Россия. Революция. Религия». Машинопись (Кор. 16).

²³ «В Лондоне я повидал Элиота и он посодействовал одному моему плану (писать хроники иностран(ной) литературы для Times Literary Supplement), но еще предстоит много хлопот и, конечно, результат неясен» (Письмо В. В. Вейдле Л. В. Барановской 25 июня 1936 года. Кор. 8).

²⁴ Письмо Бернарда Беренсона В. В. Вейдле от 1 сентября 1939 года (Кор. 1. Оригинал по-английски).

²⁵ Вейдле В. Зимнее солнце. С. 106.

²⁶ Наиболее полно см.: Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк, 1956.

²⁷ Иваск Ю. Владимир Васильевич Вейдле. С. 215. К западникам такого рода Иваск относил, с некоторыми оговорками, Г. Федотова и — без оговорок — О. Мандельштама. Я полагаю, что в этот ряд можно включить также П. Бицилли, П. Муратова. Н. Ульянов предпочитал называть вейдлеевское западничество «русизмом» — противоречие в определении в данном случае поверхностно. См.: Ульянов Н. Забытый юбилей. С. 7.

²⁸ См.: Вейдле В. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952.

тическом» отношении к Западу можно усмотреть знак заката. Оно свидетельствует о некоей избыточности воспринимающей культуры, которая заимствует уже не столько инструментарий, сколько улавливает дух и форму. Тем более элегичным становится оно у эмигранта, утратившего родину и тревожащегося за судьбу духовного отечества: «На этом кладбище забытого былого, где не осталось и надгробных плит, все-таки что-то нашептывает тебе о дальних судьбах западного мира, еле внятным лепетом твердит о жизни, которой еще и ты живешь. И когда отвернешься, наконец, от этих образов, уносящихся в туман, встань, повернись назад: ты увидишь прямо перед собой грустное, и такое прекрасное еще, постаревшее лицо Европы»²⁹ — так завершается очерк «Древний Запад», рожденный кратким пребыванием в Сент-Дэвидсе — небольшом местечке в Пемброкшире, на западном побережье Британии, где возвышается над домами рыбаков громадный, никогда уже не наполняющийся прихожанами средневековый собор.³⁰

После войны Вейдле продолжал сотрудничество во французской прессе, выпустил ряд книг по-русски, переиздал, изрядно расширив и переработав, французскую версию «Умирания искусства» (1954). Широкий отклик вызвала его новая французская книга — *La Russie absente et présente* (Paris: Gallimard, 1949), получившая Риваролевскую премию³¹ и переведенная на несколько языков. В 1952 году он расстался с Богословским институтом, но эпизодически преподавал в ряде европейских и американских университетов. В 1950—1970-е годы окончательно сформулировал свое искусствоведение. Его смысл афористично выражен заглавием статьи 1957 года — «Биология искусства».³² Произведение искусства подобно организму, который никогда не сводится к сумме составляющих, оно неподвластно генерализирующим подходам, опирающимся на методы точных наук. Скорее оно доступно методам изучения «микроструктуры», того, что несколько затерто именуется «тканью художественного произведения». У Вейдле этот образ буквально реализуется, а анализ приводит к замечательным результатам. Свидетельство тому «Эмбриология поэзии» — книга, которой автор не увидел, но которую готовил, последовательно публикуя ее разделы в «Новом журнале».³³

Культура Вейдле должна была воплотиться в учениках, которых, в сущности, он был лишен. Вейдле осознал эту драму и признавал с горечью: «А мыслями моими, „учеными“ моими мыслями, которых было у меня немало, я все-таки бреши не прошиб. На Западе кое-кто меня оценил — очень хорошие люди — Беренсон, Элиот, Клодель, Валери, Унгаретти, Роберт Эрнст Курциус, Зедльмайр. Но все-таки сейчас если я где-нибудь знаменит, то разве что (вот так номер!) в Японии, а в 40-х годах я был всего знаменитей в Аргентине. Что мне в этом? Ничего. Мысли мои в области истории и теории искусства лучше всего поняли и оценили немцы — недаром я читал в большой аудитории мюнхенского университета на равных правах с Бубером и Гейзенбергом (Гейдеггер читал в этой же серии пять лекций — за год до меня). Больше тысячи чел(овек), преим(ущественно) студенты. Успех у меня был не меньший, чем у Б(убера) и Г(ейзенберга). Но сдается мне, что

²⁹ Там же. С. 102.

³⁰ Вейдле побывал в Сент-Дэвидсе в начале сентября 1938 года. См. письмо Л. В. Барановской от 4—5 сентября 1938 года (Кор. 8).

³¹ Название книги принято переводить: «Россия отсутствующая и присутствующая». См.: *Les Nouvelles littéraires*. 1949. 31 mars. P. 1. Вторым лауреатом этого года был романист из Бейрута Farjallah Naik. В жюри входили Ж. Дюамель, А. Жид, Г. Марсель, Ж. Ромен, А. Труайя и др.

³² *Weidlé W. Biologie de l'art // Diogene*. 1957. № 18. P. 6—23. Статья награждена специальной премией за открытие новых исследовательских путей в гуманитарных науках. Ср.: *Weidlé W. Gestalt und Sprache des Kunstwerks. Studien zur Grundlegung einer nichtästhetischen Kunsttheorie*. Mittenwald: M'aander Kunstverlag, 1981.

³³ *Вейдле В. Эмбриология поэзии*. Введение в фоносемантику поэтической речи / Предисл. Е. Эткинда. Париж, 1980. (Bibliothèque russe de l'Institut d'Études slaves. T. LV).

и там никакого потомства у мыслей моих не родилось. Да и очень уж „против течения” они. Кто знает, может быть в России когда-нибудь и воскреснут, скорее, чем на Западе». ³⁴

С начала пятидесятых годов Вейдле работал на радиостанции «Свобода». Пять лет он провел там в качестве «директора программы», а затем постоянно сотрудничал как автор передач. В семидесятые годы, признавался он, гонорары станции стали главным источником его средств к существованию. Придя на «Свободу», когда она называлась еще «Освобождением», Вейдле сделал политический выбор — он не просто заявил себя противником правящего режима СССР, но и активно выступал против него — даже если радиобеседы касались не романа «Доктор Живаго», а древностей Рима или художественной жизни Монпарнаса. Вот темы некоторых его радиоциклов: «Беседы о словах», «Девять бесед об искусстве нашего века», «Наше духовное наследство», «О критике» и др. Большинство его передач было посвящено культуре, искусству, языку, порой это воспоминания — о былой России, о людях старой эмиграции.

Составить представление о циклах Вейдле можно по брошюре «Рим. Беседы о Вечном Городе», ³⁵ продолжающей традицию русских очерков Рима. Она вызвала целый ряд откликов. И. Чиннов писал с восхищением: «Великолепен, действительно великолепен Ваш язык! „Золотистого меда струя”. Только с Вячеславом Ивановым, мне кажется, Вас можно сравнить. И, разумеется, теперь никому не написать о Риме с таким глубоким и таким живым знанием». ³⁶ Ю. Иваск был сдержаннее: «Перечел Ваш „Рим”. Очень хороша Ваша поэма об Исп(анской) Лестнице; а в других описаниях не очень вижу В. В. Но все полезно для будущих русских туристов и пилигримов». ³⁷ Н. Ульянов посвятил брошюре пространное письмо: «Сердечное спасибо за „Рим”. Опоздал из-за него на лекцию — так зачитался. После Муратова ничего более сильного сказанного по-русски не было на этот сюжет. Но муратовский Рим холодноват, подан искусствоведчески и слегка отдаёт путеводителем. Вы, хотя и избрали форму гида, но ведете „духовными маршрутами” и передаете читателю свою любовь и артистичность своего восприятия. (...) Но настоящей мистической трепет испытываешь, читая страницы о Монте Пинчио — пристанище иностранцев с давних пор. (...) Ваш очерк заставил меня вспомнить 1939 г., Соловки и холодный карцер тюрьмы на Савватьеве, где я сочинял венки сонетов, озаглавленный „Рим”. Закончить его так и не довелось, большинство сочиненных сонетов забыл, но магистрал помню до сих пор». ³⁸

Сохранился протокол Программного совещания по обсуждению цикла «Беседы Вейдле», состоявшегося 23 апреля 1974 года. Этот документ не только демонстрирует, сколь высоко оценивали его передачи коллеги, но через их восприятие позволяет ощутить некоторые особенности манеры позднего Вейдле, акценты, которые характерны и для его публикаций той поры.

«Скаковский. В отношении речевого воспроизведения, постановки — беседы Вейдле — это образец того, как нужно выступать у микрофона Р(адио) С(вобода). У него безупречное знание материала, общение со слушателем, он не навязывает своего мнения. Это то, чего мы именно добиваемся: разговор у камина, гость в доме слушателя. (...) В данных передачах плохи наши ведущие (...)

³⁴ Письмо В. Вейдле И. Чиннову от 5 апреля 1976 года. Копия под копирку (Кор. 1). Среди немецких откликов на концепцию Вейдле см., в частности: *Roh F. Kritische gedanken zum kulturpessimismus Wladimir Weidles // Neue Deutsche Hefte. Beitrage zur europaischen Gegenwart. Bd. 16. S. 240—247.*

³⁵ Вейдле В. Рим. Беседы о Вечном Городе. Италия, 1966. (Иллюстрации Л. Барановской). Ср.: Вейдле В. Рим. Из бесед о городах Италии. [Париж, 1967]. Рец.: Небольсин А. // Новый журнал. 1967. Кн. 88.

³⁶ Письмо от 28 июля (1966 или 1967 года) (Кор. 1).

³⁷ Письмо от 18 июля 1972 года (Кор. 2).

³⁸ Письмо от 16 апреля 1967 года (Кор. 3).

Панич сделал замечание, что неестественно называть Вейдле *русским зарубежным* искусствоведом. Когда слушаешь Вейдле, понимаешь, что человечество едино, о чем говорит и Солженицын (...). Нужно заставлять авторов учиться „по Вейдле”. (...)

Рональдс отметил, что, однако, по мнению наших панелистов, беседы Вейдле хороши только для узкого круга людей.

Панич возразил ему, что такое мнение неверно. (...)

Бассараб (...) Блестяще обработаны его воспоминания о Скрябине. Он сам так увлекся своей темой, что его беседу можно назвать рапсодией. Но его голос для многих рядовых слушателей может звучать негативно или даже отталкивающе. Но для интеллектуалов и темы и стиль передач превосходны. (...) Что касается политической линии, в данных беседах отклонения от нее нет. Но этого нельзя сказать об его других беседах. Так, в тексте о Ростовцеве Вейдле говорит „великая социалистическая беспощадная к нашей русской культуре революция”. В другом месте: „культурный разгром России был почти близок”. (...)

Рудин возразил ему. (...)

Панич и Литвинов поддержали г. Рудина. (...) Литвинов сказал, что упреки г. Бассараба (...), что Вейдле пользуется антисоветскими клише, необоснованы.

Рональдс. (...) Вейдле — это совершенно особенный человек, и ясно, что это говорит именно он, а не высказывает мнение Р(адио) С(вобода)». ³⁹

Здесь не место и не время оценивать деятельность радиостанции. Я также не возьму на себя ответственность определенно сказать, правильно ли поступил Вейдле по отношению к своему дару, встав у мюнхенского микрофона. Важнее понять, что значила для него эта работа. Конечно, она не могла полностью заменить аудиторию учеников, для которой Вейдле был создан и отсутствие которой ощущал. Естественно, что ежедневная журналистская рутинa, обязанность обращаться к безвестному слушателю иного интеллектуального уровня не могла не отразиться на выступлениях Вейдле:

Прослушиванье, заседание.
Скриптомаранье, скрипточушь,
Разноголосое спасанье
Погибших большевистских душ...⁴⁰

Он порой повторяется, говорит самоочевидные вещи, сознательно упрощает. Однако работа на «Свободе» позволила вплотную соприкоснуться с жизнью России. В поздней автобиографии Вейдле писал о себе: «Считался он многими, и себя начинал считать французским писателем, но с середины 50-х годов начал все определенной „возвращаться в Россию”. Сыграла в этом роль пятилетняя его служба на мюнхенской радиостанции „Свобода” (...), но еще больше чувство, что, пища по-французски, он все свои писательские возможности осуществить не в состоянии». ⁴¹ До конца жизни Вейдле постоянно печатался в ведущих изданиях русского зарубежья — «Вестнике РСХД», «Мостах», «Воздушных путях», «Новом журнале», «Русской мысли», «Новом русском слове» и др. Размышления о России и ее культуре составили книгу «Безымянная страна» (Париж: YMCA-Press, 1968). Но можно предположить, что причастность к «Свободе» обострила в Вейдле политический темперамент, способность реагировать на злободневную ситуацию и рас-

³⁹ Кор. 38. «Одному еще (...) удивляюсь, — писал И. Чиннов, — эволюции нашей „Свободы”. Видно, перестали там обращаться к знатым дояркам и передовым чабанам преимущественно. Ибо слог Ваш, в эфире, поистине for happy few (для избранных. — *англ.*)» (Письмо И. Чиннова В. В. Вейдле от 28 июля (1966 или 1967 года). Кор. 1).

⁴⁰ Шуточное стихотворение В. В. Вейдле. 2 мая 1957 года. Цит. по: Новый журнал. 1991. Кн. 183. С. 369.

⁴¹ Рукописная автобиография. 18 февраля 1975 года (Кор. 38).

смагивать отечественную историю и культуру в сопоставлении с проблемами современного Запада.

В начале 1970-х годов Вейдле готовил к изданию несколько книг. В автобиографии 1975 года он отметил: «Что же касается взглядов на искусство, которые созревали в нем целых 60 лет, то они окончательного, обобщающего выражения так до сих пор и не получили, но станут довольно ясны тому, кто внимательно прочтет его статьи в Н(овом) Ж(урнале), начиная с номера 100,⁴² его две только что упомянутые книги, все его немецкие статьи (7 или 8),⁴³ 5 или 6 французских...»

Но надеется он все-таки и сам последовательно их изложить. А пока что готовит к печати книгу своих ранних воспоминаний,⁴⁴ книгу о Тютчеве⁴⁵ и книгу размышлений на русские темы, которую думает озаглавить „Россия. Революция. Религия”». ⁴⁶ Два последних замысла не были доведены до конца. В фонде Вейдле Бахметевского архива сохранился подготовленный к изданию текст последней книги. Работа над ним велась в первой половине 1970-х годов и в целом была завершена в 1975 году. Титульный лист белой рукописи датирован 1976 годом, однако встречаются и пометы более позднего времени, к примеру 18 января 1979 года.

Хранящиеся в архиве Вейдле копии писем к отцу Александру⁴⁷ проясняют творческую историю книги.

⁴² О двух искусствах: вымысла и слова. Кн. 100, 1970; О поэтической речи. Кн. 103, 1971; Еще раз о словесности, слове и словах. Кн. 104, 1971; Толстой об искусстве. Предвзятости и прозрения. Кн. 105, 1971; Эмбриология поэзии. Кн. 106, 107, 1972; Музыка речи. Кн. 108, 109, 1972; Звучащие смыслы. Кн. 110, 112, 113, 1973; 114, 1974; Пикассiana. Кн. 111, 1973; Критические заметки об истолковании стихотворений, по преимуществу касающиеся трудов Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотмана и К. Ф. Тарановского. Кн. 115, 116, 1974; Батюшков и Мандельштам. Певучие ямбы. Кн. 117, 1974. 31 мая 1972 года Вейдле писал настаивавшему на сокращениях редактору «Нового журнала» Р. Гулю: «Статьи мои получаютя трудноватыми, оттого что я, и вообще имея склонность писать „густо” или „плотно”, еще и втискиваю свои мысли в журнальные размеры. Буду бороться с этим. Постараюсь писать возможно проще и ясней. Мысли, которые я в этих статьях — будущей книге — излагаю, вынашивал я долгие годы, они образуют целую — во многом новую — теорию искусства (не только литературного). Конечно, для многих читателей они останутся трудными в любом изложении; будут они все равно „Вейдле не понимать”. Но постараюсь я все же писать как можно понятнее. А Вам глубоко буду благодарен, если Вы все-таки — в указанном Вами объеме — предоставите мне место в НЖ. — Верю, что найдутся в будущем люди, которые поставят Вам это в заслугу» (Копия. Кор. 1).

⁴³ См.: *Weidlé W. Gestalt und Sprache des Kunstwerks. Studien zur Grundlegung einer nichtasthetischen Kunsttheorie.*

⁴⁴ *Вейдле В. Зимнее Солнце. Из ранних воспоминаний.* Вашингтон, 1976.

⁴⁵ Вейдле любил поэзию Тютчева и ценил его как мыслителя, неоднократно писал о нем. Ср.: Тютчев и Россия // Русские записки. 1939. Кн. XVIII. С. 141—157; также: *Вейдле В. Задача России.* С. 169—200; *Последняя любовь Тютчева* // Новый журнал. 1948. Кн. 18. С. 181—200; *О поэзии Тютчева* // Вестник РСХД. 1951. III. С. 13—18; *Эолова арфа* // Русская мысль. 1974. 17 янв. № 2982. С. 7 и др. Пристрастный мемуарист, видевший в Вейдле прежде всего кабинетного человека, писал: «Оживляла его, чрезвычайно неожиданно, тема любви. Лирика Тютчева, с вечной, [не] преходящей памятью о прошлом, когда-то смертельно ранила Вейдле. В минуты волнения он начинал заикаться. И образ почтенного, гологолового, желтовато-лимончатого, веснушчатого доцента, рассказывающего, заикаясь, о старческой любви Тютчева, казался и смешным, и трагичным» (*Яновский В. С. Поля Елисейские. Книга памяти.* Нью-Йорк, 1983. С. 174). Уместно привести другой словесный портрет Вейдле, уравновешивающий описание Яновского: «Высокий, несколько грузный, доброжелательно барственный, открытый всем новым впечатлениям бытия. Лежа в госпитале, приятельствовал с соседями по койке — парижскими мастерами» (*Иваск Ю. Владимир Васильевич Вейдле.* С. 218).

⁴⁶ Рукописная автобиография. 18 февраля 1975 года (Кор. 38).

⁴⁷ Фамилия адресата не указана. Предположительно им был отец Александр Шмеман.

8 Av. Gal Balfourier
75016 Paris
22.II.74

Дорогой о. Александр,

Очень рад узнать, что принимаете мою книгу «Россия. Революция. Религия», включаете ее в план Вашего издательства и надеетесь в начале будущего года приступить к ее печатанию. Пока что я буду ее готовить к печати. Войдут в нее полностью, хотя и с изменениями, мои две большие статьи: «Два гуманизма» («Мосты» XV, 1970) и «Умерщвление слова» («Мосты» XI, 1968), а тема первых двух ее глав намечена (но и только) в коротенькой статье «Вестника РСХД» (79-1965. IV) «Религия и культура». Оглавление, которое я Вам послал, вообще только набросок и проект. Насчет включения в книгу глав из «Умирания искусства», я тоже еще не решил, в какой мере это будут цитаты, и в какой — пересказ. Да и заглавие «Гнилой и поглупевший Запад» для одной из глав едва ли я сохранию; это лишь пояснение ее содержания.

В этой книге я вообще собираюсь изложить, насколько сумею, ход главных моих мыслей, за всю жизнь, о времени нашем, о веке, который скоро начнет уже подходить к концу. Век этот — век революции даже в странах, где как будто никакой революции не произошло и отхода от религии даже внутри самой Церкви (католической и протестантской во всяком случае). Россия здесь, т. е. в этом отношении, раздваивается для меня. В «Умирании искусства» и⁴⁸ в расширенной французской версии этой книги (1954) я сужу Запад с точки зрения русской традиции (я сам этого не знал и никто не заметил из западн(ых) критиков, но *теперь* я это знаю), а с другой стороны «Революция» именно в России показала впервые свое настоящее лицо. Я писал об искусстве, о литературе; но в сущности я писал только об одном — или о двух в одном — об убыли религии и о невозможности искусства, и культуры вообще, вне религии. Об этом я хочу теперь сказать еще ясней.

Буду Вас извещать, начиная с весны, о ходе моей работы. Кланяйтесь матушке.

Ваш В. Вейдле.⁴⁹

* * *

8. Av. Gal Balfourier
75016 Paris
5 мая 1975

Дорогой отец Александр,

Воистину Воскресе! Только что получил Ваше очень обрадовавшее меня письмо. Притом я как раз и сам собирался Вам сообщить нечто благоприятное для издания моей книги. Анна Анатольевна Рутченко, заведующая парижским отделом американской International Literary Association (другие отделы которой есть в Риме, Лондоне и Нью-Йорке), считает, что эта ассоциация (переправляющая книги в СССР) непременно приобретет у Вашего издательства не меньше пятисот экземпляров моей книги, сразу же после ее выхода в свет; а может быть и большее их количество — например по 250 каждый отдел. Надо мне через Анну Анатольевну сообщить в Рим (Роберту Шэнклэнду) о том, каков будет тираж и какова будет стоимость (т. е. продажная цена) книги; после чего они примут окончательное решение.

⁴⁸ Далее зачеркнуто: *еще ясней*.

⁴⁹ Копия под копирку. Кор. 7.

Им желательно, чтобы книга была небольшого формата и напечатана не на очень толстой бумаге.⁵⁰ Я думал сперва (как я Вам в свое время писал) ориентироваться в смысле формата и вообще типографского облика книги на «Избранное» Бориса Зайцева;⁵¹ но теперь думаю, что лучше будет уменьшить формат до размеров журнала «Континент» (18 × 12 сантим(етров)) и бумагу взять тоже такую же, как там (она чуть потоньше, чем в Вами изданной книге Зайцева). Шрифт, я думаю, мог бы быть, как у Зайцева, или чуть поубористей. Если, как у Зайцева, то получится (при меньшем формате) не более чем 250 страниц; скорей, пожалуй, что и меньше.

Готова будет книга к осени. Большая ее часть будет состоять из коротких «записей», как статья «Поздний ропот» в Нов(ом) журнале 118 и «Из архивов страшного суда», посланная мною Гулю для книги 119. Эти два вороха записей в книгу войдут вместе с другими, неизданными, и частью в измененном порядке. Включу ли в книгу «Два гуманизма» из «Мостов», еще не решил, а «Религию и культуру» (из Вестника РСХД) непременно включу, хоть и в переработке. И, вероятно, кое-что из недавно мною написанного о Солженицыне, об эмиграции и сборнике «Из-под глыб». Заглавие будет: *Россия. Революция. Религия*. (именно так — с точками между словами, а не запятыми).

Мне кажется, что книжка эта найдет читателей — и в эмиграции, и в России. Если эта надежда осуществится, буду готовить *для Вас же* другую книгу того же размера «После искусства», куда кое-что из старого моего «Умирания искусства» с пояснениями и дополнениями включу, а также много неизданных моих записей о том, что за последние десятилетия делалось с искусством и чем оно сделалось.⁵² Эту тему я из «России. Революции. Религии» исключаю. А думаю уже сейчас о дальнейшем потому, что литературного душеприказчика у меня нет, и если я сам чего-то не предприиму при жизни, наследие моей мысли пойдет прахом.

Я уезжаю 22 мая на два месяца в Испанию. Ответьте мне, пожалуйста, *теперь же* о тираже и цене книги, чтобы я успел снести с Анной Анатольевной. Если пожелаете сами ей написать, адрес ее: Centre International Littéraire, 8 bis, Rue Saint-Hyacinthe 75001 Paris.

Сердечный мой привет Вам и матушке, супруге Вашей.

Ваш В. Вейдле.⁵³

Беловая рукопись книги содержит оглавление, позволяющее представить ее состав.

РОССИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ. РЕЛИГИЯ.⁵⁴

Записи недавних лет

Поздний ропот⁵⁵

После двух войн

Не сотвори себе кумира

⁵⁰ Это немаловажная деталь. Например, книга «О поэтах и поэзии», выдаваемая в западных библиотеках, отличается вальяжно широкими полями, в то время как проникшие в Россию экземпляры в большинстве случаев — карманного формата.

⁵¹ *Зайцев Б.* Избранное. (Св. Сергей Радонежский. Афон. Валаам). Париж: YMCA-Press, 1973.

⁵² Это намерение не было осуществлено.

⁵³ Копия под копирку. Кор. 7.

⁵⁴ Кор. 15.

⁵⁵ Ср.: *Вейдле В.* Поздний ропот. Записи недавних лет // Новый журнал. 1975. Кн. 118. С. 182—198.

Из архивов страшного суда⁵⁶
 Европейское отечество
 Проклятая Русь
 Пустые небеса

Распознавание имен

Новогодняя речь о свободе
 Идеология и мировоззрение
 Просвещение и образование
 Цивилизация и культура
 Благообразии⁵⁷
 Два гуманизма⁵⁸
 Вера, религия, культура⁵⁹

Проснись теперь или никогда

Damnatio memoriae
 Юбилей
 Шарашки и Раковый корпус
 Весело, нечего сказать⁶⁰
 Об эмиграции⁶¹
 Бодливый телец⁶²
 Только в Россию и можно верить⁶³

По своей структуре «Россия. Революция. Религия» отличается от прежних книг Вейдле, которые представляли собой, как правило, объединенные общей проблематикой пространные статьи, ранее опубликованные в периодических изданиях. На сей раз это, в значительной мере, собрание кратких, завершенных фрагментов. Беловая рукопись наглядно демонстрирует способ организации книги — правленный от руки машинописный текст, в который вклеены отрывки, прежде опубликованные в журналах и газетах. Подчас структура старого, уже публиковавшегося текста сохраняется (например, в разделе «Из архивов страшного суда»), но в него внедряются новые фрагменты, близкие по проблематике и интонации.

Ю. Иваск заметил по прочтении «Позднего ропота»: «Прежде Вы так не писали: и вот нашли новый жанр, очень удавшийся».⁶⁴ Такого рода форма, очевидно, не случайна. Замечание Вейдле об опубликованных в начале семидесятых годов «двух ворохах записей» прозрачно намекает на «короба» Розанова, интерес к которому в эмиграции, в частности среди близких к Вейдле литераторов, был

⁵⁶ Ср.: Вейдле В. Из архивов страшного суда // Там же. 1975. Кн. 119. С. 68—90.

⁵⁷ Ср.: Вейдле В. «Благообразие». Из заметок о народно-христианских чертах в русской литературе недавнего прошлого // Вестник РСХД. 1973. I. № 107. С. 127—139.

⁵⁸ Ср.: Вейдле В. Два гуманизма // Мосты. 1968. Кн. 11.

⁵⁹ Ср.: Вейдле В. Религия и культура // Вестник РСХД. 1965. № 79. IV.

⁶⁰ Ср.: Вейдле В. Черт догадал... // Там же. 1969. № 94. IV. С. 66—70.

⁶¹ Ср.: Вейдле В. Об эмиграции (Не без повода) // Русская мысль. 1975. 13 марта. № 3042. С. 7.

⁶² Ср.: Вейдле В. Во весь колокол. О книге Солженицына «Бодался теленок с дубом» // Там же. 1975. 10 апр. № 3046. С. 8—9.

⁶³ Ср.: Вейдле В. Только в Россию и можно верить. О сборнике «Из-под глыб» // Вестник РСХД. 1974. № 114. IV. С. 240—245; также см.: Вейдле В. Критика Запада в сборнике «Из-под глыб» // Русская мысль. 1975. 6 марта. № 3041. С. 5.

⁶⁴ Письмо Ю. П. Иваска В. В. Вейдле от 30 сентября 1975 года (Жор. 2). Иваск писал также по поводу филологических статей: «Лет 25 тому назад В. В. как-то надоело писать научным языком и он ввел в свои очерки особенный говорок — не розановский, а свой собственный — вейдлевский». Иваск Ю. В. Вейдле. Эмбриология поэзии... (Рец.) // Новый журнал. 1980. Кн. 139. С. 279.

высок. Не случайно и «оправдание черновигов» в «Комментариях» Г. Адамовича,⁶⁵ привлечших внимание Вейдле.

Можно предположить, однако, что среди источников «нового жанра» был не только достаточно очевидный пример «Опавших листьев», но и опыт работы на «Свободе». В радиобеседах, продолжавшихся, как правило, девять минут (их скрипты занимают четыре-шесть страниц убористого рукописного текста), автор должен был высказаться максимально ясно и в то же время афористично, начав и завершив некий «сюжет». Так, он объяснял слушателям первоначальные значения, происхождение и внутреннюю сложность привычных слов: «Просвещение», «Образование», «Цивилизация», «Пропаганда» и др. Можно предположить почти наверняка, что такие фрагменты книги, как публикуемые здесь «Мещанство», «Разум», «Поповщина», основаны на подобного рода передачах. Раздел «Распознавание имен» очевидно опирается на пространный цикл «Беседы о словах» и близкие ему программы.⁶⁶ Проникновение в смысл понятий как путь к достижению интеллектуальной независимости — такова «педагогическая» цель радиомонологов Вейдле, ставшая одной из задач книги: «Изречение Эпиктета, учителя Марка Аврелия, безупречному переводу не поддается. Перевожу: „Основа воспитания — распознавание имен“, но вместо „воспитания“, можно было бы сказать „образования“ или, лучше того, „культуры“, а вместо „распознавание“ „обследование“ или, если угодно, „надзор за применением слов“ (ср. более позднее слово «епископ»⁶⁷). Под именами понимаются понятия или, осторожней выражаясь, обобщающие смыслы слов предметно осмысленных, а не только функционально (как союзы и предлоги).

Педагогическое это правило полюбилось Кольриджу, который привел его в шестнадцатой главе „Литературной биографии“ и старался следовать ему в своих рассуждениях о поэзии. Возьму и я его путеводной звездой в рассуждениях моих на другие темы, никак не менее животрепещущие в темные наши дни, хоть и менее возвышающие душу».⁶⁸

Примерами такого анализа понятий, ключевых для позиции Вейдле, служат два фрагмента, входящие в раздел «Не сотвори себе кумира»: «Демократизация» и «Народ. Массы. Народные массы» (см. Приложение).

Строгий счет предьявляет Вейдле современному научному мышлению, точнее, некритической, безответственной экстраполяции методов позитивных наук в гуманитарные. Этот процесс для него — следствие ослабления религиозного начала в жизни, утраты ясного понятия о смысле человеческой деятельности, наступления своеобразного «физико-математического мракобесия»: «Его основы: 1. Смещение истины с доказуемостью (...), а недоказуемого с несуществующим и ложным. 2. Устранение оценок (...). 3. Замена исторических наук социологией, а истории Прогрессом. 4. Приспособление человеческого языка к требованиям электронных машин и машинных переводов. В „идеале“ — замена его сигнализацией, упорядняющей понятийное мышление. 5. Игнорирование индивидуальности, не говоря уже о личности. Единичный объект, пусть и живой человек—образчик, больше ничего».⁶⁹

В 1975 году в «Новом журнале» Вейдле опубликовал два цикла заметок — «Поздний ропот. Записи недавних лет»⁷⁰ и «Из архивов страшного суда», которые

⁶⁵ Адамович Г. Комментарии. Washington, D. C. 1967. С. 79—81.

⁶⁶ Цикл включал около двух десятков передач. Беседа о слове «просвещение», к примеру, была прочитана 3 апреля 1967 года.

⁶⁷ Греч.: надзиратель, блюститель. «В древней Греции это имя носили политические агенты, которых Афины посылали в союзные государства для наблюдения за выполнением ими союзных договоров» (Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. 1. С. 530).

⁶⁸ Россия. Революция. Религия. Папка «Распознавание имен» (Кор. 15).

⁶⁹ Вейдле В. Поздний ропот. С. 191.

⁷⁰ Название заимствовано из стихотворения Пушкина «Когда в объятия мои...» (1830): «Клянущи речей любовный шопот, / Стихов таинственный напев, / И ласки легковерных дев, / И

должны были затем практически полностью войти в состав «России. Революции. Религии». Название первого из них передает пафос задуманной книги.

Создается впечатление, что старый литератор намеренно провоцирует читателя. Он последовательно противоречит преобладающим в западной либеральной среде оценкам, затрагивает нежелательные для нее темы.⁷¹ Впрочем, критический пафос Вейдле эпатировал не только (и, наверное, не столько) зарубежную интеллигенцию, но и русское зарубежье, многие годы опиравшееся на западную поддержку. Симптоматичен мотив, по которому 27 сентября 1975 года З. Шаховская «впервые» отклонила материал многолетнего автора «Русской мысли»: «„Русская мысль“ читается в СССР, поэтому не очень-то нам приятно обнаруживать все пороки Запада. Даже и для наших зарубежных читателей мрачность Вашей статьи будет „страшна“». ⁷² Записи Вейдле — пристрастное собрание свидетельств духовного упадка Запада, обусловленного двумя основными и, как кажется автору «Позднего ропота», взаимообусловленными тенденциями современного развития — Революцией и Прогрессом: «Не усмехнуться ли мне слегка над самим собой?

И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот.

Нет, отделил я „поздний ропот“ от всего остального, прежде чем из него заглавие себе мастерить. И уж в самом деле поздний! (...) Сам же я легковерием особым никогда не отличался: с юных лет не верил ни в Революцию, ни в Прогресс». ⁷³

Вейдле вызывающе, декларативно консервативен: «Я — реакционер, в том смысле, что никакого человеческого приемлемого будущего ни для кого не вижу без отказа от идолопоклоннических суеверий, называемых Прогрессом и Революцией. (...) Я — реакционер, потому что я патриот моего христианско-европейско-русского отечества. Сопроотивление Гитлеру в Голландии, Бельгии, Франции, Италии, самой Германии тоже ведь было реакционным: возврата искало к догитлеровскому положению вещей». ⁷⁴

Таким образом, реакционность, ретроградство на поверку оказываются бравадой. У Вейдле эти слова — своего рода «псевдонимы» здравого смысла. Его цель — отчетливо сформулировать ответ на вопрос о смысле развития современной цивилизации, который, кажется Вейдле, ускользает, выветривается по мере угасания религиозного начала.

Проблеме Революции и Прогресса посвящено и краткое введение к так и не увидевшей света книге:

«Религию отвергнув, культуру растеряв, мы доверились Прогрессу, который завлек нас в Революцию. Барахтаемся в ней. Только ее отравленным воздухом и дышим.

Мы. Европейские люди повсюду в мире, наследники Вифлеема и Афин.

Религию с Революцией совместить нельзя, потому что Революция сама — про-

слезы их, и поздний ропот» (*Пушкин. Полн. собр. соч. [М.]: Изд. АН СССР. 1948. Т. 3. Кн. 1. С. 222*). К журнальной публикации «Позднего ропота» Вейдле избрал эпитафией тютчевские строки: «Когда все гуще сходят тени / На одичалый мир земной...» (Памяти М. К. Политковской, 1872).

⁷¹ Вот, к примеру, фрагмент о политике западных союзников в войне с Гитлером: «Сколько крови зря пролили... Но и то сказать, русской не жалели, а сами три года все больше вели войну с женщинами и детьми во вражеских городах. (...) Все ведь это и без меня знают; не любят только вспоминать... Едва ли даже и теперь согласились бы напечатать это в серьезном журнале по-английски или по-французски. Да еще за чужеземной подписью. А по-русски для кого же это я разбушевался?» (Из архивов страшного суда. С. 70).

⁷² Письмо З. Шаховской В. В. Вейдле от 27 сентября 1975 года (Жор. 3). Впрочем, еще 24 июля 1973 года Шаховская сообщала, что решила не печатать воспоминаний Вейдле (Там же).

⁷³ Вейдле В. Поздний ропот. С. 196—197.

⁷⁴ Там же. С. 188—189.

тивохристианская, вверх тормашками перевернутая религия. Тютчев раньше всех это понял, и лучше всех. Нынешние соотечественники его, если сумеют найти эту спрятанную от них его статью,⁷⁵ будут на первых порах смеяться над ней готовы, потому что он в ней Религию назвал Россией, христианство с Россией отождествил. Что и говорить, превращения ее в СССР не предвидел. Зато предвидел — думая, что воочию его видит — религиозное отступничество Запада. Отождествление, произведенное им в середине прошлого века, было тогда несправедливо; теперь оно стало справедливей, вопреки его кажущейся нелепости. Спасено было мученичеством наше христианство от случившегося с западным. Оттого в Россию еще и можно верить — можно и Западу или ради Запада — веря в то же время, что исчезнут те четыре буквы, которыми она нынче так суконно и горестно заклэймлена. Верить, „только верить”, как опять-таки Тютчев сказал. Но и этого в сумраке нашем уже немало.

Для пояснения заглавия моей книги сказанного достаточно. Резким же ее порою, тоном я и сам недоволен. Должно быть, серой на меня пахнуло из тех нежилых мест, куда мы так бодро правим путь».⁷⁶

Раздраженный тон составляющих книгу заметок очевиден. Проще всего отнести его за счет старческого брюзжания — Вейдле в ту пору было уже восемьдесят: «1895 — Изобретены автомобиль, самолет, телефон, психоанализ. Угораздило же меня родиться в таком году».⁷⁷ Ламентации по поводу прогресса не могли, конечно, встретить полной поддержки даже среди близких, но более молодых людей. «Ждет милый поэт и продолжения „Позднего ропота” — хотя и не одобряет, что ропщете на такие прекрасные вещи, как телефон, самолет, радио и пр(очие) средства связи. По-моему, техника на 80 % благословение Божие, включая автомобиль. (...) Да здравствует „техника”, наперекор Степуну, даже противозачаточные и болеутоляющие (для рожениц) *пилюли включая в технику*»,⁷⁸ — писал, к примеру, И. Чиннов.

Но тон Вейдле, чрезвычайно чуткого к звучанию слова и интонации фразы в стихах и прозе, не мог быть чем-то внешним, безразличным к смыслу и направленности его собственных сочинений. Он сам предупредил наиболее очевидный упрек: «*Сварливый старческий задор*. — Быть может, любезный читатель уже успел применить к моим записям этот стих любимого моего поэта. Что ж, и я ведь о нем все время помнил, но по совести не могу признать себя виновным ни в сварливости, ни в неоправданном „задоре”. Есть у Пушкина (в черновике и не от своего имени) нечто совсем как будто обо мне: „Старых людей обвиняют вообще в слепой привязанности к прошедшему и в отвращении от настоящего”. Только я ведь к давно прошедшему привязан, и отвращение питаю ко многому из того, что началось задолго до моего рождения. Пожалуй, стариком родился, однако — покуда пишу — не ощущаю себя старым и по сей день. Нет уж, скажу, как Эразм: *Ego alius quam sum esse non possum*».⁷⁹

В действительности, «поздний ропот» продиктован, с одной стороны, внутренними проблемами русской эмиграции, с другой — общей ситуацией в мире. Почти

⁷⁵ Имеется в виду статья Тютчева «Россия и революция». См.: Тютчев Ф. И. Политические статьи. Paris: YMCA-Press, 1976. С. 32—50.

⁷⁶ Россия. Революция. Религия. С. 3 (Кор. 15). В книге этот фрагмент предполагалось набрать курсивом.

⁷⁷ Вейдле В. Поздний ропот. С. 182.

⁷⁸ Письмо И. Чиннова В. В. Вейдле от 8 июля 1978 года (Кор. 1). «Милый поэт» — прозвище Чиннова в переписке с Вейдле. Недовольство Чиннова вызвала позиция Ф. Степуна в отношении «облагораживающего страдания», отказа от смягчения физической боли, близкая взглядам мексиканского священника Иллича, к которым Чиннов относился с нескрываемой неприязнью. Ср.: Степун Ф. Современность и искусство // Воздушные пути. Альманах. [Кн. I]. Нью-Йорк, 1960. Особенно — С. 203—205.

⁷⁹ Вейдле В. Поздний ропот. С. 197. Другим, чем какой я есть, быть не могу — лат.

забытый теперь рубеж 1960—1970-х годов был тревожной порой и казался преддверием больших бед: китайская «культурная революция» середины 1960-х; арабо-израильские войны 1967 и 1973 годов; студенческий мятеж в Париже в 1968 году и последующее падение правительства де Голля; в том же году — Пражская весна, повлекшая интервенцию войск Варшавского договора; кровопролитные советско-китайские столкновения на дальневосточной границе (1969); поражение Соединенных Штатов во Вьетнаме (1973); антифашистский переворот в Португалии, заставивший какое-то время всерьез ожидать установления марксистского режима на крайнем западе континента (1974); взаимное ядерное вооружение и разрядка как кажущееся отступление Запада — таковы основные политические события. Тревогу внушали левые настроения европейских и американских интеллектуалов — китайские тапочки и френч Сартра были лишь одной из их демонстраций. Нужно добавить теорию и практику «контркультуры», движение хиппи, «сексуальную революцию», партизанские движения, нечаевский по своей жестокости и бесплодности терроризм и, не в последнюю очередь, потребительскую эйфорию массового человека на Западе, наконец-то зажившего в свое удовольствие.

Положение в России также оставляло эмиграции немного возможностей для оптимизма: продолжались идеологический контроль, милитаризация и репрессии против немногочисленных диссидентов на фоне народного безмолвия. Всякий знак сопротивления, подобный бюрокату «Из-под глыб» (1974), воспринимался на Западе с надеждой и воодушевлением. В публикуемых фрагментах Вейдле постоянно возвращается к «психушкам» — использованию медицины в репрессивных целях. Эта навязчивость — не свойство старческого ума, нетрудно заметить, что сознание восьмидесятилетнего литератора не утратило гибкости, — это знак оскорбленности и стыда. Сохраняется и ощущение незыблемости режима, недавно отметившего пятидесятилетие, его вседозволенности при попустительстве западных правительств. 29 августа 1973 года Р. Б. Гуль сокрушался в письме к Вейдле: «Боже мой, что в России делается: какое-то дикое изуверство: Сахаров, Солженицын, Максимов. А „наши конгрессмены“ и „правители“ едут торговать, дружить и устанавливать „культурные связи“. Отольются все-таки когда-нибудь им всем русские слезы. И пусть *отольются!*»⁸⁰

В то же время русские эмигранты старших поколений не без настороженности воспринимали оказавшихся на Западе советских оппозиционеров, принадлежавших, главным образом, к литературным кругам. Из чувства солидарности и из стремления поддержать свободную мысль в России, порой из прагматических соображений они, как правило, не судили новых эмигрантов публично. Но скрытая неудовлетворенность существовала. Так, имея в виду сочинения одного из известных литераторов, оказавшихся на Западе, Иваск заметил: «Готов признать (<...> (<его>) писания выше всякой литературы, но искусства в них мало. Конечно, писать об этом мы не можем: иначе процитирует „Литерат(урная) газета“».⁸¹ Как кажется, дело здесь не в свойственном эмиграции своеобразии отношений, столь ярко воссозданном еще Герценом. «Первая» и «вторая» эмиграции, не очень схожие между собой, в то же время ощутили в «третьей» нечто, что свидетельствовало, по их мнению, о глубоком обмелении культуры в России. Не стоит, наверное, безоговорочно доверять словам редактора «Нового журнала», но они важны как свидетельство умонастроения существенной части «зарубежной России». «Итак, еще раз очень, от всей души, благодарю Вас за отзыв, — писал Р. Б. Гуль 15 апреля 1975 года, имея в виду отклик Вейдле на свой роман «Конь рыжий».⁸² — И, думаю, что мы, конечно, с Вами родственники и это родство глубокое, духовное.

⁸⁰ Кор. 1.

⁸¹ Письмо В. В. Вейдле от 19 февраля 1974 года (Кор. 2).

⁸² См.: Вейдле В. Р. Гуль. Конь рыжий (<...>) (Вместо рецензии) // Новый журнал. 1975. Кн. 119. С. 272.

Какие-то последние ценности — те же самые, одинаковые. А вот встречаю я „третьих” эмигрантов и никак в них не нахожу „последнего родственного”, что-то в них, как резинкой, стерто начисто. Не тем воздухом дышат. Это, разумеется, естественно, объяснимо и пр. И тем не менее — грустно, потому, что с нами что-то незаметное как будто, но самое русское ценное уходит. И уходит, думаю, навсегда, ибо в „возрождение России” (т. е. былой русской культурной «ауры») не верю. Слава Богу, что мы это застали, этим жили и прожили, а теперь все более или менее идет к черту. „Утром страшно мне раскрыть лист газетный”. Блоку тогда было „страшно”, ну а теперь... Смотришь телевидение, читаешь ли газету — и иногда охватывает „полный ужас” какой-то. И одним успокоением служит — возраст. Не увижу конца — слава Богу. Кстати, напишите мне, пожалуйста, как человек чувствует себя в 80 лет? Мне это важно знать, ибо мне сейчас 79...»⁸³

Потому для многих, в том числе для близких Вейдле литераторов, был столь важен поиск тех, кого Ю. Иваск называл «четвертыми», — оставшихся в России интеллигентов, внутренне оппозиционных режиму, но посвятивших себя не политической борьбе, а духовному труду. «В противоположность наглым Третьим (...) — Четвертые — очень уж скромные. Один (из «Четвертых». — И. Д.) сказал: мы, как моск(овские) писцы, больше переписываем, собираем по кусочкам Розанова (неизданного). Страдаю не только от большевизма — больше от советчины (хамства, пьянства)».⁸⁴ Эти люди, в частности, и составляли русскую аудиторию Вейдле. «Не знаю ни одного отзыва о трудах Вейдле в кругах т. н. третьей эмиграции, — писал Иваск после его кончины. — Может быть, там его даже не читают. Но в России у него немало ценителей и последователей. В одной из своих статей В. В. сетовал: нет у меня учеников. Нет, были и есть: это его бывшие студенты, а также писатели, поэты т. н. незамеченного поколения эмиграции, а теперь его оценили в Москве, о чем свидетельствует недавнее письмо москвича (в *Вестнике*, 128, 1979)».⁸⁵

Вейдле, впрочем, не противопоставлял различные поколения русского зарубежья, а напротив, подчеркивал их преемственность, полагая, что развитие свободной мысли в эмиграции необходимо для самой России.⁸⁶

Последний проект, над которым Вейдле работал перед смертью, и был связан с идеей объединения различных «поколений» русского зарубежья и литераторов, не покинувших Советский Союз. 17 июня, за месяц до потери сознания, после которой 5 августа пришла смерть, он писал Карлу Профферу: «Мне хотелось бы объединить под одной обложкой авторов, живущих в России, с авторами, живущими за рубежом. Никакой дискриминации, кроме чисто литературной; никакой политики, никакой (организованной) религии; но и ни малейшей дешевки, все равно какого „направления”. Литературный критерий отбора должен быть предельно строг. Собирать второй и третий сорт не имеет смысла: всем и без того известно, что существует баракло по ту и по эту сторону колючей проволоки. Если же выбор

⁸³ Кор. 1. Завершающая шутка традиционна для этой переписки — в 74 года Гуль шутил так же.

⁸⁴ Письмо Ю. П. Иваска В. В. Вейдле от 24 июня 1979 года (Кор. 2).

⁸⁵ *Иваск Ю. Владимир Васильевич Вейдле. С. 217. Ср.: А. Н. Письмо из Москвы // Вестник РСХД. 1979. I—II. № 128. С. 385. В 1980 году вышло отдельное издание «Эмбриологии поэзии» с предисловием Е. Г. Эткинды. См.: Эткинды Е. Искусство и точность // Вейдле В. Эмбриология поэзии... Париж, 1980. С. 7—13.*

⁸⁶ См.: *Вейдле В. Об эмиграции (Не без повода) // Русская мысль. 1975. 13 марта. № 3042. С. 7; Новое русское слово. 1975. 16 марта. Публикация этой статьи была приурочена к восьмидесятилетию Вейдле. «Поводом» послужило выступление И. Р. Шафаревича, в котором он принципиально отрицал эмиграцию (см.: Шафаревич И. О сборнике «Из-под глыб». Заявление, сделанное в Москве при появлении коллективного сборника «Из-под глыб» // Русская мысль. 1975. 9 янв. № 3033. С. 4; ср.: Ю. Даниэль отвечает И. Шафаревичу // Там же. 6 февр. № 3037. С. 2).*

удастся, будет показано, что и здесь, и там существует также и подлинная русская литература.

Полушутя даже и заглавие придумал для сборника, — украл у Шодерло де Лакло: „Опасные связи”. Предполагаю, что он будет содержать стихи, прозу и литературные статьи, т. е. к литературе относящиеся, как по предмету, так и по качеству письма. В нем, например, должен принять ближайшее участие Бродский, которого я считаю, как, вероятно, и Вы, первым русским поэтом нынешнего времени. Думаю также о Сапгире, но и онисколько не диссидентствующем Давиде Самойлове, чей сборник 78-го года произвел на меня большое впечатление, и о четырех или пяти эмигрантских поэтах, например, Елагине и Чиннове. В области прозы я возлагаю большие надежды на Вами изданного Сашу Соколова, но и очень хотел бы привлечь ни о каком диссидентстве, по-видимому, не помышляющего Валентина Распутина. Тут, конечно, главная трудность: получить согласие авторов, для которых опасно печататься за рубежом. Без хотя бы четырех-пяти таких сборник не имел бы достаточного оправдания (и уж никак не оправдал бы своего — иронического — заглавия «Опасные связи»).

Ближе о составе участников сборника пусть подумает его редактор. Сам я — прошу Вас заметить — ни в его редакторы, ни в его участники себя не прочу. Желал бы только, чтобы при его появлении было отмечено, что его идея принадлежит мне. Идеей я дорожу. Если она нынче окажется неосуществимой, — когда-нибудь она осуществится».⁸⁷ Такое решение было принято, очевидно, из соображений «политических». Первоначально, как можно судить по копии письма И. Чиннову, Вейдле все же собирался опубликовать в замышляемом сборнике несколько своих работ, прежде всего «статью „Обоюдоострая поэтика” о Ходасевиче (как раз сорокалетие его смерти в сентябре). Она по-русски не издана, издана часть ее по-американски в толстом сборнике (...)⁸⁸ Ведь обоюдоостра поэтика Ходасевича оттого, что хоть и классична, а вместе с тем трагически современна и по-современному заострена: по-моему, чаяния Ваших москвичей именно в эту сторону идут. Конечно, педантство тут исключено, изгоняются только эклектичские парижски-нотные нитье, футуризм через 70 лет и грубая outrance».⁸⁹

«Россия. Революция. Религия» не была изолированным явлением в русском зарубежье, подводившем полувековые итоги. На страницах этой книги Вейдле несколько раз, по поводам, правда, не очень значительным, обращается к «Комментариям» Г. Адамовича, вышедшим в 1967 году отдельным изданием.⁹⁰ Однако центральные вопросы «Комментариев» — в значительной мере те же, над которыми Вейдле размышлял в «России. Революции. Религии» и задолго до того, в более ранних работах. Прежде всего, перед обоими литераторами возникает основная дилемма: «Возможно ли соединение понятий „культура” и „христианство” без того, чтобы одно не истлело в пламени другого? И возможен ли выбор?»⁹¹

Перекликаются суждения Вейдле и Адамовича о преемственности и глубокой взаимосвязи европейской культуры, об их общей зависимости от греко-палестинского корня и, таким образом, естественности, нечужеродности «западного» влияния

⁸⁷ Копия Вейдле (Кор. 7).

⁸⁸ Weidlé W. A Double-edged *Ars Poetica* (Vladislav Khodasevich) // *Russian Literature Triquarterly*, Ann Arbor. 1972. № 2. P. 338—347.

⁸⁹ Письмо В. В. Вейдле И. Чиннову от 5 апреля 1979 года. Ср. ответ И. Чиннова от 12 апреля 1979 года (Кор. 7 и 1). *Outrance* (фр.) — крайность, перегиб.

⁹⁰ Адамович также был пристрастным читателем Вейдле. Откликаясь на только что вышедшую книгу «Безымянная страна», он писал: «Я верю в русское возрождение, даже если быть бедной и грустной ей (России) еще долго суждено. Но на наш век выпало время трудное — и лично ждать нам, пожалуй, нечего. Попадет ли Ваша книга „туда”? По-моему, это необходимо — и наверно Ваши мысли нашли бы там живой и долгий отклик» (письмо от 8 марта 1968 года. Кор. 1).

⁹¹ Адамович Г. Указ. соч. С. 53—54.

для культуры русской;⁹² о своеобразной «не[до]воплощенности» России;⁹³ об «упоенном собой русском человеке».⁹⁴ Роднит книги Вейдле и Адамовича и задача, говоря словами Г. Федотова, «защиты России». «Удивительно, что Россия становится тем ближе, чем суровее и притом вернее суждения о ней»,⁹⁵ — писал автор «Комментариев», но и Вейдле мог бы согласиться с этим суждением.

Сближают Адамовича и Вейдле образы и мотивы русской литературы, к которым они прибегают, однако прежде всего — конечная устремленность к русским проблемам. Но интереснее, как всегда, отличия, порой существенные, порой касающиеся нюансов или «последнего» слова. Литераторы констатируют одно и то же явление, сетуют схоже, но итоговый вывод разводит Вейдле и Адамовича. Так, оба признают убывание, оскудение веры и резко судят Запад. «...Христианского лагеря, христианского „стана“ на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря, или на крайность, один полностью сатанинский — в России, другой — полусатанинский — на Западе»,⁹⁶ — на первый взгляд, подобная оценка могла прозвучать и в «Позднем ропоте». Проникновенные слова произнесены Адамовичем: «Страшно сейчас христианину в мире, страшнее, чем было на аренах со львами, — тогда все рвалось вперед, а сейчас впереди ничего. (...) Не опровергнуто христианство, конечно. Но испускает дух, выдыхается, изошло за два тысячелетия всеми своими силами и всей страстью. Сейчас мы смотрим *вслед* ему, — смотрим и не можем оторвать глаз. „О, свет вечерний!“ Единственный свет, никогда такого не было, надо бы на колени встать, провожая его.

Но слепота ничему не поможет. Даже и подумать нелепо, чтобы сейчас можно было опять вдохнуть его в кровь человечества (...). Кровь по-другому кипит теперь, о другом кипит».⁹⁷ Вейдле же, отмечая многочисленные отступления современного человека, западного мира в целом от христианских ценностей, морали, наконец, от веры как таковой, все же уповаet (это точное слово) на возрождающую энергию христианства, которая должна сказаться прежде всего в России (ср. в настоящей публикации раздел «Пустые небеса»).

Принципиален и вопрос о Европе. Для Адамовича Запад «вторичен»: «...никакой обетованной землей Запад для нее («второй России», эмиграции. — И. Д.) не

⁹² Не случайно, надо полагать, Адамович пишет об Афинах и Иерусалиме (Указ. соч. С. 68—70), Вейдле же — о Вифлееме и Афинах (см. выше введение к «России. Революции. Религии»).

⁹³ Ср.: «Россия не удалась в том смысле, в каком удалась, что бы ни случилось с ними дальше, Италия, Англия или Франция. Национальной культуры, такой всесторонней, последовательной, цельной и единой, как эти страны, она не создала. Ее история прерывиста, и то лучшее, что она породила за девятьсот лет, хоть и не бессвязно, но связано лишь единством рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры. (...) Русская история не раз обрывалась и начиналась вновь, так что приходилось и русское государство заново строить и русскую душу заново воспитывать, а делать это было тем труднее, что русский народ никогда целиком в этих усилиях не участвовал и нередко о них вообще ничего не знал» (Вейдле В. Задача России. С. 74—75); «...да, верно, то плохо, и это сомнительно, но черновик нации, культуры, общества был набросан, как, пожалуй, нигде больше, замысел был такой, как ни у кого другого, и в догадках о несостоявшихся реализациях есть все-таки основания для преданности и даже гордости. Замысел провалился, что тут спорить! (...) Но было в замысле этом что-то широкое, свободное, вольное, доброе, не разрушительное, а только беспокойное, как бы от сознания, что нельзя достичь ничего, на чем стоило бы успокоиться» (Адамович Г. Указ. соч. С. 53).

⁹⁴ Адамович Г. Указ. соч. С. 54—55. Ср.: Вейдле В. Разговор о бахвальстве // Вестник РСХД. 1966. № 82. IV. С. 27—30; также: Вейдле В. Безымянная страна. С. 62—73.

⁹⁵ Адамович Г. Указ. соч. С. 52.

⁹⁶ Там же. С. 125.

⁹⁷ Адамович Г. Указ. соч. С. 18—20. «Присутствие» Розанова в этом фрагменте вряд ли нуждается в специальной обосновании. В то же время уместно вспомнить мнение Ю. Иваска: «В противоположность Г. П. Федотову, Ф. А. Степуну или В. В. Вейдле он (Адамович. — И. Д.) не верит в строительство Нового Града, новой религиозной культуры...» (Иваск Ю. «Единство» Георгия Адамовича (Рец.) // Мосты. 1968. Кн. 13—14. С. 230).

был и не стал. Она искала родины, которая географически перестала быть Россией, она бежала в какое-то „никуда“, „вглубь ночи“, в русское рассеяние (...), но не на Запад, как могло бы показаться на первый взгляд. Запад был случайностью. Запад „подвернулся“. (...) Запад сиял перед ней во всем своем прочном, многовековом ореоле (...). Но если бы нас спросили: то ли это, чего вы ищете? — ответ был бы: нет, не то. Дома на Западе мы не были».⁹⁸ Вейдле никогда столь категорично не противопоставлял свою родину и Европу (в данном случае Запад, который для него часто — синоним Европы: см. раздел «Европейское отечество», особенно фрагмент «Европа и колониальная Европа»). Понимание внутренних отношений и динамики, чувство целостности и сложности европейского мира позволяло Вейдле выделить не явные, но тревожные процессы, протекающие на континенте в послевоенные годы (фрагмент «Исчезновение Германии» из раздела «После двух войн», см. Приложение).

Отличие Вейдле и Адамовича, на первый взгляд, интонационно — Адамович элегичен, а потому и более «приятен» читателю. Он, так сказать, ласкает слух. Вейдле кажется более резким в оценках, но именно его требовательность свидетельствует о том, что он не может согласиться с окончательностью «упадка» Запада и безвозвратным исчезновением России. Различие стиля произрастает из коренных убеждений — глубокого пессимизма Адамовича и своего рода «христианского стоицизма» Вейдле.

Задуманная четверть века назад книга старого литератора приходит в Россию, возможно, несколько поздно. Многие в ней, определенное контекстом семидесятых, — в прошлом. Так, фрагмент о диктаторах («Наше первенство») вряд ли что-то добавит к современному пониманию явления, но внутренний смысл его не утрачен: Вейдле утверждает не любимую в нашем отечестве мысль об исторической ответственности России. В разделах, где речь идет о советской стране, господствует прямая враждебность к режиму. Вейдле все же не чувствует (и не может почувствовать) многообразия и сложности жизни по другую сторону «железного занавеса» и потому зачастую исходит из клише, сформированных порой еще в тридцатые годы («рабовладельческий» и т. п.).

Однако, появившись этот текст в России несколькими годами раньше, когда его публицистический пафос не остыл, в нем, боюсь, рассмотрели бы, главным образом, призыв срыть Мавзолей (раздел «Проклятая Русь», фрагмент «Тот шкипер славный») и т. п.

Мавзолей — подлинное произведение искусства. Вейдле — комментатор радио «Свобода» не согласился бы со мной. Вейдле-искусствовед я попробовал бы убедить. Сам он Мавзолей не застал — уехал тогда, когда на площади был воздвигнут его деревянный «макет». Видеть мог лишь по телевизору, чаще всего так, как показывали Красную площадь на Западе, — монотонные ряды боевых машин, ползущих мимо усыпальницы вождя. Тогда и сам Мавзолей мог напоминать своими очертаниями танк. Вейдле, конечно, корбила квадратная прямолинейность и холодный блеск черно-красного приземистого зиккурата у Кремлевской стены. Но мавзолей, построенный великолепным профессионалом старой школы Алексеем Щусевым, в сущности, реорганизовал вокруг себя ансамбль площади, выявив доминанту Сенатской башни и утвердив новую ось, превратив тем самым торговое и проезжее пространство в площадь.

Для русского человека пространство очень часто — знак свободы (точнее «воли», в звуке этого слова недаром чудится простор). Но в то же время пространство — метафора власти. Представим себе, к примеру, Венецию, где предельно контраст спрессованных городских кварталов и постепенно, ступень за ступенью, открывающихся с Пьяцетты «всемирных морей» — от Бачино Сан-Марко к Лагуне, за-

⁹⁸ Адамович Г. Указ. соч. С. 73—74.

тем — к Адриатике, затем — к Средиземному морю. Именно в этом месте — соприкосновения сжатого города и простора двух стихий — угол Дворца дождей (едва ли не единственный прямой угол в Венеции) скрывает своими стенами зал Большого Совета. Это огромное регулярное пространство размером с целую площадь олицетворяет возможности, свободу, а в конечном счете — власть *Serenissima* — великой адриатической республики, не просто захватившей когда-то Константинополь, но более чем кто-либо — Стамбул или Москва — имеющей право считаться наследницей Византии.

Этот венецианский пример, думаю, был бы ясен Вейдле, создавшему проникновенный этюд «Похвала Венеции» — один из лучших в богатой русской традиции венецианских стихотворений — рифмованных и прозаических.⁹⁹ Такой метафорой власти безусловно была петербургская Дворцовая площадь, вблизи которой Вейдле провел первые одиннадцать лет своей жизни. Перемещение столицы вызвало к жизни новую площадь, символизирующую амбиции нового государства. Красная площадь приняла на себя функции Дворцовой, сбросила торгово-вечерное облачение, оттеснила к Василию Блаженному памятник народным вождям и предстала не просто местом для народных шествий и военных парадов, но знаком нового миропорядка. В советской утопической топографии она не случайно стала «центром мира». В сердце новой столицы родилось упорядоченное пространство (здесь важны пустота, силовые линии пустоты и ее «заполнение»; не случайно и восставление Иверской значит больше, чем реванш православной святыни, — лишенная одного из симметричных открытых проходов у Исторического музея, площадь в очередной, далеко не в первый, раз изменяет семантику; ср. также «проект» Александра Зосимова «Коллаж № 23» (1990), представленный недавно на выставке «Фабрика утопий» в столичном Музее архитектуры им. Щусева: два одинаковых мавзолея, бок о бок стоящие на Красной площади).

Упорядоченность была сообщена площади именно Мавзолеем. Он вторгся в старый организм с наименьшими потерями (для постройки ничего не было снесено). Его форма строга и симметрична (архитектор сознательно отказался от асимметричных решений). Элементарна? Не более элементарна, чем породившая его эпоха. Как всякое значительное произведение искусства, он многослоен, говорит о времени больше, чем время хочет в себе замечать. Чуткие к семантике формы «левые» сразу уловили «двусмысленность» щусевского здания, хотя возражали, главным образом, против использования «старых» форм. В третьем номере «Лефа» за 1925 год снимок Мавзолея был помещен рядом с изображением гробницы персидского царя Кира в Пасаргадах (с таким же основанием рядом можно было бы поместить и пирамиду Джосера на Ниле).¹⁰⁰ Да, во вместилище мумии Ленина отчетливо видна Пирамида — древнейший символ безличной власти, образ усыпальницы богоравного владыки и столь же традиционный знак бессмертия.¹⁰¹ Так что пусть стоит пирамида Ленина на Красной площади (похоронить же вождя следовало бы не в Петербурге на Волковом кладбище, а прямо там, под мавзолеем, тогда и вопрос с церковными похоронами сам собой отпадет — русская страсть носить знатных покойников с места на место, того и гляди, приведет к тому, что в одном городе схоронят сразу и последнего самодержца, и человека, сгубившего его семью и его империю).

Публикуемые фрагменты все еще способны живо трогать нас. Но, полагаю, сегодняшнее значение книги Вейдле менее всего в ее политическом антибольшеви-

⁹⁹ См.: Мосты. 1966. Кн. 12.

¹⁰⁰ См.: *Зелинский К.* Идеология и задачи советской архитектуры // *Леф*. 1925. № 3(7). С. 96.

¹⁰¹ О семантике геометрических форм применительно к мавзолею см., в частности: *Grygar M.* Ленинизм и беспредметность: рождение мифа // *Russian Literature*, Amsterdam. XXV—III. 1989. С. 391 и др.

стском пафосе. Последние годы, отмеченные лавинообразным переизданием сочинений отечественных мыслителей, демонстрируют зыбкость большинства русских умственных конструкций — славянофильских и западных. Их развитие шло само по себе, народ же, чью жизнь они были призваны осмыслить и направить, выбрал «третий путь», менее всего подверженный влиянию идей, — стихийный прагматизм. Единственное учение, унаследованное от традиции XIX века, которое имеет в обозримом будущем шанс стать влиятельным, — евразийство, способное компенсировать многие психологические и интеллектуальные комплексы, пробужденные русским развитием последних лет. Но вместе с тем в евразийстве видится и глубокий соблазн идеологии, возможность адаптации его крайними политическими течениями. Сейчас же, когда от России отломались западные и юго-западные земли, пришествие евразийства может означать скорее всего нарастание именно «азиатского» начала, в котором «европейское» рискует сохраниться в лучшем случае оболочкой. Когда-то, в середине 1920-х годов, формулируя отношение к Европе, Корнелий Зелинский замечательно определил Запад как «ящик с инструментами».¹⁰² Любой изоляционизм — коммунистический или евразийский — сохранит Европу именно в таком качестве, отняв у русского ощущение ее целостности, органичности и, в конечном счете, родственности.

Напоминание о европеизме России в стремительно дичающей стране может выглядеть, по меньшей мере, наивным. Но этим-то важна последняя воля Вейдле. Его книга о единстве европейской культуры, утверждающая исконную причастность крещеной Руси к Европе, писалась для русских на разделенном континенте, в «безымянной стране». Но писалась она — в этом внутренний смысл «позднего ропота» — в надежде на то, что наступит пора, когда русским придется снова вспомнить о своих европейских корнях: «Нет, едина — в конечном счете едина — Европа, и нынешний ее русско-западный раскол, раздел — не закон ее, а ее, дай Бог, чтобы не смертельная, болезнь» (раздел «Европейское отечество», фрагмент «Шпенглер и Тойнби»).

Если идее суждено породить идеологию, другая идея, как правило, не служит ей противоядием. Идеология лишь оформляется словесно, но приходит не из мира идей. Аргументы Вейдле, полемизировавшего с евразийством, не смогут защитить от культурно-политического изоляционизма, если тому суждено снова влиять на нашу жизнь. Наследие «нового русского западничества» представляет собой лишь другой полюс, одну из необходимых возможностей. Жизненный путь Вейдле — воплощение его идей, а сама его личность создана нашей культурой. Это застигнутый ненастьем на чужбине путешественник Карамзина, русский европеец «Подростка», перешедший со страниц романа в жизнь. В сущности, пафос его «позднего ропота» — знаменитые, уже упоминавшиеся выше, строки Хомякова: «О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая / На дальнем Западе, стране святых чудес...» Сохранить Запад и его культуру значит для Вейдле сохранить опору для будущего воссоздания русско-европейского родства, в конечном счете — возрождения России. Но финал хомяковского стихотворения — «Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом, / Проснися, дремлющий Восток!», отнесенный к книге Вейдле, существенно изменяет свою первоначальную наивно-повелительную интонацию.

Для сегодняшней России личность Вейдле, с его европейской образованностью и языками, с его литературным стилем, неспешным, несколько вальяжным, под-

¹⁰² «Западничество — как потребность в усвоении технической оснастки европейской культуры — это западничество с еще большей силой (...) возрастает как центральная задача наших дней. (...) Запад снова встает перед нами — не как уже „кладезь идей“ (хотя, между прочим, и так), но больше как ящик с инструментами, без которых (инструментов, а не Запада) нельзя построить даже дощатый сарай, не говоря уже о социализме» (Зелинский К. Конструктивизм и социализм // Бизнес. Сборник Литературного Центра Конструктивистов / Под ред. К. Зелинского и И. Сельвинского. М., 1929. С. 44).

черкнуто отточенным — чуть не сказал — старомодным и в то же время сбивающим на доверительное просторечие, — воплощение преемственности культуры. Одна из его книг озаглавлена словами Тютчева — «Вечерний день». В названии этом нет того вагнеровского или ницшеанского багрового отсвета, который мерцает в более громком заглавии книги Шпенглера. Но оно ясно говорит, что лицо автора обращено назад — к закату. Однако даже если «свет» сочинений Вейдле — отраженный, то это свет мощного и, возможно, погасшего уже солнца — свет культуры христианской Европы, преломленный «серебряным веком» России.

Три раздела первой части книги В. В. Вейдле «Россия. Революция. Религия» («Европейское отечество», «Проклятая Русь», «Пустые небеса») публикуются по белой рукописи (машинопись с авторской правкой), принадлежащей Бахметевскому архиву (Библиотека редких книг и рукописей Колумбийского университета, Нью-Йорк), — фонд В. В. Вейдле, коробка 15, с. 95—154; фрагмент «Отчего я не поеду в Уругвай» — по тексту первой публикации (Вестник РСХД. 1968. № 89—90. С. 6—9) с учетом авторских изменений в белой рукописи.

Исследования в Библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского университета проводились мною при поддержке The Getty Grant Program (Santa-Monica, California) в рамках индивидуального проекта «Идея „кризиса современного искусства“ в русской философии искусства и художественной критике и проблема самосознания русской эмиграции 1920—40-х годов».

Владимир Вейдле

РОССИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ. РЕЛИГИЯ

(ФРАГМЕНТЫ КНИГИ)

Европейское отечество

Европа так же была отечеством
нашим, как Россия.

А. П. Версилов¹

Дорогие там лежат покойники.

И. Ф. Карамазов²

За лики гордые Шекспира. — Брюсовым еще в юности перестал я восхищаться («Ассаргадоном» и всем прочим). Но из отроческих моих увлечений я одному не изменил. Не то чтобы наигранная риторичность этих стихов так бы и осталась от меня сокрытой, но их «пафос» (как любили в те годы говорить) во мне застрял. Он даже остался мне свойствен по сей день:

За лики гордые Шекспира,
За Рафаэлевых Мадонн
Должны мы стать на страже мира
Священного для всех времен!³

И вот, оказывается, в новом многотомном издании брюсовских сочинений нет этих стихов, изъято все это стихотворение, — то ли чтоб не раздражить китайцев (ибо вызвано было оно толками о «желтой опасности»), то ли чтоб отчетливо отмежеваться от «низкопоклонничества перед Западом». Ну там за классиков марксизма, хоть и нерусских, прольем, так и быть, рабоче-крестьянскую кровь, а

капиталисты своих классиков пусть сами защищают. Да еще и священных. Скажи, пожалуйста! Поповщиной тут сильно отдает.

Каюсь: переборщил. У Брюсова было «заветного», а не «священного». Пусть! Не стану поправлять. Память свою хвалю, что она в эту сторону ошиблась. А помирюсь, стихом пожертвовав, и на «драгоценном». «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия» — тот же Версильев это говорил.⁴ А вот изуверам нашим не дорога. Оттого-то они и не полностью русские, даже если вполне русскими себя ощущают. Да и будетляне они, — в идеологии своей, по крайней мере. С чего ж они такие плюсквамперфектные сокровища станут защищать?

Изуверов презираю. Но вот — Боже мой, гадкая какая мысль — соотечественники наши на западе европейского отечества, или, уже рассуждая, соотечественники Рафаэля, Шекспира, — или Гете, или Паскаля и Расина, им-то эти стихи не покажутся ли столь же чуждыми, а то и крамольными, как московским редакторам брюсовских стихотворений? Ведь будетлянами стали и они, да и не только на словах или по распоряжению начальства, как наши. Они ведь и земли свои не так уж рвутся защищать, а культуру тем более: ведь культура — это прошлое. Одни думают: Гете, да, конечно, только царедворец он был, буржуй и реакционер; или Рафаэля стыдятся, не умея увидеть его иначе, как сквозь академическую педагогику прошлого столетия. Другие смотрят веселей: Шекспир по-китайски разве не интересней, чем по-английски? Запнографированный Расин и готтентоту будет по душе.⁵ И все хором: хорош гусь этот ваш поэт: мы тут о разоружении хлопочем и о непротивлении, а он: «на страже!» И «гордый лик» — не Кориолан ли это у него? И не заставляет ли он нас под псевдоэстетическим предлогом потрафлять суеверному почитанию Иисусовой матери?

Гонит меня взашей любезная сердцу моему, свободная, нетоталитарная Европа; стихов, заученных мною, слышать не хочет. Кричит мне: «должны!» Мы свободны! Ничего, ничего, ничего мы не должны!

Двойной паспорт. — Не полиция нам его выдала: история. Двойной вид на жительство: в России и в Европе. В той культуре и в другой; или, менее скучно выражаясь, в духовной России и в духовной Европе; обе другие именно и находятся в ведении полиции, — или врагов полиции. А вот того, что я читаю Данте в подлиннике (или, на худой конец, в переводе), этого у меня и полиция не отнимет, — разве что та, родная, что психушками заведует. Этот сложный вопрос об отечествах можно всерьез упростить пересмотром обычного словоупотребленья.

Франция — моя вторая родина. Больше полувека я живу в Париже. Приобрел французское гражданство. Стал французским писателем. Есть у меня даже зеленая ленточка, которая, лестно для меня, свидетельствует об этом.⁶ Все это ясно. «Никаких проблем», как попугайски нынче говорят. Но принадлежность к Европе русского, а значит и меня, была бы неточно выражена, если было бы сказано о нем (и обо мне), что Европа — вторая наша родина. Достоевский устами Версильева в «Подростке» выразился правильно, потому что осторожно: Европа такое же отечество наше, как и Россия; и хорошо выбрал слово «отечество», более духовное, чем душевное, в отличие от «родины». Но мысль его требует пояснения.

Россия — европейская страна. Она была европейской страной и до Петра, — не только географически, но и в силу своего славянского языка, славянских предпосылок культуры и от Византии полученного — греческого! — христианства. После Петра она стала, в принципе по крайней мере, вполне европейскою страной, — не только по корням своей культуры, но и по усилившемуся во много раз общению с европейским Западом. Говорю «в принципе», потому что общение это — как иначе быть и не могло — оставалось долгое время пассивным: воспринимающим, а не дающим, а также потому, что подвержено было, как это особенно ясно сказалось во второй половине прошлого века, различным неувязкам и затмениям. Но, конеч-

но, лишь в нашем веке общению этому был нанесен по-настоящему сокрушительный удар, который в то же время и оторвать Россию посягнул от греко-христианских ее корней. Крестьянство у нас изничтожили, насколько сумели; а ведь недавно в нашем языке крестьянство — это христианство.

Наш двойной паспорт заменили нам одним, всемирным, — потому что Союз СС-республик распространим на весь мир, — но без Европы, как и без России.

Курчавый француз. — За курчавость можно было бы его и арапом прозвать, но прозвище его в Лицее было «француз», потому что он по-французски говорил лучше большинства своих товарищей. И писал хорошо, хотя и немножко хуже, чем Тютчев. Считал и в зрелые годы, что для отвлеченных рассуждений, как и для любовных писем, язык наш не совсем созрел. Собственной жене — Наталье, а не какой-нибудь Эрнестине, вроде мадам Тютчевой⁷ — писал преимущественно по-французски. В русской его прозе галлицизмов немало, хоть и меньше, чем, скажем, в «Анне Карениной».

Как стыдятся всего этого нынче в стране, где чуть встретится у какого-нибудь «классика» мерси или пардон, сейчас же делают сноску: франц. спасибо, извините! С каким усердием бичуют французскую болтовню старого дворянского или подражавшего дворянскому общества! Безродные космополиты, да и только! Явные классовые враги того класса — а теперь и всего народа — который по-французски ни гу-гу.

Что ж, Пушкин ведь и сам свою калмычку хвалит за то, что не болтает она на том языке, на котором он сам так охотно и хорошо болтал. Над галломанией у нас уже задолго до Пушкина смеялись, а вскоре после его смерти Мятлев премило высмеял свою Мадам де Курдюкофф.⁸ Но дело все-таки не в болтовне, и к «французу» нашему «не зарастет народная тропа» не потому лишь, что был он поэтом с большой буквы, но и потому, что редкостным был умницей. Не любят на поглупевшей его родине цитировать ту (не вошедшую в окончательный текст) строфу «Онегина», где он с полной ясностью высказался на эту тему:

Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,
Для лепетания чужого
Безумно пренебрегли мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремущки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? — давайте их.
А где мы первые познавья
И мысли первые нашли,
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух.⁹

Тотчас надлежит отметить, что Пушкин, если и думает о погремущках и лепетаньях главным образом французских, прилагательного этого не произносит, и в дальнейшем имеет, конечно, в виду и другие иностранные языки. Читал он как-никак и по-немецки и по-итальянски, самоучкой осилил английский, произносил его непозволительно скверно и тем не менее сумел оценить Вордсворта и Кольриджа, поэтов гораздо более идиоматических в своем словесном мастерстве, чем Байрон (которого читал он по-французски).

За полтора года лет положение, конечно, изменилось. Переводов стало больше, и они стали лучше. Многому можно научиться нынче и у русских ученых, в

естествознании, как и в истории (едва ли о геологии думал Пушкин, упомянув «судьбу земли»); но и нынче трудней быть русскому вполне образованным человеком, не зная ни одного иностранного языка, чем англичанину, немцу или француз; а те, кто этого не знают, те кто не допускают свободного общения своих подданных с остальной Европой, те как раз и продолжают *забыть твердить и лгать за двух*.

Скифы. — Нет, не скифы мы; нет, не азиаты мы, всегда отвечал я мысленно Блоку на эти его стихи, с того самого дня, когда впервые их прочел.¹⁰ С прибавкой: и сам ведь ты, германо-славянин, прекрасно знаешь, что глаза у тебя, и у тех, от чьего имени стоило бы тебе говорить, совсем не раскосые и не жадные. Панмонголизм эпиграфа твоего разве что к Ленину слегка подходит, но об этом и на секунду подумать ты бы себе не разрешил. Писал запальчиво и раздраженно; с настоящим огнем писал, оттого и жгут твои стихи, но ведь самого же тебя всего сильнее и жгут. Да и «конъюнктурные» это стихи, вроде «Клеветникам России» или «Бородинской годовщины», столь разгневавших — не без основания — Вяземского.¹¹ И правды в них еще намного меньше.

Не скифы мы. Не азиаты мы. Да и не евразияты. Не больше евразияты, чем испанцы — еврафриканцы.¹² Зарубежные евразийцы наши живые были умы, но руководились не разумом, а сложным (но немного и смешным) рессентиментом.¹³ Кое-что верно приметили, но, пять-шесть елей насчитав, сосновый бор объявили начисто еловым.

Нет. Никакого азиатства я не вижу в лучшем, что Россией было создано. А скифы (подлинные) одаренные были выходцы из передней Азии. Без греческой прививки не расцвело бы их искусство, но расцвело оно по-скифски, а не по-гречески. Только мы никак с ним не в родстве. Напрасно была названа Москвой в Париже устроенная выставка «Русское искусство от скифов до советов». Толковый ее французский посетитель сказал: «Ничего русское искусство не имеет общего ни со скифами, ни с советами».¹⁴

Петербургское миросозерцание. — Человеку начавшему жизнь, как я, возле Арки Главного Штаба,¹⁵ выросшему, воспитавшемуся, учившемуся в Петербурге, славянофильская некоторая прививка очень может пригодиться; о противоположной нечего заботиться: он западником родился и без того.

Нужна ему эта прививка, чтобы нации своей не позабыл, чтобы не стал подобен тем, о ком в подготовительных материалах к «Бесам» сказано: «...от своих оторвались и к другим не пристали, потому что те все национальны, а мы национальность в корне отрицаем, общеевропейцами хотим быть, а ведь общеевропейцев-то вовсе нет».¹⁶ Действительно, Европа вне наций непредставима, как непредставима была она и при полной разношерстности и разобщенности этих наций. Должен, однако, сказать, что я никогда Петербурга нерусским городом не ощущал. Как никогда не ощущал его и городом вне-европейским. В предисловии к своим Воспоминаниям А. Н. Бенуа говорит, что нет в его жилах ни капли русской крови и что поэтому русский патриотизм ему чужд; зато совсем не чужд патриотизм петербургский. Формулировку эту, как мне кажется, он не очень тщательно обдумал. Да и кровь тут ни при чем; во мне русская есть, но более русским, чем Бенуа, я себя от этого не считаю.¹⁷

Петербург был столицей российского государства, и столичность эта была частью его существа; позабыть о ней, любить его в отсечении от этого было, думается мне, невозможно. Российский патриотизм был, конечно, Александру Николаевичу не чужд, хоть и был, несомненно, обращен больше к духовному бытию России, чем к ее государственному быту. Таковую же и я привязанность к родине моей чувствовал, но и вообще Петербурга от России так решительно — и так беспечно — не

отделял. Двести с лишним лет существовала петербургская Россия. Растрелли строил и в Киеве.¹⁸ Сквозь мягкий московский ампир ее можно было почувствовать и в Москве. Крым и Кавказ были владениями петербургской России. Еще в двадцатом году, в Томске, читая Строгановым подаренные университетской библиотеке французские книги,¹⁹ мне казалось, что я их читаю в петербургской России, императорской все еще — именно императорской скорее, чем царской — даже теперь, после Октября, после гнусной расправы с государем и его семьей.

В Петербурге о древней Руси одно только свидетельство и есть: иконы Русского Музея. Зато ведь петербургская Россия только и поняла до-петербургское свое прошлое. Принимаю его, люблю (до-московское особенно), но все-таки мыслю Россию петербургскою Россией; из Петербурга гляжу на мир; на Запад гляжу; сквозь Запад вижу и Восток. Ничего оригинального тут нет. Петербуржец я в этом, только и всего; но изменить этого не могу, и никто в этом меня изменить не мог и не может. Строки эти в Париже, но и в Петербурге я пишу. Все писания мои, по-русски и не по-русски, — петербургские писания.

Кончилась петербургская Россия. Не будет ее больше. Но если в будущей петербургская совсем исчезнет, если с двухсотлетием Империи вовсе порвется связь, если Пушкин будет забыт или станет бездушным идолом, тогда откажусь, тогда тень моя откажется за гробом такую страну и Россией называть.

Европа и человечество. — Таково заглавие евразийской книжки князя Николая Сергеевича Трубецкого.²⁰ Чту его память; восхищаюсь языковедческими его трудами; но в этой книжке он как бы хочет человечество от Европы защитить. С чем тут спорить? Я просто-напросто скажу, что предпочитаю человечеству Европу. Христианскую, греко-римскую, романо-германо-славянскую Европу, Европу вместе с Россией, Россию, укорененную в Европе, солидарную с Европой.

Что поделать? «Гражданином вселенной» ни на грош себя не чувствую, а европейцем и русским чувствую. Ощутить же себя каким-то евразийцем, враждебным безазиатской Европе, совершенно не способен. Когда-то, в книге моей «Задача России» приводил я кое-какие антиевразийские доводы.²¹ Теперь мне как-то скучно о них и думать. Не понимаю совсем, зачем мне — или любому русскому — противопоставлять Данте Достоевскому или Сервантеса Толстому. Расизмом не страдаю; ни анти-белым (простите), ни анти-цветным. К черному или желтому человеку вполне способен ощутить настоящую приязнь. Восхищаюсь высокими творениями Египта, древних царств, его соседей, древнего Китая, древней Индии. Но в гостях хорошо, а дома лучше. И ведь какой это старый, просторный, неисчерпаемым многообразием богатый, радостно-горестный, горестно-радостный, достойный, счастливый, священный, святой, земной и небесный дом! Ни на какие чужие великолепия его не променяю, и уж тем менее на откровенное дикарство, на там-там и бум-бум, на «экстазы» с пеною у рта.

Человечество? Пусть себе. Мне достаточно того человечества — и той человечности — что звались, зовутся или зваются способны Европа.

Европа и колониальная Европа. — Распрощались с колониями, растрясали, растеряли колонии, были выгнаны из колоний, — ну что ж, в добрый час, не спорю, и знаю, что утраченного не вернуть. Но чтобы у колонизаторов, предположим, покаявшихся, от этого их разгрома до того помутилось представление о собственном их прошлом и обо всяком вообще колониализме, с этим примириться, находясь в здравом рассудке и твердой памяти, куда трудней.

У Советского Союза нет колоний. Это он утверждает, и все ему верят или делают вид, что верят на слово. Посуху приобретенные это, видите ли, другое дело; так что белое вино это вовсе и не вино. Американцы (США) — противники колониализма (западноевропейского), но откуда бы они взялись, если бы у Англии

никогда не было колоний? А латинские американцы, если бы их не было у Испании и Португалии? Арабы точно так же колонизаторами были отменными; спросите об этом у коптов в Египте.²² Арабский колониализм был, однако, чисто завоевательным и преимущественно сухопутным, чем-то средним между монгольскими нашествиями и образованием Римской империи (без империализма которой, кстати сказать, неизвестно откуда взялась бы и нынешняя Европа). Но классическими и образцовыми в европейской истории колонизаторами были, разумеется, греки. Неужто нынешние антиколонизаторы и антиимпериалисты, ползающие на брюхе перед империями Пекина или Москвы, отречься решились и от них? Очень на то похоже. И от римлян заодно. Недаром эти передовые западные интеллигенты склонны считать реакционным классическое образование.²³ В этом вопросе, как и в других, они культуру, они собственную свою образованность приносят в жертву политике. И какой лживой, какой обманной и самообманной политике!

Первенствовать тут должна, как и всюду, точка зрения истории культуры, а не политической истории. Для европейского, да и прочего человечества культурное завоевание Грецией Рима гораздо важнее, чем политическое завоевание Римом Греции; недаром уже Вергилий эту победу Греции восславил над собственным отечеством. Ныне, в этом плане рассуждая, весь мир Европою колонизован или завоеван, но не ее греко-латино-христианской культурой, а ее научно-технической цивилизацией. Она тоже от греков идет; никакие другие великие культуры — дальневосточная, индийская — ничего похожего на нее не создали. И все нынешние азиатские и африканские народы ею дорожат больше, чем своим собственным культурным прошлым, о котором, к тому же, не приди европейцы им на помощь, имели бы они весьма смутное понятие. Но есть все же очень существенная, пусть и не расовая, в своем корне, а историческая разница между теми народами (белыми), которые цивилизацию эту, выросшую из них, а не какой-нибудь другой культуры, ощущают своею, и теми, из чьей культуры она не выросла, и которые *своею* ощущать ее не могут. С точки зрения культуры, есть полное основание называть Европой Америку и Австралию, а для отличия от Европы — колониальною Европой. Тогда как Японию этим именем назвать нельзя, хоть она и успешней усвоила европейскую науку и технику, чем, пожалуй, даже еще и в наши дни Испания, Греция, Сицилия.

Грубейшей ошибкой покойного Арнольда Тойнби было представлять себе «европеизацию» России по образцу европеизации Японии.²⁴ Петра он понял хорошо: в замысле Петра Россия все равно что Японией и была, но на деле была она все же издавна христианскою страной, европейской по народу и языку, да еще и приобщенной древнехристианской Европе через пришедшее из Константинова града крещение. Сибирь она еще до Петра колонизовать начала и христианством просветила, но можно, конечно, сказать, что, начиная с Петра, подверглась сама новой колонизации, европейской еще раз (я Византию из Европы не исключаю), но западноевропейской на этот раз.

Есть достаточно культурно-исторических оснований, чтобы считать Россию колониальною Европой. Столько же их, примерно, сколько для применения того же имени ко всей той части Европы, что не входила в состав Римской империи. Немецкие историки давно поняли значение римского *limes*'а²⁵ для всей дальнейшей истории их страны, ее христианства, всей ее культуры. Берлин — колониальный город, едва ли даже не в большей мере, чем Петербург. Но колониальность — нечто меняющееся и относительное; это едва ли не самое важное, что нужно иметь в виду, говоря о ней. Париж и Лондон были некогда отдаленными колониями средиземноморской римской Европы, но теперь они на это время смотрят как на самое давнее свое прошлое, и Европа они, а не колония Европы. Франция, Италия (северная и средняя), Испания, освобождающаяся от арабского ига (на монгольское, впрочем, вовсе не похожее), южно- и западногерманские земли, Англия

(больше, чем Шотландия с Ирландией) — это «сама Европа». Различие это, однако, в существе своем не территориально, да и не поддается общеобязательному и неподвижному определению. Нынче Пушкин (потенциально), Толстой и Достоевский (реально) — сама Европа. Для Запада. Для меня же все лучшее в петербургской России и многое в до-петербургской вполне европейским представляется и ничуть не колониальным, как и, если об Америке подумаю, Мелвил или Генри Джеймс. Но Волга все же или аксаковское заволжье более колониальны, чем Киев и Москва, чем екатерининский, пушкинский, достоевский Петербург. Все эти оттенки переменчивы и некатегоричны даже в собственном моем сознании. Значение их невелико. Важно только, чтобы раскинувшаяся вдаль — и разреженная тем самым — Европа не утратила сознания своих святынь, — той не очень твердо очерченной, той узенькой, старой, уходящей в прошлое Европы, без которой мы все — невесть откуда взявшиеся перемещаемые лица, не знающие даже, что такое

Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.²⁶

Чужие небеса. — Это верования, религии, культуры, не вошедшие в европейское предание и внутренне ему чуждые. Несовместимые с ним, как бы мы широко его ни понимали. Чувство несовместимости этой не исчезало в былые времена и у тех, кто эти культуры с самым острым интересом и проникновением изучал. Любопытство к ним характерным образом проявляется уже у Геродота, но лишь в эллинизме обнаруживается то предпочтение своему чужого, которое так содействовало упадку Рима, а христианскою Европой было вновь на долгие века отброшено. Конечно, и христианство было греко-римскому миру чужим, но его ранняя эллинизация, потом латинизация (на Западе) привели к тому, что европеизм слился с христианством и европейская культура стала — так будет всего лучше выразиться — культурой христианской религии, той культурой, чья религиозная основа — христианство. Только в нашем веке ощущение чуждости чужих верований и культур стало у европейцев с полной решительностью исчезать. Дело тут не столько в пленительности чужих небес, сколько в исчезновении или безнадежном приземлении своих собственных.

Гете на старости лет учился персидскому языку и писал свои «Китайско-немецкие времена года»,²⁷ но учил вместе с тем, что все эти чужеземные «древности», какой бы живой интерес у нас ни вызывали, не должны вводить нас в заблуждение насчет того, что настоящими наставниками Европы остаются греки, их искусства, науки, их поэзия. Различные *turqueries* и *chinoiseries* восемнадцатого века были всего лишь невинною игрой,²⁸ да и в стилистическое единство позднего барокко (бароккетто²⁹ или рококо) включались беспрекословно и непринужденно. Пирамиды и сфинксы наполеоновского «ампира» нисколько не поколебали классицистическую его основу. Еще и в последней трети прошлого столетия очень широкая рецепция французской (прежде всего) живописью изобразительных и орнаментальных принципов живописи японской (через ксилографии японских мастеров) была чем-то не случайным, органически отвечающим развитию французской живописи времен импрессионизма и постимпрессионизма. Уравнения в правах неевропейского искусства с европейским тут еще не было, хотя путь к нему едва ли не именно тут и намечался всего ясней.

Пройден был этот путь, или остаток пути, чрезвычайно быстро, чему способствовал, конечно, переход к беспредметной живописи (и скульптуре), для которого никаких предначертаний или предвестий в греко-латино-христианской традиции не было. Все попытки их там обнаружить были неудачны: самое схематическое, самое условное изображение остается все-таки изображением. Не скажу, чтобы такие прецеденты было бы легко разыскать в других высоких художественных системах, основа которых неизменно религиозна. Даже иконоборческий Ислам не

годится в предки или в поставщики предков «абстракционизма», так как орнамент не беспредметен, покуда он, соответственно своему имени, орнаментирует какой-нибудь имеющий назначение, а значит и смысл, предмет, — будь то здание, ковшин, ковер, рукопись, музыкальный инструмент, любой элемент домашней и всяческой вообще утвари.

Но дело не в различии традиций, как и не в их сходстве. Дело в том, что беспредметное искусство — как, впрочем, и приближающееся к фотографическому объективизму предметное — перерезает окончательно нить, связывающую искусство с религиозным. Остается тогда либо документальность репродукции, которую мы искусством не называем, либо продукт, объявляемый кандидатом на звание эстетического объекта и причисляемый нами к искусству — «по старой памяти», но, как я думаю, ошибочно.³⁰ Чисто эстетическая точка зрения устраняет, разумеется, всякую оценочную разницу между художественными системами любых культур, любых времен. Все великие исторические стили равноценны, все они того же «ранга»; внутри них точно так же нет больше никаких рангов, никаких иерархий; да и произведения внестилевые или стилистически гибридные могут эстетически оцениваться совершенно с тем же успехом, то есть в конечном счете столь же произвольно, как и величайшие создания великих стилей прошлого. Это значит, что никакого выбора, кроме внушенного модой или индивидуальным капризом, не может и быть. Для эстетики внестильной все стили, как и даже все бесстилья, равны. Нет для нее ничего своего и ничего чужого. Или, верней, все для нее — чужое, и любое в этом чужом она может сделать — но как эфемерно, как поверхностно! — своим.

Небеса срезаны, — а вместо неба над нами потолок Музея. В этом музее, и тем более в «воображаемом музее», из репродукций или нарезок в памяти состоящем, о котором нас научил говорить Мальро,³¹ любое равно любому; все произведения, которым мы сказали наше значащее — а быть может, и ничего не значащее — эстетическое «да», равны между собой. Никаких привилегий. И прежде всего ничего ни в прямом, ни в переносном смысле святого. Распятие ничем не лучше и не хуже, чем оскаленный хрустальный череп другой религии.³² Нет, пожалуй, что и хуже, потому что даже и безукоризненно неверующему европейцу трудней отвлечься от религиозного его значения. Чужие небеса легче срезать без остатка, чем наши, но хирургия эта, если мы ее усвоим, позволит нам и от наших с успехом освободиться и этим удовлетворить элементарное требование Эстетики. Если же нам слишком уж скучно станет с одной Эстетикой, без небес и без всего привычного живого поднебесья, тогда она же нам на худой конец и внушит, что все небеса равны, и что чужие, быть может, и поинтересней будут наших. В магометанском, например, раю есть пери, коих в нашем нет, а в мексиканский сам Маркиз де Сад, вместо апостола Петра, с улыбкой отворяет двери.

Во все европейское, христианское и греко-языческое мы еще можем войти внутрь — от Парфенона до Реймского собора и от Айя-Софии до Vierzehnheiligen.³³ Но Ангорский [так] храм заперт для меня навеки,³⁴ и китайская изумительная живопись восхищает меня, но вглубь ее я не могу проникнуть: люблюсь, но настоящей захватывающей любви в этом любованье нет. Вероятно, посвяти я всю жизнь изучению Китая, проникнуть в нее стало бы возможным и для меня, но ведь огромное большинство любующихся ею европейцев о Китае ничего не знают, да и уверены, что вовсе ничего им и не нужно о нем знать. Многие из них уже и о христианстве ничего не знают, и не Эстетика будет от них знаний этого рода требовать. Повинуйся ей: чего легче; никаких законов у нее нет; в ознаменование смерти последнего стиля имя свое получила. Прислушайся к ней, и услышишь: «Будете как боги, знающие добро и зло».³⁵ Это значит: будете воображать себя богами, изрекающими да и нет. Если же прежних вам захочется, подземных или

небесных, извольте, тут же в Музее и выбирайте. Вот вам Кветцаткоатль [так], Анубис, Саваоф.³⁶

Беда вся в том, что наши, нами же срезанные или свернутые в свиток небеса другими небесами не заменимы; что там, где нет ничего, кроме искусства, нет искусства; и что культура, откуда выдохлось то, что ее живило, становится скучным словом, просящим кавычек и похожим на роскошный переплет старинной книги, превращенный в коробку для конфет.

Родное и вселенское. — Заглавие книги Вячеслава Иванова.³⁷ Но я не о ней; я только об этих двух словах.

Вселенная: вся населенная земля, все население земли. Светит, да не греет это слово. Средиземноморскую, древнюю, с гиперборейями и Геркулесовыми столпами чувствую. Чувствую труднее, но принимаю равенство перед Богом, перед Рождением и Смертью всех людей. А человечество все же ледяное для меня слово. Хорошо сказал Гоголь в «Выбранных местах»: «Он готов обнять все человечество, а брата не обнимет».³⁸ О человеке прошлого столетия. О нынешнем было бы еще верней. В себе я, однако, такого человека не узнаю. Не то чтобы на индивидуальные объятия так уж был я щедр, но человечества обнять не жажду. Да ведь оно моих объятий и не просит. Конкретно, в опыте моем вовсе ведь его и нет. Но если от вселенского постепенно переходить к родному, то тут конкретный опыт слишком уж узкий очертит круг. Евангелие велит любить ближнего, конкретного моего родича или соседа, но не с ним одним ощущаю я родство. Вся огромная моя родина мне родная, хоть и не очень я подробно, не очень конкретно с ней знаком. И не о России одной — как, может быть, подумал читатель — я говорю, но и обо всей гигантской Европе, включающей Америку, которую я не более чем мельком повидал,³⁹ и Австралию, где я вообще никогда не был. Однако с человечеством свое родство я только понимаю, а чувствовать не чувствую. Боюсь, что люди, твердящие нам о человечестве, мысли от чувства не отличают, — не хотят отличать, да никакие и не испытывают чувств, ни ко вселенскому, ни к родному; этим и оправдывая суждение Гоголя или Достоевского в «Дневнике писателя» (1873): «Любить общечеловека — значит наверное уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека».⁴⁰ То есть конкретного, живого. Эти мысли я разделяю, они мне с юных лет кажутся моими: я их из русской литературы высосал. Но сейчас я думаю о другом: о границах близости или родства.

Не только все русское, но и все европейское для меня — родное. Не все в одинаковой мере. Но не так обстоит дело, чтобы все русское было мне всегда более родным, чем любое не-русское — в общем, включающем и Россию, европейском целом. Флоренция во много раз мне роднее, чем Калуга (где я к тому же никогда и не бывал). Вероятно, и Муратов сказал бы это о себе,⁴¹ но мужичок или калужский домосед, конечно, не сказал бы. Примеры такого рода прямолинейному обобщению не подлежат. Но ведь в духовной жизни православной Руси, даже и неграмотной, крестьянской, паломничества во Святую Землю были чем-то чувственным, сердцу понятным, и святые ее места должны были казаться родными даже и тем, кому их посетить не довелось. Остальное — дело кругозора, расширяемого случаем или образованием. Вот я и думаю, что образование русского человека именно и должно вести к тому, чтобы не одно русское казалось ему родным. Тут скачок не поможет к «мировому», вселенскому, всеобщему. Это лишь ход мысли. И родство тут будет лишь зоологическое, да еще основанное на безлюбивой универсальности рассудка. Родного ищи в Европе. Ты его тотчас там найдешь.

Эсперанто.⁴² — Кажется, вышел он из моды, самый распространенный этот искусственный язык, на который — Боже ты мой, какая мерзость! — переведена была Библия, «Божественная комедия», переведены были трагедии Шекспира. Его

соперники давно уже сошли на нет. Больших успехов не достиг и куда хитрей придуманный Огденом экстракт *à tout faire* из английского языка, пресловутый Basic English.⁴³ Не мне об этом жалеть. Но и злорадству воли не даю. Ведь замысел всего этого был не случаен, и тяга к этого рода замыслам не кончилась. Машинные переводы такое же оскотление языка насаждают еще более успешно. Эсперантизируется сама мысль. Если ты по-английски выразишь такую мысль, машина — не хуже двуногого подражающего машине толмача — ничего в ней не изменив, выкажет ее по-русски или по-французски.

Когда я гляжу на то, что происходит в современном мире, здесь, на Западе, вокруг меня, да и везде где угодно, в результате всеобщего поклонения Прогрессу, которого многие начинают бояться, но которым не управляет никто, — я бранюсь всякий раз, бессильно, ненужно бранюсь, и чаще всего этим самым бранным словом облегчаюсь: эсперанто!

Возьмем живопись. Был у нее в Европе, еще в восемнадцатом веке, очень сложный, многовековой традицией созданный язык; общий, но дифференцированный по главным странам язык, начавший в конце века утрачивать свою чистоту и цельность. Взамен образовалось некое живописное эсперанто, сперва классико-академическое, а затем эклектически-реалистическое, отталкивание от которого только во Франции привело к воцарению долгое время не признававшейся ни критикой, ни публикой династии крупных мастеров, считавшихся революционерами, хотя именно они, и они одни, сумели великую традицию предыдущих веков найти, воскресить и в многократном обновлении продлить. Покуда были живы Матисс, Руо, Боннар, Дюфи, Марке, не умирала и она. Пикассо был одним из главных разрушителей ее, — изнутри, однако, а не снаружи.⁴⁴ Юношей приехал он в Париж, дабы в нее войти или вобрать ее в себя; никогда не переставал ее ценить; знал очень хорошо, что лучшим в своем искусстве был обязан ей; калечил, ломал, низвергал ее, издевался над ней всю жизнь, но беспредметностью не соблазнился, которая одна положила-таки ей конец. Ранние французские беспредметники, вроде Базена или Манессье,⁴⁵ были в ней еще глубоко укоренены, о чем свидетельствует красочное и композиционное их чувство; в дальнейшем, однако, различие стало быстро исчезать между беспредметной живописью французской и нефранцузской. Пикассо под конец довольно метко проворчал: «Продырявить холст, а затем обрмить и выставить можно и в Нью-Йорке; в Париж для этого ездить незачем».

Законодательствует нынче в живописи, как и в делах искусства вообще, Америка именно потому, что в прошлом она была эклектична, никакой традиции глубоко не усвоила, никакую не обновила. Авангард для нее сам по себе хорош, даже при отсутствии всякого войска, которому он служил бы авангардом. Да и об арьергарде так же она мыслит. Там и модернисты, в отличие от европейских, всегда готовы были допустить, что нравящееся (искренно) толпе имеет такое же право на существование, как нравящееся (не всегда искренно) «элите». Отсюда недавние, сравнительно, ее выдумки: искусство «поп» и минимальное искусство.⁴⁶ Идеальный язык этих искусств, как и всего нынешнего анти- или квазиискусств — Эсперанто. В двух вариантах своих, понятном (изображающем) и непонятном. Непонятному, то есть, в сущности, псевдоязыку ничто не препятствует быть таким же безличным-интернациональным и эклектическим, каким давно уже становился, а нынче почти полностью стал понятный, т. е. изобразительный, язык живописи, скульптуры, рисунка, всякого вообще изображения.

Возьмем музыку. Европейская веками создавала единственную в мире по сложности и богатству выразительных возможностей систему, которая без тщательной прививки оставалась не-европейцам непонятной, а потому и не доставляла им никакой радости, никакого удовлетворения. Безжалостное неравенство в отношении к ней царило между ними и нами. Отказавшаяся от этой традиции современ-

ная музыка — другое дело. Двенадцатитонную или атональную⁴⁷ так же мы вынуждены учиться понимать, как могут этому учиться и они, если только не поверят тем комментаторам, которые понимание музыки как особого бессловесного языка в корне отрицают. А уж музыка шумов вполне устанавливает между ними и нами равенство, — и даже дает им превосходство. Баха, Моцарта, Бетховена у них не было, а значит и помехи для услаждения музыкой шумов у них меньше. Что же до ее понимания, то мы тут образцово наравне. Громче и тише, диминуэндо, крецендо, sforцандо;⁴⁸ топ, вой, свист — это мы все люди-человеки понимаем одинаково. Долой музыку для немногих! Да здравствует шум для всех! Или приятное прекращение шума. Оно означает дружбу, братство народов, любовь. Эсперанто! Эсперанто! А музыка-поп, всех родов, негро-американская и всякая другая, мнимофольклорная (потому что на подлинно народную она вовсе непохожа), разве не доходчива она? Разве не понятна всем и всем? Разве не высказывает с полной ясностью всяческие наши всем известные чувства — чем пошлее, тем яснее. Эсперанто! Разбей радиоприемник, а то сам на эсперанто запоешь.

Возьмем строительство, везде одинаковое или оригинальничавшее одинаково. Все, что продолжает зваться архитектурой и что на всем свете одинаковыми делает наши города. Бесчеловечную нашу жестяную (даже когда жести никакой тут нет) дамашнюю утварь. Все то, от чего из жалости к себе мы отступаем в недалеком жалаке «ретрб», или подальше в до-упадочные века Европы, с риском быть обвиненными в пассаизме, равняющемся предательству. Что же это мы вздумали на языке Шекспира что ли говорить? Кто же нас поймет, кто же в состоянии будет нам на том же языке ответить? Эсперанто, эсперанто! Даже если на нем ничего не сказано, оно все-таки понятно всем.

И возьмем, наконец, это самое, наименее человеческое наше, именно в неодинаковости своей: язык. И говорить и писать на своем собственном языке молодые нынешние европейцы разучаются, — дорожить им перестают. Поражает это особенно во Франции, где совсем еще недавно люди, даже скромного образования, так любили свой язык, так заботились о правильности его, так искусно им пользовались и в письменной, и в устной речи. Нынче эту заботу, эту любовь на самых верхах передовой интеллигенции объявляют суетной, а то и вредной. Причины тому две: необузданный «либерализм» и повальное — для лингвистов (сдается мне) слегка смешное — увлечение лингвистикой. С одной стороны, зачем мучить детей или подростков, заставляя их говорить и писать, как предыдущее поколение говорило и писало? Вы их этим лишаете свободы и подчиняете будущее прошлому. А с другой стороны, лингвистика — отнюдь не нормативная наука (что совершенно верно); ее интересует «грамматика ошибок» (как один швейцарский лингвист давно уже назвал свою книгу),⁴⁹ а не та, с помощью которой искореняются ошибки. Вот и вы — говорится или безмолвно внушается учителям — от науки себя отлучаете, когда исправляете или стремитесь предотвратить ошибки. В результате этого несмышленного сциентизма и не знающего меры либерализма, французская молодежь все больше приучается предвзвешивать к своей речи, письменной и устной, требования самые минимальные. Словарь беднеет, в то же время засоряясь технико-цивилизационными отбросами, англо-саксонского чаще всего происхождения; синтаксис упрощается параллельно упрощению грамматики в приблизительном соответствии с тем, чего сознательно ищут искусственные языки и о чем молятся своему утилитарному идолу электронные машины. Сам собой получается все практические нужды удовлетворяющий basic French.

В других европейских странах наблюдается сходная картина. Языки Европы тем самым сближаются между собой. К чему тут эсперанто? Осуществляется без него мечта стольких бухгалтеров и чеховских телеграфистов. Эсперанто умерло: да здравствует эсперанто!

И подумать только, что злосчастный Заменгоф *надежду* вложил в это свое убогое словечко!

В чем гибель Европы? — В ее смешении со «всем миром» или «человечеством». Европу можно любить, как живое лицо, а «всех, всех, всех» или «всё, всё, всё» только книжной, или, как Розанов сказал, ледяной любовью. Европейский патриотизм — понятная вещь. Я и сам это чувство знаю; с малой и святой Европы на самую, какая ни на есть, большую его переносу, а человечество уважаю, в солидарности даже — если о Хиросиме подумаю, с ним живу, но ощутить всю землю отечеством сумею разве что, прожив месяц-другой на луне.

Тридцать лет назад возникла в западных странах, только что воевавших друг с другом, подлинная потребность европейского объединения. Осознана была эта потребность лишь сравнительно немногими, и, не сумев ее во многих пробудить, они решили единение это на угле построить, вместо того чтобы на энтузиазме примирения и дружбы. Что ж, думал я, пусть, авось энтузиазм от этого не обуглится. Больше меня беспокоило, уже тогда, другое. Соперник европеизма, атлантизм, сам по себе был для меня приемлем, раз я в большую Европу включаю и Америку; но, во-первых, атлантизм этот был построением практически-политическим скорей, чем идейным и сердечным, а во-вторых, его слишком легко в себе растворило то, что легло в основу ООН и ЮНЕСКО, и что нынче во Франции получило прозвище «мондиализм». Конечно, политических, практических, технических оснований, чтобы столь универсально мыслить взаимозависимость всех народов, найти можно сколько угодно; Европа, однако, как особое и прежде всего культурное, т. е. духовное, единство исчезает при этом из поля зрения. При этой концепции старинные культурные страны Запада, святое святых Европы, без которых она — пустое слово, уравниваются в весе и в правах с любой неевропейской страной, даже и полностью лишенной истории, — с только что вырезанным из чьих-то колоний экваториальным государством Пипифакс. Результат уравниловки прост: Европа — ничто; Англия, Франция, Италия, обрубок Германии — ничто; разве что лишние поставщики танков и тракторов враждующим между собою факсам.

Которые, объединившись со всеми прочими нациями в нью-йоркском небоскребе, предписывают нам, европейцам, понимать на новый лад наши, нами же придуманные слова или знак равенства ставить между вполне разношерстными понятиями сионизма и расизма.⁵⁰ Мы озадачены, но раскланиваемся. Мы — дипломаты. Мы — демократы. Решением большинства отправят нас всех в международную психушку для исправления мозгов. Лекарей пришлет Москва. Счет их оплатят Соединенные Штаты.

Kulturabbau.⁵¹ — Прекрасное слово, придуманное, кажется, при Гитлере и для Гитлера. Своей актуальности не утратило ничуть. Тем более что лишь слово было выдуманно в Германии, а не то, что названо этим словом. На снос культуру обрек Ленин, когда пришел к власти, хоть об этом открыто и не объявлял, больше того: к этому — вполне для себя отчетливо — и не стремился. Просил даже пособников своих не всё сплеча разрушать: пригодится, мол, и нам. Не считал, что «пролетарская культура» так-таки ровно ничем на буржуазную и не будет похожа. Всего лишь тем обрек он ее на снос, что мыслил ее чисто утилитарно — как совокупность изделий и умений, идущих на пользу человечеству. На пользу. Ну там, в крайнем случае и на развлечение. Но безо всяких завиральных идей о каком-то бескорыстном и самоцельном творчестве, о не нуждающейся ни в каком особом оправдании «духовной жизни». Нет уж, пожалуйста. Никакой «поповщины» он не терпел, и это любимое свое словечко понимал весьма широко. А ежели так его понимать, то становится вскоре ясно, что в культуре есть много лишнего, на что трудовые

народные деньги тратить грех. Луначарский, правда, любит о чем-то таком революционно-возвышенном потолковать, но человек ведь он несерьезный, и те враждебного класса знаменитости, которых горазд он восхвалять, сами в грош его не ставят. Мы разрушаем, мы революцию делаем; нам теперь не до лишних украшений.

Гитлер рассуждал не совсем так. Культурному человеку идеологию его разжевать и без отвращения проглотить было еще трудней, чем признать себя марксистом в политической экономии, делая вид, что он тем самым марксист-ленинист с ног до головы. А раз так, приспособим культуру к образовательному уровню наших гаулейтеров⁵² и ээсовцев. Лишние книги можно и сжечь. Все, что идеологию нашу ставит под вопрос, подлежит уничтожению и запрету.

Нынешний Запад рассуждает опять по-другому. Ничего не уничтожает, не запрещает, но старается все усердней подогнать предложение к спросу; школьную и студенческую молодежь обучать тому, на что бесспорно имеется спрос, так что им обеспечен будет заработок, а государству или обществу будет полезен их труд или полезны плоды их труда. Всего любопытней, то есть я хочу сказать самое страшное в этом деле, это, что сама молодежь, не говоря уже о родителях этой молодежи, полностью разделяет эту точку зрения. Кто же теперь учится ради ученья, узнает ради узнаванья, любопытствует без задней мысли, «тянется к свету», как некогда говорилось, не задавая себе вопросов насчет того, можно ли прокормиться солнечным лучом. Революционные французские студенты 68-го года оспаривали все на свете, кроме этих пропитательных целей народного образования. Долой Бога, долой право и мораль, но да здравствует обеспеченное доходное место после университета. Не хлебом единым сыт будет человек. Еще бы! Давай масла и ветчины; давай машину; давай хорошую квартиру! В многолетней полемике, которая велась и ведется по поводу реформы образования во Франции, ни сторонники, ни противники всяческих (большей частью вредных) новшеств не оспаривали эту кормовую или карьерную идею культуры, жертвой которой давно уже пало преподавание древних языков. Еще не совсем его отменили, но перспектива ясна: смонтируешь или всего лишь отремонтируешь электронную машину — вот тебе тыща, греческой же твоей премудрости цена пятак.

Очень похожее происходит и повсюду в европейском мире. Но Kulturabbau обеспечивается еще вернее тем, что во Франции получило название борьбы с «элитизмом», то есть с неравенством способностей, приводящим к отмежеванию — в любой области знания, искусства, труда — способных от малоспособных и вовсе неспособных, в результате чего сама собой образуется некая «элита», — всего чаще меньшинство, отличаемое от большинства. Все нам известные культуры создавались неустанным трудом весьма узкой элиты, на потребу, в первую очередь, элиты более широкой, а потом уже всех прочих людей, к этой культуре причисляемых историей. Даже и крестьянская, горизонтальной мною называемая, культура (фольклор) не тем отличается от вертикальной, что обходится без элиты, а лишь тем, что создается элитой безымянной и никакими внешними признаками не отмеченной. Те, кто, движимые эгалитарной манией — Леонтьевым некогда названной *mania democratica progressiva*⁵³ — препятствуют образованию элиты, стремятся устранить природную неодинаковость человеческих дарований, именно и отдают культуру на слом, препятствуя продлению и обновлению ее. Будь я министром культуры этого полуотечества моего или любой другой страны, я бы награждал их эмблемой железного века, чугунной медалью, со свастики на одной стороне, с серпом и молотом на другой.

Шпенглер и Тойнби. — Не явись первый, не было бы второго; но по синтетико-историческому и писательскому дарованию они, вероятно, были равны. Есть у них один общий, в предприятиях такого рода неизбежный изъян — чрезмерная систе-

матичность, фальшивые окна для симметрии. И есть противоположные один другому недостатки, соответственные их разным национальным традициям. Главные сводятся к тому, что Шпенглер слишком упорно парит в облаках: тенденции мысли, творчества, общественной жизни чудесно умеет связывать воедино и определять совместное их своеобразие, но с конкретной историей не столь убедительно показывает их связь, тогда как Тойнби слишком склонен отождествлять культуры (цивилизации, как он говорит) с обществами, их создавшими, так что становится неясным, как их могут усваивать, или наследовать им, общества, которые сами их не создали. Единство нашей греко-христианской культуры раздробляют они оба, хотя Тойнби не принял того особого «магического» тысячелетия, которое сконструировал Шпенглер, приклеив к Исламу раннее христианство.

Несравненности христианства — и его силы — он как будто совсем не чувствовал. Недостаточно чувствовал их и демифологизированно-евангелический Тойнби. Его мировые религии, связывающие культуры-матери с культурами-дочерьми, — обобщение убедительное, но становящееся очень бледным, когда подумаешь о христианстве, припаявшем два новых тысячелетия к дохристианскому тысячелетию. И этот христианский западно-восточный мир, при всех различиях, все-таки един. Не увидел этого ни Шпенглер, с его русскою «псевдоморфозой», которая оказалась бы не «псевдо», если б он ее лучше знал; ни Тойнби, который восточное христианство так неопозитивно резко противопоставляет западному. Разве то общее, что было у Августина с каппадокийскими отцами, не сильнее их несходств?⁵⁴ Пусть можно и должно византийский стиль готическому противопоставлять, но ведь обоим в равной мере противоположно и Возрождение, а в русском средневековом зодчестве наблюдаются черты как раз готике родственные, а не Византии.

Нет, едина — в конечном счете едина — Европа, и нынешний ее русско-западный раскол, раздел — не закон ее, а ее, дай Бог, чтобы не смертельная, болезнь. Не закон, — это видно уже из того, что идеология, одурачившая и язвящая Россию, с Запада к нам занесена. Нынче она и Запад гложет. Но может оказаться заносным и исцеление от нее. Заносным в обратном направлении.

Шпенглер и Китцингер.⁵⁵ — Он в Фюрте под Нюрнбергом родился. Я ему возвращаю немецкий звук его фамилии. Интерес к истории он, вероятно, тоже из Германии вывез; недаром о Шпенглере диссертацию написал. Леню мне эту книгу доставать, потому что симпатии у меня мало к ее автору. Да и не узнал бы я из нее, что нынче он думает об отношении Шпенглера к арабам, — столь восторженном к их предкам, столь презрительном к ним самим (бедуины культурно возвратились к исходной точке). Нефти не учел! Так я себе мысль Китцингера, едва ли им когда-либо высказанную, представляю.

Нефти не учел. Зато тысяча и одна ночь. Мечеть в Кърдобе, Аламбру.⁵⁶ Мыслителей, мистиков, поэтов. Но где ж похожее на все это у нынешних арабов? Недавно я прочел, что один нефтяной Харун аль Рашид возымел расточительную мысль украсить свою страну многочисленными копиями романских монастырских дворигов («клуатров») южной Франции и северной Испании. Ведутся переговоры. Производятся обмеры. Подсчитываются сметы. Иноземные, иноверные, старинные эти образчики зодчества будут самым точным образом воспроизведены.

Так что суровый Шпенглер, пожалуй, и не вовсе был не прав?

Dear Ненгу, кажется, думает, что и в главном был он прав. Летом 75 года проговорился в случайном интервью насчет этой правоты и насчет того, что вся Европа, не позже чем через десять лет, станет коммунистической. Если он так думает, пусть скорей подает в отставку. При нем Европа на свободе и пяти лет не проживет.

Spiritual pride.⁵⁷ — Когда вышло второе издание французской версии моего «Умирания искусства», «Les abbeiles d’Aristée», 1954,⁵⁸ покойный Герберт Рид (Sir Herbert Read)⁵⁹ огласил на волнах Бибиси [так] благоприятный в общем отзыв об этой книге, но в одном меня все же довольно энергично упрекнул. Проявил я в ней, по его мнению, высокомерие, или гордыню, то проявил, что назвал он spiritual pride. Едва ли был он прав. В этой книге я о чем-то горюю и чем-то — но не собой — действительно горжусь. Тем и горжусь, о гибели чего горюю. Отчасти констатирую, отчасти предсказываю — предсказание это сбылось — конец европейского искусства. Искусства, значит, и культуры. Если б Европа умела гордиться своим прошлым, она бы его не продавала за чечевичную похлебку, и будущее ее было бы менее темно.

Проклятая Русь

...удрал в Париж и никогда
в проклятую Русь не воротится.

Пушкин⁶⁰

Тебя любить и проклинать тебя.

Ходасевич⁶¹

Ни с тобой, ни без тебя. — «Живя за границею, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию, как уже тошнит от России». Это слова Александра Ивановича Тургенева (1784—1845), сказанные им вскоре после того, как поручено было ему, во время одного из его наездов в Россию из прекрасного далека, доставить гроб Пушкина для погребения в село Михайловское. Гоголь слова эти назвал «важной истиной», сообщая их Н. М. Смирнову, мужу «пушкинской» фрейлины императорского двора А. О. Россетти (или Россет), в письме из Франкфурта 3 сентября 1837 года. Он прибавляет, что истина эта «отчасти известна, может быть, и Александре Осиповне».⁶² Еще бы, ответим мы за нее. Была она и Пушкину известна, хоть он так никогда за границей и не побывал. Да ведь Гоголь и сам считал ее истиной, — особенно во второй из двух ее частей. Случилось ему в другом письме и такое высказать, что сама грамматика тут же его за этот грех покарала: «Не житье на Руси людям прекрасным, одни только свиньи там живущи».⁶³

«Все, что преувеличено, ничего не значит», — сказала г-жа де Сталь. Но «мыслить — это преувеличивать», — ответил ей в нашем веке Поль Валери. Все же, половинчатых или односторонних формул не принимаю, да не очень им и верю. Тютчев писал в Париж Гагарину из России: «Je n’ai pas le Heimweh, mais le Herausweh». Но разве никогда не чувствовал он Heimweh? Нет, верней, как у Катутла: nec tecum, nec sine te.⁶⁴ — Да, но как ни крути, скорбная это любовь.

Черт догадал. — 27 мая 1826 года Пушкин пишет Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, я месяца не останусь». Услышит, мол, о нем Вяземский: «он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится».⁶⁵

Конечно, проклятой называет он Россию не совсем всерьез. Да и встревожен он и раздражен; это не обычное состояние его духа. Попади он тогда в Париж, не долго бы, пожалуй, и восклицал, как «дядюшка Василий Львович»,

Друзья, сестрицы, я в Париже,
Я начал жить, а не дышать!⁶⁶

Через десять лет, однако, и за восемь месяцев до смерти, вырвался у него

возглас, куда более всерьез и куда более горький: «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом».⁶⁷

Что ж тогда сказать всем нам, родившимся в России, пусть и только с душою, без таланта, век спустя, три четверти века или полтора ста лет после него? Особенно тем, кто жаждет правды и кого поят ложью, кто посажен в лагерь, в психушку, кого газом отравляют, как морских свинок, готовя химическую войну. Да и миллионам других, в том числе изгнанным или ушедшим. Как тут не воскликнуть, всем вместе, не выкрикнуть — черт догадал нас родиться в России!

А ведь это страшные слова.

В Париж, или хоть за хребет Кавказа. — Даже если ты сослан туда, как Лермонтов.

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.

Быть может за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих царей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.⁶⁸

1840. В множественном числе «цари» — это те же жандармы и есть, так что ничего не пришлось бы в стихотворении этом нынешнему Лермонтову изменять, кроме цвета их мундиров. Слышал я, к тому же, что в тех краях и нынче живетса немножко вольней, чем на всех других просторах рабовладельческого нашего отечества. Ловчей ли эти народы и на выдумку хитрей, чем наш, или просто к стадности менее склонны, не знаю. Но хочется мне, чтобы отлетела моя душа сперва туда, за хребет Кавказа, прежде чем отправиться, вместо меня, на литературные подмостки Волкова кладбища.

Не раньше, чем крест можно будет поставить там на моей могиле.

Наше первенство. — Нечаев и Ткачев еще радикальнее, чем Мао. Перманентная Революция Троцкого — самая пророческая мысль двадцатого столетия. У Ленина, хоть и не от Крупской, было много бравых сыновей: Иосиф Джугашвили, Адольф Шикельгрубер, Бенито Муссолини, маршал Тито (всегда напоминавший мне милягу Гёринга), Фидель (ах, как же осмеливались у нас Фидельками называть собачек?), божественный Мао и наместник его в Албании, чьего досточтимого прозвища не ведаю, — все, вплоть до несравненного Амин-Дада, чей грозный лик уподобляет его не человеку, а Человекоеду.⁶⁹

Не будь Ленина, не было бы и никого из них. Ну, а не будь России, где бы еще мог родиться и расцвести Ленин? Слава, слава, слава! Слава стране его породившей! Слава Ему Самому и всем его августейшим сыновьям, внукам и правнукам!

Ленин и Агата Кристи. — Чьи сочинения удостоились перевода на наибольшее количество языков? Нас осведомили об этом по случаю перехода на тот свет знаменитой живой фабрики полицейских романов, в начале 1976 года. Это оказались, в нисходящем порядке, сочинения Ленина, Толстого и ее самой. Мы, значит, и тут всех опередили, если не считать Библии, которая из подсчета была исключена. Не знаю, так ли уж важно, что Ленин обскакал Толстого, — чему помогло, конечно, централизованное производство на казенный счет всеязычных сколков с его творений. Дело в этом случае было не столько в чтении, сколько в печатанье и рассылке во все концы света. Зато ни Агату Кристи, ни Толстого никто из пропагандистских целей не распространял. Тиражи, которых они достигли на разных

языках, объясняются в одном случае гением, а в другом — неприязнательностью массовых читателей.

Причины столь несходные могут иметь одинаковые следствия. Одинаковые в данном случае, правда, не до конца. Такова игра свободы. Но гигантские тиражи Ленина — не свобода. Это — необходимость, созданная насилием, а для вас, соглашатели бескостные, это — рок.

Минимальная похвала родине. — «Русская жизнь и грязна, и слаба, но как-то мила, но как-то мила». «Опавшие листья» I, 173.⁷⁰ Интонация — подкупающая, и на прежнюю русскую жизнь это, пожалуй, похоже. Но следовало бы все же Розанову отметить, что слабость простительнее, чем грязь. Или впрямь приходится нам тут либо с Лермонтовым сказать «прощай, немытая Россия», либо с Блоком — «да и такой, моя Россия...»⁷¹ Не соглашаюсь. Не хочу и Анненским восхищаться:

А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе?⁷²

[Не] хочу прощать низости и грязи ничему, никому, ни, конечно, и себе. Восторгов Адамовича (об этом есть в его «Комментариях»), не по поводу стихотворения, которым и я восторгаюсь, а по поводу мысли, высказанной в этих двух строках, никогда не разделял.⁷³ Он однажды сказал мне о приятеле своем, поэте большем, чем он сам: «Человек он был, конечно, грязный...» Сказано это было в ответ на мою похвалу посмертно изданным стихам того поэта. Я и сам, при жизни его, невысокого был мнения о его моральных качествах, но ни тогда, ни теперь мне бы и в голову не пришло отозваться о нем так. Я постеснялся даже и спросить Адамовича об основаниях такой квалификации. Мы заговорили о другом. Быть может, ему она и не казалась столь ужасной...

Если была в отзыве его правда, смысл тот поэт, смысл эту правду. Стихами, страданием, смертью. Больше ее нет. А Россия, неужель не умоет в крови, кровью своих мучеников не отмоет всю низость, всю грязь, даже и всю ту со слабостью смешанную бытовую грязцу, о которой — до всех землетрясений — думал Розанов?

O rus! O Русь!⁷⁴ — Этот эпиграф ко второй главе «Онегина», если понимать его как отождествление деревенской России с Россией, оставался в силе очень долго. До конца века, и даже накануне Октября, Россия оставалась крестьянской — и помещичьей — страной. С тех пор она стала страной не рабоче-крестьянской (ярлык этот лжив), а рабоче-мещанской, не потому, чтобы прежние мещане заменили крестьян, не потому, что разница стерлась между рабочими и мещанами в городах, как и в деревнях, не считая привилегированного (партийного) мещанства. Партийное изуверство расправилось с нашим крестьянством не менее истребительно, чем с дворянством, и лишь по количественным причинам не сумело его вовсе истребить. Остатки были, пусть и с неодинаковым повсюду успехом, перефасонены на новый лад: пролетаризированы, обатрачены и вместе с тем подчинены порядку очень похожему (при большем уродстве) на старое крепостное право. Но память о том, что Россия была крестьянской Россией, не так-то легко искоренить. Память эта не возвращает хлеба, — оттого и ввозят его из Америки миллионами тонн, но лишь благодаря ей иные экс-мужики остаются, в душе своей, крестьянами.

То, что партийная наша, полуинтеллигентная или попросту малограмотная, но все же посадская, городская власть столь равномерно обрушилась на дворянство наше и на крестьянство — дань нашему прошлому. А также свидетельство о том, насколько эта власть, в самом ее составе и существовании, была и остается всему русскому в России враждебна.

«Помещик едет в свою деревню, надевает овчинный тулуп и превращается в мужика». Так при Александре Втором писал в Публичной библиотеке служивший балтиец Виктор Ген (Hehn), из закоренелых наших недругов самый наблюдательный и всего шире одаренный. Если бы мы умели ценить врагов, его книга *De moribus Ruthenorum* (1892), посмертно изданная в Штуттгарте, давно была бы переведена по-русски и считалась бы классической.⁷⁵ Насчет тулупа он совершенно прав; а вот Белинский, Победоносцев и уж, конечно, Ленин ни в каком тулупе не сошли бы за крестьян. Если бы все наши горожане в 17-ом году одевались по-русски, а не носили бы, как Ленин, «англизе с гаврилкой», т. е. галстух и крахмальный воротник, то именно Ленин от этого и пострадал бы, пожалуй, даже не получилось бы у него и Октября. Он его соорудил при помощи солдат — переодетых на военный лад крестьян — и, конечно, они, по его сигналу, стали отнимать землю у помещиков, грабить их и убивать; но, вопреки Марксу и ему, настоящая классовая рознь противопоставала в России не пролетариат капиталу, а тулуп крахмальному воротнику.

Но дело не в этом. Так сложилось; но Россия выросла не так. Помещик, у себя в деревне, и гаврилкой, и англизе пренебрегал (эти словечки не мужики и придумали, а зощенковские послеоктябрьские разночинцы). Помещики наши, не утратившие и не побросавшие на произвол судьбы своих поместий, ближе были к мужикам и лучше их понимали, чем любое другое сословие, за исключением разве что сельского духовенства и такого же купечества. Дореволюционную Россию, духовный ее, прежде всего, облик, создали дворяне с помощью — с очень важной помощью — крестьян. Не материальной только, вполне очевидной: их трудом они жили; но как раз и духовной, о чем постоянно забывают, хотя с точки зрения культуры она еще куда важней.

Нигде поэзия и музыка в такой мере не питались фольклором. Вся наша литература последних двух веков, отчасти еще и нашего века, была усадебной больше, чем городской, и обращенной, в глубоких своих интересах, больше к деревне, вместе с усадьбой, чем к городу. Это — ее главное отличие от современных ей западных, хотя и там усадебная или близкая к ней жизнь (пусть лишь в детстве) для многих писателей весьма заметную сыграла роль (как это показала не так давно прекрасная книга немецкого социолога Бруннера). Достоевскому каторга заменила усадьбу. Деревня лишь просвечивает порой сквозь городских его людей. Но народ — все тот же крестьянский народ — все равно, даже если и в городе живущий, повсюду, кроме разве что в «Вечном муже», присутствует у него, а если незримо, то еще действеннее, чем зримо. Если не из народа, то к нему идут все положительно оцениваемые им герои его главных пяти романов. Решусь поэтому сказать, что не меньше, а может быть, и еще больше характерен он для этого «крестьянствования» нашей литературы, чем насквозь усадебный и желающий стать избянным Толстой.

Суть всего этого — не в «гражданской скорби» и не в «народном горе», и не в том, зачем народники «шли в народ». Она — в притягательной силе горизонтальной культуры русского крестьянства, которая оставалась богаче и сильнее у нас, чем в любой западной стране, и которая — это самое главное — оставалась культурой прежде всего религиозной. Пусть мне тут о «двоеверии», о пережитках язычества не говорят, наскоро отведу эти доводы, сказав, что ведь и язычество — религия. Но речь я веду не о быте, даже не о церковном быте. Достоевский писал (А. Ф. Благонарову, 19 декабря 1880 года): «...отрицающий народность, отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве. Слова крестьянин, Русь православная — суть коренные наши основы».⁷⁶ Ему вторит Розанов в «Уединенном»: «Кто любит народ русский — не может не любить церкви. Потому что народ и церковь — одно. И только у русских это — одно».⁷⁷ Замечу, что народная вера была у нас едва ли не евангеличней, чем среднецерков-

ная, но в целом принимаю эти два свидетельства не как исповедание веры, а как констатирование факта. «Народ-богоносец» — над этим принято было, после его обмана Лениным и политграмотой вместо грамоты, саркастически смеяться; но религиозность не гарантирует безгрешности; а главное, ничем не зачеркивается тот факт, что горизонтальная религиозная культура русского народа была богоносной, в течение двух веков, для русского образованного общества. И такие ввела в «высокую» нашу культуру черты, которых без нее та была бы лишена, и тем самым своеобразия лишилась бы, которое ценят чужеземцы, даже и не понимая, на чем основано.

Более измученной тупым произволом властей, более опозоренной подобострастием и доношением нет на свете страны, чем нынешняя Россия; и все-таки тютчевское «всю тебя, страна родная»⁷⁸ позволено и теперь о ней сказать, — не в силу того высокого, что в былое время она создала, а в силу пережитков ее прежней «горизонтальной» крестьянско-евангельской культуры.

Кающиеся дворяне.⁷⁹ — Если бы движимы они были чисто евангельскими чувствами, это единственное в своем роде движение вовсе не было бы единственным в своем роде. Но породившая его смесь нигилизма с христианством до того несуразна, что не приходится удивляться: аналогий ему, кажется, и в самом деле нет нигде. Проклятая Русь! нередко бормотал я, о нем думая. Сколько дарований выброшено за окно! Сколько жизней надломлено в самом первом их цветенье! Возвращайся в свою деревню, «архангельский мужик»! Какое отречение от Петра, от Пушкина, от — пусть и проповедовавшего почти то же самое — Толстого! А в деревню идя, они лучшего там как раз и не видели; «просвещали» мужика, угащая его древнее и подлинное просвещение. Грамотнее оно было и у неграмотных, чем утиль-потребная их учеба, только и подготовившая иных к облегченному зубрению полуграмотной политграмоты.

Последним образчиком кающегося или квази-кающегося дворянства на моем веку был мой сверстник и однокашник по университету, сын жандармского генерала, Георгий Викторович Адамович, очень тонкий манипулятор и стихов, и прозы, близкий мне по вкусам, если не по мировоззрению, критик, «Комментарии» которого я высоко ценю.⁸⁰ То, что меня в них, однако, издавна раздражало, это сомнения насчет того, а не праведней ли все-таки музыка для всех, чем Бах или поздние квартеты Бетховена для немногих, не лучше ли всем наслаждаться Щепкиной-Куперник, чем только четверти этих всех любить Ахматову. Примеры не его, но смысл тот самый. Или — это уж сокращенный, но собственный его рассказ в той же книге. Приезжаешь, бывало, после полуночи из театра; заспанная горничная отворяет дверь; а ей еще велят самовар поставить...⁸¹ Господи, хотелось мне всегда сказать, ну открывали бы дверь собственным ключом, обходились бы без ночного чаепития. Пожалели бы о том, что ваша матушка не слишком жалела своих горничных. И точка. Дело с концом. Если же вы хотите лечить такого рода гражданскую скорбь общественным способом, а не личным, тогда получайте Революцию, да и в Париж ни-ни, оставайтесь в зачумленной лечением России.

Я же, как тот мужик, больше всего от России хочу, чтоб рожала она собственных Невтонов и быстрых разумом Платонов, даже если повивальным бабкам придется ради них не досыпать ночей. Расцветы случались, — и рассветы; а рая на земле не бывало и не будет никогда.

Когда все живут так же. — Восхищаюсь Амальриком. Не только герой он, каких мало; он и умница. Восхищаюсь, в частности, верностью таких его не слишком для нас лестных суждений о России, как то, что сейчас приведу и за которое бранили его «патриоты» даже у нас за рубежом, как только вышла в свет его книжечка о том, доживет ли СССР до 1984 года:

«Как я мог видеть, многие крестьяне болезненнее переживают чужой успех, чем собственную неудачу. Вообще, если средний русский человек видит, что он живет плохо, а его сосед хорошо, он думает не о том, чтобы самому постараться устроиться так же хорошо, как и сосед, а о том, чтобы как-то так устроить, чтобы и соседу пришлось так же плохо, как и ему самому. Кому-то, может быть, эти мои рассуждения могут показаться очень наивными, но я мог наблюдать примеры этому десятки раз, как в городе, так и в деревне, и вижу в этом одну из характерных черт русской психологии».⁸²

Наблюдения эти, по-моему, совершенно правильны. Наивны не они, наивно то национальное самолюбие, которое их оспаривает и которое мешает с чертой этой считаться, с ней бороться. Эта черта — одна из причин успеха революционной уравниловки, слабости сопротивления, которое было ей оказано. В «Анне Карениной» (VII, XIII, начало) совсем по иному поводу Толстой сказал: «Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же».⁸³ Это истина всеобщая, но всего отчетливей истинная для России. Отсюда искони прославленная выносливость русского солдата, но отсюда и то приятие для всех равной неволи, которое так пошло на пользу Сталину, да и всем прочим властителям нашим после него, как уже и до него. Оно на пользу идет даже и лагерным держимордам и палачам.

В тесноте, да не в обиде. — А по-моему, нет: если в тесноте, то уже тем самым и в обиде. Не от соседей: они также в обиде, а от самой тесноты. Нечувствие этого, любовь к тесноте — школа коллективизма, согласие на (частичную, по крайней мере) потерю личности. Не без родства это с тягой к уравниловке, к одинаковости условий жизни. Очень выгодными оказались обе эти черты и правительству, и партии, и комсомолу, и лагерному начальству.

О двух старушках я слышал, родовитых, отнюдь не пролетарских, которые лет тридцать прожили в Москве в коммунальной квартире в комнате с четырьмя кроватями, а затем получили возможность переехать на отдельное жилье со своей комнатой для каждой. Боже, как они скучали, с какой радостью вернулись бы в прежнюю тесноту — затыкать уши ватой от чужого храпа, стоять с полудюжиной других жильцов, ожидая, чтобы закипел их чайник на плите коммунальной кухни.

Слышал я также — или, вернее, читал — о группе воинов наших первой войны, интернированных после нее в Италии. Они точно приклеились друг к другу и к избранному ими вожаку, которому повиновались беспрекословно. Поведение их было столь необычным, что их поместили, наконец, в психиатрическую лечебницу. Всех вместе. Лечить их нужды не было. Если б их разделили, только тогда и пришлось бы их лечить.

А в недавние годы, на съездах, ученых и литературных, самому пришлось мне наблюдать такой контраст: делегаты польские, чехословацкие, венгерские уходили с заседаний врассыпную, а советские сомкнутым строем, после чего такую же плотную массу отправлялись в музеи, театры, кинематографы.

Сюда же относится еще возросшая нынче, сравнительно с прежним, бесцеремонность быта, панибратство, никого не смущающее надевание чужой одежды, вваливание в гости «на огонек», мордобой после лобзаний, лобзания, сменяющие мордобой. Перманентный мордобой, конечно, хуже, но и перманентные лобзания не так уж привлекательны. Коробили меня порой и до всякой Франции эти вечные наши *sans gêne* и *en famille*.⁸⁴ Но Петербург мой похвалю. Было там души нарасспашку много меньше, а в двадцатом голодном году, когда гостя кто принимал, то делился с ним последней коркой полусоломенного хлеба, последней ложкой каши из неодернутого пшена.

О русском народе сказал митрополит Филарет: «В нем света мало, но теплоты

много». В тесноте ему теплей, но света она не излучает. Теплота тесноты помогает жить в казарме, больнице, лагере, тюрьме, особенно если она порождает и сердечное тепло, что как раз и свойственно русскому характеру; но личности, но воображению и мысли душен этот уют. Воздуху! Воздуху! Гете взмолился перед смертью: «Больше света!»⁸⁵

«Светит, да не греет» — чисто русская поговорка; и обратной у нас нет.

Слишком для немногих. — Когда, в 1909 году, вышла первая книга журнала «Аполлон», газета «Биржевые ведомости» не оставила этого события без отклика. «Журнал интересен, — писал ее сотрудник, — но, к сожалению, слишком для немногих. Средний читатель не в силах подстать (?) к той высокой ноте, с которой начинается журнал».⁸⁶

Вопросительный знак после странного глагола был поставлен редакцией «Аполлона», процитировавшей эти две фразы в третьем номере журнала. Могла бы прибавить: значит и русский язык для немногих; но в полемику с журналистом, защитником «среднего читателя», вступать сочла ниже своего достоинства. Может быть, напрасно. Может быть, следовало указать, что чтение хороших книг и журналов способно превратить среднего читателя в выше-среднего. Но все равно: ждать разрешения спора оставалось недолго, и он был всецело решен в пользу «Биржевых ведомостей», к тому времени ставших называться «Правдой».

«Прошло сто лет и новый град...» Прошло шестьдесят три года и статья Родина Березова в «Новом Русском Слове» от 9-го января 1972 года осведомила меня о том, что тему поэмы «Страна Муравия» дал ее автору Александр Фадеев, который тут же и внушил Твардовскому благодетельную мысль: «Если человек хочет быть известным и всеми любимым, то не должен пробавляться стихами в шестнадцать или двадцать строк».

Regeat Тютчев, fiat «Муравия», а также «Ключи счастья» и «Тайны испанского двора».⁸⁷

Интим со слезой для народных масс. — Существует такое издавна, но ведь названо как — лучше не скажешь; и совершенно верно, что не для народа: у него были песни и сказки, былины и духовные стихи, а именно для безнародных масс, лживо именуемых народными. Выражение это — тамошнее, нашенское, в духе старогостинодворского «антик-муаре с кисточкой». Опошление можно им обозначить любое: живописное, театральное, кинематографическое («Дама с собачкой» на экране), литературное, альбомное (как в альбоме 66-го года «Вместе с солнцем», где так успешно опошлен Петербург).⁸⁸

Бедный французский язык! Ведь и он «интимом» опошлен, совсем как в былые времена такими словцами, как «шик» или «модерн». Еще тошнотворнее тех новое это словцо, хотя в изобретении своем столь же метко и талантливо, как «авоська». Может оно, пожалуй, и к похабному подойти... Да ведь тут не простой «интим», а сердечный, русский — «со слезой».

Косолапый авангард. — Сперва наш модернизм, как везде на свете, был изысканным, «недоступным толпе»; больше даже, чем на Западе, снобически-салонным. Это линия «Мир искусства» — «Аполлон», а в Москве, без линии, «Весы», оттого что «Золотое Руно» было уже тронуто и купеческим роскошеством, и косолапостью новейшего модернизма, — без консерватории, так сказать, и без древних языков. Тяготение к лубку Ларионова или Малевича было в этом отношении очень характерно, как «пощечина общественному вкусу» футуристов, пощечину эту одновременно наносивших и вкусу «Аполлона», и вкусу «Биржевых ведомостей».

Демократизация модернизма, самое всеохватывающее явление западного искусства со времени второй войны, у нас обозначилась за несколько лет до первой,

хоть и не совсем то же, что на Западе, для нас значила. У нас это было, при всей жадности к парижским новостям (как у Татлина, например), ниспровержением западного престижа и — предугаданным как бы — перенесением столицы из Петербурга назад в Москву. Корнесловие Хлебникова и славянщина его, как и мужиковатые (раешные) ритмы и мужиковатое фатовство Маяковского одинаково показательны для этого передовитого опрошенья (тогда как Северянин или Вертинский — явления другого рода: интим со слезой для надушенных цветочным одеколоном полумасс). Ранний модернизм у нас, как повсюду, вызывал оказывавший ему поддержку снобизм; это верно еще и о Манделъштаме, о Пастернаке. Новый авангард — точно так же, но снобизм навыворот, не в цилиндре, а в рабочей кепке, вроде той, какую Эренбург носил в Париже, когда там, с помощью превосходно носившего фрак Леона Блюма, победил на выборах «народный фронт».⁸⁹

Новаторы до Вержболова:
Что ново здесь, то там не ново.

Нет, Вячеслав Иванов не совсем был прав. Любопытно уже, что Маяковский сперва приписал двустиишие это Хлебникову и сочувственно процитировал его в статье, а когда признал свою ошибку и верно назвал автора, сочувствия не отнял и у него.⁹⁰ Ни в «низкопоклонстве Западу», ни в сколько-нибудь серьезном знании его ни он, ни Хлебников, ни Малевич, ни Крученых, ни Бурлюки не были повинны. Пикассо испробовал среди всего прочего и лубок, но наши авангардные примитивы были убедительней в лубке, потому что были несколько лубочны сами. Их стихам и живописи это пошло впрок. В еще больший — ликвидации русского «Ренессанса».

Эрнест и Игнат. — «Сударыня, — говорит капитан Лебядкин Варваре Петровне, — я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната».⁹¹

Собственно говоря, капитан Лебядкин — тезка Игнатия Лойолы, но, видимо, этого не ощущает.⁹² Имя его кажется ему слишком русским, простонародным, вульгарным; то ли дело Эрнест (в Петербурге даже был и ресторан «Эрнест»⁹³). После Октября началось совершенное раздолье всяким Генрихам, Эдуардам, Робертам. Добро бы одни Ильичи, Октябрины, Ленины; подхалимство понятно; но зачем же Виктория, Ричард или Марсель? Нарекают сына Никиты Сидоровича Эрнестом, а собакам дают (как о том с оправданным гневом писал Солженицын) превосходные русские, христианской верой освященные, апостольские даже имена.⁹⁴

Кошунство это, но, кроме того, и самая вопиющая безвкусица. — Откуда взялась, однако, сама эта схватка Эрнеста с Игнатом, из которой, при советской власти, победителем вышел Эрнест? Западничество в победе этой повинно, но самое паскудное, которое искони сосуществовало с мудрым и высоким, и со славянофильством не столь уж безнадежно враждовавшим, поскольку само это славянофильство не становилось похожим на подсахаренный шовинизм. В партийно-правительственной советской премудрости соединились, как я писал четверть века уже назад, самый скверный сорт западничества с самым скверным сортом славянофильства, или попросту русопётства. Отражается это на вкусах, модах и нравах. Наши новые госпожи де Курдюковы по-французски не говорят; но мне довелось однажды (во Флоренции) слышать, как расфуфыренная супруга одного из наших нынешних литературных заправил, жеманясь, выпевала:

— Ах, милая, пусть тут и хорошо, но где ж в наше время можно еще жить, как не в Париже, ну а если не там, то в Петербурге?

Революция Петровна. — Таково было имя и отчество советской гражданки, временно откомандированной для преподавания русского языка в одну из сканди-

навских стран. Сочетание этого имени с этим отчеством представляется мне вовсе не случайным.

Петр был беспардонный ниспровергатель основ, человек самых трезвых и технократических идеалов. Электрификация плюс абсолютизм — мог бы быть его лозунг в другие времена. Лозунг, легко заменимый подлинным и общеизвестным, поскольку мы абсолютизируем социализм, делая его государственным, тоталитарным, самодержавным. Ни в какой «поповщине» Петра не обвинишь, скорей напротив. И насчет мягкосердечия точно так же. А все-таки — нет. Узурпировала та учительница свое отчество. Пусть Владимировной зовется, или Николаевной, в крайнем случае.

Яблоню судят по плодам ее.⁹⁵ Посаженная Петром принесла и горькие, но рядом с ними и все те сладостные, которыми мы до сих пор живем, а Ленин посадил мерзость, из которой выросла мерзость еще горшая. Рабство посадил, куда хуже крепостного, и жестокость, и ложь, и жвачную резинку тупой идеологии. Карамзин не о Петре, об Иване Третьем сказал, что тот «раздрал завесу между Европою и нами».⁹⁶ А о Петре: «Петр Великий, могущею рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобным другим европейцам».⁹⁷ Ленин постарался по мере сил подобие это уничтожить, а завесу заштопать и задернуть вновь. Он себе этого не ставил сознательной целью, но достиг этого полным своим безразличием к европейской, русской и какой бы то ни было культуре, даже и неприязнью к ней (как бы революции не повредила), а главное — полным непониманием, что она такое. Петр был революционером, но не человеком, помешанным на революции, и был цивилизатором, не враждебным культуре, вовсе ее от цивилизации не отличавшим. Переправил он к нам, сам того не замечая, вместе со всяческой техникой, очень нам нужные, а неведомые, хоть и родные, созвездия западных небес.

А Революция Николаевна — что ж, не совсем это нелепо. Последний царь погубил Россию, приняв войну, а в войне спасая союзницу свою, Францию. Не будь войны, не было бы Октября. Но все свои грехи он искупил мученической своей кончиной.

Тот шкипер славный. — Мелвил, американский и вполне европейский писатель, называет его Peter the Barbarian в замечательном своем рассказе Billy Budd.⁹⁸ Петр-Варвар, да, он варваром и был; но начетчиком одного — безошибочного якобы — ученого сочиненья, узколобым изувером, попом беспоповщины не был. Он вздернул Россию на дыбы, но за колючую проволоку не посадил, и уготовил ей Ломоносова, Державина, Пушкина, а не Шолохова с Демьяном Бедным, не психушки, не лагерный архипелаг. Оттого-то и восславил Пушкин Петра, хоть и сказал о его указах: «писано кнутом»; оттого-то Бунин и проклял Ленина, а молча его прокляли, смертью своей, Гумилев, Есенин, Мандельштам, да и, сам того не зная, Маяковский.

Не будет России, пока не пойдет на слом мавзолее его на Красной Площади. Не будет России, если она вконец отречется от Петра.

Квасная Русь. — Если срезать нарост ерунды, калечащий больше полувека и оглупляющий Россию, но при этом и Петра, Петербурга, Пушкина ее лишить и не вернуть ей христианства, что ж тогда останется? Не Русь, а квасная Русь. Русь давно ушла; я ее люблю, да ей нет возврата, как и без христианства она, разумеется, немислима. А квасная бессмертна: все вынесла, и в СССР, и в эмиграции бытует, но никогда я ее не любил, терпеть не могу и сейчас; не примирюсь с ней и на смертном моем ложе.

Смеется Пушкин над теми, кто «почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке», как и над тем, кто, по случаю нашествия двенадцати языков, «отказался от Лафита и принял за кислые

щи». ⁹⁹ Ничего не имею против ботвиньи или кислых щей, кулебяк и калачей, люблю березки и «клеякие листочки», ¹⁰⁰ но безо всего этого обхожусь и никогда не соглашусь признать, чтобы Россия в этом и состояла. «Гай-да-тройку» и прочее в этом роде раз навсегда отметаю в небытие. Стыжусь соотечественников, сусально объясняющихся в любви к Пушкину, цитируя вирши барона Розена из либретто оперы, в твердом убеждении, что они-то подлинный «Онегин» и есть. ¹⁰¹

Мандолина, гитара, вовсе это не плохо. Нищий скрипач — больно мне за скрипку, жаль его; кляню жестокою жизнь. А балалайка — видеть ее не хочу, не то что слышать. Только имя хвалю; какой еще народ свой любимый инструмент называет таким сатирически-выразительным именем?

Не сама ли это Русь смеется над квасною Русью? Если так, я с ней. Готов признать: не обманывалась она никогда насчет собственного паскудства. Этим она его наполовину искупает, но не совсем — бедная моя, родная, — не совсем.

Престол Бахуса. — Сыновья симбирского помещика, братья Тургеневы, смолоду крепостного права не одобряли. Будучи геттингенским студентом, второй из них, Александр Иванович, писал в 1803 году: «Я думаю, что не один северный климат, не одна физическая причина склонности русского к пьянству; но есть и другой источник сей пагубной для нас страсти, есть причины моральные (которых основание находится в государственной нашей конституции). Россия большею частью состоит не из подданных, но рабов (...) — и большая часть крестьян принадлежит помещикам. Русский мужик с молоком матери всасывает в себя чувство своего рабства, мысль, что все, что он ни выработает, все, что он ни приобретет кровию и потом своим, — все не только может, но *имеет право* отнять у него его барин. Он часто боится казаться богатым, чтобы не навлечь на себя новых податей; и так ему остается — или скрывать приобретенное (...), или жить в беспрестанном страхе; а чтоб избежать того и другого, он избирает кратчайшее средство и несет нажитое в царев дом, как говорят наши простолюдины. Словом, гораздо большая часть русских крестьян лишены собственности. И вот одна из главнейших подпор, на которых вознесен в России престол Бахусу». ¹⁰²

Нынче подпора эта укрепилась против прежнего во много раз. Крестьяне лишены собственности куда радикальнее, чем при крепостном праве, а несвобода, связанная с ним, распространилась на всех и каждого. Партия и правительство не только могут, но и имеют право обобрать кого угодно, лишить его заработка и отправить, куда им вздумается: в лагерь, на поселение, в тюрьму, в психушку. Каждый побаивается соседа и страшится завтрашнего дня. Оттого и пьют мертвую не одни колхозники, но и все служивые, как прежде называли солдат, и как теперь позволительно называть всех подданных политбюро или генсека партии. «Напейся», — говорят друг другу сослуживцы расставаясь, и женщины нередко пьют еще отчаяннее мужчин. То и другое — ярко прогрессивные явления — не правда ли? — сравнительно с эпохой проклятого «царизма», чей поздний завет — казенную продажу питей — свято блюдут его наследники и достойные воспитанники Ильича.

Товарищи! Алкоголики! Когда ж догадаетесь вы воздвигнуть престол Бахусу, он же и памятник Ильичу, на месте его слишком скромного мавзолея? Сам наш великий вождь трезвенник был, но Бахусу в жертву принес всю прочую Рассею.

Мещанство. — Трудноватое слово для отвлеченного умозрения, а в разговоре применяется большей частью совершенно справедливо. Дело в том, что его оценочное значение с безоценочным почти ничего не имеет общего, не относясь, в отличие от него, ни к какому определенному сословию или классу. Нашему прежнему сословию мещан вовсе не было больше, чем другим сословиям, свойственно мещанство, — за двумя только исключениями: крестьян и в своих поместьях проживающих дворян. Мещанство — явление городское и сравнительно недавнее, связанное

с постепенной утратой религиозных и нравственных основ жизнеустройства, а также (опять-таки религиозно обусловленного) единства стиля в области музыки, литературы и, еще очевидней, архитектуры, изобразительных и прикладных искусств. Если считать «мещанство» переводом «буржуазности» или «буржуазного духа» в оценочном применении этих ярлыков, то и тут сказанное мною остается верным: никому интерьеры Вермера не кажутся мещанскими и никто не попрекает мещанством Джотто или Ван Эйка, хотя оба могут быть не без смысла названы мастерами антифеодальными и даже антиклерикальными.¹⁰³ Наше слово лучше соответственных иностранных именно потому, что порицание высказано в нем отчетливей («мещанский» — это не *bürgerlich*, а *spießbürgerlich*¹⁰⁴). Это — термин не общественной жизни, а культурной. В обиходе культурного человека мещанство испаряется, какого бы происхождения он ни был, при условии, конечно, чтобы культурность его была подлинной, а не показной; тогда как оно может проявляться в психике и в быту как действительного тайного советника, так и банкира, как ремесленника, так и пролетария. Революционные перевороты порождают особенно агрессивные формы мещанства, замечательным изобразителем которых был у нас в свое время Зощенко. Грибоедовская Москва (Молчалин, Репетилов), да и сам Павел Иванович Чичиков — это еще мещанство предрассветное, робкое, по-настоящему оно окрепнет лишь к концу столетия; зато нынче, при социализме, накануне коммунизма, это мещанство «нового класса» более классовым себя являет и более хищным, наглым, невежественным, чем когда-либо и где-либо.

«Мещанство, — писал Герцен («Былое и думы», XXIX), — несовместимо с нашим характером — и слава Богу».¹⁰⁵ Теперь он бы этого не написал.

Распутин и Витте. — Непохожи они друг на друга, только одно и есть у них общее — самое главное, всех различий важней, для истории России (и Европы). Они были оба решительными противниками нашего вступления в войну.

Если б *их* она послушалась, был бы им нынче памятник воздвигнут, вроде как Минину и Пожарскому (тоже ведь разных сословий были люди); но не в Москве, а в Петербурге, который сохранил бы свое имя и остался бы столицей. Столицей конституционно-демократической Российской империи или, что более вероятно, Российской Федеральной Республики, состоящей из автономных земель с умеренно-демократическим (неумеренная демократия губит демократию), но обеспечивающим все свободы и приемлемым для всех ее народов строем.

А насчет В. И. Ульянова, скончавшегося от прогрессивного паралича в Швейцарии, никто бы и не знал, кто это такой.

Со святыми упокой. — За два дня до того, чему имени нет, государь со своим семейством присутствовал последний раз на богослужении в ипатьевском доме. Когда диакон провозгласил «со святыми упокой», одна из великих княжон разрыдалась и все сестры вместе с их отцом и матерью пали на колени. Мальчик в белой ночной рубашке, похудевший, бледный, не мог этого сделать, потому что был до пояса завернут в одеяло. Но покуда вся Россия этого не сделает за него и не взмолится о всех них «со святыми упокой», не станет она вновь Россией.

Что же до коммунистических джеков-потрошителей, то они поспешили увековечить сделанную ими мерзость, переименовав город в Джеквилл, я хочу сказать в Свердловск. Нынче их слуги туристов водят в ипатьевский дом,¹⁰⁶ и шпана эта любопытствует, справляется; но в подвал ее не пускают, хоть и хотелось бы ей докопаться до пролитой в этом подвале крови.

Царь неумелым был царем, и царице лучше было бы не быть царицей. Но были они людьми достойными сострадания и приязни, тогда как извергов или набитых идеологической трухой чучел, что правили Россией после них, даже и затрудняешься назвать людьми. А девушки? А больной мальчик в белой рубашке?

Эх вы, политики, политиканы, хроникеры, летописцы, занятые люди, остановитесь на минуту, если статистика из вас еще не окончательно душу выела, — остановитесь и послушайте:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...¹⁰⁷

Покаянно шепчутся сами собой эти стихи. Так и будут шептаться в освобожденной России. А Георгию Иванову простится за них и смертный грех, если бы такой был у него на совести.

Кнутосоветская империя. — *Questi russi con questo knut* — женскими устами произнесенные, со скандинавским акцентом, долетели до меня эти слова на палубе венецианского вапоретто в 1912 году.¹⁰⁸ Такая молва и тогда о нас ходила, будто мы чуть ли не с женами нашими расправляемся кнутом, будто кнут — национальная наша эмблема. Не особенно это лестно, тем более что основания для этого не совсем отсутствуют. Ведь это не ложь, что указы Петра «писаны кнутом».¹⁰⁹ Пусть шпицрутены — злее куда, чем кнут — и прусский подарок, но мы его приняли охотно и применяли с аппетитом. Не без основания Бакунин империю нашу, при Николае Первом, кнута-российской обозвал. При Николае Втором, однако, я кнута над собой не чувствовал; рос на свободе, учился, чему хотел и у кого хотел; виселицам не радовался, но и политическим убийствам тоже. Кнута над собой не чувствовал и Блок, при всей его зараженности интеллигентской ненавистью к тогдашнему государственному строю. Строй этот я не стану защищать, скажу только, что был он менее свиреп, чем несуразен и противоречив, и что он постепенно улучшался, — не будь войны, продолжал бы улучшаться, несмотря на то что оппозиция, даже умеренная, стремилась его не улучшить, а сокрушить, совсем и не научившись, до самого Октября, видеть «налево» врагов, — своих и России.

Кнутосоветская империя и кнутом работает куда универсальней, резче и круче, чем бывшая, да и зваться империей имела бы еще больше оснований, чем та, потому что стремится ко всемирной, о чем та не помышляла. Кнутом — и похуже, чем кнутом — работают ее императоры, единоличные или коллективные, вот уже скоро шестьдесят лет. В настоящем их гербе кнут и наган скрестились, а не серп и молот. Но серп и молот тут тем не менее уместны — для того, кто понял, что это символы лжи. Перманентной, неумолчной лжи.

Новый класс. Пролетарии, нечего сказать. Ложью и насилием пришли к власти. Устроились. Разжирели. Ложь, поддержанная Бомбой, — думают поклонники их на Западе — уже не ложь. А на деле прозвище их государства и то лживо. Оно — империя, а не союз. Никаких советов давно уже в нем нет. Социализма тоже нет, а есть государственный капитализм самой зловонной разновидности. И все его республики, собственные или «братские» (разница тут невелика), либо монархии, либо олигархии, то есть в той же мере республики, в какой была республикой гитлеровская Германия.

Стыдно, обидно... — За кого? Да вот за эту самую кнутосоветскую империю, за родину нашу, за Россию. Давным-давно это чувствуем, а с годами (я, по крайней мере) все острее.

Набоков писал в романе «Дар» о двойнике своем Годунове-Чердынцеве (просматривающем в Берлине советские журналы двадцатых годов):

«Вдруг ему стало обидно — отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении „к свету“ таился роковой порок, который по мере естественного приближения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот свет горит в окне тюремного надзирателя, только и всего?»¹¹⁰

Не к тому свету стремились, или светом считали нечто вовсе не светлое, вот и попали не на волю, а в тюрьму. И опустилась Россия, в своем целом, на уровень просветительских брошюр, изготавливавшихся той интеллигенцией, которую Достоевский еще в 80-ом году (в письме к Благодравову) назвал «даже не интеллигентной».¹¹¹ Оболваниться, притупиться — это и значит опуститься на этот уровень. Плохоньким все стало и серым, да таким в казенной, в партийной России и осталось. Какая грусть!

«Когда Федотову, больную, парализованную, во время революции перевозили мимо театра, где она всю жизнь играла (московский Малый), она со слезами сказала: „Милый, какой ты стал грязный, какой скверный!“»

Это рассказано В. А. Нелидовым в его книге «Театральная Москва» (Берлин, 1931).¹¹² Я часто об этом думаю. Каким предзнаменованием это было! Починили, покрасили, что нужно, там, куда туристов водят, да не в этом дело. Вся Россия... Милая, шепчу, какая ты стала скверная...

Опустелый дом. — Если думать о качестве, а не о количестве, вся Россия нынче — опустелый дом. Может быть, и об этом думала Лидия Корнеевна Чуковская, когда заглавие это давала своей повести. Качество соблюла. Такие люди, как она, — утешение наше и залог оправдания России. Но все мне бессмысленно хочется ее допрашивать насчет ее Ольги Петровны из той же книги, неужели могла немолодая, выросшая в прежней России, женщина так слепо, так тупо уверовать в Сталина? Бессмысленно хочется: знаю, что Л. К. не написала бы неправды. Но Боже мой, как страшна эта правда! Если такой слепоты было много, оттого-то и опустел наш дом.¹¹³

Братцы, что ж это? — Пора переделать Лебедева-Кумача. Чего там «широка», ведь и Китай не узок. Лучше скажем — хороша. Много в ней... Много в ней психушек, лагерей. Плохо получается: внутренняя рифма ни к чему; союз не поместился. А дальнейшее и совсем не укладывается в стих, да и прозы никакой не выносит, кроме самой протокольной. Мы усердно готовимся к химической войне, и в лабораториях, при московском, например, университете, производим весьма опасные для здоровья, а то и жизни, опыты над живыми людьми, беременными женщинами в том числе, вовсе их даже об этом не предупреждая и не спрашивая их согласия. Об этом на «Слушаниях Сахарова» в Копенгагене (17—19 октября 1975 года) сообщила г-жа Л. Маркиш, окончившая химический факультет Московского университета и сама пострадавшая от этих опытов. (Сообщение ее напечатано в мюнхенском журнале «Зарубежье», дек(абрь) 1975). По ее словам, этих недобровольных кроликов или морских свинок именуют там, в «стране моей родной», кротами...

Широка, хороша, что и говорить. Миллионы уморила и продолжает морить в лагерях, сколько-нибудь свободно мыслящих людей подвергает пыткам в психушках, подпольно отправляет двуногих кротов на убой.

Кричу, как слесарь в «Бесах», над трупом растерзанной толпой Лизы: «Братцы, что ж это? Да неужто так и будет?»¹¹⁴
Проклятая Русь!

Пустые небеса

И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса.¹¹⁵

Пушкин

(если бы сошел с ума)

В сердце своем. — «Рече безумец в сердце своем: несть Бог».¹¹⁶ Вот именно: в сердце. Если бы только в уме, это было бы менее богато последствиями, менее ужасно.

Тут надо, впрочем, различать понятия разума и рассудка. Честертон очень верно сказал: «Безумен не тот, кто потерял разум, а тот, кто потерял все, кроме разума».¹¹⁷ Но его слово — *reason* — скорее рассудок, чем разум. Так и французское, и все соответственные романские слова, и их латинский предок, *ratio*. Наш «разум», или во всяком случае «ум», менее «рационален», ближе к греческому «нус», шире, а потому и выше, чем рассудок. Кант критиковал *Vernunft*, но едва ли не более правильно было бы назвать этот человеческий дар *Verstand*’ом.¹¹⁸ Тут, однако, есть неувязка в немецкой лексике, потому что *verstehen*, «понимать», может относиться и к предметам, рассудку непонятым или рассудком отрицаемым. Следуя такому смыслоразличению, мы оправдываем наши слова «безумец», «сумасшедший», «умалишенный»: лишиться ума — нечто большее, чем безрассудство; это значит еще и не слышать тех доводов сердца, тех его «резонов», о которых Паскаль сказал, что рассудок (*Raison*) их не знает.¹¹⁹ Оттого-то именно безумец — только безумец — в сердце своем и говорит: несть Бог. Не одного рассудка он лишился (кое-что от рассудка весьма возможно, что и сохранил), но лишился во всяком случае той высокой области Ума, которую мы — от предков не отрекаясь, хоть об анатомии и не думая — называем «сердцем».

Потому что человек, не просто на словах и не одним рассудком отвергающий Христа и Бога, в самом деле себя обрекает на безумие. На беснующеся безумие.

Евангелие от Лукреция. — Оно не в сто первом стихе первой его книги, почти перешедшем в пословицу: *Tantum religio potuit...* —

Вот к злодеяням каким побуждала религия смертных,

а в 78-ом и 79-ом:

Так, в свою очередь, днесь, религия нашей пятою
Попрана, нас же самих победа возносит до неба.

Цитирую тяжеловесный, но компетентный перевод Ф. А. Петровского, заботливо изданный, параллельно с латинским текстом, Академией наук в 1945 году (серия «Классики науки»;¹²⁰ хотя классиком атеизма назвать автора знаменитой поэмы было бы и откровенней и точнее).

Сто первый стих констатирует бесспорный факт. Религии, что и говорить, натворили множество бед, в том числе и та, о которой Лукреций знать ничего не мог: религиозные войны, костры инквизиции, истребление инакомыслящих огнем и мечом. Лукреций упоминает жертвенное заклание Агамемноном дочери своей в Авлиде,¹²¹ но можно подкрепить его стих множеством других примеров. Христианских больше еще найдется, чем языческих; но еще гораздо больше безбожных, я хочу сказать, относящихся к антихристианским религиям абстрактных идолов. Жаль, что Лукреций не видел воздвигнутого Робеспьером алтаря божественному Рассудку (*la déesse Raison* в парижском соборе *Notre Dame*¹²²), во славу которого так по-стахановски трудилась гильотина, не погнушавшаяся отсечь голову самому Робеспьеру, когда очередь дошла и до него. Жаль, что не довелось ему приплыть

к нашему сухопутному Архипелагу или к одному из наших храмов-темниц Асклепия,¹²³ где выправляют мозги неверующим или не совсем, как нужно, верующим в Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Ознакомься он со всем этим, он, пожалуй, переделал бы свою поэму, дабы показать, что безнебесные религии во много раз опасней тех, чьи боги живут на небе или чей Бог живёт на небесах.

Дальше бы не пошел: был сциентист¹²⁴ — предтеча нынешних, мнящих, что наукой единой сыт будет человек, даже когда наука лишит его хлеба или сделает несъедобным его хлеб. Так и в двухтысячном году бубнить продолжал бы вконец ошалелым людям все ту же мнимо-благуку весть о том, что религия поправа их пятою и что тем самым они до неба вознесены.

Пора всесоюзно, всесоборно, всечеловечно анафеме предать лжеевангелие от Лукреция, которое все лежит еще на алтаре все того же идола, миллионами робеспьериков громче, чем когда-либо, объявляемого богом.

Крестобоязнь. — Когда нынче, у нас в стране, перечисляют в печати каких-нибудь лиц, в большинстве живых, но среди которых есть и недавно умершие, имена покойников этих обводят рамочкой, а крестиком не помечают, как это делалось прежде и продолжает делаться (пока что) повсюду в мире, продолжающем считать себя христианским.

«Крестословица» — отличная калька соответствующего английского слова, придуманная в начале двадцатых годов в Берлине, по-видимому, Набоковым. У нас в стране, дабы этого слова не применять, пользуются уродливой транслитерацией «кросворд» [так], засоряющей русский язык и коверкающей английский. Крестословица? — Помилуйте, как можно! С нами бесова сила, да сгинет крест!

Случайно стало мне известно, что одной эмигрантской литературной даме привезли из России в подарок старинное медное распятие. Она подарка не приняла, — что было, впрочем, и достойней, чем превращать распятие, как это делают с иконами, в безразличное комнатное украшеньё. Но крестобоязнь — никем не названная — здесь, без сомненья, налицо.

Знал я и немку-протестантку, вышедшую замуж за русского, любившего путешествовать и питавшего особую любовь к Италии. После первой поездки туда с женой, перестал он о дальнейших и мечтать: наотрез отказалась она заходить в какую бы то ни было церковь, как и глядеть, в галереях, на какие бы то ни было религиозные изображения.

Дело тут не в неверии. Столь яростный отказ едва ли не ближе к вере, чем спокойное безразличие к ней, свойственное столь многим. Но в ненависти этой не отсутствует, конечно, бесноватость. «Эх, эх без креста!» Этот возглас из «Двенадцати» Блока подлежит анализу.¹²⁵ «Без креста» очень хорошо было известно и прошлому и предыдущему веку. А вот «эх, эх», тут я наш узнаю. Это — Революция, со всем ее надсадом. Она и в те души проникла, что как будто и совсем враждебны ей.

Страшноваты этот страх и злость; беснование это, уличное или домашнее. Но кто знает? Так, быть может, и лучше. Или будет лучше. «Если хочешь бежать от Бога, беги к Богу», — сказал блаженный Августин.

Чтоб рухнул свод. — Под Парижем есть аббатство времен Людовика Святого — Руайомон.¹²⁶ В хорошо сохранившейся трапезной его устраивают совещания и съезды. От церкви — только что расцветшего во всей красе изощренно-одухотворенного готического стиля — всего только и осталась одна-единственная стрельчатая аркада поразительной силы взлета и девственной линейной прелести. Революционная чернь с остервенением ринулась разрушать церковь; но ничего нет прочней готической структуры, и свод упорно сопротивлялся самым бешеным усилиям толпы. Тогда придумали привязывать волов к опорным столбам арок. По очереди,

от портала к апсиде, одного к правому столбу, другого к левому, после чего их гнали плетьюми, одного направо, другого налево. Разрывалась арка за аркой; рухнул свод. Одну аркаду сохранили — очевидно в память злодеяния.

Скульптур не осталось никаких. Не пришлось их неделями соскребывать, как со всех порталов оссерского собора, как с трех западных порталов парижского.¹²⁷ До сводов дело почти нигде не доходило. Быть может, лишь здесь и додумались к своей злобе припрягать волов. Прогрессом зову одного, Революцией другого, хоть и тянули они в разные стороны, тогда как П(рогресс) и Р(еволуция) тянут неизменно в одну и ту же.

Революция полезна вначале. Затем Прогресс способен обойтись и без нее. Великолепнейшее создание романской архитектуры во Франции, главная, огромных размеров церковь аббатства Клуни была продана при Конвенте или Директории в частные руки, и при Наполеоне ее владелец всю ее распродал, камень за камнем, в розницу.¹²⁸ Остались южные концы двух трансептов¹²⁹ и капители, дивной работы, огибавших алтарь столбов. Каков был, в общих чертах, этот храм, мы знаем. Не увидим его, однако; не войдем в него никогда.

О руайомонской церкви можно только гадать, какая она была. Но я не гадаю. Волон воображаю и слышу рев толпы. Чтоб рухнул свод! Чтоб рухнул свод...

Рассудком скованная вера. — Не видал, нет, не видал; но ясно себе представляю скульптурную — непременно неоклассическую — группу. Какой-нибудь венценосный или митрофорный меценат мог бы заказать ее сопернику Торвальдсена или Кановы¹³⁰ для своего замка, дворца, да и, пожалуй, для вольномыслием овеванного храма: *La Foi mise aux fers par la Raison*.¹³¹ Вера инсценирована была бы полуобнаженной молодой женщиной, не без благонамеренного воспоминания о грациях Версаля, а Разум, склоненный к ней, полулежащей, и налагающий кандалы на ее к небу поднятые руки, был бы слегка похож на Вольтера, изваянного Гудоном, но не столь дряхлотелого, как гудоновский Вольтер. Или, может быть, на Канта, с такою же поправкой. Ведь это очень показательно, что свой трактат о Религии *innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft* издал он именно тогда, когда богине Разума возносили хвалу в парижском соборе Госпожи нашей Богородицы. *Blosse Vernunft* еще ближе к голому рассудку, чем *reine Vernunft*.¹³² Подчинять религию рассудку, или, как нынешние протестанты говорят, демифологизировать ее — это значит отнять у человека то, что наш Александр Иванов назвал образным богопознанием,¹³³ и тем самым, если не сегодня, то завтра или послезавтра отменить религию. Гений Тютчева и тут его не обманул. «Я лютеран люблю богослуженье». Это первый стих. «В последний раз вы молитесь теперь». Это стих последний.¹³⁴

В Кенигсберге издан был трактат. Бедный, умный, сверх всех умников умный, чистый, человеколюбивый Кант! Как безмозгло твой город переименовали шуты, проповедующие веру в совершенную белиберду, но умещающуюся целиком — как ты повелел — в пределы голого, хоть и хромого, в данном случае, рассудка.

Ликвидация поповщины. — Сперва о вежливости (той, что не только вежливость). Отчего гнусно говорить «жиды», а не гнусно говорить «попы», после того, конечно, как пришли к концу те времена, когда пользоваться и тем и другим словом было вполне нормально. Ленин, например. Отчего это писать «жид» себе воспретил, а на попов и поповщину скрежетать зубами не переставал, до самых тех пор, как заскрежетал на них товарищем Дзержинским? Ну, положим, ясно: оттого же, отчего он и Дзержинского ляхом или полячком не называл. А все-таки... Евреи старше, но и священнослужители христианства появились на свете не вчера, и лишь для глупца будут они все презренны. А уж распространять эту кличку за пределы ряса и клобуков — это не просто неучтиво или грубо, это еще и в высшей степени саморазоблачительно.

Винюсъ: «заглядывал я встарь / В Академический Словарь» — Литературного Русского Языка. Там и вычитал: «Поповщина» — «религиозно-мистические воззрения, верования и предрассудки». ¹³⁵ Писали бы уж просто «предрассудки», раз к ним приравнивают все религиозные (а не только «религиозно-мистические») воззрения и верования. Но это обычная в испорченных идеологией умах умственная каша. Интереснее цитата из Ленина, том 38 (Боже ты мой!), страница 361: «Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть («вернее» или «кроме того») *дорога* к поповщине». ¹³⁶

Философский идеализм — очень широкое понятие, куда есть основания включать столь непохожих друг на друга мыслителей, как Платон и Кант, Гегель и Шопенгауэр, а для Ленина оно растягивалось и на всё, что угодно, кроме материализма («вульгарного» и марксистского). Так что, собственно, любая философия, кроме той, которую он себе усвоил, ведет к религии, отчего и надлежит заклеить ее именем поповщины, которого она заслуживает, однако, и сама по себе. Как его заслуживает и идеализм нефилософский, от идеалов название свое получивший, а не от идей. Бескорыстное служение идеалам — не коммунистическим (оговорка эта слишком очевидна, чтобы не остаться безмолвной) — та же поповщина. Тогда как коммунизму (это я вполне по-ленински дополняю ленинскую мысль) можно служить и небескорыстно, т. е. добиваясь власти или денег, только бы служба эта была полезна Ленину или его преемникам.

Поповщина, как видим, необъятна; потому и ликвидация ее была широка. Попов били, как мух, в рясе или без рясы, верующих во Христа, как и всего лишь в конституционную демократию и правовое государство. Шингарев и Кокоскин, кто они были? ¹³⁷ Попы. Гумилев, Бабель, Пильняк, Мандельштам и все прочие ликвидированные с самопишущим пером в кармане, кто они были? Попы, воспевавшие поповщину в прозе и стихах. Кроме шкурничества, нужных государству наук и марксизма-ленинизма, как же все остальное назвать, если не поповщиной? Любовь к родине и защита ее собственной грудью и те поповщина, если их никакой политрук или кагебист не благословил. Тысячам и тьмам, из плена или с фронта вернувшимся, истину эту объяснили в шарашках и лагерях. Выбивали и до, и после того, поповщину из мозга, путем разможенья головы или сходных средств не только о. Павлу Флоренскому, попу с крестом на груди, но и тов. Бухарину, болевшему явным беспоповством. В поповщине обвиняли Эйнштейна, не говоря уже обо всех противниках жулика Лысенки. Ликвидировать поповщину — это значило угашать всю русскую духовную жизнь. При Сталине к этому и приблизились, а чуть замешкались после безгрешной его кончины, как тут же и вылезла, Бог знает из каких трещин, не просто реабилитация Эйнштейна, не только зачисление Лысенки в богадельню Академии, не поповщина «верней» или «кроме того», а самая коренная и махровая, с крестом, пусть и только нательным, на груди и с Евангелием под ним, то есть в сердце и в ему не враждебном разуме.

Зауряд-интеллигенты. — Из «Мелкого беса» (Сологуб начал писать этот роман в 1892 году, кончил в 1902-ом, издал в девятьсот седьмом):

«Передонов стал часто ходить в церковь. Он становился на видное место и то крестился чаще, чем следовало, то вдруг столбенел и тупо смотрел перед собою. Какие-то соглядатаи, казалось ему, прятались за столбами, выглядывали оттуда, старались его рассмешить. Но он не поддавался. (...)

Церковная служба (...) Передонову была непонятна, поэтому страшила. Каждая ужасали его, как неведомые чары.

„Чего размахался?“ — думал он.

Одеяния священнослужителей казались ему грубыми, досадно-пестрыми тряпками, — и когда он глядел на облаченного священника, он злобился, и хотелось ему изорвать ризы, изломать сосуды. Церковные обряды и таинства

представлялись ему злым колдовством, направленным к порабощению простого народа.

Просвирку в вино накрошил, — думал он сердито про священника, — вино дешевенькое, народ морочат, чтобы им побольше денег на требы носили». ¹³⁸

Так думали и многие «зауряд-интеллигенты». Метким именем этим назвал их Сологуб, тремя страницами дальше, в той же XXII-ой главе.

Толстой об иконах. — В «Фальшивом купоне», к концу первой части, архимандрит Мисаил (законоучитель гимназии) допрашивает сектантов:

«На вопрос о том, почему они отпали, они отвечали, что в церкви почитают деревянных и рукотворенных богов, и что в Писании не только не показано это, но в пророчествах показано обратное. Когда Мисаил спросил Чуева, правда ли то, что они святые иконы называют досками, Чуев отвечал: „Да ты переверни какую хочешь икону, сам увидишь”». ¹³⁹

Поразительно, что Толстой полностью убежден в неотразимости такого довода. Не приходит ему в голову, что картины, в музее, хоть и называют холстами, но что холстом они от этого не становятся, покуда их не повернули лицом к стене. Или что рукопись «Войны и мира», на одной стороне листов написанная, тоже ведь превратится в белую бумагу, если листы перевернуть. Правда, они поклонения не требуют, но ведь и доскам икон не поклоняется никто, как никто не любитесь холстом повернутой лицом к стене картины. Церковь освящает изображение, а не материал, с помощью которого оно возникло. Стародавние иконоборцы к доводам Чуева не прибегали, и даже еретики из иконопочитателей соскабливали все же краску с икон, чтобы примешать ее к вину Причастия, а доской не интересовались. Смешивали, значит, святость образа со святостью его материала, но все-таки менее грубо, чем Чуев — и чем Толстой.

Конечно, не хочет Толстой святости образа, подобия, символа (в котором подобие, пусть и минимальное, продолжает играть «наводящую» и конкретизирующую роль). Всем этим он сам пользуется в своем искусстве, но его рассудок велит ему отрицать если не всякое познание сквозь образы (для художника это слишком уж невозможно), то всякое образное богопознание. Врождена ему была, однако, склонность и любую образность или значимость образа отрицать. Он не хочет отличать значения (или смысла) от вещественного бытия, и высмеивает Евхаристию в «Воскресении» совсем из той же установки сознания, как театр или оперу в книге о том, что такое искусство, или в «Войне и мире», задолго до того. Он не хочет признать не только отождествления хлеба и вина с телом и кровию Христовой, или другого рода отождествления актера с Гамлетом; он не хочет признать, что и в том и в другом случае, как и в случае иконы, видимое означает, выражает, воплощает в себе невидимое. Отождествление (предложение), как и воплощение или преображение, в сильном смысле этих слов, отрицаем мы все, пусть и безмолвно, если не дарована нам вера. Толстой идет дальше: он отрицает полагаемое разумом интенциональное взаимоотношение выражаемого и выраженного, символизированного и символа, несмотря на то что собственное искусство его в высокой мере символично. Он — религиозный человек, отрицающий религию; он — великий художник, тою же логикой своей мысли и не менее решительно отрицающий искусство.

Едва ли жил когда-либо на свете гений столь мало понимавший, в чем его гений состоит.

Выдвижная Мадонна. — До революции Мраморный дворец на Неве был резиденцией великого князя Константина Константиновича (поэта К. Р.) и его семейства. Внутреннее убранство дворца давно уже архитектуре Ринальди ¹⁴⁰ не отвечало, но в кабинете великого князя устроено было, по его заказу, совсем особое

приспособление, мысль о котором вряд ли пришла бы в голову даже ближайшим предшественникам его по жительству в этом дворце. В конце века появилась мода на ликерные столики, выраставшие из-под пола или вызываемые из стены нажимом кнопки. То было для улады земной; князь же помышлял о небесной. Если помышлял о ней, сидя за письменным столом, он мог нажать кнопку и дать умолкнуть мирской суете. В стене медленно раскрывались незаметные до того дверцы и выплывала из них на резной консоли статуэтка Богородицы с Младенцем, сахарно-сладенькая, тогдашней итальянской работы. Только и оставалось к ней вознести благоговейную мольбу.

Он улыбается Марии,
Мария, улыбнись ему!

Это из «Соррентинских фотографий» Ходасевича. Но ведь мы не в Сорренто, а в Петербурге; великий князь не трактирщик¹⁴¹ и не католик; ему бы следовало знать, что скульптурных en ronde bone изображений Богоматери православие не признает,¹⁴² а главное, что священное изображение не ликерный столик, и что в слишком больших удобствах, когда касаются они молитвы, есть что-то неблагожелательное и попросту безвкусное. — Но сколь многие в девятнадцатом веке, и у нас, и на Западе, этих, простейших, как будто, мыслей и чувств были полностью лишены...

Просят не плевать на пол. — Пора все роскошества забыть. Настала эра ежедневно бичуемого и распинаемого Христа. Мне даже хочется порой, чтоб обедню нынче служили где-то без крыши, на покрытом антимином садовом зеленом столе, или в сарае, в амбаре, где даже не пахло бы зерном... Люблю великолепие былых веков, но литургию и даже молитву от него отделяю. Созерцать великолепие мы имеем право, но живем-то ведь мы отнюдь не в нем. А если в старом обжились? Не знаю. И в обжитости этой есть что-то... Иной раз, как ногтем по стеклу.

В 1912 году мы, с приятелем моим, осмотрев Латеранский собор, отправились через площадь к тому небольшому церковному зданию, что нарочно было построено для «святой лестницы», по преданию привезенной из Иерусалима святой императрицей Еленой и находившейся некогда в претории Пилата.¹⁴³ По ней поднимался на суд и спускался в терновом венце, с палкой, вместо скипетра, Царь Иудейский. Рядом с ней три другие лестницы ведут к продолговатой площадке, где открывается вход в капеллу св. Лаврентия, хранящую множество реликвий, мощей и драгоценных предметов церковной утвари. Отсюда другое имя капеллы: Святое Святых; латинская надпись гласит, что нет святее места на земле.

По священной лестнице — двадцать восемь покрытых досками мраморных довольно крутых ступеней — поднимаются только на коленях. Мы набожно, очень всерьез, на коленях по ней и поднялись. А когда оказались на верхней площадке, рядом с входом во Святое Святых, увидели прямо перед собой картон, прикрепленный к стене, и на нем надпись большими буквами: SI PREGA DI NON SPUTARE SUL PAVIMENTO.¹⁴⁴

Я был донельзя удивлен. Кому же придет в голову?.. Спутник мой расхохотался. Но мы оба долго, очень долго не могли эту надпись позабыть.

Ключевский об иконах. — В четвертом томе «Курса русской истории», первое издание которого вышло в 1909 году, читаем (изд. 1923 г., стр. 143):

«Русское духовенство в своих семисотлетних заботах о спасении русских душ не завело школы дешевой, доступной для деревенского народа, и пристойной иконописи: „где надлежало голову, глаза да уста написать, то тут одни точки наткнуты — да и то образ стал”, — пишет Посошков про деревенских иконописцев своего времени».¹⁴⁵

Точечки, Посошковым замеченные, были, вероятно, следами проколов контурного рисунка, кальки иконописного подлинника, для упрощенного перевода контура этого на доску, после чего налагалась краска, в данном случае оставшаяся не наложенной. Посошков же, поклонник петровских реформ, был в иконах, нужно думать, поклонником «живства», которое так гневно отвергал протопоп Аввакум, а до него, во все лучшие свои века, и наша икона. Посошков оценил бы, может быть, Симона Ушакова, а Дионисия или Рублева едва ли сумел бы оценить.¹⁴⁶

В своем, очень интеллигентском, желании обвинить духовенство — которое он, однако, любил — в отсутствии просвещенности или желания просвещать, этот наш мастер исторической науки из показания Посошкова, немножко наскоро истолкованного, слишком поспешный сделал вывод. Похоже также, что ремесленную икону послепетровских веков считал прогрессом сравнительно с прежней. А ведь собрание Остроухова, под боком у него, в Москве, уже существовало, и первая выставка расчищенных икон состоялась там же в 1908 году.

Не знаю, как насчет «дешевой», а хорошую иконопись у нас на Руси и клирики и миряне высоко ценили в те далекие века, когда она и в самом деле была хороша.

Разгадка пошлости. — «Пошло то, что в ход пошло», — писал, в начале века, Мережковский.¹⁴⁷ Остроумно, а все же верность этих слов и относительна, и ограничена во времени. Евангелие пошло в ход, но пошлым не стало. Шекспир пошел в ход, но и он пошлым не стал. Пословицы пошли в ход, но многие из них, даже из самых распространенных, тоже пошлыми не стали. Модам же Кокто дал определение не менее остроумное и вполне бесспорное. «Мода, — сказал он, — это то, что выходит из моды».

Но историческая сторона дела тут интересней. Пошлость в начале и была только тем, что в ход пошло; утаивала свой яд, обнаружила его полностью лишь в нашем веке. Ее природа нам ясна теперь, как раньше не была ясна.

Преображенский в своем словаре приводит («по памяти») отзыв Тредьяковского об экзамене в новгородской семинарии: «Здесь семинаристы имеют пошлые познания в латинском языке»,¹⁴⁸ — т. е. посредственные, обыкновенные. Так это прилагательное и далее было. «Общезвестный», «банальный», «тривиальный» — таковы его значения у Пушкина, которому «пошлость» — и тем более «пошлятина» — еще неизвестны, хотя Гоголь ему и приписывает, в «Третьем письме по поводу „Мертвых душ“», приобретенный большой вес слова о «пошлости пошлого человека».¹⁴⁹ Когда Анне Карениной говорят пошлости на балу, это значит все еще — в хорошем обществе — банальные комплименты (позже, или в обществе похуже, это могло бы значить и не совсем пристойные). «Пошлость» загнивает медленно; еще медленнее — «пошлый». В «Мертвых душах» мог еще Гоголь писать: «Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность»;¹⁵⁰ но «пошлость пошлого человека» (особенно если считать, что это не Пушкиным сказано, а Гоголем) звучит более зловеще. Тем более что ведь это, пожалуй, то же самое, что восторжествует и распространится на весь мир вместе с триумфом демократии. Зеньковский в «Истории русской философии» (I, 261) приводит замечательную цитату из Бакунина («Реакция в Германии», 1848): «Торжество демократии будет не только количественным изменением, — подобное расширение привело бы только ко всеобщему опошлению, — но и качественным преобразованием... новым небом и новой землей».¹⁵¹ Блажен, кто верует (действительно блажен?) этой эмфатически земною верой, но то, что будет без преобразования — которое он предпочел назвать преобразованием — Бакунин отлично понимал.

С комментарием Зеньковского трудно согласиться: «Боязнь всеобщего опошления, нашедшая столь яркое выражение у Герцена и Леонтьева (а раньше у Гоголя), вскрывает эстетический мотив у Бакунина, сравнительно редкий вообще у него».

Эстетика тут ни при чем, или при очень немногом; во всяком случае, эстетика, оторванная от этики; или даже они обе оторванные от своей сливающей их воедино глубины. Это как раз у Гоголя особенно очевидно, так как его гений — комический, которому пошлость отличный, возможно, даже самый лучший материал, так что его религиозное, в основе, осуждение пошлости гению его даже и вредит. Ни Бакунин, ни Герцен, ни Леонтьев не ощущают пошлость ни как простую банальность, ни как чисто эстетический изъян или порок. Ни один из них ничего похожего на эстетизм ей и не противопоставляет. Бакунин ожидает от Революции нового неба и новой земли; Герцен, разочарованный мецанством (т. е. чем-то весьма близким к пошлости) западного пролетариата, как и западной буржуазии, возлагает свои отнюдь не эстетические надежды на русскую крестьянскую общину; Леонтьев точно так же на еще неопошленную Россию возлагает надежды и мечтает не эстетики ради, а чего-то куда глубже, чем эстетика, ее обособить от неудержимо опощающегося Запада. Все они не эстетический объект и не эстетическое восприятие жаждут от пошлости спасти, а человека, цельного человека, которого все они, зная о том или нет, мыслят религиозно. Гоголь знает это лучше всех, а мыслит его этой мыслью столь нарочито, с таким губительным усердием, оттого что не может *так* его мыслить из глубины своей личности и своего поэтического дара.

Разгадку пошлости принес нам двадцатый век. Пошлость — это удовлетворенность бытом, когда быт не ищет религиозного оправдания, да и не подозревает о возможности его. В мире, отпавшем от христианства или с полной развязностью толкующем его себе в угоду, человеку уже и не остается иного выхода: либо пошлость, либо неудовлетворенность. Отсюда и мода на всяческие похвалы Революции, словом и делом. Но ведь мода это то, что выходит из моды. Если кончится и эта, то, в свою очередь, через опощление.

Если не «существователи», то ниспровергатели. Как смешно — и как обидно — оказалось опрокинутым бесшабашное пророчество Ракитина в «Братьях Карамазовых», самого законченного из нарисованных Достоевским пошлаков: «Человечество в самом себе силу найдет, чтобы жить для добродетели». ¹⁵²

Сон, приснившийся Ренану. — «Этой ночью приснился мне ужасный день. Тот день, когда больше не было бы христианства. Пропасть разверзлась, земля уходила у меня из-под ног, я держался, лишь ухватившись за листья дерева, висевшего над бездной. Они оторвались... В этот миг разбудил меня радостный перезвон. Колокола города звонили тихонько и отвечали друг другу. Песнопения услышал я в то же время: „Всех скорбящих мать“, „Дева пречистая“, „Сокровенная Роза“».

В Риме он видел этот сон, — ученый сон (ср. повесть о Варлааме и Иоасафе). Там же и записал. Включил в книгу «Путешествие в Италию» (1849). Двадцать пять лет было ему тогда. Когда выпустил «Жизнь Иисуса», было ему сорок. ¹⁵³ — Что ж не вспомнил о колоколах, не пожалел? — Еще полвека с небольшим прошло, и не в такой уж далекой огромной христианской стране они умолкли. Песнопения нескрытные если там и раздаются, то в другом они роде, и радость их не та.

Совсем не та.

Расстрига поп. — Из книги Венямина Каверина «Собеседник» (Москва, 1973). Это книга воспоминаний, частью дневниковых записей. Переписываю запись, относящуюся к 1930 году (поездка в Днепропетровск). Ничего к ней не прибавляю. Автор и сам не комментирует ее никак.

(Вагон битком набит). «Какой-то странный человек в поддевке, несмотря на жару, рассказал, неприятно посмеиваясь, как поповские дети заставили отца расстричься.

— Житья ему не давали. Вплоть до угрозы, что покончат с собой. Что делать? Пошел поп к секретарю ячейки. „Помогите“, — говорит. Секретарь посмеялся: „Не

по моей епархии, батя”. Поп согласился расстричься. „Но после рождества. Доходное время”. И верно, после рождества — собрание в клубе. Все село пришло. „Есть ли бог?” — „Нету”. И пошел честить. А на другой день удавился». ¹⁵⁴

Пальнем-ка пулей... — В «Литературной газете» от 13 сентября 1966 года Юрий Казаков описывал тогдашнее состояние Соловецкого монастыря. С тех пор там — туристов ради — кое-что, кажется, отремонтировали, но своего значения его рассказ от этого не потерял:

«По монастырю страшно ходить. Все лестницы и полы сгнили, штукатурка обвалилась, оставшаяся еле держится. Все иконостасы, фрески уничтожены, деревянные галереи сломаны. Купола почти на всех церквях разрушены, крыши текут, стекла в церквях выбиты, рамы высажены. Прекрасных и разнообразных часовен, которых много было возле и внутри монастыря, теперь нет. Один из двух уцелевших колоколов избит пулями. Какой-то „сын отечества” забавлялся, стрелял по колоколу из винтовки, наверно звон был хорош! Гробница Авраамия Палицына, сподвижника Минина и Пожарского, разрушена. Над надгробным гранитным камнем с торжественной похоронной надписью выбита фамилия — Сидоров, В. П. {...} Исписаны вообще все стены». ¹⁵⁵

Сидоровых много на всем свете. Только дай им волю... Да и у нас, на Западе, волю им уже дают. А насчет того сидорова, который в колокол из винтовки палил, неизвестно, — то ли он «Двенадцать» слишком усердно читал, то ли по колокольному звону соскучился.

Ротшильд в Суздале. — О плачевном состоянии памятников Суздаля писали осенью 65-го года Л. Волинский в «Литературной газете» (28 октября) и В. Николаев в «Огоньке» (ном. 46). «Всё в соборе (Рождественском), — пишет Николаев, — загажено, покрыто толстым слоем пыли, окна выбиты, решетки заржавели, все забито хламом, гибнут фрески и росписи (sic!)». «Банкир Ротшильд» будто бы сказал: «Дайте мне Суздаль на два года и я удвою свое состояние». ¹⁵⁶ Но с тех пор ком-хозяева опомнились. Взялись за швабры и метлы, за малярные кисти. Самим захотелось Ротшильдами стать. Вот что такое капитал, — непреборимый соблазн капитализма.

Надрыв и трыв-трава. — Есенин писал Блоку 3 января 1918 года, и Блок записал эти слова в своем дневнике: «Я выплеваю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)». ¹⁵⁷ — Зачем же ты, такой-сякой, причащался? Ради кощунства? И не отрицай, по крайней мере, что ты кощунство совершил. Ведь это совсем, как надпись «се не собака, но лев». ¹⁵⁸ Только навыворот.

Прошло много лет (как писали в старых романах), и опять, в несчастной нашей стране, кощунствует другой поэт, объявляя, что он кощунства не совершает. В поэме Андрея Вознесенского «Оза», частью написанной прозой, читаем о Поэте, ее герое: «Голос его как бы антимирен ему (?), будто кто-то за него говорит, а он только шлепает искусанными губами юридивого:

МОЛИТВА

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю — стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы,
жизнь заberi и успехи минутные,
Наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!

Все суета перед слабой блондинкой.
 Все безысходно... Осталось одно лишь —
 грохнись ей в ноги, Матьер Владимирская,
 может, умолишь, может, умолишь...»¹⁵⁹

Не кощунствует, нечего сказать! До зарезу нужна поэту «слабая блондинка», а та, как в народе у нас говорят, морду воротит. Не дорожит он больше ни своим успехом у публики, ни «хрустальнейшим» своим голосом, подавай ему блондинку. Чтоб дела его с ней пошли лучше, Божия Матьер, да еще та, что писана на священнойейшей из русских икон, Зацитница и Владычица России, должна «грохнуться» блондинке в ноги, дабы поэт вошел у блондинки в милость. Красиво! И совсем, конечно, не кощунство, а простейшая вещь на свете. Есенин, хоть и дурачился, а все-таки, может быть, не без муки полупьяного надрыва, а этот его посмертный сын или внук (род. 1933) действует вполне беззаботно и непринужденно: не кощунствую, да и все тут. Море по колено, трин-трава. А Божия Матьер, приглашаемая грохнуться на колени перед любезной его сердцу девчонкой? А икона, которую Дмитрий Донской брал на Куликово поле, и перед которой теперь, в Третьяковской галерее; когда соглядатаев нет, бабы молятся в слезах и кладут земные поклоны? Андрей Андреевич, пощадите! Я знаю, вы милый и даже скромный человек.¹⁶⁰ Пощадите святое для стольких мертвых и еще для многих живых. Пощадите Россию. Пощадите себя — поэта. Вот где Гойя, и самый страшный, страшнее, чем тот, в прославивших вас стихах.¹⁶¹

Жалею его, потому что отчасти он уже наказан. Пошlostью «слабой блондинки» и переводом этих стихов Триолешкой (так Ахматова называла покойную Эльзу Триоле), у которой «Матьер Владимирская» превратилась в *Mère de Vladimir*. Неужели не знала ничего об иконе? Пожалуй, решила (конечно, я не думаю этого всерьез), что речь идет о мамаше Маяковского.

Секуляризация кощунства. — До того предельного саморазоблачения, которому Прогресс и Революция себя подвергли в нашем веке, слово «кощунство» иначе не применялось, как в отношении к религии. Исключения встречались, но в таких случаях это слово неизменно мыслилось метафорой. Даже «оскорбление величества» кощунством не звалось. О нынешнем русском языке этого не скажешь. Нынче это слово применяется всего чаще (что весьма характерно) на два лада: либо эстетически, либо политически. Если, например, я скажу или напишу о Пушкине что-нибудь легкомысленное, скептическое или попросту чересчур веселое, это будет названо кощунством — пожалуй, и в эмиграции, а не только в СССР.¹⁶² Кощунством будет названо (но уже в одном СССР) и всякая насмешка не только над мумией Ильича, но и над любым его высказыванием или мнением. Вполне мыслимы — в СССР — и кощунства эстетико-политические, презрение к Шолохову, например; но это лишь потому, что у нас в стране политизировано все, что ни на есть, в том числе, конечно, и эстетика. Тем не менее эти два новых кощунства относятся к двум новым религиям, не совпадающим одна с другой, но от старой религии, или от религии в полном смысле слова, одинаково отличным. Эстетическая религия с середины прошлого века свирепствует на Западе, к концу века появилась и у нас, но понятием кощунства, если пользовалась, то нерешительно и робко. Как и политическая религия, хотя шестидесятникам нашим такой перенос значения мог бы легко прийти по вкусу, — если б только не принадлежность, еще полностью ощущавшаяся ими, самого этого слова к церковной лексике.

Нынче этих тонкостей уже не чувствуют, да и секуляризация религии — замена ее политикой, прежде всего — нынче достигла таких вершин, особенно у нас, что и секуляризация кощунства тем самым стала неизбежной. Так неужто же и политика, со своей стороны, сделалась нынче религией? Увы, бедный мой ум, увy,

хоть и религией очень гнусной. — Но ведь есть «реальная»! — ее питают, ее подуськивают и отравляют ирреальной.

«Вскоре религия другого рода овладела моей душой», — пишет Герцен во второй главе «Былого и дум». «Наша общая религия» — в третьей, думая об Огареве. «Огарева кружок, — сказано в двадцать пятой, — состоял из прежних университетских товарищей, молодых ученых, художников и литераторов; их связывала общая религия, общий язык и еще больше — общая ненависть». Религия эта не пережила, однако, лицемерия на месте, в Париже, революции 48-го года, и ненависть Герцена обратилась к тому, что названо было в тридцать шестой главе «изболтавшимся псевдореволюционизмом».¹⁶³

Не изболтался он еще и нынче на Западе, сумел болтовню, хоть и не блестяще, да подновить. У нас изболтался, живет лишь насилием и ложью. Все эти мои заметки — сплошное кощунство: они все целятся в него.

Изуверское неверие. — Союз безбожников существует и не у нас. Французский созвал в мае 1975-го года, в Париже, второй международный конгресс, на котором присутствовало, правда, не более двухсот человек, слушавших зато красноречивых ораторов с неизменным одобрением. Устав Союза, однако, еще куда красноречивее всего наболтанного ими. «Абсурдные идеи религии, — сказано там, — принимают всерьез людьми, в остальном, быть может, и разумными, но в этом пункте страдающими отчетливо обрисованной душевной болезнью, всячески поддерживаемую и распространяемую наиболее тяжело больными, самые крупные группировки которых — имеющиеся налицо религии».

Пока что это всего лишь мнение, свободно, хоть и коряво, выраженное в свободной и терпимой ко всяческим мнениям стране. Психушками французские безбожники не располагают. Косятся завистливо на восток. Но, если Прогресс или Революция приведет их к власти, строительство психушек начнется, очевидно, грандиозное, и трудно заранее рассчитать, сколько тысяч врачей-палачей придется им выписать из нашего счастливого отечества.

Комсомольская Пасха. — В 75-ом году пришлось православная Пасха на 4-ое мая. Косыгин распорядился, чтобы 2-ое и 3-ье были, после Рабочего Праздника, праздничными днями, но будним воскресеньем после них.¹⁶⁴ Распоряжение это, по словам московского корреспондента французской газеты, вызвало большое негодование и сотни тысяч письменных протестов. Но правительство не уступило: надо было «подкрепить идеологию». А так как все церкви были полны в пасхальную заутреню, и вечером устремлялись туда толпы народа, вызвана была для внушения им страха небожьего вся московская полиция, пешая и конная, а дружинники, с восьми часов, дежурили возле всех церковных зданий. Особенно густыми рядами и особенно шумно, с топаньем и гиканьем, устремлялись дружинники и милиционеры к Рогожскому кладбищу и Новодевичьему монастырю, ни для чего другого, разумеется, как для охраны верующих от «provokаторов и хулиганов», так себя в тот вечер и не проявивших, но, без сомнения, очень похожих на самих дружинников. — Ну, а в пасхальное утро, продрав глаза, все верующие и неверные скопом двинулись на работу.

Описание это, почти дословно мною переданное, навело меня на мысли не только различные, но отчасти и противоречивые. Припомнил многое — от Черной Сотни и Союза (или Дружины) Михаила Архангела до незабываемого солженицынского описания празднования Пасхи в Переделкине.¹⁶⁵ Но и другое. Перекрестясь, расскажу о нем.

Лет семь или восемь назад компания немецких протестантов, студентов-богословов, отправилась на всю Страстную неделю в Москву, чтобы получить наглядное представление о православном праздновании Пасхи. Иные из них уже знакомы

были с русским богослужением и понимали по-русски. И вот страстная суббота; заутреня; двенадцать часов. В прежней России, как и у нас, в Зарубежье, на возглас священника «Христос Воскресе» толпа молящихся отвечает полушепотом, согласным как бы дуновением и шелестом: «Воистину Воскресе». Здесь, в толпе этой были и старики, и женщины всех возрастов, и дети, и юнцы, о которых один из немцев подумал, что вылитые они комсомольцы. Только подумал, и был оглушен, потрясен. На возглас священника ответил не шепот, а гром. Грянуло из сотен голосистых глоток громовое «Воистину Воскресе!» Дух захватило у студента, он разрыдался. Спутники подхватили его под локти: он терял сознание.

Не мог он этого вопля веры и радости позабыть. Вскоре после возвращения в Германию принял православие.

Отчего я не поеду в Уругвай. — Не так давно — нет, давно уж теперь, пятнадцать лет назад — съездил я в Буэнос-Айрес по приглашению¹⁶⁶ тамошнего пенклуба, аргентинского отдела международной писательской организации, устроившего там, в том году, конгресс. Не по воздуху туда и обратно летал, а плыл по морю, и возвращаясь назад, после двух недель, проведенных там, повстречал на пароходе немецкого ученого Курта Вайза, известного специалиста по романским литературам,¹⁶⁷ возвращавшегося к себе, в Гейделбергский университет, после лекционной поездки по странам Южной Америки. Последней из посещенных им стран был Уругвай, и он рассказал мне об этой стране нечто, о чем я с тех пор постоянно вспоминаю.

Режим в Уругвае не знаю, остался ли, но был тогда не мнимо, а подлинно демократическим; единственной партии и внедряемой ею во все головы единой и всеобъемлющей идеологии там не было. Но у власти в Монтевидео давно уже находилось правительство антиклерикальное, таких примерно взглядов, какими прославился в конце прошлого века французский политический деятель, одно время председатель совета министров, Комб.¹⁶⁸ Католическая церковь отнюдь из страны не изгнана, правительство даже и не преследует ее, старается лишь ограничить ее влияние, не лишая в то же время граждан свободы совести, не оказывая на них того грубого давления в делах веры, какому они неизменно подвергаются в России, с тех пор как она не зовется больше этим именем. В одном, однако, уругвайское правительство взгляды свои с полной ясностью высказало и провело в жизнь. Оно не препятствует никому по-христиански праздновать Пасху и Рождество, как и прочие праздники, но Страстная неделя официально называется в Уругвае «неделей туризма», а Рождество «семейным праздником».

Едва мне это было рассказано, как я и слушать дальше не захотел. Какая мерзость, подумал я. Какое лакейство перед грошовыми идейками, достойными разве что аптекаря Омэ в знаменитом флюберовском романе.¹⁶⁹ Какая беспросветная пошлость! Младенец в яслях, вифлеемская звезда, волхвы и пастыри, свет, озаривший мир; а тут — семейный вечерок с выпивкой и закуской, ну там ребятишки, подарки, елка, может быть, — и все. Или весной: Голгофа, распятый Спаситель, Погребение, ангел у пустого гроба, Эммаус; мы же в это время занимаемся «туризмом», глазеем на что-то, куда пальцем тычет проводник, объезжаем в автокаре монтевидейские какие-нибудь диковины, да еще и объявляем, что в этом и весь смысл тех дней между Вербною Субботой и Христовым Воскресеньем.

Пошлость, мерзость — была моя первая мысль, и как укушенный я вскрикнул: нет, куда угодно, а в Уругвай не поеду! Мой собеседник меня понял, хотя относился к тому, что меня возмутило, с философической грустью, памятуя, что в нынешнем мире много есть и другого в том же роде, а то и куда хуже: начнешь возмущаться, не будет возмущению конца. Но я, когда расстался с ним в тот день, все еще продолжал негодовать, все еще жалкие эти словечки вертелись у меня на уме, покуда не пришла мне мысль совсем другого рода.

А наши-то, я подумал (понятно всякому, о ком). Наши-то простачки, им-то ведь догадливости не хватило. Россию переименовали, а Рождество и Пасху не догадались переименовать. Подмахнули бы декрет, сразу же после «Октября», и не пришлось бы елку под новый год зажигать, а куличи выпекать к первому мая. Ведь еще грубее он, этот дикий запрет, еще жалче порожденный им обман, которым никто ровно не обманут... А впрочем, нет: он хоть и груб, а самодовольной тупости в нем меньше. Ненависть его породила, а не благополучно-аптекарское безверие. Результат, правда, похож. Столько же пошлости в наших «звездинах» вместо крестин, в чиновничьем церемониале гражданского брака с музыкальной и шипучкой, в погребении нашем, казенно-партийном, как будто Россия никогда и не была христианской страной, как будто и не знала никогда несравненной нашей, раздирающей, но и возвышающей душу панихиды. В новых, партийным начальством придуманных, убогих обрядах возвышающего нет ничего: испошляют они и рождение, и смерть, и любовь. Звездины да «неделя туризма» — это и впрямь одного поля ягоды. Однако нельзя при всем том забывать, что в Уругвае, как-никак, всякий волен справлять Рождество и Пасху и любые праздники по-христиански, волен венчаться и крестить своих детей в церкви, волен хоронить своих покойников на христианском кладбище по древнему христианскому обряду, и делать это не как-нибудь с опаской, тайком, а совершенно открыто, за что его, занимая он даже ответственный пост, антиклерикальное правительство никакому заносу, никакой дискриминации не подвергнет. Подумал я об этом, и даже совместно мне стало, что обрушился я со всем своим негодованьем на далекий этот Уругвай, где ведь совесть-то все-таки свободна, где свободна печать, где всякий в печати или устною речью свободен защищать свою веру против тех, кто ее осуждает, — нисколько не менее свободен, чем они свободны осуждать ее. За что ж я на эту не тоталитарную все-таки страну обрушился? За календарные термины? За узко понятый «нейтралитет» государства в делах религии? Переменится правящая партия — да ведь, быть может, с тех пор и переменялась — вот и вернут Рождеству и Страстной неделе или Святой (как зовут ее у католиков) настоящие их имена.

Пусть так. Пусть все это верно. И все-таки, стоит мне вспомнить тот миг, когда я услышал впервые о «неделе туризма» и «семейном празднике», как подымается во мне вновь то же презрение, вспыхивает тот же гнев. Не могу с собой справиться: противно. Отчего противно? Как-то и объяснять не хочется. Стоит ли спорить с тем, кому — что «неделя туризма», что «Страстная неделя», все одно. Никогда мы с ними друг друга не пойдем. Вот ведь и тут, в Париже, с неприязнью гляжу я на тех, кто заказывает себе столик в ресторане, за которым он будет ужинать в сочельник. Как хороша католическая ночная рождественская служба! Торжественные, радостные песнопения о Младенце в яслях, о свете, озарившем мир! А если скажут мне, что ж, ты часто на этой службе бывал, или на рождественской нашей, что кончается к вечеру, когда в небе взошла вифлеемская звезда? Нет, отвечу, грешный я человек, бывал на этой, бывал и на другой, да не часто, а теперь все чаще дома остаюсь, рано спать ложусь. Но в ресторан — новый год встречать, пожалуй, пойду, а под Рождество, в сочельник, нет и нет. Никогда не был, не пойду никогда.

Да только не обо мне и речь. Так что диалог этот воображаемый излишен. Невзначай мне его совесть нашептала... Надо, надо в этом году, надо в церковь пойти. В канун *такого* дня... Но все-таки дело тут не в оттенке и не в степени чьего-либо личного благочестия. Не живу в Уругвае, не живу в той «эх, эх, без креста» России, которую Блок на самой заре ее увидел, чтобы затем именно от этого вида умереть. А если б и жил я, там или тут, но ведь и там и тут все-таки *мог бы* пойти в церковь на рождественскую службу. Как, с другой стороны, и не в елке дело, не в пасхальных яйцах и куличах. Дело в том, живем ли мы еще в христианском мире, или в мире, отрекающемся от своего христианского прошлого. Бы-

товая сторона (полуязыческая) Пасхи и Рождества только тем и свята, и хороша, что она свидетельствует о христианстве, что она весть нам подает о том, в каком мире, в чьем мире мы живем. Безымянно-семейные праздники, «неделя туризма», ресторанные ужины в сочельник — это обратные свидетельства. Видишь их, слышишь о них, и думаешь: опустеют храмы, умолкнут колокола, опечатают или на полках оставят в пыли священные книги Нового и Ветхого Завета — и пойдут сплошные недели туризма, праздники без Праздника, семейные и бессемейные будни, муравьиное «строительство», нудные «массовые» развлечения... А уж Россия! Где ж она, Россия, где же русское в этой России, если изъять из нее полностью, без надежды возврата, то, что в ней жило, то, чем она жила?

Нет, не поеду в Уругвай! Это у меня вырвалось тогда; это и сейчас я говорю. Вероятно потому, что родился — не в Уругвае.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более!» (Подросток. Часть третья. Гл. 7. [Разд.] III — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. 13. С. 377).

² Усеченная фраза монолога Ивана Карамазова (Кн. 5. Гл. III): «Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горькой минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни, плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, и никак не более» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. 1976. Т. 14. С. 210). Ср.: «Русско-европейское единство никогда не было с такой силой утверждено, как в знаменитых словах Ивана Карамазова. Европейское кладбище, о котором он говорит, — колыбель новой России, залог ее культурного существования. „Дорогие покойники” потому так и дороги, что столько же, как и Европе, они принадлежат и нам» (*Вейдле В.* Задача России. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 69).

³ Строки из стихотворения В. Я. Брюсова «Проснувшийся Восток» («Не гул ли сумрачной Цусимы...», 1911), включенного в раздел «Грядущему привет» сборника «Зеркало теней» (М., 1912. С. 180—181):

За все, что нам вещала лира,
Чем глаз был в красках умилен,
За лики гордые Шекспира,
За Рафаэлевых мадонн, —
Должны мы стать на страже мира,
Заветного для всех времен!

⁴ См. прим. 1.

⁵ Имеется в виду театральная постановка, очевидно, 1975 года, о которой Вейдле подробно рассказал во фрагменте «Давайте ничего не стыдиться», входящем в подборку «Из архивов страшного суда»: «Но еще лучше „Федра”. Да, да, все та же, Расина. Играют ее воспитанники Высшей Национальной Консерватории Драматического Искусства, будущие актеры и актрисы Комеди Франсез. Роль Федры исполняет молодой человек, до плеч загримированный женщиной, но голый до пояса, в полупрозрачном трико пониже, и накинута на плечи меховой женской шубке. К нему подбегают до начала действия две полураздетые вертлявые девицы и палочками губной помады, держа их в зубах, рисуют на его торсе женские груди. Потом оне выполняют, стоя и лежа, прихотливую пляску, состоящую из телодвижений, при царе Горохе, как еще и вчера, считавшихся непристойными. Дальше все идет, как по маслу — или салу. При появлении Ипполита, Федра — или — Федр — сбрасывает с себя мех, симулирует сперва нечто, чему иногда предаются самцы-павианы в своих клетках, а затем, весьма искусно, при помощи осколка тут же разбиваемой бутылки, воспроизводит акт самооскопления. Большинство профессоров Консерватории такую интерпретацию скучного классика полностью одобряют. Есть недовольные, но над ними смеются» (Новый журнал. 1975. Кн. 119. С. 89).

⁶ 14 июня 1969 года датировано извещение о присвоении В. Вейдле звания «Chevalier de l'Ordre des Arts et des Letters» (Библиотека редких книг и рукописей Колумбийского университета, Нью-Йорк. Бахметевский архив. Ф. В. В. Вейдле. Коробка 38; далее — номер коробки). В автобиографии Вейдле писал о себе в третьем лице: «...получил звание „Кавалера ордена литератур(ных) заслуг” (по старому «Légion d'Honneur»), когда Мальро был „министром культуры”. Считался он многими, да и себя начинал считать французским писателем, но с середины 50-х годов начал все определенной „возвращаться в Россию”...» (Кор. 38). Андре Мальро (1901—1976) был министром культуры Франции в 1959—1969 годах.

⁷ Эрнестина Федоровна Тютчева (рожд. баронесса Пфедфель, в первом браке баронесса Дёрнберг; 1810—1894) — вторая жена Ф. И. Тютчева.

⁸ Иван Петрович Мятлев (1796—1844) анонимно издал «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею дан л'этранже» (Тамбов [Печатано в тип. Journal de Pétersbourg], 1841, 1843, 1844). Указано фиктивное место издания, в действительности — СПб.

⁹ Седьмая строфа «Альбома Онегина», контаминированная Пушкиным из двух строф, следовавших в белой рукописи второй главы за XXVI строфой (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 5. С. 525—526, 543—544).

¹⁰ «Ответ» Вейдле на эти слова см.: Вейдле В. Возвращение на родину // Воздушные пути. Альманах. III. Нью-Йорк, 1963. С. 59—60; также: Вейдле В. Безымянная страна. Paris, 1968. С. 20—21.

¹¹ 14 сентября 1831 года П. А. Вяземский записал: «Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свободу свою, но все же нет тут вдохновений для поэта. Зачем переключивать в стихи то, что очень кстати в политической газете. Признаюсь, что мне хотелось здесь оцарапнуть и Пушкина, который также, сказывают, написал стихи»; 15 сентября: «Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича. В-первых, потому что этот род восторга анахронизм (...). Во-вторых, потому, что курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышшь...»; 22 сентября: «Пушкин в стихах своих *Клеветникам России* кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно и отвечать не будут на *вопросы*, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас?..

Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: *От Перми до Тавриды* и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врястяжку, что у нас *от мысли* до *мысли* пять тысяч верст. (...) Не-уж-ли Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы? (...) И что опять за святотатство сочетать *Бородино* с *Варшавою*? Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо *Инвалиду* сблизить эпохи и события в канцелярских своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно» (Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1884. Т. IX. С. 155—159. Также см.: Францев В. А. Пушкин и польское восстание 1830—1831 гг. // Пушкинский сборник. Прага, 1929. С. 112—115 и др.).

¹² Более пространное сопоставление России и Испании в этом ключе см.: Вейдле В. Задача России. С. 30—32.

¹³ Ressentiment (фр.) — буквально: злопамятство, злоба. В более широком смысле: агрессивная нетерпимость к иному, отторжение чуждого.

¹⁴ Обширная выставка «Русское искусство от скифов до наших дней. Сокровища советских музеев» проходила в парижском Гран Пале в дни пятидесятилетия Октябрьской революции. См.: Алпатов М. Русское искусство на выставке во Франции (Письмо из Парижа) // Алпатов М. В. Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1979. С. 225—232.

¹⁵ Первые одиннадцать лет жизни В. Вейдле провел в доме, принадлежавшем приемному отцу, чью фамилию он носил (Большая Морская, 4, квартира на первом этаже, окнами на Арку, другим фасадом дом выходил на набережную Мойки (№ 49)). Позднее семья жила на Малой Конюшенной ул., д. 1. См.: Вейдле В. Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний. Вашингтон, 1976. С. 5; ср.: Вейдле В. Безымянная страна. С. 16; также: Вось Петербург на 1894 г. Адресная и справочная книга / Под ред. Н. И. Игнатова. [СПб., 1894]. С. 39 (Алфавитный указатель имен жителей столицы); Вось Петербург на 1913 год. ... С. 102 (Алфавитный указатель жителей города С.-Петербурга (...)).

¹⁶ Из рукописных редакций «Бесов» (фрагмент «Шапошников»). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. 1974. Т. 11. С. 66.

¹⁷ Вейдле имеет в виду пассаж, открывающий книгу воспоминаний Александра Бенуа: «Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не понял, что его интересы — мои интересы, что мое сердце должно биться в унисон с сердцем этой неизмеримой громады. Таким, видно, уродом я появился на свет и возможно, что причиной тому то, что в моей крови сразу несколько (...) родин — и Франция, и Неметчина, и Италия. Лишь обработка этой мешанины была произведена в России, причем надо еще прибавить, что во мне нет ни капли крови русской. Однако в нашей семье я один только таким уродом и был, тогда как мои братья все были русские пламенные патриоты (...). Напротив, Петербург я любил. Во мне чуть ли не с пеленок образовалось то, что называется „patriotisme de clocher“» (Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 1, 2, 3. М., 1980. С. 11).

Вейдле воспитывался в семье обрусевших немцев. Предки приемного отца, Вильгельма Генриха Людвиговича (Василия Леонтьевича) Вейдле, происходили из швабского Тюбингена. Приемная мать Ольга Александровна Георг — из семьи православных прибалтийских немцев. Родная мать, Мария Вестгольм, по свидетельству Вейдле, была «нянюшкой молодой остзейской или служанкой (...) в доме того, женатого, и конечно, постарше ее, человека, — Гранов-

ского, скажем (звали его не совсем так, но вроде этого). Не приглянись она ему, не было бы меня на свете» (*Вейдле В. Зимнее солнце. С. 191*).

18 Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1700—1771) не бывал в Киеве. Однако по его проекту архитектором Иваном Федоровичем Мичуриным (1700—1763) была сооружена церковь Св. Андрея Первозванного — шедевр русского барокко (некоторые мотивы здания находят аналогии в произведениях украинского барокко). Церковь заложена в 1744 году в связи с посещением Киева Елизаветой Петровной, строилась в 1749—1753 годах (освящена в 1767 году). По проекту Растрелли для императрицы также сооружен Марининский дворец (приблизительно 1750—1755). Современный облик и нынешнее название он приобрел в 1870 году, когда был перестроен для Александра II в духе «второго барокко».

19 До возвращения в Петербург в августе 1921 года Вейдле некоторое время работал в Томске, где встречался с Ю. Н. Верховским и беседовал с ним, по поздним воспоминаниям, о поэзии Е. А. Баратынского. Граф Александр Григорьевич Строганов (1795—1891), генерал-адъютант, член Государственного совета и сенатор, подарил в 1880 году вновь учрежденному Императорскому Томскому университету (открыт в 1888 году) библиотеку, собранную несколькими поколениями его семьи. В 1888 году 26 уникальных рукописей были переданы санкт-петербургской Императорской Публичной библиотеке. В число раритетов собрания входили принадлежавший Пушкину экземпляр радищевского «Путешествия...», книги из библиотеки Людовика XVI, альбомы гравюр Ватто, Буше, Стефано делла Белла, Пиранези и др. «Библиотека гр. Строганова представляет собою обширнейшую коллекцию книг по всем отраслям литературы и науки и оценивается в настоящее время в полмиллиона рублей. Для отправки ее в Сибирь понадобилось свыше 120 ящиков, в которых были уложены жертвуемые книги. {...} одним из главных ее отделов является отдел французской литературы, в котором имеются все наиболее замечательные произведения писателей XVII—XVIII веков в лучших изданиях. Что касается внешнего вида, то почти все книги переплетены в роскошные переплеты, пергамент, кожу или марокен работы лучших переплетчиков, нередко с их подписями» (*Н. Библиотека гр. Строганова в Томском Университете // Русский библиофил. 1914. № 2. С. 6*); «Библиотека Строганова в течение истекшего двадцатипятилетия (1887—1912) помещается во втором этаже Главного Университетского корпуса, в двухсветном зале, с 2-мя рядами галерей вокруг всего зала {...}, а самая драгоценная часть ее помещается в трех особых витринах...» (*Там же. С. 8*).

20 *Трубецкой С. Н. Европа и человечество. София: Российско-Болгарское книгоиздательство, [1920]*.

21 Посвященная памяти В. Ф. Ходасевича книга В. Вейдле «Задача России» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956) готовилась к печати в 1939 году, но не вышла из-за начавшейся войны. Подобно большинству других его книг, включает статьи, ранее публиковавшиеся в «Современных записках», «Русских записках», а также фрагменты из книги «La Russie absente et présente» (Paris: Gallimard, 1949). Общая концепция русской культуры, обоснованная Вейдле на ее страницах, носит отчетливо выраженный антиевразийский характер.

22 Копты — потомки доарабского населения Египта, исповедующие христианство различных толков.

23 Отражение дискуссий о реформе образования во Франции, отвергавшей изучение древних языков. Взгляды Вейдле на эту проблему могут быть сопоставлены с позицией Т. С. Элиота, полагавшего, что современное образование должно опираться на иерархическую систему христианских ценностей: поскольку цивилизация христианская, постольку образование должно опираться на латынь и греческий (см.: *Eliot T. S. Modern Education and the Classics [1932] // Eliot T. S. Selected Essays. N. Y., 1950. P. 452—460*). Пристрастное отношение Вейдле к изучению древних языков основано, в частности, на личном опыте. Он учился на реальном отделении Реформатского училища — одной из немецких школ Петербурга, гимназическое отделение которой отличалось высоким качеством преподавания латыни и греческого. «Увы, не гимназическое я окончил. Ни о чем в моей жизни я так горько не жалел», — писал Вейдле на склоне лет (*Вейдле В. Зимнее солнце. С. 49*).

24 Возражения Вейдле на концепцию Арнольда Джозефа Тойнби (1889—1975) см., в частности: *Задача России. С. 42—43*.

25 *limes (лат.)* — граница, предел. Здесь — включенность территории в пределы Империи.

26 Строки из стихотворения Пушкина «Два чувства дивно близки нам...» (1830).

27 «Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten» (1827) — цикл из четырнадцати коротких стихотворений.

28 *turquerie* («тюркери») — турецкая мода середины XVIII века, выразившаяся в стилизациях исламского искусства, предпочтении восточных тканей, «ориентализации» костюма и т. п. *Chinoiserie*, шинуазери (*фр.* «китайщина») — поначалу китайские предметы или курьезы. Этим понятием определяются предметы европейского производства, созданные в «китайском» (собственно, псевдокитайском) духе под влиянием произведений искусства и утвари, проникавших в Европу с Дальнего Востока, в основном в XVII—XVIII веках. Шинуазери провозилось, главным образом, в декоративных искусствах, а в живописи и графике — в ряде

произведений Антуана Ватто и Франсуа Буше. В узком смысле понятие «шинуазери» относят к «дальневосточному» поветрию в культуре рококо первой половины XVIII столетия.

29 «...Так называют итальянцы то, что вслед за французами другие зовут рококо...» (*Вейдле В. Похвала Венеции // Мосты. 1966. Кн. 12. С. 155*). Историки искусства расходятся во мнении относительно меры самостоятельности рококо по отношению к «великому стилю» — барокко. Употребление не очень распространенного понятия «бароккетто» позволяет подчеркнуть преемственную связь между стилем семнадцатого столетия и рококо века восемнадцатого.

30 Существенное для эстетики Вейдле понятие: «Конечно, я признаю, что любое художественное произведение, поскольку мы его эстетически оцениваем и воспринимаем, становится для нас (...) эстетическим объектом. (...) Этот объект не оно само, хотя при этом рода восприятия (целостном, когда в произведении ищут не только искусства. — *И.Д.*) оно и совпадает с ним для нас, но именно нам, а не ему объект этот даже и принадлежит: он — собственность или (...) необходимый коррелят эстетически созерцающего художественное произведение субъекта. Я не сочту это произведение художественным произведением, или действительным для меня, (...) если не найду возможность так (т. е. эстетически) его созерцать или если, начав его так созерцать, буду вынужден собственным „вкусом“, (...) эстетически его отвергнуть. (...) Как и любой созерцатель окажется плох, или во всяком случае поверхностен и небрежен, если он сквозь построенный им прозрачный — или долженствующий быть прозрачным — эстетический объект не проникнет в глубь произведения как высказыванья автора, удовлетворится неадекватным произведением, криво на нем сидящим или частично лишь покрывающим его эстетическим объектом. Как та роскошная дама с двумя спутниками в Лувре, которая перед „Мадонной с кроликом“ Тициана воскликнула: „Ах, какой чудесный красный тон“, и немедленно проследовала далее.

Всякому известно, что для эстетического восприятия, для построения эстетического объекта вовсе нам и не нужно произведения искусства, произведения художника. Да ведь и произведение это мы можем воспринять совсем ему наперекор (...) или эстетически в нем оценить наносные (...) качества: архаизм языка, изменившиеся краски, (...) патину стекла и бронзы. Очень многое, не человеком созданное, или вне искусства созданное им, может стать для созерцателя (...) эстетическим объектом. (...) И точно так же поддельный Вермер («Христос в Эммаусе»), когда разоблачена была подделка, остался (или, верней, сохранил возможность оставаться) тем же эстетическим объектом, каким был прежде, но, вопреки настоячивым, даже возмущенным уверениям Артура Кёстлера и выдающегося французского философа Этьена Жильсона, — отнюдь не тем же произведением искусства» (*Вейдле В. Девять бесед об искусстве нашего века. 9. Минимальный эстетический объект. Не датировано. Скрипт радиопередачи. Кор. 22*). Вейдле упоминает историю самой известной подделки двадцатого века — изготовленной голландцем Ван Меггереном и с энтузиазмом принятой искусствоведами картины «Христос в Эммаусе» (1937), выдававшейся за произведение Яна Вермера Делфтского (дополнительный оттенок сенсационности новому «открытию» сообщало то обстоятельство, что примеры религиозной живописи Вермера еще не были известны).

31 «Воображаемый музей» — в данном случае собирательное имя для искусствоведения, оформленного Андре Мальро в ряде его послевоенных сочинений (см.: *La psychologie de l'art, 1947—1950. Т. 1—3; Les voix du silence, 1953; Le musée imaginaire de la sculpture mondiale. Paris, 1952—1954. Т. 1—3*). Искусство видится независимой от контекста, вневременной высшей реальностью. Концепция «воображаемого музея» основана, в частности, на представлении о специфической роли музея в европейской цивилизации и на энтузиазме по отношению к возможностям современной полиграфии: «...в эстетике Мальро есть более высокая стадия сакрального, нежели реальный музей, а именно музей воображаемый. Это не что иное, как коллекция репродукций произведений искусства всех времен и народов. С точки зрения историков искусства, подобная подмена произведения его репродукцией значительно обедняет восприятие; Мальро, напротив, видит здесь новую жизнь произведения» (*Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., [1995]. С. 283. Ср. характеристику взглядов Мальро: С. 282—286*).

32 В 1927 году во время раскопок города индейцев майя на территории Британского Гондураса (ныне Белиз) американский археолог Ф. А. Митчел-Хеджес обнаружил череп, изготовленный из цельного кристалла прозрачного полированного кварца (весом 5 кг). При изучении находки выяснилось, что череп, имевший важное культовое значение, мог своеобразно преломлять лучи света и тем самым вызывать различные оптические эффекты, а также оказывать гипнотическое воздействие. Сейчас он принадлежит нью-йоркскому Музею американских индейцев (передан в начале 1970-х годов). В данный момент неясно, был ли именно этот череп выставлен в Лондоне в 1920—1930-е годы, однако одно из «английских» эссе Вейдле содержит упоминание о такого рода экспонате: «В страшном мире чужой веры и чужих искусств бродят одинокие ротозей и вздрагивают невольно, увидя в витрине, среди оскаленных масок литого золота и усыпанных изумрудами змей Кветцалькоатля, сверкающий впадинами глаз и провалом носа, неистребимый, торжествующий, мерзостно-прозрачный череп из горного хрусталя» (*Вейдле В. Лондонские воскресенья // Вейдле Е. Вечерний день. Отклики и очерки на за-*

падные темы. Нью-Йорк, 1952. С. 94). Очерк, написанный о лондонских уик-эндах от имени некоего скромного клерка, родился из впечатлений самого Вейдле, работавшего корректором иностранных языков в Oxford University Press с сентября 1929 года по февраль или март 1930 года. Вейдле предполагал осесть в Англии вместе со своей второй женой в случае, если бы ему удалось получить университетскую работу. Служба была оставлена под предлогом резко ухудшившегося зрения (см. рекомендательное письмо Джона Джонсона от 28 февраля 1930 года. Кор. 38), однако фактической причиной послужил провал при баллотировке на должность преподавателя университета: «Ведь все казалось совершенно ясным, решенным, а эти тупоголовые англичане, ни слова не говоря, взяли да и проголосовали вовсе не так, как сами же в понедельник изобразили, что будут голосовать» (письмо В. В. Вейдле Л. В. Барановской от 8 ноября 1929 года. Кор. 8).

33 Букв.: Четырнадцать святых (нем.). Здесь: паломническая церковь в окрестностях Бамберга (Франкония), сооруженная Балтазаром Нейманом (1687—1753). Начало строительства — 1743 год. Признанный шедевр позднего немецкого барокко.

34 Ангкор — обширный комплекс храмов, дворцов, водоемов близ города Сиам-Риап в Камбодже. Строительство велось на протяжении IX—XIII веков. Ангкорским храмом в собственном смысле может считаться либо Байон в Ангкор-Томе (XII век), знаменитый своими каменными ликами на башнях высотой до 2,5 м, либо, скорее всего, вишнуистский (затем буддистский) Ангкор-Ват (XII век), один из самых больших храмов мира (композиция пирамид, террас, украшенных рельефами общей длиной в несколько сот метров). Силуэт храма Ангкор-Ват — национальный символ Камбоджи.

35 Слова Змея, обращенные к Адаму и Еве. Бытие. 3, 5.

36 Кветцалькоатль (Кецалькоатль) — Бог-творец мира, хозяин стихий, создатель человека, творец культуры и проч. у индейцев Центральной Америки. Имел много ипостасей. Изображался в виде бородача в маске или пернатой змеи; Анупис — древнеегипетский бог, покровитель умерших, изображался шакалом, дикой собакой или же человеком с головой этих животных; Саваоф — одно из имен бога в иудейской и христианской традициях. В Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) часто употребляется как имя собственное. Можно предположить, что здесь Вейдле применяет его как знак иудейской религии, так как оно стоит в ряду нехристианских имен.

37 Иванов Вяч. Родное и вселенское. Статьи (1914—1916). М.: Изд. Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1917.

38 Ср. в гл. XXXII «Светлое Воскресенье»: «И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата — он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. [Л.:] Изд. АН СССР, 1952. Т. 8. С. 411).

39 В Соединенные Штаты Вейдле впервые приехал в конце 1966-го или, скорее, в начале 1967 года, чтобы прочесть в весеннем семестре два курса по русской литературе и курс по русскому искусству в Нью-Йоркском университете (NYU). См.: *The Messenger SGAA (Slavic Graduate and Alumni Association)*. New York University, 1967. March. Vol. 2. № 2. В осеннем семестре 1970 года читал лекции в Принстонском университете. Побывал также в Аргентине и Бразилии. О бразильских впечатлениях см., в частности: *Вейдле В.* Эмбриология поэзии. Париж, 1980. С. 18—21 и др.

40 У Достоевского: «Видите ли-с, любить общечеловека — значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. 1980. Т. 21. С. 33).

41 Вейдле познакомился в Павлом Павловичем Муратовым (1881—1950), очевидно, 24 июня 1926 года у В. Ходасевича в Париже: «В тот же день (Т. е. твоего отъезда) обедал у Ходасевича и был вечером у него. Познакомился с Муратовым, который мне понравился, но прочел очень скучную трехактную пьесу. Я слушал ее и думал, как-то едет моя девочка. А на следующий день утром получил твое письмо, такое хорошее и милое, которое не перестая мысленно целовать. Завтра утром уже неделя, как я один» (В. В. Вейдле — Л. В. Барановской от 30 июня 1926 года. Кор. 8). Впоследствии Вейдле тесно общался с Муратовым. В то же время отношение его к «Образам Италии» было своеобразным. В поздних воспоминаниях о первом, юношеском путешествии в Италию в 1912 году возникает образ русского туриста, воспринимающего страну через призму муратовской книги: «А как же наш медик в чеховском пенсне? Я стал усердно прислушиваться. Совсем неплохо. Говорит и дельно и живо; и все о хорошем. Больше городов они видели, чем мы. Употребляет, к сожалению, недавно вошедшие в моду „эстетские слова“ — „примечательно“, „блестательно“, „демонический“, „лилейный“. О Сьене, а также о Венеции XVIII века лучше говорит, чем о Флоренции, чьей силы, строгости, четкости не ощущает. Показывает мне книгу, спрашивает, читал ли я ее — „Образы Италии“ Муратова. Говорю, что нет. Даже о существовании ее не знал.

— Два тома. Недавно вышли. Прочтите непременно. Следующий раз все вам откроется в Италии, и все вы увидите по-новому.

Имя автора было мне знакомо. Заглавие понравилось. Вскоре по приезде книгу купил, просмотрел довольно внимательно, но читать по-настоящему не стал. Охвачен был странным, непозволительным даже чувством — чем-то вроде ревности. Мальчишкой ведь был, мог бы

поучиться у старшего, но не захотел, да и только. Почему же? Учился ведь — и как охотно! — у других; учился и у него, когда он о древнерусских иконах и фресках стал писать. Одно тут и есть объяснение. В той первой книге своей он лирически об Италии, о ее искусстве говорит. Где-то в подсознании сидело у меня должно быть: сам сумею. А главное: разве стану я слушать, если другой начнет меня учить, как мне мою возлюбленную целовать? Так и не прочитал — до старости; хоть признаться в этом милому Муратову в Париже и постеснялся. Но и при беглом просмотре все-таки понял, откуда наш вагонный собеседник всю свою премудрость почерпал» (Вейдле В. Сто дней счастья, или Моя первая Италия. Кор. 15).

⁴² Искусственный язык; создан в 1887 году врачом Леопольдом Заменгофом (1859—1917). В лексике использованы корни индоевропейских языков, грамматика упрощена и унифицирована. Письмо на основе латинской графики. Название образовано по псевдониму создателя — D-ro Esperanto (надеющийся).

⁴³ A tout faire (фр.) — здесь: на все случаи. Basic English (Basic (англ.) — основной, в данном случае аббревиатура: British American Scientific International Commercial). Упрощенная форма английского языка, словарь которой сведен к 850 словам. Разработана лингвистом Чарльзом Кеем Огденом (Ogden; 1889—1957) в 1923—1928 годах. По мысли создателя, Basic должен был служить, во-первых, вспомогательным международным языком, во-вторых, начальной ступенью для изучающих английский язык иностранцев, а также рациональным введением в грамматику для людей, говорящих по-английски. С начала 1930-х годов началась усиленная пропаганда Basic. Огден утверждал, что 850 слов позволят передать в переводах на новый язык стиль и краткость Свифта, Толстого, Стивенсона и Франклина (см.: Basic English: International Second Language. A revised and expanded version of «The System of Basic English» by C. K. Ogden. N. Y., 1968. P. 6). Впоследствии на Basic были переведены Библия (вышла из печати в 1949 году), Геттисбургское обращение Линкольна, сочинения Стивенсона, Дж. Б. Шоу и др. В 1933 году первая группа по изучению нового языка была образована в московском Институте судебной психиатрии. Затем они появились в Радиокomitee, Промышленной Академии им. Сталина, Станко-инструментальном институте, а также в Ленинграде и Свердловске (Ibid. P. 90).

⁴⁴ Анри Матисс (1869—1954), Жорж Руо (1871—1958), Пьер Боннар (1867—1947), Рауль Дюфи (1877—1953), Альбер Марке (1875—1947) — художники, в значительной мере определявшие облик французского искусства в 1920-е годы, когда Вейдле появился в Париже. За исключением Боннара, все они прошли перед войной через период «фовизма», предполагавшего не только родственный экспрессионизму художнический призыв в отношении к внешнему — пространственному или колористическому — правдоподобию полотна, но и чувственное восприятие зримой действительности. Оставаясь самодостаточными явлениями живописи, произведения этих художников в то же время являлись собой гармоничный, как у Матисса или Боннара, или трагический, как у Руо, образ мира, мерой которого остается человек. О каждом из перечисленных мастеров Вейдле не раз писал, к примеру, в «Звене» (1926—1927). В этом ряду, однако, не случайно отсутствуют имена живописцев, связанных с кубизмом, равно как и рационалистическими (пуризм) или иррационалистическими (сюрреализм) течениями 1920-х годов. Мнение о Пабло Пикассо (1881—1973) Вейдле высказал еще в 1923 году по впечатлениям германской командировки 1922 года: «Пикассо (...) во многом труден для нас и, может быть, для себя. Никогда успех не был основан на большем непонимании. И я не хочу сказать, что у Пикассо нет связи со своим временем, я думаю только, что (...) она не в плоскости классицизма или кубизма, но лежит глубже, проявится позднее...» (Вейдле В. Заметки о западной живописи // Современный Запад. 1923. № 3. С. 183). Творчество Пикассо складывалось в рамках кубизма, аналитически разнимавшего целостность чувственного мира. Оно стало для Вейдле символом перерождения современного искусства. К проблеме Пикассо он обращался неоднократно, см. прежде всего: Вейдле В. Пикассиана // Новый журнал. 1973. Кн. 111.

⁴⁵ Рене Жан Базэн (Vazaine; род. 1904). Изучал скульптуру, в 1924 году обратился к живописи. Поначалу испытал влияние П. Боннара и М. Громера. Интерес к абстракции сказался ранее всего в эскизах к шпалерам. В 1940—1950-е годы исполнял витражи и мозаики для французских церквей. Альфред Манессье (Manessier; род. 1911). Около 1935 года перешел к абстрактной живописи. В его работах отмечается сходство с колористическими эффектами витражей. Работал для церквей, выполняя стальные росписи и витражи, создавал карты для шпалер. Стремился сочетать абстрактную живопись и христианские образы (Терновый венец, 1950. Музей современного искусства. Париж, и др.).

⁴⁶ Поп-арт (pop art) — направление в изобразительном искусстве, зародившееся на исходе 1950-х годов. Общепринятая, но не единственная его этимология возводит название явления к «популярной», массовой культуре. Поп-арт ориентируется на образы и технические приемы рекламы, комиксов, торговых этикеток, а также бытовые предметы массовой производства — от автомобиля до вентилятора и пр. Сформировавшись во многом как оппозиция американскому абстрактному экспрессионизму с его идеей художнического произвола, субъективизмом, вниманием к процессу создания «шедевра», поп-арт изгоняет из производства художественного объекта персональное начало и отвергает его уникальность, неповторимость,

апеллирует к стереотипам восприятия, использует массовые репродукционные техники (шелкографию) или уподобляет им традиционную масляную живопись. Ведущие мастера: Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Клаас Олденбург и др. Несмотря на заметный вклад английских художников на ранней стадии формирования поп-арта, он процвел на почве Соединенных Штатов, был воспринят как оригинальный американский стиль, ничем не обязанный классической европейской живописной традиции, а напротив, утверждающий свои принципы в противовес ей. В этом качестве он обрел мощную официальную и коммерческую поддержку. «Триумфальное шествие», всеобщее признание поп-арта началось после Венецианской биеннале 1964 года, на которой главную премию получил Роберт Раушенберг. Эту выставку Вейдле посетил. Как видно из письма Ю. Иваску от 19 июля 1964 года, торжество поп-арта для него встало в один ряд со вторгающейся в жизнь Венеции (т. е. Старой Европы) пошлостью массового человека, массового производства и потребления: «Люблю Венецию: мила, хоть и вижу ее насквозь — изучил — со всеми ее коварствами. Сегодня праздник Redondore, когда эту церковь на Джудекке соединяют мостом с Зяттере. Народу тьма. Т. е. сегодня есть, кроме толпы, еще и народ. Предпочитаю людей, но из них состоит народ все же более наглядным образом, чем толпа, которая тут с каждым годом становится все докучней и грубее. На пристаняхках varogetto предусмотрительно установлены распределители chewing gum'a (жевательная резинка (амер.). — И. Д.). Вчера я ехал на пароходике и против меня сидела весьма соблазнительная молодая женщина в исчерна зеленых очках необыкновенно уродливой формы, очень успешно предохранявших ее, лучше, чем книжка, рассеянно читаемая ею, от понимания красот Большого канала. Книжка была „super-thriller“ (супер-триллер (амер.). — И. Д.) какого-то Гольдфингера (возможно, «Гольдфингер» (1959) — один из детективов из серии Иэна Флеминга о Джеймсе Бонде. — И. Д.) и закладывала она ее багажным ярлыком, поведавшим мне, что Miss Virginia Drake отбыла в Европу 12 июня на Queen of Canada. Очень, очень недурна была Miss Drake, но кроме триллера и очков предавалась — всю дорогу до Риальто — еще и chewing gum'у.

Распределители резинки для жеванья
Способны укрощать безумные желанья.

(...) На биеннале торжествует Pop Art U.S.A. Напр(имер), тубик для зубной пасты, страшно похожий, но в полтора метра длиной, или стена ванной комнаты, совсем натуральная, с крапом, зеркалом и полотенцем. На вернисаже один посетитель, открыв дверь в соседнюю уборную — уже настоящую (нрзб.), замер в восторге и воспользоваться ею, несмотря на объяснения, отказался* (Жор. 2). Ср.: Вейдле В. Похвала Венеции // Мосты. 1966. Кн. 12.

Минимальное искусство (Minimal art) — направление в абстрактном искусстве, сводящее к минимуму и содержательное начало произведения искусства, и индивидуальное самовыражение, собственную манеру, «почерк» художника. Сформилось во второй половине 1960-х годов. Одна из первых манифестаций, знаменовавших рождение нового явления, — выставка «первичных структур» (распространенное наименование произведений минимального искусства) в Еврейском музее Нью-Йорка в 1966 году (участники Дональд Джадд, Сол ЛеВитт, Роберт Моррис, Дон Флэйвин и др.). Произведения минималистов тяготеют к элементарным геометрическим формам большого размера, как правило, созданным из промышленных материалов, исключаящих «личностное» начало, — стали, алюминия, пластика. Окраска плоскостна и также лишена индивидуального характера. Не случайно минималисты часто даже не притрагиваются к своим произведениям, предоставляя исполнителям работу над ними в соответствии с априорно заданным планом (эти качества минимализма также могут рассматриваться как реакция на «индивидуалистический» и «романтический» абстрактный экспрессионизм, господствовавший в 1950-х годах). Композиция минималистских произведений основана зачастую на повторяемости элементов или на заданной математической прогрессии. Многочисленные декларации художников этого круга исключают произведения из традиционной сферы искусства: «Я не хочу, чтобы о моих работах думали, как о „больших скульптурах“, они — идеи, которые действуют в пространстве между полом и потолком» (Роберт Гровенор. Цит. по: The New International Illustrated Encyclopedia of Art. New York; Toronto; London, 1969. Vol. 14. P. 2851).

В 1960 году на 4-м Международном конгрессе по эстетике в Афинах Вейдле сформулировал понятие «минимального эстетического объекта», по его словам, оказавшееся, «вероятно, пророческим: несколько лет спустя понятие „минимального искусства“ стали обсуждать в США, а уже в 1968 году вышла книга: Gregory Battcock „Minimal Art. A Critical Anthology“, New York, 1968, — примечательный труд, достойный считаться руководством, вдохновляющим на создание минимальных эстетических объектов» (Weidle W. Gestalt und Sprache des Kunstwerks. Studien zur Grundlegung einer nichtasthetischen Kunsttheorie. [Mittenwald, 1981]. S. 8; о «минимальном эстетическом объекте» см.: Ibid. S. 89—91). «Эстетический объект может довольствоваться превратным и поверхностным (пониманием), может и вообще довольствоваться очень малым. Такие малым довольствующиеся эстетические объекты я тогда же, в Афинах, назвал минимальными, а лет через пять узнал, что в Соединенных Штатах заговорили о минимальном искусстве, об искусстве, довольствующемся минимальными от-

личиями от неискусства, то есть, как я сразу же себе сказал, о минимальных эстетических объектах, выдаваемых за художественные произведения {...}, в силу давно уже укоренившейся привычки ни о чем другом не думать, произносятся слова „произведение искусства“, как об эстетическом объекте, так что прежний его субстрат, произведение становится просто ненужным.

{...} Единственный критерий распознавания эстетических объектов {...} это *новизна* {...}. Но если так, минимальный эстетический объект, довольствуясь новизной, так и останется минимальным эстетическим объектом. Им в послеискусстве искусство и будет заменено» (Вейдле В. Девять бесед об искусстве нашего века. 9. Кор. 22).

47 Двенадцатитоновая (двенадцатитонная) система создана Арнольдом Шенбергом (1874—1951) в начале 1910-х годов. В основе ее лежит принцип неговторяемости двенадцати тонов гаммы, различных преобразований серии из двенадцати тонов, в результате чего не возникает ощущения тональности. Двенадцатитоновая музыка атональна, но не всякая атональная музыка обязательно двенадцатитоновая.

48 Диминуэндо (*муз.*) — постепенное ослабление звука; крещендо (крещендо) — постепенное усиление звука; сфорцандо (сфорцато) — внезапное и резкое усиление отдельных звуков или аккорда.

49 Книга представителя женевской школы лингвистики Анри Фрея (Frei) «La grammaire des fautes» (Paris, 1929).

50 В 1975 году XXX сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций осудила сионизм как одну из форм расизма.

51 Упразднение культуры (*нем.*).

52 В нацистской Германии гаулейтер — глава партийной организации области и самой области.

53 См.: Леонтьев К. О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике (Варшавский дневник, 1880 г. №№ 162, 169, 173) // Леонтьев К. Собр. соч. М.: Изд. В. М. Саблина, 1912. Т. 8. С. 203.

54 «Каппадокийские отцы» — три отца церкви, происходившие из Каппадокии, области в центральной части Малой Азии (совр. Турция): Св. Василий Великий (329—379), Св. Григорий Богослов (Григорий Назианзин; 329—389), Св. Григорий Нисский (младший брат Василия Великого; ок. 335—ок. 394). Они сыграли решающую роль в осмыслении и формулировании христианского представления о Троице. Ср.: «После Александрийского собора речения „единосущный“ и даже „из сущности Отца“ входят в богослужебное употребление во многих церквях Востока. {...} В обосновании и раскрытии этого нового словоупотребления заключается историко-догматическое деяние и подвиг великих Каппадокийцев, — „троицы, создавшей Троицу“. С тех пор входит и утверждается в общецерковном употреблении формула: *единое существо и три ипостаси* {...}. Только после творений св. Григория Богослова (отождествлявшего понятия: ипостась и лице) и после Второго Вселенского Собора было достигнуто согласование богословского языка Востока и Запада. Но уже в V-ом веке блж. Августин возражает против Каппадокийского богословия и ищет иных путей» (Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV-го века. Из чтений в Православном Богословском институте в Париже. Париж, 1931; репринт: М., 1992. С. 22).

55 О взглядах Вейдле на историософию Освальда Шпенглера (1880—1936) см.: Задача России. С. 40—42. Китцингер — Киссинджер (Kissinger), Генри Альберт — американский политик. Род. в 1923 году в Фюрте, Германия. В 1938 году переехал в США, натурализовался в 1943-м. Учился в Гарвардском университете. Диссертацию доктора философии защитил в 1954 году. В 1973—1977 годах — Государственный секретарь при президенте Р. Никсоне и Дж. Форде. Советник Президента по национальной безопасности (1969—1975).

56 Вейдле называет наиболее известные памятники мавританского зодчества в Испании. Мечеть в Кордове (Cordoba) — одна из крупнейших в мире. Начавшееся в 785 году на месте разрушенного христианского храма строительство длилось в течение столетий и продолжалось после реконквисты, когда с 1236 года мечеть стала католическим собором. Наибольшей известностью пользуется та часть мечети, своеобразный зал, где многочисленные колонны несут причудливую конструкцию из полосатых арок. Аламбра — традиц. рус.: Альгамбра. Позднемавританский дворцовый комплекс в Гранаде (XIII—XIV века), символ восточной роскоши и изощренности.

57 Духовная гордость, духовная гордыня (*англ.*).

58 Weidlé W. Les abeilles d'Aristée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts. Paris: Gallimard, 1954 — расширенное и существенно переработанное издание французской версии центральной работы Вейдле тридцатых годов — книги «Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества» (Париж, 1937). По-французски книга вышла под названием «Les abeilles d'Aristée» (Paris, 1936), а затем была переведена на ряд европейских языков.

59 Сэр Герберт Рид (1893—1968) — английский искусствовед и литератор. В молодые годы участвовал в первой мировой войне, работал в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, преподавал историю искусства в университетах Эдинбурга и Ливерпуля, работал редактором «Vir-

lington Magazine» — одного из наиболее влиятельных искусствоведческих журналов. После второй мировой войны некоторое время преподавал в Соединенных Штатах (в Гарвардском университете; в Вашингтоне, в качестве Меллоновского лектора по истории искусств). Литературоведческие исследования посвящены, в частности, английскому романтизму. Публиковал также свои стихи и эссе. Классическими были признаны его книги о современном искусстве: *Философия современного искусства* (The Philosophy of Modern Art, 1952); *Краткая история современной живописи* (A Concise History of Modern Painting, 1959); *Краткая история современной скульптуры* (A Concise History of Modern Sculpture, 1964) и др. Последовательная «промодернистская» позиция Рида не могла найти сочувствия у Вейдле.

60 Из письма А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 года: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне *свободу*, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ(ийские) журналы или парижские театры и (.) — то мое глужое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай-да умница» (*Пушкин*. Полн. собр. соч. 1937. Т. 13. С. 280. Купюра издателей).

61 Из стихотворения «Не матерью, но тульской крестьянкой...» (1922):

И вот, Россия: «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

(Ходасевич В. Стихотворения.
Л., 1989. С. 129.

(Библиотека поэта. Большая сер.)).

62 Ср.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. 1952. Т. 11. С. 108.

63 Гоголь сетовал о неотвратимой кончине больного чахоткой графа Иосифа Михайловича Виельгорского (род. 1817), последовавшей в Риме 21 мая 1839 года: «Иосиф, кажется, умирает решительно. Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Может быть, его не будет уже на свете, когда ты будешь читать это письмо. Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только свиньи там живущи» (Письмо М. П. Погодину от 5 мая (н. ст. 1839 года) // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. 1952. Т. 11. С. 224).

64 Ср.: *Вейдле В.* Задача России. С. 193. «Je n'ai pas le Heimweh, mais le Nerausweh» — «Я испытываю не тоску по родине, а тоску по отъезду» (*фр.-нем.*). Heimweh (*нем.*) — тоска по родине; Nerausweh (*нем.*), здесь образовано как антоним Heimweh — тоска по отъезду. Фраза Тютчева взята из письма И. С. Гагарина А. Н. Бахметевой от 28 октября/9 ноября 1874 года: «Был ли Тютчев в Петербурге во время смерти Пушкина или приезжал вскоре после того, — вот обстоятельство, которое я не могу извлечь из памяти. Я уверен только в том, что он был там во время суда над Дантесом-Геккерном. Тютчев очень томился в Петербурге и только дождался минуты, когда сможет возвратиться за границу. Часто говорил он мне: „я испытываю не Heimweh, а Nerausweh“. Так вот, встречаю я однажды Тютчева на Невском проспекте. Он спрашивает меня, что нового; я отвечаю ему, что военный суд только что вынес приговор Геккерну. „К чему он приговорен?“ — „Он будет выслан за границу в сопровождении фельдъегеря“. — „Вы в этом вполне уверены?“ — „Совершенно уверен“. — „Пойду, Жуковского убою“». Русский перевод письма см.: Тютчев в Мюнхене. (Из переписки И. С. Гагарина с А. Н. Бахметевой и И. С. Аксаковым) / Вступит. ст., публикация и комментарий. А. Л. Осповата // Лит. наследство. Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989. С. 48. Князь Иван Сергеевич Гагарин (1814—1882) в 1833—1835 годах был русским атташе в Мюнхене. Познакомил Вяземского, Жуковского и Пушкина со стихами Тютчева. В 1842 году принял католичество, вскоре стал иезуитским священником.

Nec sine te, nec tecum vivere possum. — Ни без тебя, ни с тобою жить не могу (Овидий. Любовные элегии. III. 11. 39).

65 См. прим. 61.

66 Ср.: Друзья! сестрицы! я в Париже! / Я начал жить, а не дышать! (*Дмитриев И. И.* Путешествие Н. Н. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия (1808)). Поэма родилась под влиянием восторженных рассказов В. Л. Пушкина о зарубежном путешествии.

67 Письмо А. С. Пушкина к Н. Н. Пушкиной от 18 мая 1836 года // *Пушкин*. Полн. собр. соч. 1949. Т. 16. С. 117—118.

68 Вейдле приводит известное стихотворение М. Ю. Лермонтова (1841) по тексту, сохранившемуся в письме П. И. Баргенева к П. А. Ефремову (1873). После 1953 года каноническим считается включаемый ныне в собрания сочинений вариант.

69 «наместник его в Албании» — Энвер Ходжа (1908—1985), с 1943 года был главой ЦК Коммунистической партии Албании и Албанской партии Труда, глава правительства Албании; Иди Амин Дада (1925—?) — политический деятель Уганды. Служил в английской колониальной армии. С 1968 года — генерал-майор и командующий вооруженными силами Уган-

ды. Оказавшись перед лицом возможных обвинений в коррупции, 25 января 1971 года совершил военный переворот, свергнув президента М. Оботе. В 1972 году, пойдя на сближение с режимом Каддафи в Ливии, выслал военный персонал и разорвал отношения с Израилем. Вслед за этим из Уганды были изгнаны преуспевавшие в торговле выходцы из Азии, затем под правительственный контроль были поставлены 90 % британских компаний. С 1975 года — фельдмаршал. Некоторое время — председатель Организации Африканского Единства. С 1976 года — пожизненный президент. Известен преклонением перед Гитлером и массовыми зверскими расправами. Обвинялся в людоедстве. Свергнут в 1979 году.

⁷⁰ У Розанова: «Русская жизнь и грязна, и слаба, но как-то мила» (Розанов В. В. Опавшие листья. СПб., 1913. С. 173).

⁷¹ Предпоследняя строка стихотворения Блока «Грешить бесстыдно, непробудно...» (1914): «Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краев дороже мне».

⁷² Завершающие строки стихотворения И. Ф. Анненского «О нет, не стан» (1906) из «Трилистника проклятия» (сб. «Кипарисовый ларец»). В стихотворении последняя строка выглядит так: «По где-то там сияющей красе...» (Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 103. (Библиотека поэта. Большая сер.)).

⁷³ Обращаясь к «товарищам», насаждающим литературу для «масс», Адамович писал: «Будем говорить серьезно: литература — не ваше дело. А если она у вас как будто много дает, то лишь потому, что вы от нее мало требуете. (...) Литература возникает в „темном погребе личности“, в вопросительно-лирических сомнениях, в тревоге, в мучениях, в безотчетной любви, и уж, конечно, без барабанного боя. Кто бы ни победил в житейской борьбе, *ваша* книга рядом с *другой*, настоящей книгой будет всегда глупа и груба, и всегда найдется кто-нибудь, кто это поймет.

Вот стихи:

Оставь меня. Мне ложе стелит скука,
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и мерзость — только мука
По где-то там сияющей красе?

Рифмы обыкновенные. Образы тоже не Бог весть какие оригинальные. Но после этого, после того, что человек нашел такие звуки, дослушался до такой музыки, все ваши типы и проблемы, все оптимистические полотна и идейно-насыщенные романы, все, все — пустота, скука и ничтожество» (Адамович Г. Комментарии. Washington, D. C. 1967. С. 37).

⁷⁴ Собственно:

O rusl..

Hor.

O Русь!

Первая часть эпиграфа — Гораций. Сатиры, кн. 2, сатира 6. «Двойной эпиграф создает противоречие между традицией условно-литературного образа деревни и представлением о реальной русской деревне» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя. Л., 1983. С. 175).

⁷⁵ Hehn V. De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik des russischen Volksseele. Tagebuchblätter aus den Jahren 1857—1873. Stuttgart, 1892. Виктор Евстафьевич Ген (Victor Amandus Hehn; 1813—1890) — действительный статский советник. Окончил Дерптский университет. В 1851 году по высочайшему распоряжению выдворен под строгий надзор в Тулу (ссылка связана с близостью Гена к кружку баронессы Брюннинг, которая была причастна к побегу немецкого поэта Готфрида Кинкеля из берлинской тюрьмы Шпандау). В 1856—1873 годах работал в Императорской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. В 1873 году вышел в отставку и переселился в Берлин. Был поклонником Бисмарка, хотя старался не сливаться с консервативными кругами. Опубликованные работы посвящены проблеме воздействия истории и культуры на природную среду Италии, творчеству Гете и др. По словам биографа, Я. И. Лаутенбаха, в его трудах поражает «удивительная начитанность» (см.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет существования (1802—1902) / Под ред. Г. В. Левицкого. Юрьев, 1903. Т. II. С. 622; Русский биографический словарь. М., 1914. [Т. 4]. С. 423—424). Ср.: «...Виктор Ген, балтийский немец, прослуживший полжизни в петербургской Публичной библиотеке, страстно ненавидевший все русское, включая музыку и литературу, и все же оставивший записи (изданные посмертно), которым трудно найти что-либо равное по зоркости и остроте. Случай Гена — крайний: прозрение, внушенное злобой, ясновидение вопреки несправедливости...» (Вейдле В. Задача России. С. 112. См. также с. 126—128, 210—211).

⁷⁶ У Достоевского: «Слова: крестьянин, слова: Русь православная — суть коренные наши основы» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 236).

⁷⁷ У Розанова: «Кто любит народ русский — не может не любить церкви. Потому что народ и его церковь — одно. И только у русских это — одно» (Розанов В. Уединенное. СПб., 1912. С. 222).

78 Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

79 Выражение принадлежит Н. К. Михайловскому. Впервые употреблено в очерках «Вперемежку» (1876). Ср.: «„Ты — кающийся дворянин“, говорила мне любимая женщина (...) „Кающегося дворянина“ пустил в ход г. Михайловский, кажется, просто обозначив этой кличкой известное явление» (*Михайловский Н. К.* Соч. СПб., 1897. Т. 4. Стлб. 210). Также см.: *Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и житейская смута. СПб., 1900. Т. 1. С. 139.

80 Отец Георгия Викторовича Адамовича (1892—1972), генерал-майор, был московским уездным воинским начальником, а затем — начальником московского военного госпиталя (см.: Русские писатели. 1800—1917. Биографич. словарь. М., 1989. Т. 1. С. 24).

81 В книге Г. Адамовича «Комментарии» данный рассказ не обнаружен.

82 Цитата из брошюры А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (Амстердам, 1970 (1-е изд. — 1969). С. 32 (прим. 31)). У Амальрика — «...как в деревне, так и в городе...» Приводимый фрагмент — далеко не самая резкая из характеристик русского характера и русской государственности, содержащихся в брошюре. Возражения Вейдле могли вызывать, однако, не столько подобные оценки, сколько другие суждения о России: «...заслуживает внимания и то, что Россия заимствовала христианство не из динамичной и развивающейся молодой западной цивилизации, а у закостеневшей и постепенно умирающей Византии, и это обстоятельство не смогло не наложить глубокий след на дальнейшую русскую историю» (Там же. С. 35).

83 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Т. 19. С. 284.

84 «Без стеснения» и «по-семейному, между своими» (*фр.*).

85 Согласно преданию, «Больше светла!» (в различных, более бытовых и более патетических вариантах) — последние предсмертные слова Гете. Современный биограф отмечает: «...к середине дня 21 марта (1832 г.) состояние снова заметно ухудшилось. С вечера этого дня он, видимо, уже редко был в полном сознании. Сидя в кресле, он дремал в полусне. Утверждают, что он еще произносил иногда странные слова. Спросил о дате (...), попросил открыть ставни, чтобы в комнате стало светло. Более вероятно, что в эти последние часы он почти не мог говорить» (*Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество.* М., 1987. Т. 2. С. 633).

86 Первый номер журнала «Аполлон» вышел в октябре 1909 года. Вейдле приводит фрагмент из раздела «Пчелы и осы Аполлона. Наши критики в цитатах (Изречения об «Аполлоне»)» (Аполлон. 1909. № 3. С. 62).

87 Перефразированный латинский афоризм: *Pereat mundus et fiat justitia* — Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие. «Ключи счастья» — роман А. А. Вербицкой (1909—1913). «Тайны испанского двора» — скорее всего парафраз названия романа немецкого писателя Г. Борна «Тайны мадридского двора» (1870).

88 «Вместе с солнцем». Авторы альбома Б. Фабрицкий, И. Шмелев. Текст М. Дудина (Л.: Худ.-к РСФСР, 1966). Альбом видов Ленинграда, исполненных в характерной стилистике советской фотографии 1960-х годов, со стихотворным и прозаическим комментарием.

89 Леон Блюм (1872—1950) — лидер Французской Социалистической партии. В июне 1936—июне 1937 и марте—апреле 1938 года — премьер-министр Франции, возглавлявший правительство, опиравшееся на «Народный фронт» — коалицию левых политических сил: социалистов, радикалов и коммунистов. «Народный фронт» победил на выборах в апреле—мае 1936 года и находился у власти до 1938 года.

90 Первый раз Маяковский употребил эпиграмму, приписав ее Хлебникову, в статье «Как бы Москве не остаться без художников» (Новь. Москва, 1914. 20 дек.; Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 334). Вторично она процитирована в очерке «Париж (Записки Людогуса)» (Известия ВЦИК. 1922. 24 дек. № 292): «Критики (...) были просто ушиблены Парижем.

Что бы вы ни делали нового, резолюция одна: в Париже это давно и лучше.

Вячеслав Иванов так и писал:

Новаторы до Вержболова!

Что ново здесь, то там не ново»

(цит. по: Полн. собр. соч.: В 13 т. 1957. Т. 4. С. 210). Сходным образом эпиграмма процитирована в очерке «Семидневный смотр французской живописи» (1924), не публиковавшемся при жизни Маяковского: «Революция, изобретения художников России были приговорены заочно к смерти: в Париже это давно и лучше. Вячеслав Иванов так и писал о выставке первых русских импрессионистов — „Венок“ (1907 г.) Д. Бурлюка (...)» (Там же. С. 235). В двух последних случаях Маяковский употребляет эпиграмму как пример предвзятости русского общественного мнения по отношению к отечественному художественному авангарду, а потому о сочувственном ее употреблении говорить трудно. Но в статье 1914 года эпиграмма Иванова привлечена, дабы продемонстрировать зависимость от Запада русского «традиционного» искусства и таким образом утвердить право на подлинное новаторство за футуризмом.

Вержболов — Вержболово (Вержболов, нем.: Wirballen, лит.: Virbalis) — русская желез-

нодорожная станция на российско-прусской границе. В настоящее время город Вирбалис, Литва.

⁹¹ Ф. М. Достоевский. Бесы. Часть первая. Гл. 5. IV (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. 1974. Т. 10. С. 141).

⁹² Игнатий Лойола (1491—1556) — испанский дворянин, основатель ордена иезуитов. Канонизирован католической церковью в 1622 году. В самохарактеристике Лебядкина: « — Лебядкин хитер, сударыня! — подмигнул он со скверною улыбкой, — хитер, но есть и у него препона, есть и у него преддверие страстей!» (Там же. С. 142) — можно усмотреть при желании указание на редуцированную до пьяной хитрости коварную иезуитскую политику манипуляций людьми и обстоятельствами.

⁹³ Ресторан «Эрнест» находился на Каменноостровском проспекте, д. 60.

⁹⁴ Ср.: «Как на национальную проблему смотрит центровая образованщина (т. е. столичная интеллигенция. — *И. Д.*) — для того пройдите по знатным образованным семьям, кто держит породистых собак, и спросите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами): Фома, Кузьма, Потап, Макар, Тимофей... И никому уха не режет, и никому не стыдно. Ведь мужики — только „оперные“, народа не осталось, отчего ж крестьянскими, хрестьянскими именами и не покликать?» (*Солженицын А.* Образованщина (январь 1974 г.) // *Солженицын А.* Публицистика. Статьи и речи. Вермонт; Париж, 1989. С. 107). Можно предположить, что Солженицын прибег к реминисценции из О. Манделштама: «Черпали воду ялики, и чайки / Морские посещали склад пеньки, / Где, продавая сбитень или сайки, / Лишь оперные бродят мужики» («Петербургские строфы», 1913).

⁹⁵ Ср.: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду» (Мф 12, 33).

⁹⁶ Ср.: «Бракосочетанием с Софиею обратив на себя внимание Держав, раздрав завесу между Европою и нами, с любопытством обозревая престолы и Царства, не хотел мешаться в дела чуждые, принимал союзы, но с условием ясной пользы для России; искал орудий для собственных замыслов, и не служил никому орудием, действуя всегда, как свойственно великому, хитрому Монарху, не имеющему никаких страстей в Политике, кроме добродетельной любви к прочному благу своего народа» (*Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1989. Кн. 2. Т. V, VI, VII, VIII. Стлб. 213).

⁹⁷ «Петр Великий, могущей рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными другим европейцам. Жалобы бесполезны» (*Карамзин Н. М.* Речь, произнесенная на торжественном собрании Императорской Российской Академии. 5 декабря 1818 года // *Карамзин Н. М.* Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 173).

⁹⁸ Повесть Германа Мелвила (1819—1891) «Билли Бадд, фор-марсовый матрос. Истинная история» («*Billy Budd, the Foretopman*») была закончена в 1891 году, незадолго до смерти писателя, и опубликована в 1924 году.

⁹⁹ Первый фрагмент см.: «Отрывки из писем, мысли и замечания», у Пушкина — батвинья. См.: *Пушкин.* Полн. собр. соч. 1949. Т. 11. С. 56. Второй — цитата из повести «Рославлев»: Там же. 1938. Т. 8. [Кн. 1]. С. 153.

¹⁰⁰ Ср.:

...Скоро ль у кудрявой у березы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста.

(А. С. Пушкин. Еще дуют
холодные ветры... 1828)

В данном случае мотив восходит, очевидно, к цитированному Вейдле монологу Ивана Карамазова (см. прим. 2): «Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь...» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 210. Также см.: Там же. Т. 15. С. 550. Комментарий В. Е. Ветловской).

¹⁰¹ Барон Егор (Георг) Федорович Розен (1800—1860) — литератор. Русский язык начал изучать с девятнадцати лет. В 1831—1833 годах издавал альманах «Альциона». После ухода с военной службы, по ходатайству В. А. Жуковского был в 1835 году назначен секретарем наследника престола великого князя Александра Николаевича. Должность оставил в 1840 году, с той поры уединенно жил в Полюстрово под Петербургом, занимался сочинительством. Автор либретто оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» (1836). Ироническое отношение к барону Розену, «усердному литератору из немцев» (Глинка), сформировалось давно. В последнее время среди музыковедов оценка Розена существенно изменилась. Ср.: *Васина-Гроссман В.* К истории либретто «Ивана Сусанина» Глинки // *Стилевые особенности русской музыки XIX—XX веков.* Сб. научн. тр. Л., 1983 (Лен. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова); *Платек Я.* Рядовой золотого века // *Муз. жизнь.* 1991. № 1, 2. В высказывании Вейдле, очевидно, сказалась устойчивая репутация Розена как посредственного сочинителя. Она спроецировалась на оперу Чайковского «Евгений Онегин» (1877), в которой пушкинский текст подвергнут существенному препарированию. Сценарий оперы был разработан при помощи

К. Шиловского, но мера его участия в работе над текстом не установлена. Вставные стихи, очевидно, принадлежат самому композитору, за исключением куплетов Трике, написанных Шиловским. См.: *Вахромеев В.* «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. К 100-летию создания оперы // *Муз. жизнь.* 1977. № 24. С. 15.

102 Вейдле цитирует очерк А. И. Тургенева «Путешествие русских студентов по Гарцу. Отрывки из путешествия по Гарцу в 1803 году». Единственное различие — у Тургенева: «...с молоком матерним...». Ср.: Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского периода (1802—1804 гг.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805—1811 гг. / С введением и примечаниями В. М. Истрина. СПб., 1911. С. 292 (Архив братьев Тургеневых. Вып. 2).

103 Ян Вермер (Вермеер) Делфтский (1632—1675) — голландский живописец. Джотто (собственно — Джотто ди Бондоне, 1266?—1337) и Ян ван Эйк (1390/1400—1441) — центральные фигуры итальянского ренессанса и так называемого Северного Возрождения в Нидерландах. «Антифеодалы» и «антиклерикалы» постольку, поскольку Возрождение может быть сочтено таковым. Ван Эйк (Благовещение. Гентский алтарь. 1432. Гент. Собор св. Бавона; Портрет четы Арнольфини. 1434. Лондон. Национальная галерея) и Вермер создают в своих произведениях поэтичную атмосферу бюргерского Дома, в которую погружены персонажи их картин.

104 *Burgerlich* (нем.) — буржуазный; *spießburgerlich* (нем.) — обывательский, мещанский.

105 У Герцена: «Мещанство несовместно с нашим характером — и слава богу!» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 112).

106 Особняк горного инженера Николая Ивановича Ипатьева в Екатеринбурге, где находилась в заключении и в ночь на 17 июля 1918 года была убита семья Николая II. Разрушен в 1970-е годы.

107 Вейдле полностью приводит стихотворение Г. В. Иванова, впервые опубликованное в нью-йоркском «Новом журнале» (1951. Кн. 25). В 1966 году Вейдле писал: «В недавнее время читал и перечитывал я с полным согласием стихи последних лет Бориса Пастернака и стихи последних лет Георгия Иванова, поэтов, чьи более ранние стихи по разным причинам не вполне приемлю я и теперь...» (*Вейдле В.* О поэтах и поэзии. Paris, 1973. С. 37—38).

108 «Эти русские с этим кнутом» (*итал.-рус.*). Вапоретто — рейсовый пароходик, курсирующий по Большому каналу и между островами, венецианский водный «автобус».

109 «Дстойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости; вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или, по крайней мере, для будущего; вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика. НВ. (Это внести в *Историю Петра*, обдумав.)» (*Пушкин А. С.* История Петра I. Подготовительный текст // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. 1977. Т. 8. С. 303).

110 У Набокова: «...по мере естественного продвижения к цели...»; «...этот „свет“ горит...». См.: *Набоков В.* Дар. М., 1990. С. 158.

111 «Нет, уж я лучше буду с народом; ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна» (Письмо Ф. М. Достоевского А. Ф. Благодравову от 19 декабря 1880 года // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 236. Вейдле уже обращался к этому письму, см. прим. 76).

112 Гликерия Николаевна Федотова (1846—1925) — актриса. Прославилась ролями в пьесах А. Н. Островского и Шекспира. С 1858 года выступала в Малом театре. В труппе его состояла (с небольшим перерывом) с 1863-го до 1905 года, когда была вынуждена покинуть сцену из-за суставного ревматизма. Владимир Александрович Нелидов (1869—1926) — чиновник особых поручений при Московской конторе Императорских театров, заведующий репертуаром Московского Императорского Малого театра, а затем — управляющий его труппой. Муж О. В. Гзовской. Описанный Вейдле эпизод см.: *Нелидов В. А.* Театральная Москва (Сорок лет Московских театров). Берлин; Рига, [1931]. С. 146. Этот же эпизод упомянут: *Вейдле В.* Задача России. С. 204—205.

113 Речь идет о повести Л. К. Чуковской «Софья Петровна» (1939—1940; в России впервые: Нева. 1988. № 2). Первая зарубежная публикация: *Чуковская Л.* Опустелый дом. Повесть. Париж, 1965. Повести было предпослано уведомление издателя, где, в частности, говорилось: «Предлагаемая повесть написана автором советским, советским патриотом, проникнутым чувством морального долга — во имя правды оставить для потомства честное, искреннее свидетельство очевидца об этом мрачном периоде, с которым нынешние советские руководители хотят, как видно, покончить навсегда и предпочитают, чтоб как можно меньше напоминалось о нем. По этим соображениям, вероятно, повесть не была до сих пор напечатана в Советском Союзе и едва ли увидит свет в ближайшем будущем».

Именно поэтому мы считаем не лишним издать эту книгу здесь, за границей, и тем самым правдиво показать читателю это тяжелое прошлое из жизни самоотверженного и многострадального советского народа» (С. 6). Редакторское введение, составленное из «советских» сло-

весных клише, уснащенное цитатами из предисловия А. Т. Твардовского к «Одному дню Ивана Денисовича» и «антикультовых» документов XXII съезда КПСС, с одной стороны, выдает свидетельство благонадежности живущему в СССР автору, с другой же, особенно в наши дни, кажется исполненным иронии. Между тем Чуковская писала: «Моя повесть „Софья Петровна“ попала в Самиздат через семнадцать лет, за границу — через двадцать пять. Напечатана была она под правильным названием в Нью-Йорке в 1966 году в „Новом журнале“ (в номерах 83 и 84) и под неправильным — отдельной книжкой — в 1965-м в Париже («Опустелый дом», изд-во «Пять континентов»). Из предисловия парижского издателя явствует, что повесть понята им совершенно ошибочно: он принимает внутренний монолог героини за голос автора, отождествляя сознание героини с авторским сознанием. Между тем, автор хоть и соболезнует Софье Петровне, но, в отличие от нее, понимает происходящее и пытается окружающую действительность изобличать; Софья же Петровна слепа.

О слепоте общества и написана повесть» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1989. Кн. 1. С. 252).

Название парижского издания восходит, очевидно, к последней строке стихотворения Ахматовой «И упало каменное слово...» (1939) — «Светлый день и опустелый дом». В парижском «варианте» повести героиню зовут Ольгой Петровной.

¹¹⁴ Контаминация двух эпизодов романа: пожара дома Лебядкиных (Ч. 3. Гл. 2) и расправы в Скворешниках (Ч. 3. Гл. 3). Слова слесаря относятся к первому из них (см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. 1974. Т. 10. С. 397, 413).

¹¹⁵ Строки из стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума...» (1833).

¹¹⁶ Первый стих тринадцатого псалма. Вейдле допускает распространенную ошибку, контаминируя старославянский и русский варианты текста. Ср.: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог»; «Сказал безудец в сердце своем: „нет Бога“».

¹¹⁷ Близкие этому афоризму мысли высказаны в статье: *Честертон Г. К.* Парадоксы христианства // *Вестник РСХД.* 1971. II. № 100. С. 116—129. В том же журнале опубликован фрагмент работы Вейдле «Приношение кресту на могиле Александра Блока» (С. 255—272).

¹¹⁸ Vernunft (нем.) — разум, рассудок. Verstand (нем.) — рассудок, интеллект.

¹¹⁹ «Сердце имеет свои основания, которых ум не знает(...) Сердце чувствует Бога, а не разум. Вот что есть Вера: Бог ощутителен для сердца, а не для разума» (*Паскаль Б.* Мысли. М., 1994. С. 232).

¹²⁰ Полностью сто первый стих Лукреция звучит так: *Tantum religio potuit suadere malorum.* См.: *Лукреций.* О природе вещей / Ред. лат. текста и перевод Ф. А. Петровского. Изд-во АН СССР, 1946. [Т.] 1. С. 12—13. (АН СССР. Классики науки).

¹²¹ Стихи 82—100. Там же. С. 11, 13.

¹²² 20 брюмера II года республики (10 ноября 1793 года) в соборе Парижской Богоматери состоялось празднество в честь Разума. Утром туда прибыли официальные лица Коммуны города Парижа в сопровождении толпы народа. Храм был украшен таким образом, чтобы скрыть напоминающие о религии детали. «Посредине было воздвигнуто нечто вроде горы, по бокам которой справа и слева спускались завесы, прикрепленные к колоннам таким образом, что они скрывали хоры и всю глубину церкви; последняя представлялась благодаря этому при открытых дверях широкой, неглубокой и хорошо освещенной (...). На вершине горы находился небольшой круглый храм в греческом стиле с надписью на фронтоне огромными буквами: *Философии.*

У входов в храм стояли бюсты четырех философов: без сомнения, Вольтера, Руссо, Франклина и, быть может, Монтескье.

Ниже храма, на склоне горы, на маленьком греческом алтаре, пылал факел (...) Истины.

Церемония началась с музыкальной пьесы, сыгранной оркестром национальной гвардии. Под звуки музыки из глубины храма показались спускавшиеся по склонам горы справа и слева две колонны молодых девушек, одетых в белое, опоясанных трехцветными лентами, с венками из цветов на голове и с факелами в руках. Они прошли по склонам, «встретились у алтаря Разума, каждая преклонилась перед его факелами, и затем, двигаясь в том же направлении, они поднялись на вершину горы».

Тогда из храма вышла, на глазах у народа, женщина, «образ истинной красоты». Ее платье белоснежно; на ее плечах колыхается голубой плащ; на голове ее красный колпак свободы; в правой руке она держит длинную пилу. (...) Она олицетворяет Свободу. Она садится на трон из зелени и принимает почести, воздаваемые ей республиканцами, которые, простирая к ней руки, поют гимн, сочиненный Мари-Жозефом Шенье и переложенный на музыку Госсеком. (...) «Свобода» поднялась, наконец, чтобы снова войти в храм. Дойдя до порога, она остановилась и обернулась, «чтобы бросить еще один благодетельный взгляд на своих друзей». Как только она скрылась, «энтузиазм вспыхнул вокруг, раздалась песня радости и клятва в вечной верности ей».

Свободу изображала артистка из Оперы. Вся церемония была разыграна артистками того же театра: эти очаровательные грешницы, пишет «Père Duchesne», пели лучше, чем ангелы» (*Олар А.* Культ Разума и культ Верховного Существа во время Французской революции. Л., 1925. С. 55—56). По ряду свидетельств, изображавшая богиню Разума м-ль Барбье выступала

обнаженной (см.: *Janson H. W. Observations on Nudity in Neoclassical Art // Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes. Akten des 21. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte in Bonn 1964. Bd I. Berlin, 1967. S. 206*).

Затем участники празднества перешли в Конвент, где представление продолжилось. Законодатели постановили, что собор преобразуется в храм Разума, после чего депутаты отправились туда, и ритуал был повторен в их честь. Это событие последовало через три дня после заседания Конвента 17 брюмера, когда парижский епископ Гобель публично отрекся от исполнения своих обязанностей и сложил с себя сан вместе с группой других священнослужителей. Наиболее активным сторонником дехристианизации был, однако, не Робеспьер, выступивший 1 фримера (21 ноября) в Якобинском клубе с резкой речью против атеизма, а левые радикалы — эбертисты и прежде всего Шометт. Робеспьер поддерживал культ Верховного Существа, главный праздник которого состоялся в Париже 20 прерияля II года (8 июня 1794 года). После падения якобинцев этот культ был забыт.

¹²³ Асклепий — греческий бог врачевания.

¹²⁴ Сциентист (от *лат. scientia* — знание, наука), т. е. полагал, что знание, основанное на методах естественных наук, является основой мировоззрения, универсальным критерием и высшей культурной ценностью.

¹²⁵ См.: *Вейдле В.* После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока. Париж. YMCA-PRESS, 1973.

¹²⁶ Аббатство Руайомон (*Rouaumont*; департамент Валь д'Уаз) основано в 1229 году при замке Людовика IX Святого Аснер-на-Уазе (*Asnières-sur-Oise*). Церковь освящена в 1235 году. В 1785 году архитектор Ле Массон (*Le Masson*), последователь Леду, соорудил дворец настоятеля. Аббатство упразднено и церковь разрушена новым владельцем в 1791 году.

¹²⁷ История собора в Оксерре (*Auxerre*), главном городе департамента Йонн, восходит к IX веку. В 1030 году он был перестроен в романском стиле, а в 1215 году приобрел готические формы.

23 октября 1793 года Коммуна Парижа постановила очистить собор Парижской Богоматери от символов монархии. Результатом было истребление практически всего внешнего скульптурного декора и прежде всего так называемой «галереи королей» на западном фасаде. Черета библейских царей и пророков, традиционно изображаемых на фасадах готических храмов, уже давно считалась изображением властителей Франции. Скульптура собора была реконструирована в середине XIX века под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (*Viollet-le-Duc*; 1814—1879). В 1977 году во дворе парижского отеля Моро были обнаружены головы королей с фасада собора, погребенные так, чтобы каменные лица были обращены в сторону храма.

¹²⁸ Бенедиктинское аббатство Клюни (*Cluny, Clugny*) в Верхней Бургундии было основано в начале X века. Оно было подчинено непосредственно папе и распространило свое влияние на всю Европу — в 12 веке в клюнийскую конгрегацию входило около двух тысяч монастырей. «Вторым Римом» называли Клюни за богатство и влияние. Главная церковь аббатства (третий из находившихся на этом месте монастырских храмов) была построена в романском стиле в 1088—1130 году. Она принадлежала к числу самых больших храмов христианского мира и служила образцом для множества других зданий. В 1793 году главная церковь аббатства была разрушена крестьянами окрестных деревень.

«Сейчас иду в библиотеку прочесть кое-что, а в 11 часов еду поездом в Cluny, т. е. не прямо, а сойду в Bergé, где есть замеча(тельная) стенная живопись; оттуда пешком 8—10 кил(ометров) до Cluny. Вчера в Bourg не поехал, а был в (нрзб.) (пешком с ближайшей станции), там видел одну из самых замечательных романских скульптур на свете; и еще видел, как собирают виноград и стащил сам веточку, еще темную от солнца» (В. В. Вейдле — Л. В. Барановской. 16 сентября 1925 г. 8 час(ов) утра. Мâcon (Жор. 8)).

¹²⁹ Трансепт — в европейской церковной архитектуре часть храма, перпендикулярно пересекающая главный объем (в плане здания — короткая перекладина креста).

¹³⁰ Бертель Торвальдсен (1768 или 1770—1844) — датский скульптор; Антонио Канова (1757—1822) — итальянский скульптор. Характерные представители неоклассицизма рубежа XVIII—XIX веков. Эта стилистическая тенденция, отразившаяся, в частности, рационалистические настроения «века Просвещения», рассматривалась Вейдле как наносная, искажающая глубинную пластическую традицию подлинной классики, которую олицетворял для него Пуссен. См.: *Вейдле В.* Вечерний день. С. 22.

¹³¹ Вера, заключаемая в оковы Разумом (*фр.*).

¹³² Французскому скульптору Жану Антуану Гудону (1741—1828) принадлежало несколько изваяний Вольтера. Вейдле, вероятно, имеет в виду широкоизвестную статую (1781, мрамор), заказанную Екатериной II. В то же время воображаемая группа должна представлять персонажей полуобнаженными и, таким образом, позволяет вспомнить другое произведение — статую Жана-Батиста Пигаля (1714—1785), изображающую Вольтера в образе голого дряхлотелого старца (1770; иконография, оправдывающая обнаженность портретной фигуры, восходит к изображениям умирающего Сенеки; эта аллюзия, впрочем, была быстро забыта современниками).

«Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft» — «Религия в пределах только разума» (1793, весна), сочинение Канта, в котором утверждается возможность обоснования бытия бога при помощи только практического разума.

Blosse Vernunft (нем.) — голый разум, Reine Vernunft (нем.) — «чистый разум». Ср.: «Kritik der reinen Vernunft» — «Критика чистого разума» Канта (1781).

¹³³ Ср.: *Зуммер В. М.* Эсхатология Ал. Иванова // Уч. зап. научно-исследовательской кафедры истории европейской культуры. Вып. III. [Харьков], 1929. С. 389.

¹³⁴ Стихотворение Ф. И. Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье...» написано на Тегернзее, в католической Баварии, 16 сентября 1834 года.

¹³⁵ «заглядывал я встарь / В Академический Словарь» (Евгений Онегин. Гл. I, строфа XXVI). Вейдле приводит формулировку, даваемую «Словарем современного русского литературного языка» (М.; Л., 1960. Т. 10. Стлб. 1297; второе значение). Следующая ниже ленинская цитата приведена в словаре как пример второго значения слова. Первое значение: «Одно из направлений в старообрядстве, признающее церковную иерархию и священников» (Там же).

¹³⁶ «Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть («вернее» и «кроме того») дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека» (*Ленин В. И.* Соч. 4-е изд. [М.], 1958. Т. 38. Философские тетради. С. 361).

¹³⁷ Андрей Иванович Шингарев (1869—1918), Федор Федорович Кокошкин (1871—1918) — члены Временного правительства от партии кадетов, депутаты Учредительного собрания. Арестованы 28 ноября 1917 года, переведены в Мариинскую больницу, где в ночь на 7 января (ст. ст.) 1918 года были убиты матросами. Это убийство, формально осужденное революционным правительством, потрясло интеллигенцию и стало символом большевистского произвола и лицемерия.

¹³⁸ «...Церковная служба (...) Передонову была непонятна. Поэтому страшила. (...) ...казались ему грубыми, досадно пестрыми тряпками...» (*Сологуб Ф.* Мелкий бес. М., 1988. С. 204); «Мачигин замаялся было, но нашел и на этот раз возражение:

— Так как мы сельские учителя, то нам и нужна сельская привилегия, а в городе мы состоим зауряд-интеллигентами» (Там же. С. 207).

¹³⁹ Л. Н. Толстой. Фальшивый купон. Часть первая. XX (*Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. 1936. Т. 36. С. 29).

¹⁴⁰ Мраморный дворец на Дворцовой набережной в Петербурге строился архитектором Антонио Ринальди (1709—1794) с 1768-го по 1785 год для фаворита Екатерины II графа Г. Г. Орлова. Великий Князь Константин Константинович жил здесь в 1858—1915 годах. В архитектуре дворца, украшенного мрамором тридцати сортов, прослеживается ориентация на итальянские образцы. В 1844—1851 годах дворец был перестроен внутри по проекту А. П. Брюллова. Первоначальные интерьеры, за малым исключением (центральная лестница, первый ярус Мраморного зала), не сохранились.

¹⁴¹ В стихотворении В. Ф. Ходасевича «Соррентинские фотографии» (1925—1926, цикл «Европейская ночь») изображена, в частности, процессия со статуей Богородицы в Страстную Пятницу:

К порогу вышел своему
Седой хозяин остерии.
Он улыбаётся Марии.
Мария! Улыбнись ему!

(Ходасевич В.

Стихотворения. С. 172)

¹⁴² En ronde bone (фр.) — трехмерный, округлый. Прямого запрета на трехмерные изображения, в частности Богородицы, в православии нет. До синодального периода, однако, скульптурных изображений в русских храмах, как правило, избегали. В последующую пору требовалось благословение Синода. Основанием для такого рода традиции можно считать сотовое правило Шестого Вселенского собора: «Очи твои право да зрят, и всяцем хранением блюди твое сердце, завещает премудрость: ибо телесныя чувства удобно вносят свои впечатления в душу. Посему изображения на досках, или на ином чем представляемые, обаяющие зрение, растлевающие ум, и производящия воспламенения нечистых удовольствий, каким бы то ни было способом, не чертавати. Аще кто сие творити дерзнет: да будет отлучен» (Книга Правил Святых Апостол, Святых соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец. М., [1893]. С. 160).

¹⁴³ Латеранский собор (собственно: Сан Джованни ин Латерано) — кафедральный храм Рима, построенный поначалу как первая церковь во имя Спасителя, носивший титул «Матери и главы всех церквей Города и мира». Построенный после константинского Миланского эдикта 313 года храм многократно разрушался и перестраивался. Окончательно облик собора сформировался в XVIII веке, когда Алессандро Галилеи (1691—1736) создал его барочный фасад. О Латеранском соборе см.: *Вейдле В.* Рим. Беседы о Вечном Городе. Италия, 1966. С. 15—16. «Святая лестница» (Scala Santa). Расположена напротив Латеранского собора. Оставшийся

после разрушения при Сиксте V (1585—1590) фрагмент старого папского дворца. Здание построено специально для святыни архитектором Доменико Фонтана. Лестница фланкируется двумя другими для тех, кто спускается вниз после обряда или предпочитает не подниматься в капеллу «Святая Святых» (Sancta Sanctorum) на коленях.

144 Просят не плевать на пол (*итал.*).

145 «Они («опрятные и изысканные люди» века Екатерины II. — И. Д.) были бы снисходительнее, если бы помнили, что Петру приходилось выписывать из-за границы мастеров, которые научили бы его подданных лесовиков делать метелки и коробки, и что русское духовенство в своих 700-летних заботах о спасении русских душ не завело школы дешевой, доступной для деревенского народа и пристойной иконописи: „где надлежало голову, глаза да уста написать, то тут одни точки наткнуты — да и то образ стал“, — пишет Посошков про деревенских иконописцев своего времени» (*Ключевский В.* Курс русской истории. 2-е изд. М.; Пг.: ГИЗ. 1923. Ч. IV. С. 143). Иван Тихонович Посошков (1652—1726) — предприниматель, экономист и публицист. Главное сочинение — «Книга о скудости и богатстве» (1724), откуда и извлечен цитируемый Ключевским фрагмент.

146 Симон Федорович Ушаков (1626—1686) — наиболее значительный русский иконописец XVII века, гравер, автор парсунов. Православную иконографию сочетал с элементами западноевропейской объемной моделировки форм и перспективных построений. С точки зрения «классической» иконной традиции, произведения Ушакова отягощены плотскостью и суетностью деталей. Таким образом складывался своеобразный компромисс на пути «европеизации» русской живописи, радикально преодоленный в пору петровских реформ, когда русские художники должны были разорвать и с иконографией, и с традиционными приемами икононого письма, ассимилируя европейскую живописную концепцию.

147 Высказывание известно в передаче Розанова: «У Мережковского есть замечательный афоризм: „Пошло то, что пошло“...» (*Розанов В.* Опавшие листья. С. 472). Согласно В. Г. Сукачу, источник слов Мережковского не установлен (см.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 756. Комментарий).

148 Слово «пошлый» в XVIII в. значило *обыкновенный, ходячий*; напр(имер) у Тредьяковского в рапорте об экзамене по латинскому языку в Новгородской семинарии: „здесь семинаристы имеют *пошлые* познания в лат(инском) яз(ыке)“, т. е. обыкновенные. (Ссылка по памяти)» (*Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. М., 1959. Т. 2. С. 119).

149 «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем» (*Гоголь Н. В.* Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. 1952. Т. 8. С. 292). В «Словаре языка Пушкина» слово «пошлость» отсутствует. Слову «пошлый» дана следующая характеристика: «Весьма распространенный, ставший привычным, всем известный, ходячий. (...) Обыкновенный, ничем не примечательный, заурядный. (...) Свидетельствующий о дурном вкусе, низкопробный» (Словарь языка Пушкина: В 4 т. М., 1959. Т. 3. С. 626). Ср. о «гоголевской» интерпретации пушкинских слов: «Кстати, о тоне; не думаете ли Вы, что пушкинская фраза после чтения „Мертвых душ“ — „Боже, как грустна наша Россия“ — переложена Гоголем на его, гоголевский тон? Это совсем не по-пушкински звучит. Пушкин мог бы сказать то же самое, но иначе» (Письмо Г. В. Адамовича В. В. Вейдле от 8 марта 1968 года. Кор. 1).

150 Мертвые души. Т. 1. Гл. 6.

151 Ср.: *Зеньковский В. В.* История русской философии. Л.: ЭГО, 1991. Т. I. Ч. 2. С. 56. У Зеньковского слова «количественным» и «ко всеобщему опошлению» даны курсивом.

152 «Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души!» (Братя Карамазовы. Кн. 2. VII — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. 1976. Т. 14. С. 76).

153 Эрнест Ренан (1823—1892) — французский историк религии. Его книга «Жизнь Иисуса» («*La vie de Jésus*»), ставшая первым томом труда «Происхождение христианства», вышла первым изданием в 1863 году. В 1849—1850 годах Ренан провел восемь месяцев в Италии. Записи о путешествии вышли посмертно: *Renan E.* Voyages: Italie 1849, Norvège 1870. Paris: Edition Montaigne. S. a. (Collection textes rares ou inédits).

154 См.: *Каверин В.* Собеседник. Воспоминания и портреты. М.: Сов. писатель, 1973. С. 253. Спутники Каверина ехали, однако, не в Днепрпетровск, а на Днепрогэс — в Александровск (ныне г. Запорожье).

155 Неточная цитата из статьи Ю. Казакова «Соловецкие мечтания» (Лит. газ. 1966. 13 сент. № 108. С. 2).

156 *Вольский Л.* Суздаль живой // Лит. газ. 1965. 28 окт. № 128. С. 2. В статье В. Николаева «Судьба каменной летописи» (Огонек. 1965. № 46. С. 16—17) реакция Ротшильда изложена следующим образом: « — Вы по золоту ходите! Я много стою, но если бы мне дали Суздаль на два года, я бы свое состояние удвоил» (С. 17).

157 В дневнике Блока за 1918 год записано: «4 января. О чем вчера говорил Есенин (у меня). (...) Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 313).

158 Выражение «се лев, а не собака» употребляется для обозначения какого-либо художественного (?) произведения, которое так неудачно, что требует пояснения — что именно хотел выразить художник» (Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сб. образных слов и иносказаний. [1904]. Т. II. С. 239).

159 См.: Вознесенский А. Оза (Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы) // Молодая гвардия. 1964. № 10. С. 11—35. В более поздних редакциях вместо цитируемой Вейдле строки «Все суета перед слабой блондинкой»: «Видишь — лежу — почернел, как кикимора» (Вознесенский А. Тень звука. М., 1970. С. 229).

160 Юрий Павлович Иваск (1907—1986) сообщил Вейдле 5 сентября 1971 года о том, что лично встречался в Амхерсте с поэтом из СССР: «Был и Невознесенский: рычание, вопли. Прием в доме Эмилии (Дикинсон — мемориальном музее поэтессы. — И. Д.). Говорил с ним минут пять. В общении скорее скромнее, сказал, что любит Мандельштама» (Кор. 2).

6 мая 1966 года Вейдле писал, в частности, Игорю Владимировичу Чиннову: «Наши модернисты (не только Маяковский, Хлебников, но и Пастернак) — недоросли, поженились раньше, чем научились. (...) Есть близкие к западной выщезенности отдельные строчки у Пастернака (особенно в двух отмеченных мною заумно-цыганских стихах), в большем количестве у Мандельштама. Ну, а уж теперешние, Вознесенский, например, просто, ведь, младенцы (так вот, как у меня написались «ну, а уж» и пишут) со своей „слабой блондинкой“, которую Владимирская Божья Матерь (экий, ведь, грубиян: высечь мальчишку) должна на колених умолять, чтобы это порождение Игоря Северянина полюбило поэта» (Из писем Владимира Вейдле к Игорю Чиннову / Вступит. заметка Л. Миллер // Новый журнал. 1991. Кн. 183. С. 366).

161 Стихотворение А. Вознесенского «Гоя» (1959) ориентировано на образы серии офортов испанского художника «Бедствия войны» (1810—1820-е годы), Вейдле же переключает внимание на «Капричос» (1790-е годы), где мотив бесовского кощунства — один из центральных.

162 По всей вероятности, это отзвук полемики вокруг нашумевшего сочинения Абрама Терца (А. Д. Сияньского) «Прогулки с Пушкиным» (London: Overseas Publications Interchange in association with Collins, [1975]). См., к примеру: Гуль Р. Прогулки хама с Пушкиным // Новый журнал. 1976. Кн. 124 и др.

163 Ср.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. 1956. Т. 8. С. 55; «...нас связывала, сверх нашего „химического“ родства, наша общая религия» — эти слова содержатся не в третьей, а в четвертой главе «Былого и дум» — «Ник и Воробьевы горы» (Там же. С. 80); цитата из двадцать пятой главы соответствует строкам Герцена (Там же. 1956. Т. 9. С. 15); «В людях, его [Чичероваккио] окружавших, не могло быть той печати пошлого, изболтавшегося псевдореволюционизма, того характера *tagé*, который так печально распространился во Франции» (Там же. 1956. Т. 10. С. 48).

164 Алексей Николаевич Косыгин (1904—1980) — в 1964—1980 годах Председатель Совета Министров СССР. Ср.: «В связи с тем, что в текущем году на первую половину мая приходится семь нерабочих дней (...) в целях более эффективного использования рабочего времени и успешного выполнения плана развития народного хозяйства Совет Министров СССР постановил считать 4 и 11 мая 1975 г. рабочими днями. Не использованные рабочими и служащими дни отдыха 4 и 11 мая присоединяются к их ежегодному отпуску (...)» (В Совете Министров СССР // Известия. 1975. 8 апр. № 82. С. 1; ср.: Издательство над Пасхой // Русская мысль. 1975. 17 апр. № 3047. С. 1—2).

165 См. рассказ «Пасхальный крестный ход», написанный 10 апреля 1966 года и опубликованный за рубежом в 1969 году. Ср.: Русская мысль. 1969. 20 марта.

166 Здесь начинается журнальный текст (Вестник РСХД. 1968. № 89—90. С. 6—9) с авторской правкой.

167 Kurt Karl Theodor Wais (1907—?).

168 Эмиль Комб (Combes; 1835—1921) — в 1895—1896 годах министр просвещения, в 1902—1905 — председатель Совета Министров. Его правительство разорвало дипломатические отношения с Ватиканом, подготовило законопроект об отделении церкви от государства, упразднило некоторые монашеские ордена и конгрегации.

169 Персонаж романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1851—1856).

Приложение¹

Демократизация. Приемлема она только тогда, когда речь идет о превращении тоталитарного государства (пусть и преспокойно объявляющего себя демократи-

¹ Россия. Революция. Религия. Кор. 15.

ческим) в государство парламентское и правовое. Если по-другому ее понимать, почти всегда она окажется чем-то глубоко отвратительным, протест против чего всего проще можно высказать так: аристократизируйте низы; демократизировать верхи — низкое занятие.

Низкое и кровавое. Пачкунами будете и палачами. Это верно, если думать о людях. Если думать о их духовной жизни, о культуре, это еще верней. Демократизация культуры, при самых лучших намерениях, не может быть ничем иным, как ее унижением, снижением, уничтожением. Опростительство в отношении ее — грех, а вера в возможность безвредного для нее опрощения — глупая иллюзия.

Неправда, что культура существует для нас. Мы существуем для нее. Она — оправдание нашей жизни на земле, даже если мы не из тех, кто ее творят, а лишь из тех, кто через ее понимание в ней участвуют. Да будет музыка; да будет слово; да будет испытующая и строящая мысль! Оттого-то и сказано «в начале было Слово»; оттого-то слово — «в начале» — было и словом, и музыкой, и разумом. Оно нам дано, оно служит нашей жизни, но ради того, чтобы мы служили ему. Все наше достоинство, вся наша человечность в этом. Наш долг — подниматься к нему. Худший наш грех — снижать то, что нас выше.

Все воспитание наше, не в одном только раннем возрасте, есть восхождение. Так оно всегда и понималось, куда наш век, во второй своей половине, демократизацией захваченный, не стал понимать его навыворот. Изготовь из твоих знаний миллион галушек, чтоб они твоему ученику сами прыгали в рот. Во славу героев и геройств незачем стулья ломать: Александр Македонский — это малый в пожарной каске, которого ты завтра увидишь на экране синемашки или телевиденья.

«Микельанджело, знаешь, это паренек вроде Домье», — говорил некогда приятелю вернувшийся из Рима живописец. Это было довольно метко, и Домье — большой художник. Но теперь сходными приемами тривиализируют и уравнивают все на свете. Моцарт? О да! но ведь Массне, Мейербер тоже были отличные музыканты. А в той же программе певичка, бульварненькая такая, разве была нехороша?

Молчу. Спорить было бы недемократично.

Народ. Массы. Народные массы. — «Народ» — двусмысленное (по меньшей мере) слово; древнейший неконкретный идол в сфере политики, всегда готовый к услугам демагогов, иными словами, народомутителей и народообманщиков. Замечу, кстати, что *vox populi, vox dei* отнюдь не обязательный предмет веры для христиан.

«Массы» — местоблюститель кумира «народ», неполный и с недавних совсем пор. Само это слово еще Пушкину было неизвестно. Никаких не было и масс на Западе до половины восемнадцатого, в России до половины следующего столетия. Древний Рим их знал; потом исчезли. Бывают внушительны, сокрушительны, но звучать священно, или на худой конец возвышенно, слово это, в отличие от слова «народ», неспособно.

«Народные массы» — придумано для возвышения масс, но неудачно. Народные, ясное дело; из чего ж и состоять им, как не из народа? Но из какого народа? Из народа в самом общем смысле этого слова, все равно, что сказать — из людей; а из крестьян не состоят. Крестьяне, в крестьянском своем быту, куда не посланы в казармы или лагеря, масс не образуют. Это, особенно для России, очень много значит. Народолюбцы наши о крестьянах пеклись, да и все, говоря «народ», крестьянство у нас мыслили. Так что «народные массы»? Вот именно нет. Сорвалось. Тот, кто так говорит, дает понять, что крестьян-то у нас в расход и вывели.

Слово «народ» не стыдно ощущать святым — прежде всего потому, что оно единит живых и мертвых, потомков и предков, отцов и детей, детей и матерей. Но нельзя при этом забывать, что играть собой это слово позволяет слишком уж покорно. У Солженицына в «Раковом корпусе» читаю: «Русановы любили народ —

свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами они все больше терпеть не могли — населения. Этого строптивого, вечно уклоняющегося да еще чего-то требующего себе населения». «Население» — слово пешеходное (как говорят англичане) и трезвое; но я не «население» предложил бы высокому, но полному соблазнов понятию «народ» противопоставить, а нечто еще более конкретное: людей. Счастлив тут английский язык, который широковещательное (совсем как наш «народ») французское слово сумел осмыслить по-новому, проще и скромней, так что оно как раз почти то же самое, что «люди», и стало значить. Знаменитая линкольновская формула народоправства, если не в переводе ее читать, ни о каком идоле-народе не говорит. О людях, и только. Люди правят людьми — для людей и по выбору людей.

«Наш великий народ». Это ты о ком? Обо всех соотечественниках своих и о себе самом? Или, не будучи «простым», об одном «простом» народе? Увы, слово это — скользкое. Но слово «массы» куда хуже. Оно парализует оценку: мерзость изображает как нечто нормальное, приемлемое; как нечто, чему непостыдно услужать.

«Массу» без метафоры очень хорошо определяет Академический словарь русского литературного языка: «тестообразное бесформенное вещество». Следовало бы всегда, и сквозь переносные значения, мыслить это, основное. Порок и несчастье массовых средств осведомления, развращения, воздействия в том и состоит, что они слишком легко превращают пассивно подвергающихся им в «тестообразное бесформенное вещество», — в толпу, хоть и не обязательно собравшуюся где-то в зале или на площади. Массы — это именно такие не толпящиеся толпы. А в толпе, как известно, особа меняется, теряет индивидуальные качества, приобретает другие, общие всем образующие данную толпу. Линчуют пойманного с украденной колбасой в руке ворышку не люди, образующие толпу; его бьет и убивает сама толпа, состоящая лишь на вид из людей, а на деле из получеловеков, лишившихся на время своей личности. Такая толпа может быть и совсем небольшой. Не крупный объем характерен для толп и масс; характерна сплоченность, густота — хоть и не наглядная, когда идет речь о тех в пространстве рассеянных толпах, которые мы называем массами.

Дело, собственно, в массовости, а не в массах. Ортега-и-Гассет недостаточно это учел в своей книге «Восстание масс». Восстание угнетаемых множеств против угнетающего их меньшинства или большинства нравственно оправдано, даже если на деле оно привело к еще горшему угнетению; но не может быть никогда оправдана никакая замена человека массой и человеческого массовым. Вопреки своему наименованию, mass media должны служить человеку, а не массовому человеку, и, значит, не массам, поскольку они превращают людей в массовых людей. Ничего невозможного тут нет. В концертном или театральном зале дружное наше рукоплесканье исполнителям массовым назвать нельзя. Близкое к одинаковости восприятие виденного и слышанного, быть может, и обратило нас в дружную семью; но лишь при особых и ничего с искусством и восприятием искусства не имеющих общего качествах концерта, спектакля или нас самих могли бы мы превратиться в «тестообразную бесформенную» массу.

Поклоняться «Народу» вредно, но лишь в меру любого идолопоклонства. Поклонение «Массам» — вывернутая вверх ногами, к силам зла обращенная религия(...)

Исчезновение Германии. — Не государства, столь бесстыдно и безмозгло расколото надвое в угоду Сталину, а надполитической Германии немецкого языка и всего выражаемого этим языком или укорененного бессловесно в неразрывно с ним связанном предании.

Традиция эта (немецко-центральноевропейская со включением Голландии и скандинавских стран) внутри общей западноевропейской весьма отчетливо проти-

востояла крайне западной, англо-французской, сплошь и рядом сильнее, чем та, влияла на духовную жизнь южной Европы, Италии, Испании. Противостояние это обогащало обе стороны и вместе с тем предотвращало избыточную односторонность развития той и другой. Конец ему положил не исход первой войны, а Гитлер и победа над Гитлером, — победа над ним западных держав, но уже в качестве слабосильных сателлитов Америки и союзников искалеченной и одуроченной Сталиным России. Национал-социалистическая идеология была наскоро состряпана из худших или, во всяком случае, полуинтеллигентами вроде Гитлера и Розенберга искаженных составных частей германской традиции, с примесью весьма ребячливых идей, всегда ценившихся больше в Германии, чем во Франции, француза Гобино. Самострельно-керосиновый финал Гитлера, дожатый до ненужного позора разгром его армий и совсем уж позорный дележ страны привели неизбежным, вероятно, и тем не менее тупоумным образом к дискредитированию почти всего германского наследия, в том числе и невероятно богатого, далеко еще полностью не воспринятого остальной Европой наследия ее классико-романтической эпохи. Привело к дискредитированию его в самой Германии (как и в Австрии, немецкой Швейцарии), не говоря уже обо Франции с Англией, о южной, о Северо-Западной Европе и об Америке, где оно совершилось безо всякого даже, насколько я знаю, сопротивления со стороны нашедших там убежище немецких мыслителей и ученых-гуманистов...

«Победителей не судят». Но ведь это всего лишь виляет хвостом подобострастная поговорка. А ведь именно оттуда, из предания самой Германии и возможно было, и надлежало извлечь все то, во имя чего и побежденных справедливо было бы без нюрнбергского издевательства над правосудием судить, и победителей протрезвить, опьяненных тягостной своей победой.

Прошло тридцать лет. Вымерло поколение, до Гитлера возвращенное и не изменившее до-гитлеровскому наследству. Конечно, я преувеличиваю: не отвергнуто наследство целиком, не исчезла полностью Германия. Но ее молодое, да и средних лет поколение хоть и любит бранить Америку, но именно к ней, или к специфичности англо-саксонского мира в целом, и обращено; к интеллектуальным модам, господствующим там, частью даже и зародившимся в до-гитлеровской Австрии и Германии, но все же весьма трудно совместимым с более глубокими заветами немецкой мысли, немецкого воображения и чувства жизни. На Запад обращенная, к Западу федеральная республика и тяготеет; подражает ему, вместо того чтобы ему противостоять и его обогащать; в то время как вся остальная центральная Европа молотом сплющена и по ранжиру срезана серпом. Бестолковый и во всяком случае бесплодный *Drang nach Westen* одурманивает немецкую молодежь, которая и марксизму не сопротивляется главным образом оттого, что не ощущает его ни восточным, ни своим, и Маркса, если где локализует, то разве что в библиотеке Британского музея.

До Гитлера в Италии и в Испании ученые и философские книги чаще всего переводились с немецкого. Ортега-и-Гассет учился в Германии. Кроче дружил с Фосслером; их переписка — памятник их дружбы. Теперь не то. Книжки, можно сказать, итальянцы только с английского и переводят; испанцы следуют их примеру; да и немцы сами от них не отстают. Свободная Европа все больше становится марксистски-прогрессистской Европой, усердно ставящей свечки перед иконой Революции. Ею утрачена та, немецкая в первую очередь, опора, которая одна могла бы предотвратить ее скольжение налево вниз и окончательный ее разрыв с общеевропейским прошлым, даже и с самым западным, отличным от немецкого, прошлым. Победители, которых не судят, сами себя осудили на это «бегство вперед», т. е. прочь от самих себя.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

© О. Б. Лебедева

А. С. ГРИБОЕДОВ и Д. И. ФОНВИЗИН: К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ ДЕЙСТВИЯ И СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ РУССКОЙ ВЫСОКОЙ КОМЕДИИ

Имена Фонвизина и Грибоедова в эволюционном ряду русской высокой комедии всегда стоят рядом, начиная с самых первых попыток русской литературной критики осмыслить историю русской комедии. П. А. Вяземский в VIII главе своей монографии «Фон Визин» едва ли не впервые отметил эту связь: «Я знаю у нас только одну комедию, которая напоминает комические соображения и производство Фон Визина: это „Горе от ума“».¹ В своей статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» с Вяземским перекликнулся Гоголь, подчеркнувший глубокое сходство комедий «...Фонвизина „Недоросль” и Грибоедова „Горе от ума”, которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями».² С тех пор и до настоящего времени редкое исследование о «Горе от ума» обходится без упоминания имени Фонвизина, а о «Недоросле» — без проекций в творчество Грибоедова.

Примечательно, однако, что, как правило, во всех сопоставлениях «Горя от ума» с драматургией Фонвизина речь идет почти исключительно о комедии «Недоросль» — и, разумеется, вполне справедливо. Оба эти детища эпох русской гласности XVIII и XIX веков, написанные и обнародованные в моменты, когда гласность сменялась реакцией и застоєм, отражают хоть и отстоящие более чем на полвека, но идеологически и психологически удивительно родственные эпохи русской истории. В обеих комедиях одинаково важно наличие двух типов художественной образности — бытовой и идеологической, равно актуализирован момент столкновения архаического, отживающего уклада и «нового человека» — носителя нового слова и мировоззрения, наконец, одинаково принципиально центральное положение в интриге и действии фигуры сугубо говорящего персонажа — резонера и оратора. Все это и дало Гоголю возможность раз и навсегда определить жанровую типологию «Недоросля» и «Горя от ума» как национально-своеобразных «истинно общественных» комедий.

Между тем столь же устойчивым мотивом осмысления «Горя от ума» современниками и литературной критикой XIX века, начиная от А. С. Пушкина и А. А. Бестужева, задавших тон обсуждения комедии, до И. А. Гончарова, который во многом подвел его итог, является восприятие комедии Грибоедова на фоне жанровой традиции русской комедии нравов. «Цель его — характеры и резкая картина нравов» (А. С. Пушкин);³ «...живая картина московских нравов» (А. А. Бестужев);⁴ «...картина московских нравов известной эпохи» (И. А. Гонча-

¹ Вяземский П. А. Фон Визин // Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 222.

² Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 7 т. М., 1967. Т. 6. С. 397.

³ Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937. Т. XIII. С. 138.

⁴ Бестужев А. А. Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов // Полярная звезда. М.; Л., 1960. С. 496. (Сер. «Лит. памятники»).

ров).⁵ Если же учесть то обстоятельство, что сам текст Грибоедова возводит генезис этих нравов к очень определенной эпохе русской истории: «...При государыне служил Екатерине»⁶ и «Сужденья черпают из забытых газет // Времен Очакова и покоренья Крыма» (48), — совершенно очевидна актуализация не только современной Грибоедову русской комедии нравов, но и тех текстов, которые создали в XVIII веке ее жанровую модель, в качестве активного литературного фона «Горя от ума».⁷

Эту жанровую модель русской комедии нравов в XVIII веке кульминационно реализовал фонвизинский «Бригадир». И если относительно комедий фонвизинских предшественников — А. П. Сумарокова и В. И. Лукина — уже тогда существовали сомнения, так ли соответствуют они русским нравам, то в «Бригадире» русская действительность устами графа Н. И. Панина впервые согласилась признать увиденный в русской комедии образ русского мира своим собственным изображением: «...это в наших нравах первая комедия».⁸ Что характерно, Белинский в «Литературных мечтаниях», отказав «Бригадиру» и «Недорослю» в праве называться «художественными созданиями», «первою русскою комедиею» назвал «Горе от ума».⁹

И первое, что поражает воображение при попытке соотнести «в наших нравах первую комедию» с просто «первою русскою комедиею», — это удивительное, более чем вековое единодушие критических суждений о чисто драматургических свойствах этих двух текстов: техника ведения интриги, природа драматического действия, гипертрофия говорного начала и характер композиции неизменно являются мишенью критического обстрела «Бригадира» и «Горя от ума».

Одно из первых напутствий комедии Грибоедова: «Перемените порядок явлений, переставьте нумера их, выбросьте любое, вставьте что хотите — и комедия не переменится» (А. И. Писарев)¹⁰ — неоднократно отзывалось в аналогичных суждениях Н. И. Надеждина: «Взаимная связь и последовательность сцен, их составляющих, отличается совершенною произвольностью... нарушающею все приличия драматической истины»;¹¹ П. А. Вяземского: «Действия в драме, как и в творениях Фон-Визина, нет, или еще и менее. Здесь почти все лица эпизодические, все явления выдвигаемые: их можно выдвинуть, вдвинуть, переместить, пополнить и нигде не заметить ни трещины, ни приделки»;¹² Н. В. Гоголя: «Обе комедии исполняют плохо сценические условия. (...) Содержание, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее, содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих».¹³

Что же касается «Бригадира», то все без исключения современные литературоведы характеризуют драматургическую технику пьесы практически одной и той же формулой: «Установить сколько-нибудь четкую закономерность в композиции комедии едва ли возможно. Связь между отдельными актами и сценами в достаточной мере случайна. Комическое действие в пьесе заменено комическими разго-

⁵ Гончаров И. А. Мильон терзаний // Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 20.

⁶ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб.: Нотабене, 1995. Т. 1. С. 38. Далее ссылки на это издание в тексте.

⁷ Об этом см.: Зорин А. Л. «Горе от ума» и русская комедиография 10—20-х гг. XIX в. // Филология. М., 1977. Вып. 5; Борисов Ю. Н. «Горе от ума» и русская стихотворная комедия. Саратов, 1978.

⁸ Фонвизин Д. И. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях // Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 99.

⁹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 82.

¹⁰ Вестник Европы. 1825. Ч. 141. № 10. С. 112.

¹¹ Телескоп. 1831. № 20. С. 594.

¹² Вяземский П. А. Указ. соч. С. 223.

¹³ Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 6. С. 401.

ворами». ¹⁴ И если, благодаря И. А. Гончарову, увидевшему в «Горе от ума» «действие в слове», «игру в языке» и потребовавшему «такого же художественного исполнения языка, как и исполнение действия», ¹⁵ Грибоедову уже не предъявляется обвинение в том, что его персонажи часто говорят выше собственных возможностей, то в адрес Фонвизина такое обвинение продолжает оставаться актуальным и пока никем не опровергнуто. ¹⁶

Совершенно очевидно, что причина подобного единодушия оценок должна корениться в неких объективных свойствах самих оцениваемых текстов, а именно в своеобразии того содержания, которое, по выражению Гоголя, «взято в интригу» комедий Фонвизина и Грибоедова: природа действия драмы определяется всегда только высшим приоритетом ее ценностной иерархии. И поскольку ни любовная интрига, ни характер, ни сцепление обстоятельств не способны всесторонне определить действие «Горя от ума» и «Бригадира», значит, его должно определить что-то другое, — это другое и будет выполнять в комедиях Фонвизина и Грибоедова функцию драматического действия.

И если современное литературоведение в лице Г. О. Винокура вслед за И. А. Гончаровым увидело в «Горе от ума» «театр слова», то это прозрение должно иметь своим следствием не только констатацию частного факта индивидуального творчества («...рукой Грибоедова как автора „Горя от ума“ в известном смысле водил сам русский язык»), ¹⁷ но и признание общей специфики русского эстетического сознания в его предствлении о том, что именно может быть действием в русской драме. И тут принципиально важна комедия нравов XVIII века, которая в своей подчеркнутой ориентации на архетип именно национальной русской жизни и в способе его драматургического моделирования обнаруживает эту специфику: например, комедия Фонвизина «Бригадир», которая «идет на остроумном, мастерски отточном диалоге, но сценического действия в ней мало». ¹⁸

Из всеобщего мнения о том, что «комическое действие в „Бригадире“ заменено комическими разговорами», ¹⁹ следует один-единственный и притом совершенно справедливый вывод: именно разговор, акт говорения и чисто словесный план, как таковые, составляют действие комедии Фонвизина (а вслед за нею и всей русской комедии нравов и высокой комедии вплоть до Гоголя). Сделать этот вывод мешает только устойчивая ориентация на аристотелевско-европейскую теорию драмы, полагающую комедийным типом действия интригу или характер. Но если отвлечься от вытекающего из нее убеждения, что интрига и развитие характера — это хорошо, а разговор — плохо, то в соображении о говорной природе действия русской комедии нравов нет никакой ереси, особенно если учесть еще и то, что «Бригадир» пришелся на пик русской гласности XVIII века, 1769 год, и что все современники, включая и самого Фонвизина, дружно видели в «Бригадире» прежде всего «острые слова и замысловатые шутки», «замысловатые изращения» и «остроумие» ²⁰ и в них главную ценность комедии: ведь национальное своеобразие ментальности и выражается прежде всего в языке.

Говорение как драматическое действие должно обладать свойствами последне-

¹⁴ Пигарев К. В. Творчество Фонвизина. М., 1954. С. 101.

¹⁵ Гончаров И. А. Указ. соч. С. 46—47.

¹⁶ См., например: Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. М., 1955. С. 287; Всеволодский Гернгросс В. Н. Фонвизин-драматург. М., 1960. С. 41; Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин. М.; Л., 1961. С. 115; Стенник Ю. В. Русская сатира XVIII века. Л., 1985. С. 309.

¹⁷ Винокур Г. О. «Горе от ума» как памятник русской художественной речи // Винокур Г. О. Филологические исследования. М., 1990. С. 240.

¹⁸ Всеволодский Гернгросс В. Н. Указ. соч. С. 41.

¹⁹ Пигарев К. В. Указ. соч. С. 101.

²⁰ См.: Новиков Н. И. Смеющийся Демокрит. М., 1985. С. 319; Драматический словарь. М., 1787. С. 88—89; Евгений [Болховитинов]. Словарь русских светских писателей. М., 1845. Т. 1. С. 80; Фонвизин Д. И. Чистосердечно признание... С. 100.

го, т. е. быть игровым актом, генерировать сюжет от исходной ситуации к развязке и приносить результаты (или не приносить таковых — что есть всего лишь вариант результативности). Говорение в «Бригадире» удовлетворяет абсолютно всем этим условиям.

Во-первых, подобно игровому действию, оно демонстрирует себя, как такое,²¹ буквально с первого же явления комедии:

«Советница. Оставьте такие разговоры. Разве нельзя о другом дискутировать?»
(...)

Бригадир. Я и сам, матушка, не говорю того, чтоб забавно было спорить о такой материи...

Советник. (...) Я сам, правду сказать, неохотно говорю о том, о чем разговаривая, не можно сослаться ни на указы, ни на уложение.

Бригадирша. (...) Переменим, свет мой, речь».²²

Как справедливо заметил Г. А. Гуковский, для принципов конструкции человеческих образов в «Бригадире» характерно «словесное определение масок. Солдатская речь Бригадира, подъяческая — Советника, петиметрская — Иванушки в сущности исчерпывают характеристику».²³ Нельзя не заметить, что эта исчерпанность человеческого облика стилистической краской речи и есть воплощение действия игрового типа; представляя игру словом в пародии на устойчивый стиль, игрок в качестве побочного эффекта репрезентирует себя: «Сын. (...) ...Везде или я один говорил, или все обо мне говорили. (...) ...Везде у всех радость являлась на лицах, и ...декларировали ее таким чрезвычайным смехом, который прямо показывал, что они обо мне думают» (77).

И такое свойство действия игрового типа, как его самовоспроизведение в повторе, также присуще говорному акту «Бригадира» в постоянном приеме редупликации звучащей речи: разговор о разговоре, удвоение фразы за счет повтора одной ее смысловой части в другой на другом языке («Сын. (...) Я вам еще сказываю, батюшка, je vous le répète...» — 72), говорение в говорении («*Бригадир.* (...) ...Не говаривал ли я тебе: жена! не балуй ребенка ...а ты всегда изволила болтать — ах, батюшка! нет, мой батюшка!..» — 75).

Уже из приведенных примеров видно, что само слово «говорить» и всё его семантико-синонимическое гнездо невероятно продуктивно в комедии Фонвизина, практически в каждой реплике оно актуализирует сам момент говорения. И первопричинность этого слова относительно сценического и событийного действия особенно заметна в типологической сценической ситуации «Бригадира»: входы и выходы персонажей, как правило, спровоцированы ходом разговора, а не наоборот. Предельный случай проявления этой закономерности — резкое возрастание продуктивности понятия «говорить» на стыках всех пяти актов комедии: первый акт начинается с пожелания Ивана иметь «такую жену, с которою бы я говорить не мог иным языком, кроме французского» (48), а заканчивается следующим соображением Софьи: «Мы долго заговорились. Нам надобно идти к ним для избежания подозрения» (60); второй акт открывается призывом Советника: «Поди сюда, Софьюшка. Мне о многом с тобою поговорить надобно» (61), а в его финале Бригадир тщетно пытается объяснить в любви Советнице: «Я лучше бы хотел сам с тобою поговорить о деле» (70); первая реплика третьего акта — обращение Бригадира: «Слушай, Иван» (72), последняя — призыв Советника: «Пойдем-ка лучше да выпьем по чашке чаю. После обеда о делах говорить неловко» (82); в

²¹ О игре и ее законах см.: *Гадамер Г.-Х.* Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 148—150, 154.

²² *Фонвизин Д. И.* Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 51. Далее ссылки на это издание в тексте.

²³ *Гуковский Г. А. Д. И. Фонвизин // История русской литературы.* М.; Л., 1947. Т. IV. Ч. 2. С. 191.

четвертом акте Софья открывает действие, обращаясь к Добролюбову со словами: «С тобою я могу говорить откровенно» (83), под занавес его звучит реплика Бригадира: «О деле я говорить нескучлив; однако пойдем туда, где все» (94); в первом явлении пятого акта Бригадирша сообщает Ивану, что она со своим будущим мужем «до свадьбы отроду слова не говорила», и заканчивает комедию Советник, обращаясь «к партеру»: «Говорят, что с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете хуже» (103).

Таким образом, очевидное предшествование высказывания и слова действию и делу, его побуждающее к физическому перемещению и поступку значение на протяжении всей комедии, ссылка на общественное мнение в финале неоспоримо свидетельствуют о том, что именно слову принадлежит в «Бригадире» вторая важнейшая функция драматического действия — функция генератора сюжета.

Наконец, если говорение само по себе равнозначно драматическому действию, оно должно обладать и таким его свойством, как результативность, причем, в зависимости от качества результата, наличия или отсутствия такового, говорение как драматическое действие должно приобретать драматический жанровый оттенок — в первом случае комедийный, во втором — трагедийный. И вероятно, не нужно специально доказывать, что говорное действие может быть положительно результативным лишь в том случае, если объекты речи слышат и понимают обращенное к ним слово, увязывая с услышанным и понятым свои поступки, — так только и может быть достигнуто снятие исходного противоречия в развязке комедийного типа. Если же адресат речи не слышит или не понимает, его поступки приведут к катастрофической трагедийной развязке. В плане сочетания этих вариантов исхода говорного действия комедия нравов Фонвизина отличается таким своеобразием, что именно этот текст может быть сочтен подлинным предтечей «высшего содержания» русской высокой комедии, и особенно «Горя от ума».

Начать с того, что возможность подобного соотношения обеспечивается поразительно одинаковой в «Бригадире» и «Горе от ума» интенсивностью понятий, реализующих идею говорения на композиционных границах действия, «сильных позициях» драматургического текста. Первая реплика «Горя от ума» — «Уж ден!.. Сказать им... Господа!» (12), последняя в первом акте — «И говорит мне это вслух!» (32); действие во втором акте обретает свое поступательное движение с вопроса Чацкого: «Вы что-то не веселы стали; // Скажите, отчего?» (36), заканчивается акт приказом Софьи: «... Скажи Молчалину и позови его, // Чтob он пришел меня проведать» (58); третий акт начинается высказанным вслух намерением Чацкого: «Дождусь ее, и вынужу признание...» (61), кончается его же словами: «...осмелится их гласно объявлять, // Глядь...» (97); наконец, последний акт открывается сетованием Графини-внучки: «...И не с кем говорить, и не с кем танцевать» (99), а завершается — и с ним вся комедия — отчаянным риторическим вопросом Фамусова: «Ах! Боже мой! что станет говорить // Княгиня Марья Алексевна!» (122).

Сочетание понятий «говорить» — «слышать» — «(не) понимать» в комедиях Фонвизина и Грибоедова обнаруживает столь же явное типологическое родство, определяя собою значение их столь родственного говорного действия. Само слово «слышать» в «Бригадире» не менее частотно, чем слово «говорить». Весь фонвизинский текст буквально прострочен восклицаниями, обращениями и вопрошениями типа «слушай», «послушать только», «не изволишь ли послушать», «ах, что я слышу» и т. д.

Но вот в том, что касается реакции на услышанное, индивидуализированные в стилевом плане реплики сплошь и рядом сводятся к смысловому единообразию: в разных формах все говорящие персонажи «Бригадира» весьма склонны к непониманию того, что они слышат: «Советница. (...) Выбрали такую сурьезную матерю, которую я не понимаю» (51); *Бригадир*. Да первого-то слова, черт те знает, я не

разумею» (52); «*Бригадирша*. ...А я, как умереть, ни слова не разумею» (52); «*Советник*. Она [Софья] не дура, однако со всем ее умом догадаться не может, что я привязан к ее свекрови...» (63).

Это тотальное непонимание людей, говорящих на одном языке как на разных (напомним о стилевой разнородности речевых характеристик Бригадира, Советника, Ивана и Советницы), закономерно увенчано символическим мотивом глухоты; хотя в «*Бригадире*» и нет буквально глухих персонажей, однако отрицательный эффект действий, сложенного из говоренья—слышанья—непонимания, неизбежно вызывает к жизни этот образ-понятие: «*Советница*. Разве вы глухи?» (79); «*Бригадирша*. Или я глуха стала, или ты нем» (96). Так, практически все персонажи комедии (за исключением одинаково молчащих Софьи и Добролюбова, изъясняющихся на одном галломанском жаргоне Ивана и Советницы) оказываются вопиющими в пустыне глухоты, а «остроумный, мастерски отточенный»²⁴ диалог «Бригадира» отрицает сам смысл этой формы речевой деятельности в своем «высшем содержании», поскольку реализует отрицательный эффект в многочисленных сценах-вариациях на мотив фарсового приема «диалог глухих».

В компании глухих говорное действие может дать только отрицательный эффект, и, за исключением молчавших все действие, но помолвленных в его финале Софьи и Добролюбова, все возможные в комедии романы говорливых персонажей Фонвизина расстраиваются, так же как в «*Горе от ума*» — все возможные свадьбы. Так веселая комедия Фонвизина кончается не только счастьем умных, но и горем глупых и, пожалуй, невозможно определить однозначно: о чем же она в конечном счете — о счастье умных или о горе глупых? Последних, во всяком случае, гораздо больше, и очень уж продуктивны в смешном «*Бригадире*» понятия, которые несут жанровые ассоциации трагедии — беда, погибель, несчастье, страдание, смерть, и все они симптоматично соединяются с образом, концентрирующим квинтэссенцию комедийной глупости. С точки зрения действия как интриги или характера плачущая и повествующая о своей разнесчастной жизни во втором явлении VI акта Бригадирша является на сцену без всякой на то драматургической необходимости,²⁵ но эта сцена в высшей степени необходима как озвучивание глубинного трагического обертона говорного действия комедии. И если попытаться обозначить эту линию действия комедии формулой, то пьесу со случайным названием «*Бригадир*» можно было бы назвать «*Горе от глупости*».

Так в «*Бригадире*» впервые в истории русской комедии возникают очертания говорного по своей природе драматического действия, которое в своем «высшем содержании» сводится отнюдь не к любовной интриге, как таковой, и не к нраво-описанию, как таковому. Эти традиционные варианты комедийного действия становятся не более чем способом констатации сугубо русского смысла: раскол и отчуждение людей, говорящих на своем собственном языке, как на разных, и не могущих договориться друг с другом. Опорные понятия этого действия — «говорить» — «слышать» — «не понимать», покрываемые общим смыслом-символом «глухоты», — прячут в глубине фарсового комизма «Бригадира» катастрофические перспективы исхода такого действия и с предельной наглядностью моделируют абсурдный смысл той жизни, которая узнала себя в «*Бригадире*». «В наших нравах первая комедия» впервые обнаружила алогизм и абсурд русской жизни, умудрившись извлечь содержательный драматургический эффект из формально блистательного и совершенного, но в своем тесном значении отрицающего свой собственный смысл диалога.

Пока — в «*Бригадире*» — все это действие развивается в кругу персонажей одного, и притом низкого нравственного уровня; добродетель выключена из говор-

²⁴ Всеволодский-Гернгросс В. Н. Указ. соч. С. 41.

²⁵ Об этом см.: Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 348.

ного действия своей молчаливостью — тем самым комедия говорения—слышанья—непонимания развернута в своем буквальном значении «глупости» и вызывает в сценическом действии смежовой эффект, впрочем уже и в «Бригадире» не совсем чистый. Но пройдет пятьдесят лет, и то же самое говорное действие на тех же самых опорных пунктах открыто обнаружит свой исконный трагический смысл благодаря зеркальной инверсии понятийных связей: молчание — добродетель, говорение — порок. Тот подтекст, который из-за молчаливости фонвизинских Софьи и Добролюбова так и не выходит на поверхность действия в «Бригадире», станет текстом в комедии Грибоедова благодаря Чацкому.

Что касается слышания и непонимания, то это у Грибоедова, как известно, одна из сквозных формул, покрывающая своим значением тип взаимоотношения всех персонажей;²⁶ заданная в первом явлении I акта применительно к Софье и Молчалину («И слышат, не хотят понять...» — 13), она передает свой общий смысл Репетилу («Вслух, громко говорим, никто не разберет» — 104) с тем, чтобы в последнем явлении комедии повториться в речи Чацкого («...И слушаю — не понимаю...» — 120). Таким образом, говорение—слышанье—непонимание—глухота охватывают смысловым кольцом все действие комедии, продуцируя ее сквозную сценическую ситуацию «диалога глухих»²⁷ и воплощаясь в переносно и буквально глухих персонажах, которых в комедии «Горе от ума» заметно больше, чем это может показаться на первый взгляд — в частности, родовой носитель этого понятия князь Тугоуховский — «глухой в квадрате», по фамилии и по существу, и, между прочим, отец многочисленного семейства, глухого по фамилии мужа и отца. Княгиня Тугоуховская и шесть княжон Тугоуховских буквально заполняют своим количеством пространство фамусовского дома, где под занавес действия разыгрывается сцена, символизирующая весь смысл говорного действия «Горя от ума»: наконец-то в диалог вступают буквально глухие Графиня-бабушка Хрюмина и князь Тугоуховский (III акт, явление 20); и как в «Бригадире» плачущее воплощение глупости обнаруживает подспудный трагизм говорного действия, так этот диалог глухих маркирует внешний формальный комизм трагической по сути ситуации. Столь же блестящий и совершенный диалог комедии Грибоедова реализует тот же самоотрицающий смысл, что и диалог Фонвизина.

Более того, глухота как универсальная характеристика мирообраза «Горя от ума» присуща не только человеческим персонажам, но и хронотопу комедии: «Зачем? в глухую ночь?» (104); «...В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов...» (120). И это оборачивается бедой и горем. Заданный в названии комедии мотив реализован у Грибоедова с первой же реплики. И симптоматично то обстоятельство, что мотив беды изначально спродуцирован ассоциативной связью понятий говорения—слышанья—непонимания. Ср.:

Лиза

...Уж день!.. сказать им...

(Стучится к Софии).

Господа,

Эй! Софья Павловна, беда.

Зашла беседа ваша за ночь.

Вы глухи? — Алексей Степаноч!

(...)

И слышат — не хотят понять

(12—13)

²⁶ См., например: Соловьев В. Живые и жильцы // Вопросы литературы. 1970. № 11. С. 158—159.

²⁷ Фомичев С. А. 1) Национальное своеобразие «Горе от ума» // Русская литература. 1969. № 2. С. 61—62; 2) Комедия А. С. Грибоедова «Горя от ума». Комментарий. М., 1983. С. 91, 115.

С этого момента «беда», «горе», «несчастье» прочно поселяются в речи большинства активных персонажей комедии, неукоснительно претворяясь из словесного в событийный и действенный план. Но вот что любопытно: абсолютное большинство случаев их употребления связано отнюдь не с речью Чацкого. Понятия «горе», «беда», «несчастье» появляются в его словаре лишь в один, строго определенный момент действия — в финале III акта («Душа здесь у меня каким-то горем сжата» — 95) и перед окончательной развязкой любовной интриги, сценой ночного свидания Молчалина и Софьи («...Уж коли горе пить, // Так лучше сразу, // Чем медлить, а беды медленным не избить» — 114).

Это единственный момент в действии комедии, когда оно грозит Чацкому катастрофой, и если бы угроза сбылась, пьеса «Горе от ума» по всем признакам своего жанра была бы трагедией, ибо Чацкий здесь — в состоянии утраты: он покидает дом Фамусова не по своей воле, и значит, теряет то, что ему дорого. Однако этот трагический исход для него не сбывается: в окончательной и истинной развязке Чацкий желчен, раздосадован, насмешлив, патетичен, оскорблен — что угодно, но только не несчастен. В горе и слезах (ср.: «Фамусов. Моя судьба еще ли не плачевна?» — 122) остаются его антагонисты, усиленно пророчившие себе беду словом (ср.: «Фамусов. Не мог придумать я, что это за беда!» — 13; «Лиза. ...У них беды себе на всякий час готовь...» — 16; «Софья. А горе ждет из-за угла» — 22; «Фамусов. Уж втянет он меня в беду!» — 49 и т. д.). В финале комедии они несчастны на деле.

Таким образом, как и у Фонвизина, у Грибоедова это еще вопрос, кому горя от ума досталось больше — дуракам или умному. Не случайно же Грибоедов отказался от первоначального намерения назвать комедию однозначно «Горе уму», предпочел вариативное «Горе от ума» (кому?).

Однако тот факт, что слово «беда», произнесенное в начале комедии, в ее финале претворяется в реальное состояние души ее персонажей, уполномочивает не только на этот вывод. Из него следует еще и то, что на вершине иерархии смысловых ценностей «Горя от ума», как и в «Бригадире», находится первопричинное слово, из произнесения которого вслух неукоснительно вытекает дело-действие. И может быть, особенно наглядно эта изначальность слова и говорения в образной структуре комедии Грибоедова продемонстрирована двумя аналогичными ее ходами — на уровне персонажа и на уровне сюжета: появление Чацкого на сцене, дающее толчок говорному действию, предсказано развернутой словесной презентацией героя в диалоге Софьи и Лизы, которые таким образом буквально накликали Чацкого на голову себе и всему своему дому (ср. Фамусов: «И грянул вдруг как с облаков» — 31); что же касается самого сюжета комедии, то и он предсказан задолго до появления Чацкого в «сне» Софьи.

Выдуманный от начала и до конца и, таким образом, принадлежащий исключительно к словесному роду творчества, сон Софьи буквально и поэтапно сбывается в действии комедии, но только не с Молчалиным, которого имеет в виду Софья, а с Чацким: «век знакома» Софья именно с воспитанным в фамусовском доме Чацким; как выясняется впоследствии, Чацкий не то чтобы «в бедности рожден», но очевидно не богат (ср.: «Бо-гат?» — «О! нет!» — 78); «цветистый луг» в выдуманном сне перекликается с детским воспоминанием Чацкого о доме, который «зеленью раскрашен в виде рожи» (28) и тоже является в некотором роде обманом. Фамусов во сне Софьи «бледен как смерть» и вслед за ним являются «какие-то не люди и не звери», а на реальном балу в его доме «какие-то уроды с того света» (99); двери во сне распахиваются «с громом» и пропускают в комнату, где Софья наедине с «милым человеком», толпу чудовищ, а в финале уединенный ночной диалог Софьи и Чацкого (ср. во сне — «Мы в темной комнате», в финале — «Лиза свечку роняет с испугу») нарушают «Стук! шум! ах! Боже мой! сюда бежит весь дом» (119). Во сне «милого человека» «мучают» — и Чацкий на балу претерпевает

«милion терзаний». В итоге сна Софья разлучена со своим возлюбленным — и в финале комедии Молчалин изгнан ею из дома, а Чацкий отрекся от своей любви по собственному желанию.

Конечно, Софья, выдумывая и проговаривая вслух свой сон, имела в виду Молчалина, а не Чацкого, но второй обман, который она совершает, намекая Фамусову на Чацкого как на героя сна: «Ах, батюшка, сон в руку» (30), причем на протяжении 9—10 явлений эта идиома повторяется трижды, усиливаясь интонационно при помощи двух восклицательных знаков в последнем повторе, превращает выдуманный сон в пророческий. Таким образом, приходится признать еще раз, что именно в слове заданы изначальные параметры эмоционального тона, сюжета и действия комедии, что по отношению к сну, описанному словом, реальная явь вторична и что, следовательно, живой, движущийся мир комедии «Горе от ума» не только как текст, но и как происшествие сотворен словом, отчасти даже и в сакральном смысле (напомним также легенду о возникновении замысла «Горя от ума», в которой сон о тексте предшествует реальному тексту комедии, как сон Софьи ее действию).

И здесь опять возникает фонвизинская ассоциация, но на сей раз уже не с комедией нравов «Бригадир», которая впервые сотворила в духе национальных нравов из слова и разговора дело и действие, но с высокой комедией «Недоросль», которая в XVIII веке произвела относительно драматургической трагедии ту же самую инверсию говорливости-порока и молчания-добродетели, что и «Горе от ума» в XIX веке.²⁸ Оба варианта мирообраза «Недоросля», бытовой и идеологический, сотворены словом; и если идеологический предсказан словом, субстанцированным сначала в письме, а потом в фигуре Стародума, то бытовому предшествует знаменитый сон Митрофана: «Ночь всю такая дрянь в глаза лезла. (...) Да то ты, матушка, то батюшка. (...) Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку. (...) Так мне и жаль стало. (...) Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку» (110). Эта абсурдно-запредельная сонная логика, по которой жалок дерущийся, а не побитый, тем не менее оказывается строго адекватна логике реальности и действия комедии «Недоросль», в финале которой не кто иной, как именно дравшаяся на словах и на деле все пять актов г-жа Простакова станет исключительным объектом сочувствия Правдина, Софьи, Милона и примкнувшего к ним зрителя.

Наконец, миры «Бригадира», «Недоросля», «Горя от ума» в равной мере не только сотворены, но и сокрушены словом: главное средство водворения гармонии в безумном мире Простаковых — идеологическое слово добродетельных ораторов и субстанцированное в письме императивное слово — приказ наместника. И Чацкий сокрушает мир фамусовского дома отнюдь не делом, а именно своим словом. И если мирообраз русской комедии зиждется на слове обмана и абсурда, то сокрушает его слово истины, воплощенное в сугубо говорящем персонаже, чей человеческий облик исчерпан его высоким словом — проповедью истины.

Это центральное положение в образной системе русской комедии субстанцированного в человеческом облике слова обнаруживает в глубоком подтексте комедийных сюжетов Фонвизина и Грибоедова некую общую архетипическую основу, позволяющую сформулировать мысль о наличии в русской высокой комедии определенного метасюжета, впервые обозначенного на переломе от «комедии нравов» к высокой комедии XVIII века в творчестве Фонвизина и воспроизведенного в высокой комедии XIX века Грибоедовым.

Обязательное условие возникновения этого метасюжета — добродетельный персонаж, исчерпанный своим словом, «новый человек», носитель нового слова, не может не вызвать ассоциации с Логосом-Богочеловеком, воплощением новоза-

²⁸ Зорин А. Л. Указ. соч. С. 69—78.

ветного Слова Божия. И не зря же современники называли «Горе от ума» «светским евангелием». ²⁹ Пожалуй, все же вернее будет сказать, что метасюжет русской высокой комедии с ее первичными отчасти даже в сакральном смысле функциями слова на всех уровнях образности организован бинарной оппозицией этих сакральных архетипов: Евангелие и Апокалипсис — два пришествия божества с благой вестью «нового слова» и «страшным судом» над грешниками, ему не внявшими, в равной мере причастны к формированию «высшего содержания» русской высокой комедии. Недаром же в «Горе от ума» так продуктивны мотивы суда, судьей и судьбы. А задана эта логическая цепочка синонимом слова «ум» — словом «рассудок». Рассудок, суд, судья, суждение и судьба являются однокоренными и родственными только в русском языке, и это обстоятельство дополнительно подчеркивает сугубую национальную принадлежность подобной трактовки жанра «высокой комедии».

И не в этой ли связи ее метасюжета с универсально актуальными во все времена и для всех людей сюжетными архетипами «Нового завета» еще один залог невероятной емкости этого «воспитанного энергией и прелестью» ³⁰ русского языка национально-своеобразного жанра, который в своих высших проявлениях способен воспроизводить не просто исторический момент или исторически обусловленный тип личности и сознания, но всю целокупность национального бытия, истории и характера?!

²⁹ Смирнов Д. А. Рассказы об А. С. Грибоедове, записанные со слов его друзей // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 235.

³⁰ Винокур Г. О. Указ. соч. С. 240.

© Б. А. Кичикова

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «ГОРЯ ОТ УМА» ГРИБОЕДОВА

(ПОЭТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В СТРУКТУРЕ СТИХОТВОРНОЙ КОМЕДИИ)

Отказ от прямой полемики с эстетикой «мечтательно»-сентиментального направления — одна из особенностей, отличающих «Горе от ума» от ранних комедий Грибоедова, в частности от «Студента». ¹ К этому времени миновала борьба «пишковыхистов» и «карамзинистов», в которой драматург принимал участие на стороне первых, а главное, неизмеримо усложнилась проблематика его новой пьесы, ² но отношение ее автора к «тощим мечтаниям» элегий и баллад, наводнявших страницы журналов и альманахов, ³ по-прежнему оставалось критическим.

Изменение способов полемики с сентиментализмом характерно уже для творческой истории «Горя от ума». По авторитетному свидетельству С. Н. Бегичева, на

¹ См.: Фомичев С. А. К творческой предыстории «Горя от ума» (Комедия «Студент») // От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона»: Сб. статей к 90-летию Н. К. Пиксанова. Л., 1969. С. 88—98; Кошелев В. А. А. С. Грибоедов и К. Н. Батюшков (к творческой истории комедии «Студент») // А. С. Грибоедов. Материалы к биографии: Сб. научн. тр. Л., 1989. С. 199—219.

² О литературной позиции Грибоедова и преодолении им собственных эстетических противоречий в «Горе от ума» см.: Кичикова Б. А. Концепция «чувствительного» героя в «Горе от ума» (в аспекте литературной полемики А. С. Грибоедова) // Нравственно-эстетические проблемы художественной литературы. Элиста, 1983. С. 6—15; Кошелев В. А. Указ. соч.; Шаврыгин С. М. Грибоедов и Карамзин // Проблемы творчества А. С. Грибоедова. Смоленск, 1994. С. 130—145.

³ «Бог с ними, с мечтаниями; ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, везде мечтания, а натуры ни на волос» (Грибоедов А. С. О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора» // Соч. М., 1988. С. 360).

Востоке «Грибоедов во многом изменил» план комедии «и уничтожил некоторые действующие лица, а между прочим жену Фамусова, сентиментальную модницу... (тогда еще поддельная чувствительность была несколько в ходу у московских дам)». ⁴ Упоминание об исчезнувшем персонаже в комическом упреке:

Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать ни взять, она,
Как мать ее, покойница жена.
Бывало, я с дражайшей половиной
Чуть врознь: — уж где-нибудь с мужчиной!⁵

— вызывало вопрос, на самом ли деле эти черты — «сентиментальность» и склонность к легкомысленным приключениям — унаследованы Софьей. Известно, что она, как и пушкинская Татьяна, воспитана на романах. «Себе присвоя Чужой восторг, чужую грусть», и свои отношения с Молчалиным она строит по образцу фабулы «чувствительного» повествования. ⁶ Так, в ее рассказе о ночных свиданиях явно изложена некая шаблонная («любой роман Возьмите и найдете верно») ситуация:

Возьмет он руку, к сердцу жмет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит.

(С. 24—25)

Полемическая установка очевидна в раннем варианте выдуманного Софьей «сна», наполненного пародийно-мелочными, «унылыми» подробностями:

В саду была, цветы бесчетно там пестрели,
Искала я, мне чудилось, траву...
В ирисах, в бархатцах, в левкоях и в синели...
И тут (еще) к приумноженью скуки...
Печальные к нам прорывались звуки...

(МА. С. 133—134)

В ее пересказе даже «любовь» Молчалина отзывалась меланхолией:

Грустна — он без ума помочь мне ищет средства,
Смеюсь, тужу нипочему:
Посмотришь, в том и жизнь и смерть ему.
Беспечна я: он за меня боится,
Задумаюсь — он прослезится.

(МА. С. 138)

В басне И. И. Дмитриева «Два друга» о «бесценном даре небес — прямом сердечном друге» сказано:

⁴ А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 26.

⁵ *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 119. Далее ссылки на этот том даются в тексте, причем ссылки на Музейный автограф сопровождаются указанием: МА.

⁶ «Роман Софьи с Молчалиным, — считает С. А. Фомичев, — это интерпретация типично сентиментальной коллизии на материале русской жизни» (*Фомичев С. А.* Национальное своеобразие «Горя от ума» // *Русская литература.* 1969. № 2. С. 57). На наш взгляд, этот «роман» — грибоедовская реплика на повесть А. И. Клушина «Вертеровы чувствования, или Несчастный М. Оригинальный анекдот» (1793). См.: *Русская сентиментальная повесть.* М., 1978. С. 119—141. Интерпретируя эту «коллизия», русская литература с начала XIX века вбирает в себя «культурную энергию мифа о бедной Лизе». См.: *Зорин А. Л., Немзер А. С.* Парадоксы чувствительности // «Столетия не сотрут...»: Русские классики и их читатели. М., 1988. С. 7—54. Однако отклик на повесть Карамзина в «Горе от ума» авторами не рассматривается.

Он всякие к твоей услуге ищет средства.
Отгадывает грусть, предупреждает бедства;
Его безделка, сон, ничто приводит в страх⁷...

Любопытно, как переосмыслена в «Горе от ума» эта поэтическая формула культа сердечной дружбы — центрального в нравственно-эстетической концепции сентиментализма. Она распалась на составные мотивы, иронически соотнесенные с «чувствительною» четой комедии: бескорыстные поиски «средств к услуге» обернулись корыстной услужливостью Молчалина; мотивы сочувственной тревоги за друга, группируясь в эпизоде обморока Софьи, комически утрированы в ее приговорном признании:

Но всё малейшее в других меня пугает,
Хоть нет великого несчастья от того

(С. 54)

— и в самообмане Чацкого: «Безделица ее тревожит» (С. 51). А «сердечный друг», каким себе воображала Софья Молчалина, превращается попросту в «сердечного». «Однако велено к сердечному толкнуться» (С. 114), — с оттенком презрительного сочувствия служанки к подневольному любовнику говорит Лиза, отправляясь будить его на ночную «службу» к Софье. Процесс распада сентиментальной формулы движется через пьесу скрыто, так как сам фрагмент, содержащий сентименталистскую реминисценцию, исчез из окончательного текста рассказа о «сне».

Отказ от этого и других пародийных пассажей обусловлен как экономией действия, так, вероятно, и замыслом характера Молчалина: «скромный» секретарь, при всей его угодливости и способности перевоплощаться, не должен был, однако, прикидываться чересчур уж грустным и слезливым. Он играет роль («И вот любовника я принимаю вид В угодность...») — прилежно, но в меру (слышно даже затаенное недовольство Софьи его скромностью: «Ни слова вольного...»). Цель его — «весело пожить», и этой стороной своей природы он открывается Лизе, отчасти Чацкому, перед которыми не видит нужды притворяться.

Любовь Софьи к Молчалину — сложное соединение влияния романов и подлинного чувства — несомненно подмечена в жизни (у «московских кузин»), как неизменно иронически называл этот тип Пушкин).⁸ Подражательность тут едва ли не преобладает над непосредственностью чувства, в чем невольно признается и сама Софья, говоря о Скалозубе: «Не моего романа». И эта выдуманная, инспирированная романами влюбленность должна быть развенчана.

Легкой иронией освещена уже первая сцена комедии: дуэт фортепьяно и флейты звучит как ироническая прелюдия к одному дню из жизни фамусовского дома, безмятежный покой которого скоро будет взорван градом эпиграмм и инвектив Чацкого, угрозами Фамусова, громогласными «шутками» Скалозуба и рыданиями Софьи...

Музыкальный дуэт влюбленных, вероятно, ориентирован на пасторальные сцены, на что указывает партия флейты, традиционно доминировавшая в пасторально-идиллических оперных эпизодах.⁹ Элементы «пастушеской» идиллии сквозят и в подробностях «сна» Софьи («искала траву какую-то»), хотя элегически-идиллическая тональность «сна» была более явной в редакции Музейного автографа:

⁷ Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотв. Л., 1967. С. 206.

⁸ По Пушкину, это определенный психологический тип женщины, сложившийся в результате «полуевропейского» воспитания (ср.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980. С. 199). Любопытно, что в начале XIX века персонажи комедий, особенно А. А. Шаховского, близкие к Софье по признаку ложной чувствительности, — обязательно кузины или племянницы героев; возможно, отсюда и происхождение пушкинской формулы.

⁹ См.: Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Л., 1973. С. 239.

...От фортопьян и флейты издали
 Печальные к нам прорывались звуки,
 От них унынье...

(МА. С. 134)

В этих подробностях есть даже оттенок некоторого сочувствия к героине, которой всего «семнадцать лет»; может быть, сочиняя «сон», Софья рисует картину, которая постоянно живет в ее воображении, сладостный сон¹⁰ своего чувствительного сердца: цветистый луг, пастушка Софья, пастушок, играющий ей на флейте, — и никаких препятствий к союзу юных душ нет...

Цель идиллии, по словам Ф. Шиллера, «состоит всегда и везде одна — изобразить человека в состоянии невинности, то есть в состоянии гармонии и мира с самим собой и с внешней средой».¹¹ Записной сочинитель идиллий В. И. Панаев определил принципы этого жанра в рассуждении «О пастушеской или сельской идиллии» (1818). Вслед за Геснером он ищет в идиллии патриархальной «невинности и чистоты нравов» и «языка сердца», но сомневается в возможности современной идиллии, так как «продолжительное рабство» сделало «грубыми и лукавыми» «нынешних пастухов и земледельцев».¹² Словом, прелесть идиллического существования могут позволить себе только господа, как явствует из этого рассуждения.

Судьба русской идиллии не была отмечена громкими литературными дискуссиями, как, например, то было с одой или балладой. Тем не менее на пространстве этого жанра разыгрывались «невидимые миру» драматические коллизии. Известно, как стремились возродить идиллию, восстановив ее антологическое содержание, или преобразовать, вдохнув в нее содержание «народное», поэты-декабристы и литераторы декабристского круга (Ф. Н. Глинка, Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг). В конце XVIII—начале XIX века проблематика идиллии вышла за пределы чисто литературных границ жанра.

При всей камерности своей тематики идиллия обнаруживает высокую степень социальной приспособляемости. Гибкость ее идеологической позиции была такова, что идиллия возвышалась до уровня «государственного быта» и возводилась в степень опекаемого монархами жанра. Ведь именно по ее законам разыгрывались сцены трогательно-гармонического единения верховной власти с народом. Идиллия в этом смысле очень театральна, вернее, удобна для декоративной театрализации действительности (стоит вспомнить «театрально-мифологизирующий» принцип устройства «потемкинских деревень»)¹³. Однако исторический опыт должен был убедить поколение Грибоедова, привычное ко всякого рода театрализации, в том, что «идиллические» периоды в жизни государства закономерно сменяются трагическими потрясениями его основ.

Был и другой аспект идиллии, также обнаруживающий ее неприемлемость. Проблема современной идиллии в 1810—1820-е годы не была собственно литературной, так как связывалась с центральным тогда вопросом о состоянии и поведении личности. Речь шла о том, как этот жанр вмещает в себя нынешнее человеческое содержание, — отсюда его нередкое скрещение с элегией, этому содержанию наиболее отвечающей. Существовала, впрочем, возможность практически-бытово-

¹⁰ «Сон» в словаре эпохи — синоним «мечты».

¹¹ Шиллер Ф. О наивной и сентиментальной поэзии // Собр. соч.: В 7 т. М., 1957. Т. 6. С. 440.

¹² Цит. по: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 173. См. также: Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 121.

¹³ Выражение употреблено нами в расхожем, фразеологическом значении. См.: Панченко А. М. «Потемкинские деревни» как культурный миф // XVIII век. Сб. 14: Русская литература XVIII—начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 93—104.

го осуществления идиллии — спокойное, размеренное существование в сельской усадьбе, поэтический досуг и философские размышления на лоне природы, неизменно противопоставляемые «мертвящему упоению света» и подчинению официальным нормам поведения. Хотя эта возможность для поэта, подлинного «друга человечества», была отвергнута еще в стихотворении Пушкина «Деревня» (1819), в своем положительном, оппозиционном смысле идиллия была острой проблемой литературного, писательского быта. Воспетая Державиным («Жизнь Званская») и Батюшковым («Мои пенаты»), эта «идиллия» почти состоялась у Боратынского, о ней мечтали Пушкин и Грибоедов: стремление туда, где «звучнее голос лирный, живее творческие сны», — трагический лейтмотив их последних лет; Михайловское и Цинандали грезятся как «обитель дальняя трудов и чистых нег»...

Один из наиболее значительных ответов на вопрос о «современной идиллии» содержит известная жанровая парафраза в «Евгении Онегине» — рассказ о деревенской жизни героя романа:

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роцца, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон...

Эта предварительная проба жанра на испытание приводит к выводу: для героя «века нынешнего», прошедшего через искус скептицизма и неприятия действительности, идиллическое существование невозможно. Любопытно, однако, что после этого отрицания идиллии она прочно поселяется на страницах романа — в повествовании о любви Ольги и Ленского и даже в применении к Онегину:

Прогулки, чтение, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй...
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая...

Этот «конспект» идиллии (характерный для сложной жанровой проблематики IV главы, включающей пушкинский отклик на полемику об оде и элегии) — знак лишь временного затишья перед дальнейшими драматическими событиями романа (именины Татьяны, дуэль и гибель Ленского). Внутри же самой главы идиллическая ситуация, необычная для Онегина, диалогически соотносена с элегическим мироощущением отвергнутой им и страдающей Татьяны. Знак идиллии, которым тут помечен Онегин, выявляет его конформистскую успокоенность и предвещает развенчание героя, способного «убить на поединке друга». Здесь не только подтверждается, но и углубляется предварительная социальная оценка идиллии из I главы романа.

Развенчание идиллии — один из существеннейших моментов формирования жанрового своеобразия «Горя от ума» — осуществляется исподволь, в глубинных течениях работы грибоедовской иронии.

Платону Горичу, замученному светским распорядком дня и заботами жены о его здоровье, Чацкий советует:

Движенья более. В деревню, в теплый край.
Будь чаще на коне. Деревня летом рай.

(С. 75)

Оскорбленная Наталья Дмитриевна потом вспомнит этот совет как доказательство «безумия» Чацкого.¹⁴ Молчалин, в угоду Софье, тревожащейся за его жизнь и мечтающей женить его на себе, разыгрывает идиллическую сцену с флейтой; Горич, в угоду жене, тревожащейся за его здоровье, отказывается от деревенской идиллии, утоляя свою тоску по гармонии игрой на флейте. Потом они оба (один тяготится пребыванием в идиллической ситуации, другого же тяготит пребывание вне ее) будут объединены в эпиграмме Чацкого на «московских мужей», которые позволяют «беречь и пленять» себя. Раздвоение идиллической ситуации выявляет ее несостоятельность, подчеркнутую эпиграммой — жанром неисчерпаемых полемических свойств в «Горе от ума».

Восприятие идиллии позволяет уяснить и взаимодействие жанровых образований в начале пьесы: рассказ Софьи о свиданиях с Молчалиным («Возьмет он руку...») прерван — и весьма неучтиво — хохотом Лизы:

Мне-с?... ваша тетушка на ум теперь пришла.
 Как молодой француз сбежал у ней из дому,
 Голубушка! хотела схоронить
 Свою досаду, не сумела:
 Забыла волосы чернить,
 И через три дни поседела.

Забавный анекдот вспомнился горничной по ассоциации: в обоих случаях речь идет о связи госпожи, хозяйки барского дома, с подчиненным, «почти с лакеем».¹⁵ Потом и Чацкий вспомнит едва ли не ту же тетку («А тетушка? все девушкой? Минервой?») и такую же, вероятно, историю:

Чацкий
 А Гильоме, француз, подбитый ветерком?
 Он не женат еще? —
 Софья
 На ком?
 Чацкий
 Хоть на какой-нибудь княгине
 Пульхерии Андревне, например?
 Софья
 Танцмейстер! можно ли!

(С. 29)

Разветвленный контекст пьесы представляет Софью внутри замкнутого круга анекдотов и сплетен, карикатурно похожих на ее роман с Молчалиным (мезальянс княгини и танцмейстера) или досадно намекающих на него («куплетный» анекдот

¹⁴ Когда молва о «безумии» Чацкого становится «всеобщей» (д. III, явл. 21), гости Фамусова собираются, чтобы обсудить сплетню, и, как это бывает при появлении нового слуха о человеке, вспоминают предшествующие слова и поступки Чацкого, теперь нашедшие «объяснение». В этом эпизоде принцип «зеркальности сцен», о котором писал еще А. А. Бестужев (А. С. Грибоедов в русской критике. М., 1958. С. 17), «закон художественной симметрии», который является «основным принципом общего плана пьесы» (Омарова Д. А. План комедии Грибоедова // А. С. Грибоедов: Творчество; Биография; Традиции. Л., 1977. С. 48), воплотился в приеме «глухоты», явленном как сознательное искажение слов Чацкого. При этом выясняется и комичная мелочность причин, по которым каждый почувствовал себя задетым, и подлинная суть реплик и замечаний героя.

¹⁵ Замечание В. Г. Белинского: «Что такое Софья? Светская девушка, унижившаяся до связи почти с лакеем» (А. С. Грибоедов в русской критике. С. 184). Об «осмешнении» сценических положений Софьи см.: *Медведева И.* «Горе от ума» А. С. Грибоедова. М., 1964.

Скалозуба о княгине Ласовой).¹⁶ И традиционный мотив ложного, книжного воспитания на историях о любви, сметающей общественные преграды, испытывает в «Горе от ума» любопытные превращения. «Вот так же обо мне потом заговорят», — предчувствует Софья, глядя на хохочущую служанку. Насмешливая правда бытового анекдота побеждает надуманность сентиментальной коллизии. Так пародирующее присутствие анекдотов на заднем плане воображаемой идиллии исподволь подготавливает крах надежд Софьи на любовь Молчалина в развязке пьесы. Здесь таятся и иные последствия: страх сплетни, молвы (хоть Софья и бравирует: «Что ты молва?»), опасения стать персонажем скандального анекдота — лейтмотив быта фамусовской Москвы, образующий пьедестал, на который водружена финальная реплика о почти мистической княгине Марье Алексеевне, — заставят именно чувствительную Софью прибегнуть к сплетне о сумасшествии Чацкого.

Ложная чувствительность, разоблачаемая в «Горе от ума» многообразными жанровыми средствами, преимущественно связана с Софьей и воплощена в мотивах обмана и лжи, сгустившихся в ее роли. Одна из ее «выдумок» — сочиненный наспех рассказ о сне — ведет свое происхождение от баллады, точнее, от известной литературной ситуации, созданной полемикой вокруг жанра баллады (в которой активно участвовал и Грибоедов),¹⁷ и творческого состязания «перелагателей» сюжета Бюргеровой «Леноры» — В. А. Жуковского и П. А. Катенина.

«Сон» Софьи представляет собою пересказ некоего обобщенного, пародийно-усредненного сюжета, балладные признаки которого очевидны:¹⁸ гадание девушки с целью приворожить¹⁹ суженого («искала траву какую-то»),²⁰ появление «милого человека», нашествие фантастических чудовищ (под предводительством Фамусова), увлекающих девицу прочь от возлюбленного, — унаследованная балладой мифологическая организация пространства («верхний, средний и подземный миры» — соответственно: «небеса», «луга», «раскрылся пол — и вы оттуда»).²¹ Сло-

¹⁶ Этот бытовой анекдот соединяет водевильный куплет «к случаю» и структурно завершенную эпиграмму. Скалозуб рассказывает свою «весть» в водевильной ситуации обморока Софьи из-за падения Молчалина с лошади, и, согласно репетиторской «теории» водевиля, куплет нанизан на стержень каламбура о «поддержке»: «Жоке не *поддержал*... Так для *поддержки* ищет мужа». Глубина же эпиграмматического контекста обусловлена столкновением подразумеваемых здесь мифов из разных культурных систем: греческого мифа об амазонках («*Наездница*», вдова, но нет примеров, Чтоб ездила с ней много кавалеров») и дерзкой инверсии библейского мифа о сотворении «прародительницы Евы» («Теперь *ребра недостает*»), присутствие которого отмечено Ю. П. Фесенко (см. в кн.: А. С. Грибоедов: Творчество; Биография; Традиции. С. 57). И дело даже не в том, что соль *грибоедовской* эпиграммы придает остроту очередной *скалозубовой* шутке (амазонка обречена на безбрачие «по определению», как «по определению» же не сотворить мужа из женского ребра), а в двуединой поэтической и драматической природе «Горя от ума», обусловившей диалог разнородных жанров.

¹⁷ В статье «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады „Ленора“» (1816) ставится вопрос о содержательной ценности жанра и возможности его преобразования на основах народности.

¹⁸ По мнению Н. К. Пиксанова, рассказ о «сне» лишь затрудняет «логическую схему действия» и «может быть признан неудачным». Любопытно, однако, что «четыре момента», на которые им разлагается рассказ Софьи, представляют собой строгие признаки жанра баллады (Пиксанов Н. К. Творческая история «Горя от ума». М., 1971. С. 269—271).

¹⁹ Чацкий же полагает, что это Молчалин сумел «ворожбой к ней в сердце влезть».

²⁰ Перечисление трав и цветов в ранней редакции «сна» явно связано с любовной символикой цветов, из фольклора (песенно-магическая лирика) перешедшей в «галантную поэзию» («язык цветов», «словарь цветов») и мадригально-элегическую лирику, наконец, в субкультуру мешанско-чинувичьей среды («цветочный флирт»). О популярности «языка цветов» в начале XIX века свидетельствуют записи из дневника (до 1820 года) А. П. Керн, «обожавшей Шиповника» (переименован затем в Импортеля). См.: Керн А. П. Воспоминания; Дневники; Переписка. М., 1974. С. 125 и след. (комментарий А. М. Гордина С. 338). Сентиментальная «флористика» спародирована и в комедии «Студент», однако комментатор устанавливает лишь литературный адрес пародии (Кошелев В. А. Указ. соч. С. 209).

²¹ Здесь, как и в других моментах (ср. о Молчалине: «Вот он на цыпочках»), отражены, по-видимому, впечатления Грибоедова, театраля и поклонника балета. Раскрывающийся

вом, «и черти, и любовь, и страхи, и цветы» — как точно, сам того не подозревая, определяет Фамусов этот репертуар балладных мотивов. И словно для окончательной полноты набора жанровых признаков рассказ о «сне» завершен характерным для ранних русских баллад моралистическим выводом. «Где чудеса, там мало складу», — рецензирует услышанное Павел Афанасьевич, не ведая, что почти дословно цитирует заключение знаменитой «Светланы» Жуковского:

Улыбнись, моя краса,
На мою балладу,
В ней большие чудеса,
Очень мало складу.²²

«Баллада о Софье» как бы сочинена двумя авторами: собственно баллада — самою Софьей, концовка же — ее любящим нравоучения отцом. Таким образом, «сон» героини «Горя от ума» имеет конкретный литературный адрес и ориентирован на ставшее уже классическим произведение балладного жанра. Следы давней литературной полемики видны в несомненной пародийной интерпретации баллады Грибоедовым, однако, чтобы уяснить восприятие данного жанра в комедии, необходимо рассмотреть эпизод со «сном» на определенном фоне.

«Сон» — это жанровое образование из сферы «лгущего» слова Софьи, но его значение этим не исчерпывается, так как интерпретация баллады в «Горе от ума» свидетельствует о зарождении некоей традиции — освоении эстетического потенциала, явленного в «Светлане» Жуковского, последующей русской литературой.

Балладный сон, так или иначе связанный с ситуацией гадания, угадывания будущего,²³ всегда является вещим, предсказывающим дальнейшие события произведения, в каком бы жанровом контексте он ни находился. Таков, к примеру, сон Татьяны в «Евгении Онегине» — аналог «сна» Софьи по функциям в сюжете и по ориентации на ту же «Светлану».²⁴ Но Софья полностью сочиняет свой сон, Татьяне же он привиделся «взаправду». Между обоими снами есть и более глубокое различие, приводящее, в конечном счете, к разнице типов художественного мышления Пушкина и Грибоедова.

Рассказ Софьи о «сне» насквозь книжен, литературный фон его очевиден, и оттого-то так легко оказалось сочинить его на ходу. В сон же Татьяны, сотканный, как писал Г. А. Гуковский, «из образов и мотивов народного искусства, народных представлений, фольклора», «мотивы романов... только ложатся дополнительным оттенком». «Таким образом, сон дает как бы формулу душевной культуры Татьяны: основа ее народность, вторичное влияние — роман».²⁵ Грибоедов стремится

люк — обычный прием «машинерии» в балетных спектаклях. Напомним, что «Светлана» Жуковского была инсценирована в 1822—1823 годах в качестве «великолепного спектакля» — с балетными и оперными партиями и всевозможными постановочными эффектами (История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977. Т. 2. С. 294—295, 518).

²² Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1959. Т. 2. С. 24.

²³ Угадывание прошлого и гадание о будущем связывают балладу с легендой, с одной стороны, а с другой — вносят в нее напряженный трагизм — и в целом обеспечивают ей долгую жизнь и свойство плодотворного присутствия в произведениях иных жанров (об установке баллады на легенду см.: Журавлева А. И. «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина // Пушкин и его современники. Псков, 1970. С. 90—100).

²⁴ Сопоставление уже привычное и по-прежнему правомерное. Так, сближая оба сна, И. Н. Медведева не задается вопросом об их жанровом содержании. Мнение же о фольклорных (сказочных) истоках «сна» Софьи, как и его аргументация, не представляет убедительным (Медведева И. Указ. соч. С. 13). Интересную возможность расшифровать «сон» Софьи «методом» пушкинской Татьяны (с помощью «толкователя снов») находит С. А. Фомичев (см.: Фомичев С. А. Национальное своеобразие «Горя от ума». С. 58—59; Грибоедов А. С. Горе от ума. СПб., 1994. С. 154—156).

²⁵ Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 214—215. «Пушкин же, — утверждает В. С. Краснокутский, — создает один из самых „веселых снов” в русской литературе, который является завуалированным продолжением „веселой” традиции

оставаться одновременно в пределах лаконизма стихотворной комедии и «книжной» поэтизации образа героини, устраняя в сочиняемом ею «сне» элементы сентиментальной повести и идиллии и заменяя их балладной «туманностью», неопределенностью описания. Эта неоднозначность осмысления литературного жанра в «Горе от ума» закономерна: стихотворная природа и художественная многопланность пьесы сообщают едва ли не каждой реплике жанровую, эстетическую многовалентность. Со «сном» же в пьесе связана вереница перекликающихся высказываний, сценических ситуаций, жанровых парафраз. Таким образом, «сон», никогда не снившийся Софье, начинает сбываться, как и сон героини пушкинского романа.

«По смутном сне безделица тревожит», — приступает она к рассказу, цель которого — намекнуть о «милом (но бедном) человеке» и своем страхе за него. «Тревога» повлечет обморок Софьи при падении Молчалина, а очнувшись, она скажет: «Я точно как во сне». Скрыв от Чацкого причину обморока, Софья и сама едва отличает вымысел от сна, на ее беду оказавшегося «сном в руку»,²⁶ предваряющим и предсказывающим последующие события.

Мотив «сна в руку» распространен в русской комедиографии от Фонвизина до Хмельницкого и Гоголя. Связывая экспозицию с основным действием, в «Горе от ума» он предстает как дань традиции и в то же время переосмысливается. Одна из вариаций этого мотива — различные комические пророческие предчувствия и приметы — прозвучит в преувеличенном самобичевании Репетилова:

Вот фарсы мне как часто были петы,
Что пустомеля я, что глуп, что суевер,
Что у меня на всё предчувствия, приметы...

(С. 102)

Многообразно реализована и еще одна особенность содержания «сна» — фантастические образы его, балладная демонология. Софья опасалась вмешательства в ее жизнь фантастических чудовищ, страхи же Лизы наивнее: она чисто по-крестьянски боится домовых. И Фамусов, подоспевший к развязке событий, кричит: «Где домовые?» — не то имея в виду шум, поднятый резвящимися ночью домовыми, не то скликаая домашних слуг. Так чудовища из литературной баллады забавно совмещаются с персонажами народных поверий.²⁷

„арзамасского наречия”» (Краснокутский В. С. «Арзамас» и его значение в истории русской литературы. Автореф. канд. дис. М., 1974. С. 17—19).

²⁶ Возможно, тут есть намек на «сказку» И. Дмитриева «Модная жена»:

Амур же, прикорнув на столике к часам,
Приставил к стрелке перст, и стрелка не вертится,
Чтоб двум любовникам часов домашних бой
Не вспоминал того, что скоро возвратится
Вулкан домой.

А он, как в руку сон!.. Судьбы того хотели!

См.: Стихотворная сказка (новелла) XVIII—начала XIX века. Л., 1969. С. 362. Явные реминисценции из этой новеллы и в экспозиции «Горя от ума», когда Лиза «переводит часы», поторапливая разойтись Софью и Молчалина, и в афоризме «Счастливые часы не наблюдают».

²⁷ Как известно, «народная» баллада интересовала Грибоедова еще во времена полемики 1815—1816 годов, и образцом этого жанра ему тогда представлялась «Ольга» Катенина. И уже после «Горя от ума» поэт пишет набросок сказочно-балладного повествования «Домовой», словно выхваченный из общих детских воспоминаний Чацкого и Софьи:

Детушки матушке жаловались,
Спать ложиться закаивались.
Больно тревожит нас дед-непосед,
Зла творит много и множество бед.
Ступней топочет, столами ворочит,
Душит, навалится, щиплет, щекочет.

«Сон» Софьи предсказал крушение ее надежд на любовь Молчалина и грядущий приговор московского «общественного мнения». Но он связан не только с судьбой героини. Все эти чудовища, «какие-то не люди и не звери» из выдуманного ею сна, оборачиваются басенно-звериными обличьями окружающих, «какими-то уродами с того света», собравшимися на вечере Фамусовых, так же как «дым отечества» из затверженных некогда Чацким державинских стихов и само «отечество» с его «отцами» и «образцами» для подражания превращаются в «дым и чад» иллюзий, которые, рассеиваясь, «пеленой» спадают с глаз героя комедии.

Творческий эксперимент Грибоедова по освоению художественных возможностей баллады в произведении иного жанра оказался плодотворным для русской литературы. Уже после знакомства с «Горем от ума», в 1826 году, Пушкин работает над V главой «Евгения Онегина», где «по-грибоедовски» осмыслена пророческая роль гадания и сна²⁸ — вплоть до превращения балладных чудищ из сна Татьяны в гостей на ее именинах. Балладное начало в V главе двупланно по своей литературной ориентации: оно восходит к «Светлане» (эпиграфом из которой глава маркирована) и в то же время подразумевает «Горе от ума» — сцены съезда гостей насыщены уже грибоедовскими реминисценциями. Вещий сон (вещее виденье), наполненный балладными мотивами и аллюзиями, с этих пор становится устойчивым элементом сюжета не только романтической, но и реалистической повествовательной прозы — у Пушкина, Гоголя, Гончарова, Достоевского, — утверждаясь, таким образом, в структуре русского романа.²⁹

Итак, выдуманный сон оказался вещим, и ложь Софьи претворилась в правду сценического конфликта, где глухому слову противостоит взыскующее правды слово Чацкого.

Вы ради? в добрый час.
Однако искренно кто ж радуется этак?
(С. 26)

— говорит он Софье при встрече. *Искренность* (слово, исключенное из лексики других персонажей), откровенность — принцип отношений Чацкого с окружающими, и от них поначалу он ждет того же: «...прошу мне дать ответ Без думы».

В оппозиции «искренность — скрытность» нравственным антиподом героя, конечно, является Молчалин. «Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны... Не повредила бы нам откровенность эта», — твердит он Софье после ее обморока. Смеясь над Молчалиным, Чацкий не заметил, что тот тихо и вежливо презирает его самого:

²⁸ Сбывается, например, гаданье крепостных девушек поместья Лариных, «суливших каждый год» своим барышням «мужьев военных и поход»: Ольга выходит замуж за улана, Татьяна — за генерала.

²⁹ Особенно удивительно это обращение к традиции Жуковского, Грибоедова и Пушкина (именно как к единой традиции) в вершинном произведении русской романной прозы — «Войне и мире» Л. Н. Толстого, где сцена святочного гадания в Отрадном пронизана балладными реминисценциями и играет роль балладного предсказания. Наташа, бывшая в разлуке с женихом (ср. ситуацию «Светланы»), затеяла гаданье, но ничего в зеркале не увидела и попросила погадать вместо себя кузину Сою. Соня же, как некогда грибоедовская Софья, стала сочинять то, что ей якобы привиделось, — картину лежащего в болезни князя Андрея. Позже она напомним это «виденье» ухаживающей за раненым Болконским Наташе. Сбылось и другое «предсказанье»: Соне «привиделось» «что-то синее и красное», а ведь «синий, темно-синий с красным» — это в детском восприятии Наташи Пьер Безухов, ее подлинный суженый, а затем и муж. Виденье Сони, как когда-то «выдумка» Софьи Фамусовой, по законам балладного сюжета оказалось вещим.

Чацкий
 Взманили почести и знатность?
 Молчалин
 Нет-с, свой талант у всех...
 Чацкий
 У вас?
 Молчалин
 Два-с:
 Умеренность и аккуратность.
 Чацкий
 Чудеснейшие два! и стоят наших всех.
 Молчалин
 Вам не дались чины, по службе неуспех?
 (С. 68)

«Овому талант, овому два», — почти неосознанно цитировал В. Г. Белинский литературный источник этой беседы в статье о «Горе от ума» (но совсем по другому поводу).³⁰ По мере трагического нарастания ситуация одиночества и «непонимания» Чацкого все явственнее восходит к ряду притч и афоризмов из притч: притче «о талантах»,³¹ притче о «гласе вопиющего в пустыне», афоризму «несть пророк без чести, токмо в отечестве своем, в родстве и в дому своем», что некогда был применен Грибоедовым и к самому себе.³²

«И сбывается над ними пророчество Исайи,³³ которое гласит: „Слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите; Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем“...»³⁴

Ориентация на поучение о пагубном неотвержении слуха позволяет определить поведение действующих лиц пьесы как психологическую, духовную глухоту,³⁵ установка же на искренность,³⁶ «слышание и понимание» во многом обуславлива-

³⁰ А. С. Грибоедов в русской критике. С. 131.

³¹ Праведный раб, имевший два таланта, приумножил их, а неправедный зарыл свой единственный талант в землю — гласит эта притча. Молчалин иронически уподоблен «праведному рабу», поэтому так непреложен вывод: «Молчалины *блаженствуют* на свете», пронизанный стилистическими и смысловыми аллюзиями из евангельской притчи. Тогда Чацкого, с его единственным «талантом» — умом, ожидает участь «раба негодного»: «...выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубовой» (От Матфея, 25, 14—30).

³² В письме С. Н. Бегичеву от 18 сентября 1818 года. См.: *Грибоедов А. С. Соч. С. 453.*

³³ Книга Исайи была особенно любима Грибоедовым (см.: *Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Л., 1979. С. 77).*

³⁴ От Матфея, 13, 14—15 (источник: Ис., 6, 9—10; параллели: Мар., 4, 12; Лук., 8, 10; Иоан., 12, 40; Деян., 28, 26; Рим., 11, 8).

³⁵ Возможно, «тотальная глухота» грибоедовских персонажей является образным осмыслением некой психологической доминанты эпохи. В связи с этим уместно вспомнить подробность, широко известную современникам и дерзко обыгрывавшуюся ими в сатирическом духе (ср. басню Д. В. Давыдова «Тетерев и Турухтан»): сам «нечаянно пригретый славой» император Александр I был глух. «На слух у человека ложится исключительная и ответственнойшая задача, — писал академик А. А. Ухтомский, — задача служить опорой и посредником в великом деле организации речи и собеседования» (*Ухтомский А. А. Очерк физиологии нервной системы // Собр. соч. Л., 1945. Т. 4. С. 229).*

³⁶ По точному замечанию Г. А. Гуковского, «искренность — одна из функций монолога в драматургии вообще» (*Гуковский Г. А. Указ. соч. С. 20).*

ет драматичность положения главного героя. И в авторской полемике с «чувствительностью», выродившейся в лицемерие и комизм мелких «трагинервических явлений», в разоблачении «чувствительной» морали, обернувшейся неспособностью услышать и понять ближнего своего, высокому герою Грибоедова отведена особая роль.

Сама психологическая антитеза «Чацкий—Молчалин» во многом основана на противопоставленности в сфере чувства:

Пускай в Молчалине ум бойкий, гений смелый;
Но есть ли в нем та страсть? то чувство? пылкость та?
Чтоб кроме вас ему мир целый
Казался прах и суета?..
Но вас он стоит ли? вот вам один вопрос;
Чтоб равнодушнее мне понести утрату...
(С. 63)

Эта странная прощальность интонаций, когда действие едва достигло середины, это прозрение сердца в предчувствии утраты (хотя позже, в ослеплении ума, Чацкий уверится в мысли: «...она его не любит») выделяют монолог из комедийного действия, превращая его в законченное лирическое произведение — в элегию.³⁷

Авторское отношение к элегии в «Горе от ума» может составить сюжет специального исследования. Ведь едкую пародию на «унылую» сентиментальную элегию в ранней редакции пьесы («В саду была...») от подлинно лирического шедевра — психологической элегии в сцене объяснения Чацкого — отделяют всего два-три года. Это и срок головокружительной быстроты созревания поэтического таланта Грибоедова, и указание на развитие и изменение его литературной позиции. Наконец, элегия в «Горе от ума» так тесно связана с судьбами русской элегической поэзии, вступавшей тогда в пору расцвета, что содержит в себе и тенденцию развития жанра: в диалектике сложного чувства, движущей признанием героя, предугадывается, например, знаменитое:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

В элегическом монологе Чацкого тема «чувства» достигает кульминации, а следующий за ним разговор соперников завершается предварительным итогом:

С такими *чувствами!* с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!
(С. 71)

Но этот вывод потребует жесточайших коррективов, и в финале Чацкий скажет:

Так! *отрезвился* я сполна,
Мечтанья с глаз долой, и спала пелена...
Все гонят! все клянут! Мучителей толпа,
В *любви* предателей, в *вражде* неутомимых...
(С. 121)

³⁷ С. А. Фомичев справедливо отмечает «оригинальность поэтического голоса» Грибоедова в сопоставлении с элегическими мотивами К. Батюшкова, Е. Боратынского, В. Олина (в кн.: Грибоедов А. С. *Горе от ума*. СПб., 1994. С. 222—223). На наш взгляд, элегия Чацкого (в психологическом сюжете которой лежит сравнение с соперником) «проросла» из фонвизинского «Недоросля», где Милон, утратив обычную рассудительность, взрывается: «А! теперь я вижу мою погибель. Соперник мой счастлив! Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он может быть разумен, просвещен, любезен; но чтоб мог сравниться в моей к тебе любви, чтоб...» (Фонвизин Д. И. *Избранное*. М., 1983. С. 90). Сохранено даже задыхающееся «чтоб, чтоб» в синтаксисе фразы, переплавленной Грибоедовым в великолепные стихи.

Это перерождение подготовлено всем ходом действия пьесы: человек, способный плакать накануне разлуки с возлюбленной, ославленный «мечтателем! опасным!», а затем и «безумным», осознает бескомпромиссность своего разрыва с обществом, превращаясь в трагическое, «истинно героическое лицо нашей литературы». ³⁸

Чуждый прямолинейных разоблачений «чувствительности», драматург углубляет характеристики героев, добываясь масштабности их осмысления и одновременно психологической «портретности». Предваряя появление нового русского романа, «Горе от ума» с «романной» органичностью вбирает в себя окружающие литературно-поэтические жанры, выявляя их полемические свойства и истинно драматическую способность вступать в диалог друг с другом. В самом же названии своем, где, по мере движения эпох, проступает «высшее значение» авторского замысла, стихотворная комедия ориентирована на философскую поэзию библейских откровений: формула «горе от ума» — как бы сгусток древнего изречения: «...во многот мудрости многая печаль...» ³⁹ Возникшее на перекрестке истории и литературы, вобравшее в себя энергию огромных художественных обобщений и поставленное, по пророческому слову А. Бестужева, «в число первых творений народных», ⁴⁰ произведение Грибоедова стало национальной театрально-поэтической притчей об участии чувства и ума в вечном движении жизни «к свободе — от несвободы». ⁴¹

³⁸ По классическому определению Аполлона Григорьева (А. С. Грибоедов в русской критике. С. 226).

³⁹ Экклезиаст, 1, 18. «„Горе от ума“, — пишет А. Л. Гришунин, — гениальная всеобъемлющая формула развития жизни. Это — чистейшая диалектика, отлитая в художественные формы» (Гришунин А. Л. «Горе от ума» как формула жизни // А. С. Грибоедов. Материалы к биографии. С. 249).

⁴⁰ А. С. Грибоедов в русской критике. С. 17.

⁴¹ Выражение И. А. Гончарова (Там же. С. 268).

© Н. Е. Мясоедова

К БИОГРАФИИ А. С. ГРИБОЕДОВА

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ФИНАНСИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ МИССИИ В ТЕГЕРАНЕ И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА В ТАВРИЗЕ В 1828—1829 ГОДАХ

Недавно в фондах Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге обнаружено дело, озаглавленное «Об отпуске сумм для миссии в Тегеране и Генерального Консульства в Тавризе. Тут же: о выдаче сумм назначенному Полномочным Министром в Тегеране Статскому Советнику Грибоедову и другим чиновникам единовременно на подъем». ¹ Обнаружение этих документов позволяет уточнить целый ряд ранее известных, но не полностью объясненных обстоятельств последних девяти месяцев жизни А. С. Грибоедова. Принимая во внимание весьма специфический характер документов по финансированию миссии и консульства, в настоящей статье приведем лишь наиболее интересные и важные фрагменты, подготовив полную публикацию материала для очередного «Хмелитского сборника».

Первый, открывающий дело документ — копия «Указа Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Правительствующего Сената Господи-

¹ РГИА. Ф. 565. Оп. 2. Ед. хр. 6616. Дело начато 3 мая 1828 года и закончено 3 мая 1832 года. Нами извлечены материалы за 1828—1830 годы.

ну генерал-лейтенанту члену Государственного Совета, Сенатору, Министру Финансов и Кавалеру Егору Францевичу Канкрину». В данном документе, датированном 1 мая 1828 года, сообщается об императорском указе Правительствующему Сенату, последовавшем 25 апреля 1828 года об учреждении Российской императорской миссии в Персии и Консульства в Тавризе. При этом «по первому посту» в указе назначен полномочным министром статский советник Грибоедов, а по второму — надворный советник Амбургер. Согласно утвержденным штатам, в указе определено: «...суммы, по оным исчисленные, отпускать с сего числа в распоряжение Министра Иностранных Дел из Главного Казначейства, выдав из оного ныне же одновременно Полномочному Министру на подъем и необходимые издержки, три тысячи червонных без всякого вычета,² прочим же чиновникам, кои к тем — Миссии и Генеральному Консульству — будут отсюда отправляемы, выдавать по требованию Министерства Иностранных Дел одновременно каждому по триста пятьдесят червонных равномерно без вычета».

Далее идут два приложения.

«I. Штат Российской-Императорской Миссии в Персии (голландскими червонными в год):

Полномочный министр. Ему жалование	—	6 000
на канцелярские расходы	—	200
на путевые расходы при переезде из Тегерана в Тавриз и обратно	—	1 000
Первому Секретарю Миссии жалование	—	700
Второму Секретарю Миссии жалование	—	350
На переводчиков и курьеров	—	1 200

Итого: 9 450»

Как следует из штатного расписания, в нем отсутствовала должность врача миссии. 17 августа 1828 года Грибоедов обратился к директору Азиатского департамента К. К. Родофиникину с настоятельным требованием о включении в штат миссии врача: «Ваше превосходительство, в бытность мою в С.-Петербурге сами полагали назначение врача при миссии необходимым; но при составлении штатов сие частью было упущено по скорому отъезду из столицы Его Сиятельства г-на Вице-Канцлера. Притом же вы весьма справедливо рассуждали, что назначение к миссии человека, который только носит звание доктора медицины и еще не освоился с болезнями и способом лечения в том краю, куда он посылается, не принесло бы никакой пользы. При сем случае замечу еще, что отдаваться российским чиновникам в Персии в руки английских врачей совершенно неприлично. (...) Надлежит присовокупить, что в политическом отношении учреждение врача при миссии было бы весьма полезно для большего сближения с самими персиянами, которые не чуждаются пособий европейских докторов и открывают им вход во внутренность семейств и даже гаремов своих, впрочем ни для кого не доступных».³

На должность врача миссии Грибоедов рекомендовал А. Семашко — врача из Астрахани, знакомого с методами лечения южных лихорадок. Он предлагал Родофиникину назначить ему жалование 600 голландских червонных в год с прибавлением выплат на лекарства (с. 594—595). Однако, как следует из дальнейших документов, должность врача не была внесена в штатное расписание русской миссии и консульства в Персии.

² Об этой императорской субсидии до сих пор не было известно, везде упоминалась сумма в 4000 червонных (голландских), пожалованная Грибоедову за подписание Туркманчайского мира.

³ Грибоедов А. С. Соч. М., 1988. С. 593. Далее ссылки на это издание в тексте.

Приложение «П. Штатное расписание Российско-Императорского Генерально-го Консульства в Тавризе (годовые оклады в голландских червонцах)» выглядело так:

«Генеральный консул	—	1 200
Секретарь	—	400
Переводчик	—	360
на канцелярские расходы	—	100
<hr/>		
Итого		2 060».

Оба штатных расписания были утверждены 25 апреля 1828 года, подписаны вице-канцлером К. В. Нессельроде и на обоих стояла монаршая резолюция: «Быть по сему».

Сразу же за получением указа Правительствующего Сената и штатного расписания миссии и консульства в Персии Министерство финансов занялось подсчетами тех сумм, которые должны были быть выплачены Грибоедову, Амбургеру и секретарю последнего Иванову, согласно их прежним окладам, за первую треть 1828 года. Расчет оказался таков: Амбургеру из 600 червонцев (в год) выплатить 196, Грибоедову из 250 — $81\frac{2}{3}$, Иванову из 300 — 98.

Параллельно с этим шла бюрократическая волынка по выплате единовременного пособия «на подъем и путевые издержки». К. К. Родофиникин, директор Азиатского департамента, 8 мая 1828 года обратился к министру финансов Е. Ф. Канкрину с отношением, в котором просил его ассигновать Грибоедову 3000 червонных, а отправляющимся вместе с ним первому секретарю Мальцеву и второму секретарю Аделунгу — по 350 червонцев каждому (без вычета) «на подъем». По приказанию Е. Ф. Канкринина данная сумма была отпущена Грибоедову, Мальцеву и Аделунгу 17 мая 1828 года, о чем свидетельствует отношение управляющего 2-м столом 5-го отделения Главного казначейства И. Степанова, в котором указан и факт отпуска и размер суммы и даже ее вес — 31 фунт, 48 золотников и 54 доли.

В день получения этих выплат, 17 мая 1828 года, К. К. Родофиникин обратился к Е. Ф. Канкрину с письмом следующего содержания: «Милостивый Государь Егор Францевич! Перевод сумм Персидской нашей Миссии определенных, был всегда сопряжен с затруднениями и издержками. Векселями доставлять оные невозможно по неимению там банкиров, и для того отправляемы всегда по третям с нарочными из Тифлиса, ибо Поверенный наш в делах (С. И. Мазарович. — Н. М.) был подчинен Командиру Отдельного Кавказского корпуса (А. П. Ермолову. — Н. М.). Ныне назначен Полномочный Министр в Персию не зависящий уже от пограничного начальства. Уведомляя о всем том Ваше Превосходительство, долгом поставлю представить на благоусмотрение Ваше, Милостивый Государь, не признаете ли за лучшее отпустить Господину Полномочному Министру Грибоедову или здесь, или в Тифлисе вперед за весь год штатную сумму Персидской Миссии, впредь же Министерство Иностранных Дел не применит ежегодно сообщать, каким образом пересылать деньги».

Очевидно, и до отношения К. К. Родофиникина министр финансов обдумывал этот вопрос, черновые расчеты показывают, что сразу же было принято решение выплатить не всю годовую сумму, а лишь за 246 оставшихся в году дней, которая была определена как $7865\frac{1}{6}$ червонца. Однако вскоре эта сумма была уменьшена.

Из отношения, направленного в Главное казначейство директором Министерства финансов И. Розенбергом и начальником отделения В. Княжевичем от 2 июня 1828 года за № 12326, явствует следующее: «По личному объяснению г. Директо-

ра Азиатского Департамента (Родофиникина. — Н. М.) в Департаменте Государственного Казначейства (у Е. Ф. Канкрин. — Н. М.) суммы, ассигнованные г. Министру Финансов сего числа по штатам, высочайше утвержденным в 25 день апреля миссии нашей в Персии и Генерального Консульства в Тавризе следует отпустить в распоряжение г. Статского Советника Грибоедова *со 2-го числа настоящего месяца*, о чем Департамент Государственного Казначейства дает знать Главному Казначейству к надлежащему исполнению» (курсив мой. — Н. М.).

При этом чрезвычайно интересен черновик письма Е. Ф. Канкрин к К. К. Родофиникину от того же числа (т. е. 2 июня), в котором видна переориентация министра финансов на новую дату начисления должностных окладов членов российской миссии в Персии: «Милостивый Государь Константин Константинович! — писал Е. Ф. Канкрин. — Департамент Государственного Казначейства получил от Азиатского департамента отзыв... о суммах, определенных по штатам Миссии нашей в Персии и Генерального Консульства в Тавризе; вследствие чего и согласно с предписанием Вашего Превосходительства, причитающаяся по тем штатам за весь нынешний год сумма [а именно $6875\frac{1}{6}$ червонца] на жалование чиновникам после выдачи им паспорта, а на прочие расходы со времени [утверждения штатов] (т. е. с 25 апреля. — Н. М.) получения такового паспорта г. Статским Советником Грибоедовым, ассигнована ныне мною из Главного Казначейства в распоряжение самого г. Грибоедова».

Таким образом, К. К. Родофиникин и Е. Ф. Канкрин отклонились от прямого исполнения указа Николая I, в котором говорилось, что должностные оклады членам миссии и консульства должны были начисляться с 25 апреля (т. е. за 246 дней), определив начальную дату выплат 2 июня. Вследствие этого сумма, предназначенная для миссии и консульства в Персии, уменьшилась на 1144 голландских червонца. При этом в отчетах, направленных из Министерства финансов в вышестоящие органы, фигурировала первоначальная сумма 11 510 червонцев. В качестве доказательства приведем рапорт Е. Ф. Канкрин Правительствующему Сенату от 9 июня 1828 года: «В исполнение Указа Правительствующего Сената от 1 (числа) минувшего мая и Высочайше утвержденных штатов Миссии нашей в Персии и Генерального Консульства в Тавризе *11 510 червонцев* и сверх того назначенные Полномочному Министру Статскому Советнику Грибоедову на подъем и необходимые издержки единовременно без вычета 3000 червонцев и двум чиновникам по 350 червонцев каждому, а обоим 700 червонцев, ассигновано из Главного Казначейства; о чем имею честь Правительствующему Сенату сим донести» (курсив мой. — Н. М.).

Реальная же сумма, отпущенная на содержание миссии и консульства, была почти на половину меньше. 5 июня 1828 года в докладной записке Главного казначейского правления в Департамент государственного казначейства сообщалось: «Вследствие предложения господина Министра Финансов от 2 июня, Главное Казначейство, отпустив 4-го числа на содержание Миссии нашей в Персии и Генерального Консульства в Тавризе, из 11 510 червонцев в год, с 2-го сего июня вперед за 6 месяцев и 29 дней на канцелярские и путевые расходы 754 червонца и 8 р(ублей) 30 к(опеек) ассигнациями (считая червонец по курсу 11 р(ублей) 50 к(опеек)), а равно на жалование Полномочному Министру и прочим всем чинам 5927 червонцев и 5 р(ублей) 43 к(опейки) ассигнациями, за вычетом из них на госпиталь по 2 к(опейки) с рубля — 118 червонцев и 6 р(ублей) 32 к(опейки) ассигнациями, остальные 5808 червонцев и 10 р(ублей) 61 к(опейку) ассигнациями, а всего *шесть тысяч пятьсот шестьдесят три червонца, весом 1 пуд, 15 фун(тов), 84 зол(отника), 78 дол(ей) и семь рублей сорок одну копейку ассигнациями*, под расписку Секретаря Персидской Миссии Титулярного Советника Мальцева; о том Департамент Государственного Казначейства имеет честь уведомить» (курсив мой. — Н. М.).

Приведенный материал во многом объясняет, чем была обусловлена дата отъезда Грибоедова из Петербурга в Персию. 2 июня он получал паспорт, наличие которого ставилось в прямую зависимость с получением денежного содержания на миссию и консульство, 4 июня он вместе с Мальцевым получил штатные суммы (золотыми червонцами, вес которых превышал 1 пуд), 5 июня — занимался сборами в дорогу, финансовыми расчетами с Булгариным и Гречем и прощанием с друзьями, 6 июня — отъезд. Так весьма абстрактная фраза в письме Грибоедова к К. В. Нессельроде: «Ввиду того, что директор Азиатского Департамента объявил мне распоряжение Вашего Сиятельства, чтоб я направился как можно скорее к месту моего назначения, я покинул Петербург, как только получил часть бумаг, относящихся к моей отправке» (с. 584) — обрела конкретное содержание.

Деловая переписка Грибоедова показывает, что он уже с июля месяца начал хлопоты по возмещению финансового обчета миссии и консульства. 12 июля 1828 года он писал из Тифлиса К. К. Родофиникину: «Здесь такая дороговизна, что мочи нет. Война преобразила этот край совершенно. Рублями серебром считают там, где платили прежде абазами, или, по-вашему пиастрами. Зачем же вы, достойнейший мой начальник и покровитель, ускурили у меня жалование более нежели на месяц? Здесь в казенной экспедиции получен указ, что я удовлетворен с 25-го апреля, а мне отпущено *ipso facto* (фактически). — Н. М.) только с 2-го июня. Нельзя ли дополнить к концу года. Притом за что же Амбургер лишается того, что грудью заслуживает. Я знаю, что вы в Петербурге дружны и уважаемы всеми министерствами; напишите требование — и поможете нам, грешным» (с. 580—581).

Одна из основных трудностей в улаживании данной финансовой ситуации заключалась в амбициозной позиции Амбургера, который после подписания Туркманчайского договора был назначен Паскевичем временным комиссаром при наследном принце персидском Аббас-Мирзе, при этом он свободно распоряжался экстраординарными суммами Паскевича. Установленное штатным расписанием консульское жалование не могло устроить Амбургера. 7 августа 1828 года Грибоедов, пытаясь успокоить и обнадежить его, писал: «Фалькерзам мне сообщил, что вы недовольны вашим назначением. Но почему же? Если из-за маленького жалования, то я уже поставил это на вид графу (Паскевичу. — Н. М.) и он все нам устроит. Я в этом деле исходил из соображения, что составляя независимое от него ведомство, я все же должен обратиться к нему, потому что вы действовали под его управлением и он был временно вашим начальником» (с. 583).⁴

В сентябре причастность Родофиникина к обсчету миссии и консульства стала очевидной, и 20 сентября 1828 года Грибоедов писал Амбургеру: «Об жаловании вашем мы переговорим и настроим графа Ивана Федоровича (Паскевича. — Н. М.), которому я уже внушил, как он должен писать к Вице-Канцлеру, коль скоро получит на этот счет отношение от меня из Тавриза. С Родофиникиным нечего толковать, он, свинья, всех нас кругом обрезал, просто сказать, обокрал. И если бы государь один день остался в Петербурге после моего назначения, то я бы нашел случай ему доложить» (с. 605).

Однако, несмотря на столь резкую оценку деятельности Родофиникина, Грибоедов не оставил в покое Азиатский департамент и 16 октября в официальном отношении писал туда следующее: «Вследствие предписания Азиатского Департамента за № 1281, честь имею донести, что производство жалования как себе, так и Секретарям Миссии гг. Мальцову и Аделунгу, буду считать с 5 числа минувшего июня... Касательно же производства жалования г. Амбургеру и секретарю Гене-

⁴ О том, что Паскевич был обязан Амбургеру в успешно проведенной интриге против А. П. Ермолова, мы уже писали, см.: Мясоедова Н. Е. Деловая переписка А. С. Грибоедова с К. К. Родофиникиным (август — декабрь 1828 года) // Русская литература. 1994. № 2. С. 113—117.

рального консульства Иванову, не имею я никаких положительных предписаний. Усматривая, что по особенному распоряжению Его Превосходительства г. Директора Азиатского Департамента, сумма на Миссию и Генеральное Консульство была отпущена из Главного Казначейства с 2 минувшего июня по 1 января будущего года, и именно, что время выдачи мне подорожной с Санкт-Петербурга не входило в соображение при назначении срока, с которого г. Генеральный Консул должен получать жалование свое... как г. Амбургер с самого начала безвыездно находился в Персии, сперва в качестве Комиссара, а потом с 25 минувшего апреля в качестве Генерального Консула, я не мог касательно сего представить ему никаких удовлетворительных причин. Почему и осмеливаюсь прибегнуть к Азиатскому Департаменту с убедительнейшею просьбою почтить меня по сему предмету нужными наставлениями и подать мне тем способ сообщить г. Амбургеру удовлетворительный ответ» (курсив мой. — Н. М.).⁵

Очевидно, не дождавшись официального ответа Азиатского департамента, Грибоедов 12 ноября в официальном отношении обратился к Паскевичу, назвав точную сумму, на которую желательно было бы увеличить консульский оклад: «...я почел долгом своим обратиться с ходатайством к вашему благосклонному посредству, чтобы Амбургеру испросить прибавку к нынешнему его жалованию, по крайней мере 600 черв(онцев), что составит 1800. Также единовременную сумму, хотя в виде награды, чтобы он мог на первый случай устроить свое хозяйство и несколько уровнять приходы свои с расходами, которые большею частию определяются не частными прихотями, а надобностями, тесно сопряженными с его званием» (с. 634).хлопоты Грибоедова оказались безрезультатными, финансовый недочет был возмещен Амбургеру лишь в начале 1830 года, при этом К. К. Родофиникин сумел представить дело так, как если бы был к нему непричастен. 7 января 1830 года в официальном отношении за № 79 он писал в Департамент государственного казначейства: «По сношению Директора сего Департамента с г. Министром Финансов, суммы, определенные на содержание нашей Миссии в Персии и Генерального Консульства в Тавризе по Высочайше утвержденным в 25-й день апреля штатам сих постов, отпущены были за 1828 год Покойному Полномочному Министру Грибоедову с 2-го июня, то есть со дня получения г. Грибоедовым и отправленными тогда отсюда чиновниками Миссии паспортов для отъезда к месту назначения. Между тем г. Надворный Советник Амбургер, определенный Генеральным Консулом в Тавризе, по приказанию г. Главнокомандующего в Грузии, исправлял в помянутом городе должность временного Комиссара при Наследном Принце Персидском. По сему уважению, Департамент Азиатский предписал в то время Полномочному Министру удовлетворить г. Амбургера жалованием по новому его посту со дня прекращения оклада, положенного ему Графом Паскевичем-Ериванским по должности Комиссара. Ныне пребывающий в Персии г. Генерал-Майор Князь Долгоруков доносит, что г. Амбургер удовлетворен жалованием Комиссарским по 1-е мая 1828, вследствие чего Департамент и разрешил Князю Долгорукову выдать помянутому чиновнику жалование, недоданное ему с 1-го мая по 2 июня того года по Консульскому окладу, обратив сию выдачу на счет чрезвычайных по службе издержек».

Приведенный материал показывает, что в решении финансовых вопросов за 1828 год основную трудность для Грибоедова представляли: отдаленность от столицы, двойная бухгалтерия Е. Ф. Канкрин и иезуитская позиция К. К. Родофиникина. Что же касается финансового положения самого полномочного министра при персидском дворе, то, как явствует из его деловой переписки, отпущенные ему годовые суммы к концу октября были на исходе. 23 октября 1828 года он написал отчаянное письмо К. В. Нессельроде: «Мы живем здесь в таких ужасных условиях,

⁵ Там же. С. 118.

что все от этого болеют. Если Вашему Сиятельству было бы угодно разрешить мне взять некоторую сумму денег от персидского платежа (т. е. контрибуции. — Н. М.), то я смог бы купить поблизости две или три хибарки, которые я бы переделал на европейский лад, пусть они не будут элегантными, но по крайней мере пригодными для житья. Для этого мне потребны лишь 3000 туманов, а если бы сверх того я располагал еще 7000 туманов, то впоследствии я бы смог поступить таким же образом и в Тегеране. — Любой английский офицер живет в гораздо лучших условиях, чем я. Я уже издержал 900 дукатов на ремонт и меблировку комнат, которые я занимаю. — В случае, если получение наличных денег от персидского правительства представится слишком затруднительным, я с радостью соглашусь получить эквивалент указанной суммы строительными материалами и выставлю счет только за ремонтные работы и жалование рабочим. Все это позволит достичь цели, то есть получить возможность жить в более или менее пристойных условиях. — Мой дом переполнен; кроме моих людей, в нем живут пленники, которых мне удалось отыскать, и их родственники, приехавшие за ними. Все они люди бедные, у них нет другой возможности найти крышу над головой, кроме как в помещении миссии» (с. 621—622).

Из всего этого следует, что Грибоедов намеревался обосноваться в Персии надолго; 10 000 туманов, которые он просил у Нессельроде, не могли пойти ни в какое сравнение с 3 миллионами фунтов стерлингов, затраченными англичанами на завоевание авторитета английской миссии в Персии (см. об этом в письме Грибоедова к К. В. Нессельроде от 30 ноября 1828 года — с. 638). Однако отсутствие финансовой (как и политической) поддержки перспективных планов Грибоедова со стороны Министерства иностранных дел превращало реальные перспективы в пустые мечтания. И тем не менее Грибоедов не терял надежды и не переставал искать пути для преодоления сложившейся ситуации. 31 октября, не дождавшись ответа К. В. Нессельроде, Грибоедов обратился с письмом к Паскевичу, в котором, в частности, упомянул следующее: «2000 червонцев, которые я получил из интендантства, я, по собственному разрешению Вашего Сиятельства, удержал у себя и прошу вас покорнейше приказать зачесть их в счет моего жалования на следующий год» (с. 629). Как видим, Грибоедов весьма умело и тонко использовал возможности и связи И. Ф. Паскевича.

Особое внимание следует уделить факту, представленному в описываемом нами деле и до сих пор не отмеченному в литературе вопроса, а именно факту нахождения штатных сумм, определенных на миссию и консульство за 1829 год, в помещении русской миссии в Тегеране во время ее разгрома.

Прежде всего отметим, что, учитывая горький опыт финансового обсчета миссии и консульства в 1828 году, Грибоедов посредством Паскевича предпринял меры для вывода этих денег из-под опеки Родофиникина и Канкринина, а также Грузинской казенной экспедиции в Тифлисе.

Первый документ, который наличествует в данном деле и в определенной степени освещает данный вопрос, — это письмо К. В. Нессельроде к Канкрину от 12 декабря 1828 года, в котором сообщается следующее: «Милостивый Государь Егор Францевич! При отправлении отсюда в сем году Полномочного Министра ко Двору Персидскому, Ваше Высокопревосходительство, вследствие отношений с г. Директором Азиатского Департамента, учинили распоряжение об отпуске г. Статскому Советнику Грибоедову всей суммы, следующей по штату на Миссию нашу и Генеральное Консульство в Персии по 1 генваря будущего года. Причем было положено, чтоб впредь Министерство Иностранных Дел сообщало заблаговременно, каким образом пересылать оные деньги. — Ныне приближается срок, по который суммы выданы г. Грибоедову, а как в Персии не предстоит возможности для Миссии нашей и Консульства заимствовать где-либо деньги в случае надобности, то я обращаюсь к Вам, Милостивый Государь, с покорнейшею просьбою пред-

писать, дабы все штатные суммы на означенную Миссию и Генеральное Консульство были отправлены на весь будущий 1829-й год к г. Главноуправляющему в Грузии, с которым Министерство Иностранных Дел войдет с своей стороны в сношение о дальнейшем препровождении оных в Тавриз и Тегеран, в распоряжение Министра нашего и Генерального Консула. — Расстояние препятствует в скорости иметь отчет по ассигнованной штатной сумме, следственно нельзя знать, какие могут быть по оной остатки, и сии последние не иначе могут поступить к зачету при назначении таковых на 1830-й год. Предмет сей поставил я в обязанность Азиатскому Департаменту привести в ясность и о том, что окажется, сообщить Департаменту Государственного Казначейства».

17 декабря 1828 года Е. Ф. Канкрин предписал Главному казначейству отпустить суммы по штатному расписанию на 1829 год, предназначенные для содержания миссии и консульства в Персии (11 510 голландских червонных), и в тот же день сообщил об этом К. В. Нессельроде.

Для нас между тем наибольший интерес представляет расписка управляющего 2-м столом 5-го отделения Главного казначейства И. Степанова об отпуске выше-названных сумм: «Вследствие предложения г. Министра Финансов от 17-го сего декабря, Главное Казначейство, отправив сего числа в Санкт-Петербургский почтамт для отсылки к Его Сиятельству Главноуправляющему Грузиею господину Генералу-от-Инфантерии и Кавалеру Графу Ивану Федоровичу Паскевичу-Эриванскому на будущий 1829 год всех штатных сумм, определенных на Миссию нашу в Персии 9450 червонных и на Генеральное Консульство в Тавризе 2060 червонных, итого — одиннадцать тысяч пятьсот десять голландских червонных, заплатя особо за пересылку оных Почтамту страховых по одному проценту, сто пятнадцать червонных и тридцать копеек серебром, имеет честь о том уведомить».

Итак, из отправленной 20 декабря 1828 года из Санкт-Петербурга почтой суммы на содержание миссии и консульства в Персии, за вычетом долга Грибоедова в 2000 червонных, Паскевичу следовало организовать доставку в Персию 9510 голландских червонных. Зная сложное финансовое положение Грибоедова, находящегося в это время в Тегеране, Паскевич не стал тянуть с отправкой данной денежной суммы по назначению. 20 января 1829 года в отношении к министру финансов Е. Ф. Канкрину он писал: «Так как вместе с назначением Полномочного Российского Министра при Персидском дворе все денежные суммы на расходы для сей миссии, равно и на пост Генерального Консула, *ассигнованы к отпуску в ведение г. Статского Советника Грибоедова*, то остающиеся в распоряжении моем за расходом от прошлых лет суммы... препровождены от меня в Грузинскую Казенную Экспедицию для причисления к общим Государственным доходам...» (курсив мой. — Н. М.).

Следовательно, штатные суммы к моменту штурма русской миссии находились в ее помещении и исчезли во время разгрома 30 января 1829 года. На это указывают два косвенных обстоятельства: прежде всего то, что последующие расходы на 1829 год производились из экстраординарных сумм, находившихся в ведении Паскевича или Долгорукого; второе — уже с 1830 года Министерство иностранных дел изменило систему финансирования русской миссии и консульства в Персии, предпочитая ассигновывать штатные суммы не в годовом объеме, а за полугодие.

29 октября 1829 года К. В. Нессельроде обратился с письмом к Е. Ф. Канкрину: «Милостивый Государь Егор Францевич! В декабре минувшего года по сношению моему с Вашим Сиятельством, штатная сумма на Миссию и Генеральное Консульство наше в Персии была ассигнована вперед за весь текущий год к Главнокомандующему в Грузии для дальнейшего доставления оной по принадлежности. Еще прежде было условлено, чтобы Министерство Иностранных Дел всегда заблаговременно сообщало в Министерство Финансов об удобнейшем способе пересылать в Персию деньги на означенный предмет. — Ныне предстоит случай отпра-

вить оные без отягчения для казны. Почему принимая сверх того в соображение, что текущий год уже на исходе, я обращаюсь к Вам, Милостивый Государь, с покорнейшею просьбою дать Ваше предписание, чтобы в счет одиннадцати тысяч пятисот десяти червонных, следуемых по штату за будущий 1830-й год на содержание Миссии нашей в Тегеране и Генерального Консульства в Тавризе, шесть тысяч пятьсот десять червонных были отпущены в Азиатский департамент, который со своей стороны примет надлежащие меры для немедленной отсылки помянутой суммы. Что касается остальных пяти тысяч червонных, я не премину об отпуске оных отнестись к Вам, коль скоро в будущем году представится к отпущению сих денег новый удобный случай».

Данная сумма, весом 1 пуд, 15 фунтов, 42 золотника, 18 долей (золотом), была отпущена Главным казначейством 8 ноября 1829 года в распоряжение князя Н. Долгорукого, направленного послом в Персию. Оставшаяся же часть денег за 1830 год вновь отправлялась к И. Ф. Паскевичу. По этому поводу К. К. Родофиникин в отношении от 20 мая 1830 года извещал Е. Ф. Канкрин: «Милостивый Государь Егор Францевич! По отношению г-на Вице-Канцлера с Вашим Сиятельством, отпущено в минувшем ноябре месяце из Главного казначейства шесть тысяч пятьсот десять червонных в счет денег за текущий 1830-й год, следующих по штату на содержание Миссии нашей в Тегеране и Генерального Консульства в Тавризе. Принимая в уважение, что приближается уже вторая половина года, миссия же наша по недостатку в Персии способов, имеет нужду заблаговременно в деньгах на ее содержание потребных, я вменяю себе в долг обратиться ныне к Вам, Милостивый Государь, с покорнейшею просьбою о предписании ассигновать остальные пять тысяч червонных, следующие за сей год на помянутые посты, к г-ну Генерал-Фельдмаршалу Графу Паскевичу-Эриванскому, которому писано уже мною о пересылке тех денег по принадлежности».

Помимо изменения системы финансирования российской миссии и консульства после гибели посольства в Тегеране, следует обратить внимание на то, что наличие в помещении миссии столь крупной суммы денег в золоте в значительной степени объясняет неистовство тегеранской толпы, громившей миссию: ею руководили не только мусульманский фанатизм, но и жажда легкой и весьма значительной добычи. Следовательно, именно прибытие денег в миссию служило сигналом начала интриги против Грибоедова и русского посольства. Особое внимание в исследовании этого аспекта следует уделить Генри Уиллоку, находившемуся в то время в Тифлисе, т. е. практически рядом с Паскевичем, которому пересылались деньги на миссию и консульство для дальнейшей отправки их в Персию.

Таким образом, приведенные в настоящей публикации в извлечениях финансовые документы по русской миссии и консульству в Персии не просто вносят ряд уточнений в уже известную канву событий жизни Грибоедова, но и открывают новые направления в изучении биографии Грибоедова (в частности, взаимоотношения его и Е. Ф. Канкрин до сих пор находились вне внимания исследователей), а также обстоятельность трагической гибели российской императорской миссии в Тегеране. Учитывая опыт 1828 года, вновь прибывшие деньги, очевидно, должны были поступить в ведение первого секретаря И. Мальцева, единственного уцелевшего после разгрома миссии; при этом он сам указывал, что заплатил персиянину за свое спасение 200 червонцев, но нет доказательств, что для спасения жизни Мальцевым не была отдана вся находившаяся в его распоряжении штатная сумма, выделенная на миссию и консульство в 1829 году. Высказанное нами в адрес Мальцева сомнение, разумеется, носит характер предварительной гипотезы и нуждается в тщательной проверке. Однако нет сомнений, что шаг за шагом с каждым новым опубликованным документом мы приближаемся к пониманию тех причин, которые повлекли за собой тегеранскую трагедию 1829 года и гибель А. С. Грибоедова.

© В. Г. Берзина

ЦЕНЗОР О ЦЕНЗУРЕ

(А. В. НИКИТЕНКО И ЕГО «ДНЕВНИК»)

Литературовед и литературный критик, профессор кафедры русской словесности Санкт-Петербургского университета (1834—1864), действительный член Академии наук (с 1855), официальный редактор журналов «Сын отечества» (1840—1841), «Современник» (1847—начало 1848), «Журнала Министерства народного просвещения» (1856—1861), газеты «Северная почта» (1862) и других изданий, А. В. Никитенко (1804—1877) долгие годы работал в различных цензурных учреждениях и ведомствах по надзору за печатью и сыграл заметную роль в истории русской цензуры.

Перу Никитенко принадлежит несколько книг и статей, но главный его труд — огромный (около 75 печатных листов) «Дневник», охватывающий период с 1826-го по 1877 год. В отличие от обычных мемуаров, труд Никитенко, благодаря дневниковому характеру записей, создавался не через какое-то время после совершившихся событий, не в порядке воспоминаний, а сразу, по горячим следам. И в этом его особенность и важность.

Никитенко вел дневниковые записи систематически, изо дня в день. Последняя запись тяжело больного человека сделана 20 июля 1877 года, а на следующий день он скончался.¹ Из этого можно заключить, что ведение дневника для Никитенко было неодолимой жизненной потребностью: ежедневные откровенные беседы с самим собою помогали ему жить и мыслить, а в старости — переносить физические страдания.

«Дневник» содержит богатейший фактический материал по русской общественно-литературной жизни, журналистике и цензуре за полстолетие; к нему постоянно обращаются исследователи, выбирая отдельные факты. В данном случае дневниковые записи Никитенко являются надежным первоисточником. Например, М. К. Лемке в своей монографии «Эпоха цензурных реформ. 1859—1865» (СПб., 1914) 38 раз ссылается на «Дневник» Никитенко, зачастую приводя из него пространные цитаты.

Будучи важным историческим документом, «Дневник» является также интересным *человеческим документом*, характеризующим самого автора. Со страниц «Дневника» встает яркая самобытная личность — человек высокой нравственности, твердых убеждений, «умный, благородный и довольно стойкий» (по справедливому определению А. Ф. Кони),² талантливый ученый, педагог и критик, рассматривающий свою преподавательскую и цензорскую деятельность как общественное служение, либеральный, благожелательный, но строгий цензор, сумевший в окружающей его чиновничье-бюрократической атмосфере сохранить свою независимость, свое незапятнанное имя.

Никитенко вышел из семьи крепостных; он был крепостным графа Н. П. Шереметева, а потом — его молодого сына графа Д. Н. Шереметева. Тяжело страдал от крепостной неволи и за себя, и за своих родных. Отчаявшийся получить личную свободу, а вместе с тем поступить в гимназию (и позже — в университет), юноша дважды пытался покончить с собой. Только в конце 1824 года, т. е. в возрасте

¹ «Дневник» А. В. Никитенко сначала печатался в журнале «Русская старина» (1889, № 2—4, 6—12; 1890, № 1—12; 1891, № 1—12; 1892, № 1—2, 4). Затем в Петербурге вышли два отдельных издания: трехтомное (1893) и двухтомное, подготовленное М. К. Лемке (1904—1905). В наше время издательство «Художественная литература» (Серия литературных мемуаров) выпустило «Дневник» Никитенко в трех томах (Л., 1955—1956); подготовка текста, вступительная статья и примечания И. Я. Айзенштока.

² Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 578.

двадцати лет, причем с большими трудностями (благодаря хлопотам в 1823 году министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына, а в 1824 году — К. Ф. Рыльева и Е. П. Оболенского), юноша Никитенко получил вольную, что открыло ему двери в университет.

Но родные его (мать и брат) долго еще оставались в крепостном состоянии, несмотря на все попытки Никитенко их выкупить. Получив очередной отказ графа Д. Н. Шереметева, Никитенко записал в дневнике 11 марта 1841 года: «Боже великий! Что за порядок вещей! Вот я уже полноправный член общества, пользуюсь некоторой известностью и влиянием и не могу добиться — чего же? Независимости моей матери и брата. Полоумный вельможа имеет право мне отказать — и это называется правом! Вся кровь кипит во мне, я понимаю, как люди доходят до крайностей!..» (показательно в данном случае «наводящее» многоточие).³

Социальное происхождение Никитенко не могло не отложить заметный отпечаток на его мироощущение и жизненное поведение.

Поэтому не случайно в «Дневнике» постоянно варьируются три темы: 1) презрение к родовому дворянству, только по праву рождения владеющему крепостными людьми; 2) критическое отношение к бюрократическим кругам, защищающим крепостничество, склонным к злоупотреблениям, преследующим просвещение, ратующим за непомерные строгости в цензуре; 3) глубокое уважение к простому народу, к низкому и среднему классу людей, противопоставление его аристократии, гордость за то, что он сам «вышел из рядов народа», «плебей с головы до ног» (II, 119). А отсюда естественное стремление Никитенко к нравственной свободе, к личной независимости, к самостоятельности в мыслях и поведении, горячее желание поднять значение своей работы в университете и других учебных заведениях, а также в цензуре на уровень гражданского служения обществу, осуществляемого не дворянином, а человеком из народа.

За Никитенко закрепилось определение «цензор», но применительно к нему это определение весьма общо, так как не раскрывает всех аспектов его деятельности в области цензуры. Дело в том, что Никитенко был не только обычным, рядовым цензором, так сказать, цензором-практиком, осуществлявшим в цензурном комитете предварительную цензуру книг и периодических изданий. Но он был также теоретиком и историком цензуры. Цензорская биография Никитенко началась не с практической работы в Петербургском цензурном комитете, а раньше, причем с работы теоретического плана — с «Примечаний» к цензурному уставу 1828 года, которые он составлял по поручению попечителя университета К. М. Бороздина, взявшего молодого человека, только что окончившего университет, в свою канцелярию на должность секретаря («младшего чиновника»). Устав 1828 года был значительно либеральнее предшествовавшего «чугунного» устава 1826 года, но в нем имелось немало неясных, расплывчатых формулировок, затруднявших работу цензоров и давивших на печатное слово. «Это моя первая работа в законодательном смысле и направлена к тому, что мне всего дороже — к распространению просвещения и к ограждению прав русских граждан на самостоятельную духовную жизнь», — записал Никитенко в дневнике 23 августа 1828 года (I, 82).

Молодой Никитенко предлагал усовершенствовать цензурный устав 1828 года в еще более либеральном направлении — обеспечить большую «свободу мыслей», без чего «невозможно развитие просвещения» (там же). Судьба «Примечаний» Никитенко неизвестна, но память о них он сохранил на всю жизнь. Хорошее знание устава 1828 года пригодилось ему в будущей цензорской работе. Критическое отношение к цензурной политике правительства, приобретенное в юности, в будущем не только сохранится, но значительно усилится, получив новые подтверждения. А обнаружившаяся уже в 1828 году редкая способность составлять серь-

³ Никитенко А. В. Дневник. Л., 1955. Т. II. С. 230. Далее ссылки на это издание в тексте.

езные деловые бумаги по цензурному делу ярко проявятся в его будущем законодательстве. В течение всей жизни Никитенко оставался убежденным приверженцем устава 1828 года, оберегал его от вмешательства реакционных сил, освобождая от напластования множества разного рода дополнений к нему (особенно с 1848 года), урезающих и без того скромные права писателей и журналистов. Он также считал, что к уставу 1828 года следует сделать дополнения и разъяснения в помощь цензорам и в интересах литераторов и ученых.

С 1830 года начинается преподавательская работа Никитенко в Санкт-Петербургском университете. В апреле 1833 года он, тогда адъюнкт кафедры русской словесности, назначается цензором Петербургского цензурного комитета как специалист-законник, хорошо известный по «Примечаниям» к уставу 1828 года. При вступлении в должность цензора Никитенко получил такое наставление министра народного просвещения С. С. Уварова: «Действуйте так, чтобы публика не имела повода заключить, будто правительство угнетает просвещение». «Я делаю опасный шаг», — подумал Никитенко (I, 130). В цензурном комитете и среди литераторов он скоро завоевал известность вдумчивого, независимого, либерального цензора. Пушкин, Гоголь и другие писатели просили его быть цензором их произведений. Цензорская благожелательность Никитенко распространялась и на литературную молодежь. Заботливо поддерживал и оберегал цензор произведения с демократическим направлением, особенно те, в которых изображалась тяжелая жизнь простого народа, тяготы крепостной неволи, правда крепостной действительности. Яркий пример тому — смелый маневр, придуманный Никитенко, чтобы обеспечить прохождение в цензуре антикрепостнической повести Д. В. Григоровича «Антон Горемыка». Позже писатель сам рассказал об этом цензурном эпизоде в своих «Литературных воспоминаниях».⁴

Сотрудничая в 1833—1848 годах в Петербургском цензурном комитете и позже в других цензурных организациях, Никитенко хорошо знал положение дел в цензуре: что, где, когда и почему подвергалось переделке или запрещалось вообще, какие конфликты возникали у авторов с цензорами, какие решения поступали свыше в адрес конфликтующих сторон. Краткие, но выразительные характеристики разных людей, связанных с цензурой (от рядовых цензоров до высокопоставленных чиновников), оценка правительственных распоряжений по цензуре, острые суждения о состоянии цензуры в разные периоды — все это нашло отражение в дневниковых записях Никитенко, которые, являясь своеобразной погодной летописью русской цензуры, позволяют представить ее историю за полвека.

В 1850—1860-х годах, вплоть до выхода на пенсию в 1865 году, Никитенко принимает активное участие в цензурном законодательстве как член разных управлений, комитетов, советов, комиссий при министерствах народного просвещения и внутренних дел.

За это время он, известный как «человек с пером», написал сотни деловых бумаг по цензурному законодательству — это различные законы, проекты, инструкции, доклады, записки, предложения, примечания, объяснения, добавления и др. Зачастую он составлял их для руководителей министерств, департаментов, отделений и т. п., от имени которых они подавались в самые высокие правительственные инстанции, даже царю. Работал Никитенко напряженно, не зная отдыха, в ущерб здоровью, иногда без оплаты труда, о чем свидетельствует, например, запись от 10 декабря 1855 года.

Что побуждало Никитенко браться за такую трудоемкую, сложную, часто не имевшую поддержки начальства работу? Сам он отвечал так: «Я готов на всякий труд, который давал бы хоть тень надежды на пользу делу, столь дорогому для меня, как наука и литература» (II, 63).

⁴ См.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 174.

Работая в цензурных учреждениях бок о бок с известными государственными лицами, Никитенко держал себя не послушным чиновником, приспособляющимся к тому или иному начальнику, а человеком-гражданином, гордым, знающим себе цену, бескорыстным, честным, действующим «на равных» с чиновными графами и князьями. Он часто понимал свое превосходство (нравственное, интеллектуальное, практическое) над ними и направлял их действия по своему плану — более верному и нужному для общества, науки и литературы.

Далее в данной статье проследим работу Никитенко в области цензуры по периодам. Их три: 1) время работы в Петербургском цензурном комитете (1833—1848); 2) в других цензурных ведомствах (1849—1865); 3) после выхода на пенсию и до кончины (1866—1877). Здесь прежде всего обратим внимание на законодательскую деятельность Никитенко, на его суждения о состоянии нашей цензуры, на его характеристики официальных лиц, связанных с цензурой.

Начало работы Никитенко в Петербургском цензурном комитете сразу принесло ему огорчения. За пропуск в печать в «Библиотеке для чтения» стихотворения В. Гюго «Красавице», в котором церковные власти усмотрели крамолу, начинающий цензор просидел на гауптвахте восемь дней. «После моего ареста цензура превратилась в настоящую литературную инквизицию», — свидетельствовал Никитенко (I, 171).

Приведем еще несколько отдельных «казусов по цензуре», Никитенко делает такое обобщение: «Основное начало нынешней политики очень просто: одно только правление твердо, которое основано на страхе; один только тот народ спокоен, который не мыслит» (I, 171). В 1836 году, отмечает Никитенко, «неслыханные строгости в цензуре» (I, 188). Цензоры в страхе. Цензор П. И. Гаевский, просидевший 8 дней на гауптвахте, «теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия вроде того, что такой-то король скончался» (I, 182). Подробно описывает автор «Дневника» «ужасную суматоху в цензуре», вызванную публикацией «Философического письма» Чаадаева, сообщает, что Пушкина как издателя «Современника» «жестоко жмет цензура».

В записи от 12 апреля 1837 года идет речь о «Новом цензурном законе» — распоряжении Уварова, согласно которому каждое периодическое издание будет рассматриваться двумя цензорами, а над ними будет стоять третий, высший цензор. Ясно, что цель распоряжения — еще более зажать периодику в цензурные тиски. Никитенко возмущен: «Спрашивается: можно ли что-либо писать и издавать в России? Поневоле иногда опускаются руки, при всей готовности твердо стоять на своем посту охранителем русской мысли и русского слова» (I, 200). Он не выдержал и отказался от цензорской должности. Его уговорили остаться.

И в пору пребывания в должности практического цензора Петербургского цензурного комитета Никитенко выполнял отдельные поручения по линии законодательства. Например, в 1841 году ему поручили составить проект закона о новых периодических изданиях. Никитенко записал в дневнике 12 июля: «Дело нелегкое, хотелось бы склонить правительство взглянуть на дело мягче, спасти все новые издания и удалить препятствия с пути будущих» (I, 233, 234). Проект Никитенко не был принят, так как он не соответствовал видам правительства.

С этого времени в суждениях Никитенко просвечивается пессимистическая тональность (см. запись от 28 октября 1841 года о глубоком, мрачном сознании своей ничтожности — I, 240).

В 1842 году «новая тревога в цензуре» в связи с очерком «Водовоз» из-за его демократического направления. 12 декабря Никитенко вызван к начальнику III Отделения Л. В. Дубельту за публикацию в «Сыне отечества» (который в это время Никитенко цензуровал) повести Ефимовского «Гувернантка», где нашли неуважительное описание офицера-фельдъегеря; наказание — ночь под арестом. Заканчивая 1842 год, Никитенко с грустью писал: «В цензуре теперь какое-то

оцепенение. Никто не знает, какого направления держаться. Цензора боятся погибнуть за самую ничтожную строчку, вышедшую в печать за их подписью» (I, 256).

В начале следующего года Никитенко записал: «Сильно подумываю об отставке от цензурного ведомства. Нельзя служить: при таких условиях никакое добро не мыслимо» (I, 258). На просьбу об увольнении согласия пока не последовало.

Двумя тревожными записями заканчивает Никитенко дневник за 1844 год. 20 декабря: «Какой хаос и бестолковщина в цензуре. Кажется, хотят гасить последние искры мысли. У меня в кармане, неотлучно при мне, просьба об отставке». Запись от 21 декабря: «Уваров предписывает цензорам „быть как можно строже“. Повторяется также приказание бдительнее смотреть за переводами французских повестей и романов. Я был у князя (Г. П. Волконского, председателя Петербургского цензурного комитета. — В. Б.) по этому поводу. Министр сказал ему, что хочет, чтобы, наконец, русская литература прекратилась. Тогда по крайней мере будет что-нибудь определенное, а главное, говорит он, „я буду спать спокойно“. Министр объявил также, что он будет карать цензоров беспощадно. Приятная перспектива!» (I, 276).

Несколько страниц дневника за 1845 год Никитенко посвящает П. А. Плетневу, занимавшему временно (в связи с отъездом князя Г. П. Волконского) пост председателя Петербургского цензурного комитета, отмечает его ретивость по части притеснения журналов; вступает с ним в жаркие споры. Запись 8 марта: «...бой был жарким и хотя я одержал победу, однако не уверен в прочности ее» (I, 291). Министр Уваров также «страшно притесняет журналы», нападает на «Литературную газету» (I, 293).

В начале 1846 года Министерство народного просвещения поручило Никитенко составить проект изменений и дополнений к цензурному уставу 1828 года. Два месяца (ноябрь и декабрь) 1846 года Никитенко трудился над проектом. «Министру, кажется, хочется издать новый указ — в каком духе, понятно. Я решился, насколько возможно, помешать этому и собрал все доводы, чтобы доказать необходимость сохранить ныне существующий устав (1828 года. — В. Б.), который по настоящему времени все-таки меньше зло из массы тяготеющих над нами зол» (I, 296).

Назначенный на должность попечителя Петербургского учебного округа и одновременно председателя Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусин-Пушкин вызвал ряд резких обвинений Никитенко в его адрес. 6 января 1846 года Никитенко записал: «По цензуре он ничего не понимает, кричит только, что в русской литературе пропасть либерализма, особенно в журналах. Более всего громит он „Отечественные записки“» (I, 297). В «шпионах» к нему определился доносчик, бездарный литератор Борис Федоров.

В 1847 году случилась «страшная история» с книжкой П. А. Кулиша «Малая Россия» (СПб., 1846), в которой содержалась одиозная, по мнению правительства, фраза: «Малороссия или должна отторгнуться от России или погибнуть». Уваров и Мусин-Пушкин в ужасе. Кулиша приговорили к двухмесячному заключению в крепости и высылке в Тульскую губернию. И как всегда, за отдельным цензурным эпизодом последовало более общее распоряжение по цензуре — в данном случае распоряжение Уварова не печатать в журналах переводов французских романов и вообще переводные произведения печатать только после просмотра их Мусин-Пушкиным (см.: I, 307), о котором Никитенко писал 5 августа: «Я еще не встречался на моем служебном поприще с таким глупцом» (I, 307).

Цензурную историю с книжкой Кулиша подробно рассказывал Белинский (очевидно, со слов Никитенко, в то время официального редактора «Современника») в письме к П. В. Анненкову от начала декабря 1847 года. Критик с горечью заключал: «И вот теперь писать ничего нельзя: все марают».⁵

⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 441.

Еще в конце февраля 1848 года Николай I распорядился: «Необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы». ⁶ Так 27 февраля был создан Особый комитет (председатель — морской министр князь А. С. Меншиков). На смену временному меншиковскому комитету пришел постоянный секретный Комитет 2-го апреля, прозванный «бутурлинским» (по имени его председателя Д. П. Бутурлина) и ставший главным оплотом «цензурного террора» конца 40-х — начала 50-х годов (просуществовал до конца 1855 года). Первая запись Никитенко о Комитете 2-го апреля — 1 декабря 1848 года: «Бутурлин действует в качестве председателя какого-то высшего, негласного комитета по цензуре и действует так, что становится невозможным что бы то ни было писать и печатать» (I, 312).

В декабре 1848 года Никитенко вносит в дневник несколько записей, показывает, как революционные события на Западе вызвали «страшный переполох, ход назад на Сандвичевых островах», т. е. в России. «Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться» (I, 315). Возник было большой, дорогой для Никитенко вопрос об освобождении крестьян, но «господа испугались и воспользовались теперь случаем, чтобы объявить всякое движение в этом направлении пагубным для государства» (I, 315). «Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему»; «Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и уверяющий, что Россия столь благословенна, что проживет одним православием, без науки и искусства» (I, 317).

В Петербургском цензурном комитете Никитенко проработал 15 лет. За это время неоднократно пытался выйти в отставку, но его не отпускали. Окончательно покинул должность цензора в конце 1848 года (запись об этом в дневнике 30 января 1849 года), не в силах выдержать ужесточение цензуры, проводимое Комитетом 2-го апреля (бутурлинским). Уйдя из Петербургского цензурного комитета, Никитенко изредка заходил к своим прежним коллегам и от них узнавал о положении дел в цензуре (см., например, записи от 12 и 16 февраля 1849 года).

В 1850 году Никитенко отмечает «гонение на философию»: в университете разрешается читать только логику и психологию и исключительно лицам духовного звания. «Общество быстро погружается в варварство: спасай, кто может, свою душу!» — иронически восклицает автор дневника (I, 336). Создание специальной цензуры для книг учебных и относящихся к воспитанию вызвало у Никитенко желание перечислить все цензуры, действующие в России. Насчитал двенадцать, в том числе очень строгую цензуру Верховного негласного комитета, т. е. бутурлинского. Расширение сети ведомственных цензур — это характерно для поры «мрачного семилетия».

После 1850 года идут записи 1852 года: дневниковые тетради за 1851 год утрачены.

В 1852 году Никитенко по цензурному ведомству почти не работает ни практически, ни теоретически. Он довольно подробно характеризует действия русской цензуры. «Страшное, удручающее впечатление» произвел на него арест и помещение на съезжую И. С. Тургенева за статью о Гоголе, которого он назвал «великим». В цензурном комитете от цензора А. В. Фрейганга «услышал дивные вещи о цензуре»: о цензоре Н. В. Елагине, который со страха не пропускает выражения «силы природы», «о шпионстве разных прислужников, о тысяче притеснений, каким подвергаются все, кому приходится иметь дело с цензурою» (I, 354). В процессе разговора с Фрейгангом, наиболее благоразумным и снисходительным цензором, Никитенко еще более убедился, что цензоры «не держатся никакой системы и

⁶ Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистике за 1863 и 1864 гг. СПб., 1865. С. 9.

следуют только внушениям страха», что цензура «руководствуется только догадками, а не прямым смыслом статьи, не постановлениями, ни даже своим личным убеждением». «Все, значит, зависит от толкования невежд и недоброжелателей, которые готовы в каждой мысли видеть преступление», — заключает Никитенко (I, 356). Поэтому понятно, почему с такой охотой и рвением он работал в 1855 году над инструкцией цензорам.

«Действия цензуры превосходят всякое вероятие. Чего этим хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? Но ведь это все равно, что велеть реке плыть обратно. Вот из тысячи фактов некоторые самые свежие», — записал Никитенко 25 февраля 1853 года (I, 362—363). В числе приведенных им примеров некоторые совершенно нелепые. Например: «Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики» (I, 363). Почему так? Оказывается, все дело в страхе цензоров: «Цензоры все свои нелепости сваливают на негласный (бутурлинский. — В. Б.) комитет, ссылаясь на него, как на пугало, которое грозит наказанием за каждое напечатанное слово» (I, 363).

У Никитенко устанавливаются доверительные отношения с А. С. Норовым, который, будучи товарищем министра народного просвещения, дает Никитенко в конце года поручение составлять разные бумаги по линии цензуры и народного образования (см.: I, 368, 374 и др.). «Пока он мне доверяет, я готов, по его желанию, помогать ему во всяком благородном деле со всею добросовестностью и насколько хватит моего умения — и я ему это обещал» (I, 370). Здесь же Никитенко отмечает, что будет трудиться, не являясь официальным лицом, т. е. без жалованья и не оставляя других работ (он в это время продолжал работать в университете и других учебных заведениях).

Никитенко прекрасно понимал огромное зло, чинимое Комитетом 2-го апреля. Его позицию разделял Норов, который поручил Никитенко составить записку для государя о слиянии бутурлинского комитета с Главным управлением цензуры. «Это смелый шаг», — справедливо утверждает Никитенко (I, 377).

Весь январь 1854 года Никитенко работал «не переводя духа, дни и ночи» над докладами для управляющего Министерством народного просвещения, который должен передать их Александру II. 18 февраля Никитенко сделал запись: «Государь утвердил все наши доклады» (I, 379). Норов, утвержденный в апреле 1854 года в должности министра, выхлопотал Никитенко пособие в 1000 рублей, что его «буквально спасло». К тому же он узнал, что производство его в действительные статские советники, отклоненное государем год назад, состоится. Служебное продвижение свое Никитенко как честный человек намеревался использовать в интересах общественных (см.: I, 381). Отношение к Норову у Никитенко неровное. Иногда ему с ним работать хорошо, но чаще у них взаимное непонимание, особенно в вопросах цензуры. Норов, по Никитенко, «поступает с цензурой чуть ли не хуже, чем его робкий и неспособный предшественник» (т. е. П. А. Ширинский-Шихматов). «На него напал какой-то панический страх. Он привязывается к самым невинным фразам» (I, 386).

«Надо приготовить записку о цензуре и подать ее министру», — читаем в записи от 1 октября 1854 года. Как видим, Никитенко самостоятельно замыслил составить для цензоров практическое руководство. И готовит к этому Норова. «Говорил с министром о необходимости составить инструкцию для цензоров, чтобы они знали, чего держаться, и чтобы обуздать их произвол, часто невежественный и эгоистичный. На этот раз министр меня выслушал, казался убежденным и просил меня этим заняться», — записал Никитенко 30 октября 1854 года (I, 389).

Одновременно Никитенко пишет доклады царю от имени министра. В середине декабря 1854 года доклады были готовы. «Работы было много, но работы хорошей, серьезной, и я не устал, работал с воодушевлением, могу сказать — с любовью.

Если благие намерения министра осуществляются, я буду вправе сказать: „тут есть капля и моего меду”, — пишет Никитенко 15 декабря. И дальше о своей заветной идее: «Самое важное из настоящих дел — то, которое касается цензуры, то есть уничтожения негласного комитета, а с ним вместе и большинства цензурных бедствий и нелепостей». И снова идея инструкции цензорам: «Задача в том, чтобы ввести цензуру в рамки, где не было бы места произволу людей недобросовестных и невежественных, которые теперь располагают ею ко вреду просвещения. Теперь не грешно немножко и отдохнуть» (I, 392).

Как следует из записи от 13 апреля 1855 года, Норов, к огорчению Никитенко, не так изложил его записки на приеме у государя, в частности, говоря о Комитете 2-го апреля, «не выразил оснований его зловерности, которые были изложены в записке». Министр также не упомянул об инструкции цензорам, о которой заботился Никитенко, «а между тем это было необходимо. Боюсь, чтобы дело не было испорчено» (I, 409—410).

Многие дневниковые записи за 1855 год отражают напряженную работу Никитенко по составлению проекта инструкции цензорам (см.: I, 404, 405, 407). Он придает большое значение этому своему труду, так как понимает его важность в настоящее время. 20 марта Никитенко записал в дневнике: «Надо всего себя погрузить в это дело. Предмет важный. Настает пора положить предел этому страшному гонению мысли, этому произволу невежд, которые сделали из цензуры съезжую и обращаются с мыслями как с ворами и пьяницами. Но инструкция дело не легкое» (I, 405). По мнению Никитенко, следует государю сначала представить записку о цензуре и необходимости дать ей более разумное направление, а затем инструкцию цензорам. Министр согласился. Но у него закрались сомнения, смогут ли нынешние цензоры следовать правилам, разработанным Никитенко в инструкции. Никитенко ответил так: «С ними, конечно, ничего не пойдет. Но если улучшить цензуру, то необходимо и отставить нынешних цензоров, по совершеннейшей их неспособности, и заменить их лучшими, умными людьми» (I, 406). Желательно, считает автор дневника, чтобы цензоры имели ученую степень. Из всех цензоров он выделяет только Фрейганга. Для укрепления Петербургского цензурного комитета ему удалось провести в цензоры Гончарова (см. запись от 24 ноября — I, 425).

23 мая Никитенко закончил «проект наставления цензорам». Получилось 26 листов («целая книга»). До Никитенко «министерство уже не раз принималось за исполнение его, ничего этого не выходило». Никитенко рад, что ему удалось. «Это вышел теперь настоящий цензурный устав, столь определенный, как только могут быть законы этого рода. Произвол цензоров обуздан, литературе дан простор и указаны меры против злоупотреблений. Это решение трудной задачи». Никитенко просил министра «и в весьма сильных выражениях», чтобы не делали никаких изменений без него. Министр согласился (I, 412—413). Но у Никитенко постепенно назревает недоверие к Норову, который не способствует продвижению вперед деловых бумаг по цензуре, в частности инструкции цензорам. Наблюдая за Норовым, Никитенко приходит к заключению: «Норов — не государственный человек, а такой же чиновник, как и другие высокопоставленные лица» (I, 420—421). Не думает министр также о тяжелом материальном положении Никитенко, который работает чрезмерно, но бесплатно. В декабре он послал министру письмо с просьбой «не найдет ли он возможным для ограждения нашего общего дела как-нибудь оформить мое положение в министерстве так, чтобы я мог посвятить ему больше времени и уже на равных правах отбиваться от канцелярских козней» (I, 427). Сведений о том, что министр выполнил просьбу Никитенко, в дневнике не имеется. «Оплошал» Норов представить Никитенко к почетной награде (Владимирский крест), а это дало бы дополнительный доход. Получив единовременное пособие в 1200 рублей, Никитенко с горечью заметил: «Авраам Сергеевич точно хотел, прости Господи, заткнуть мне глотку» (I, 427).

В 1855 году во многих дневниковых записях — резкая критика положения дел в России (см.: I, 419, 421, 422 и др.). И в то же время автор фиксирует проблески начинающегося общественного подъема: «В обществе начинается прорываться стремление к лучшему порядку вещей»; «Многие у нас теперь даже начинают толковать о законности и гласности, о замене бюрократии в администрации более правильным отправлением дел» (I, 422).

В записи от 5 апреля Никитенко перечисляет по пунктам, что он старался проводить и всеми силами поддерживать во время своих «трехлетних сношений с министром» (т. е. в 1853—1855 годах). Пятый пункт посвящен цензуре: «Дать разумное направление цензуре, сообразное с требованиями просвещения. Для этого: а) заменить неспособных цензоров более способными, б) дать им в дополнение к уставу наказ, который, предлагая им по возможности определенные руководящие правила, обуздывал бы их произвол и давал бы больше простора литературе» (I, 442). Как видно из предыдущих записей, все эти документы Никитенко составил, но сведений об их принятии дневник не приводит. Теперь Никитенко разъясняет, как было дело: «Разумеется, почти все это и многое другое было гласом вопиющего в пустыне. Канцелярия точно крючками оттягивала осуществление всякой из этих идей и повергала ее в тьму кромешную. А министр довольствовался тем, что поговорит со мной о высших предметах — и довольно» (I, 442).

В 1857 году начинаются общения Никитенко по делам цензуры с князем П. А. Вяземским, в 1857—1858 годах товарищем министра народного просвещения и членом Главного управления цензуры. 12 февраля Никитенко записал в дневнике: «Князь Вяземский, которому теперь поручено главное наблюдение за цензурой, просил меня заняться проектом об ее устройстве, ибо великий хаос в ней. Я повторил ему то же, что сто раз говорил и ему и министру. Именно — сделать прежде всего 3 вещи: а) дать инструкции цензорам; б) освободить цензуру от разных предписаний, особенно накопившихся с 1848 года, которые по их крайней нерациональности и жестокости не могут быть исполняемы, а между тем висят над цензорами как дамклов меч; в) уничтожить правило, обязующее цензоров сноситься с каждым ведомством, которого касается литературное произведение по своему роду или содержанию» (I, 457).

В дневнике за 1857 год — большой пропуск (отсутствуют записи с 28 апреля по 12 октября) и потому в нем мало материалов по цензуре.

1858 год — преддверие будущих «великих реформ» 1860-х годов. Никитенко точно определил ситуацию: «Три вещи преимущественно занимают мыслящих людей нашего времени в России: освобождение крестьян, или так называемый крестьянский вопрос, печатная гласность и публичное судопроизводство. Нельзя не признаться, что это три самые насущные потребности общества, которое не хочет и не может уже возвратиться к николаевскому времени. Правительство колеблется, ультраконсерваторы пятят его назад. В настоящую минуту эта партия сильна. Она действует запретиительно на печать. Она затягивает решение вопроса крестьянского» (II, 24—25).

В феврале 1858 года приступил к работе комитет, учрежденный для пересмотра старого и составления нового цензурного устава. На первом заседании 6 февраля Вяземский прочитал свою записку, в которой защищается современная литература от взводимых на нее обвинений (имеются в виду нападки министра юстиции В. Н. Панина, министра финансов П. Ф. Брока и члена Государственного совета К. В. Чевкина, которые, по словам Никитенко, «помешались на том, что все революции на свете бывают от литературы» — II, 9). Никитенко не только присутствует на заседаниях комитета, но и пишет важные бумаги, которые зачитываются на нем. Хаос, царящий в цензурном законодательстве, «надо привести в стройный вид и ясное выражение. Князь Вяземский в данном случае умно и благородно смотрит на вещи, но за этот последний труд не берется. В последнее заседание

комитета по цензуре (т. е. в Петербургском цензурном комитете. — В. Б.) князь предложил возложить на меня составление и редакцию проекта изменений и дополнений к цензурному уставу, а равно и тех листов, которые должны быть внесены в Государственный совет, где наш проект без сомнения будут сильно оспаривать» (II, 12; запись от 16 февраля).

24 февраля, на следующем заседании комитета для пересмотра цензурного устава Никитенко, как он пишет, «читал обработанный мною весь первый отдел, где изложены основные начала цензуры. Я написал несколько новых параграфов, с целью дать литературе побольше простора в суждениях о делах общественных» (II, 13).

Забота Никитенко о «просторе» для суждений о делах общественных, т. е. для публицистики, вызвана тем, что в настоящее время «литературе очень хочется говорить о главном современном вопросе — о свободе, или так называемой эмансипации (т. е. об освобождении крестьян. — В. Б.), и о цензуре, которой очень не хочется этого дозволить» (II, 8).

Продолжая дневниковую запись от 24 февраля, Никитенко пишет: «Все это только начало труда, будет пропасть работы. К чему она опять приведет — не знаю. Горько становится, когда подумаю, сколько раз уже моя работа в этом направлении пропадала даром!» (II, 13).

Никитенко возмущен запрещением слова «прогресс» (II, 27).

В дневнике настойчиво проводится мысль: свобода нужна не только литературе (обществу), но и правительству. Например, в записи 18 апреля: «Литературе необходимо дать более простора, в другом духе нынче и думать нельзя писать устава; этого требует и справедливость и политическое благоразумие; если этого не сделать, то пойдет в ход писаная (т. е. рукописная. — В. Б.) литература, следить за которою нет никакой возможности» (I, 18; ср. 17). Никитенко вначале работает в контакте с новым министром Е. П. Ковалевским, сменившим Норова в марте 1858 года. Но вскоре убеждается в непоследовательности действий Ковалевского, в его равнодушии к делам по цензуре, к цензурным проектам Никитенко (см.: II, 36).

Один из главных «сюжетов» дневника Никитенко за 1859 год — Комитет по делам книгопечатания (или Комитет наблюдений за печатью), созданный в декабре 1858 года, и отношение к нему Никитенко. Он возмущен ретроградной деятельностью комитета: «Это хуже бутурлинского негласного комитета» (II, 60). И вдруг сам в конце февраля 1859 года вступает в комитет, получает должность директора-делопроизводителя с правом голоса. Почему Никитенко так поступил? Не является ли это проявлением его непоследовательности? Ответ находим в его дневниковой записи от 26 февраля — в записи, которую не учел М. К. Лемке, хотя, как он признавался, историю Комитета по делам книгопечатания он будет освещать «главным образом по „Дневнику“ Никитенко как наиболее верному фактическому источнику». ⁷ Вот как мотивирует Никитенко решение войти в комитет: «Жребий брошен. Я на новом поприще общественной деятельности. Трудности тут будут и трудности значительные... Много будет толков. Возможно, что многие станут меня упрекать за то, что я решился с моим чистым именем заседать в трибунале, который признается гасительным, но в том-то и дело, господа, что я хочу парализовать его гасительные вождедения. Будет возможность действовать благородно — буду, нельзя — пойду прочь» (II, 65—66).

Никитенко твердо убежден в том, что «всякое гонение возбуждает негодование и держит умы в постоянном раздражении» (II, 80). Поэтому он и придерживается политики примирения и согласия. Никитенко внимательно изучает позиции коми-

⁷ Лемке М. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. С. 331.

тета, чтобы «с пользою противодействовать вредным замыслам, если они окажутся» (II, 69).

На заседаниях комитета Никитенко выступает против вмешательства его в дела цензуры («мы не полиция» — II, 79). Цензура, доказывает Никитенко, должна быть вне влияния и посягательств на нее со стороны комитета. Никитенко доволен, что ему удалось убедить комитет в необходимости невмешательства в литературу и цензуру. «Это уже важная победа в пользу справедливости и разумного либерализма» (II, 81).

И в 1859 году Никитенко не перестает хлопотать об усовершенствовании цензурного устава, несмотря на то что в 1858 году его труды в этом вопросе оказались неосуществленными. Вроде бы комитет не возражает против проектов Никитенко, однако решений никаких не принимает.

Осенью 1859 года Никитенко начинает тяготиться комитетом, который ничего не делает по печати. Считает, что комитет должен самораспуститься. Составил проект слияния комитета с Главным управлением цензуры под председательством министра народного просвещения, что и осуществилось в январе 1860 года.

В 1860—1861 годах Никитенко как член Главного управления цензуры принимает участие в его еженедельных заседаниях. Убеждается, что в этом высшем цензурном ведомстве «еще более раздраженное отношение к литературе, чем прежде. Хотя, кажется, следовало бы системе притеснения» (II, 162). В ряде случаев Никитенко удается оказывать помощь литераторам (см.: II, 164, 185, 189 и др.).

В 1861 году вновь стал вопрос об инструкции цензорам. Ее написал председатель Петербургского цензурного комитета и член Главного управления цензуры Н. В. Медем. Никитенко определил ее как «крайне запретительную» (II, 183). И был совершенно прав. Медем считал, что «нужно было бы не только запретить всякие рассуждения о либеральных мыслях и всякие объяснения политического устройства европейских государств, но не допускать даже сообщений большей части заграничных происшествий».⁸ Никитенко написал свой «проект опровержения» этой инструкции, который и был принят.

Недолго пробывшие после А. С. Норова на посту министра народного просвещения Е. П. Ковалевский и Е. В. Путятин крайне негативно характеризуются Никитенко, особенно в вопросах цензурного дела (см.: II, 211, 237 и др.).

Назначенный в октябре 1861 года министром внутренних дел А. Е. Валуев предлагает Никитенко взять на себя редактирование газеты, которая будет издаваться «в либеральном духе» при Министерстве внутренних дел с начала 1862 года. Никитенко согласился, намереваясь осуществить свою «заветную мысль о проведении в общество примирительных начал» (II, 236). Ноябрь и декабрь Никитенко занят хлопотами по организации издания газеты «Северная почта» (отделы, сотрудники и т. д.), первый номер которой вышел 1 января 1862 года.

Дневник за 1861 год переполнен записями общественно-политического характера (восторги Никитенко по поводу манифеста об освобождении крестьян, реакция на него дворян и крестьян, крестьянские бунты и студенческие волнения и др.). На страницах дневника Никитенко неоднократно формулирует свою позицию: «...неуклонный, но разумный либерализм, не разрушающий, но созидающий — вот мой девиз» (II, 207). «Да, я противник скачки сломя голову, и буду поддерживать принцип правительства, даже слабого, только не реакционного» (II, 218). Как можно легко убедиться, в цензурской и журналистской деятельности Никитенко придерживался своих политических убеждений.

Начало 1862 года в дневнике получило грустную окраску. Уже 13 января на заседании Главного управления цензуры (первом под председательством нового министра просвещения А. В. Головнина) было объявлено: «Государю угодно, что-

⁸ Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862. С. 120.

бы цензура усилила свою бдительность и строгость против периодической литературы. В этом смысле уже даны цензорам циркуляры» (II, 254).

Весной 1862 года были проведены резкие перемены в цензурной администрации: 10 марта Главное управление цензуры, связанное с Министерством народного просвещения, было ликвидировано; цензура предупредительная была заменена карательной и перешла в ведение Министерства внутренних дел, чем был очень доволен давно мечтавший об этом Валуев (см. записи в дневнике Никитенко от 7 и 11 марта — II, 262, 263).

Уже с самого начала издания «Северной почты» осложняются отношения Никитенко с Валуевым. Валуев, дав обещание не вмешиваться в дела газеты, его не сдержал. Никитенко не мог принять циркуляра Валуева, требующего от губернаторов осуществлять обязательную подписку на «Северную почту», так как «эта газета правительственная и должна противодействовать русской прессе». Валуев сокращает расходы по газете, что отражается на сотрудниках и вредит газете, нападает на Никитенко за его стремление расширить политический отдел и т. д. (см.: II, 254, 257, 261, 271). Никитенко думает об отставке от редакторства «Северной почты»: «Министр желает дать газете такой оборот, что мне решительно в ней нечего делать» (II, 283; запись 29 июня). Валуев охотно принял отказ Никитенко редактировать газету (30 июня 1862 года).

Пессимистическое настроение, охватившее Никитенко в конце 1862 года (см.: II, 205), не оставляет его и в 1863 году. Сдержанность, мужество и самообладание (см.: II, 310) — вот чего желает сейчас он сам себе. Он по-прежнему дает выразительные отрицательные характеристики государственным деятелям. 10 января Никитенко так определил работу министров народного просвещения после Уварова: «министерство Шихматова — *погрчающее*, Норова — *расслабляющее*, Ковалевского — *засыпающее*; Путятин — *отупляющее*, Головнина — *развращающее*» (II, 310).

Сухо, без всяких комментариев, сообщает Никитенко о публикации указа от 14 января 1863 года о передаче цензуры Министерству внутренних дел (II, 313).

В январе Никитенко назначен членом комиссии для рассмотрения законов о печати под председательством князя Д. А. Оболенского, у которого (Никитенко это видел) собрано много бумаг по части цензурных законов и Министерства народного просвещения. «Тут много и моих прежних работ», — с удовлетворением записал Никитенко (II, 214). Составив проект законов о печати, комиссия закончила работу.

В дневнике от 31 мая 1863 года содержится интересная запись, свидетельствующая не только о критическом отношении Никитенко к Валуеву, но и о понимании и оценке Никитенко самого себя как деятеля на поприще цензуры, знатока цензурного дела (см.: II, 337).

В июне 1863 года Никитенко получает новую должность — он становится членом Совета по делам печати при Министерстве внутренних дел (председатель Совета — А. Г. Тройницкий). Цель Совета — наблюдение за печатью (осуществление наблюдательной, т. е. карательной цензуры). Никитенко берет для просмотра журналы «Отечественные записки» и «Русский вестник», из газет — «Санкт-Петербургские ведомости» и «Голос». Он резко отзывается почти о всех членах Совета (см.: II, 345).

В следующем, 1864 году заканчивается тридцатипятилетняя работа Никитенко в университете. Он продолжает читать лекции в Римско-католической академии, с прежней активностью трудится в Академии наук, читает доклады, произносит речи, ежегодно пишет отчеты по II Отделению (т. е. Отделению русского языка и словесности) Академии наук, присутствует на заседаниях Совета по делам печати, часто отстаивая произведения, не пропущенные цензурным комитетом, осуществлявшим предварительную цензуру. Из записей, не относящихся к цензу-

ре, интересна запись о судебных уставах, опубликованных 20 ноября 1864 года (см.: II, 480).

После ухода Никитенко с поста главного редактора «Северной почты» (июнь, 1862) его отношения с Валуевым все более обостряются и достигают наибольшего напряжения летом 1865 года, когда Валуев решает удалить Никитенко из Совета по делам печати. Увольнение состоялось 1 сентября. Таким образом, с осени 1865 года Никитенко перестает быть официально, служебно связанным с цензурным ведомством.

Никак нельзя согласиться с И. Я. Айзенштоком, который во вступительной статье к современному изданию «Дневника» Никитенко утверждал, что «с середины 60-х годов кругозор наблюдений автора „Дневника“ ограничивается только Академией наук и немногими общественными организациями, вроде Литературного фонда» (I, с. XIV). Сам Никитенко, как бы споря со своим будущим исследователем, записал 23 марта 1873 года: «Я не могу себя обвинять, что устраняюсь от современного движения и интересов. Это было бы совершенно несправедливо. Я дотрагиваюсь до каждого пульса нашей общественности» (III, 275).

И действительно, дневниковые записи Никитенко убедительно доказывают, что и после увольнения из университета (1864) и из Совета по делам печати (1865) он продолжал внимательно следить за состоянием дел в цензуре и печати, за расстановкой сил в правительственных сферах, с прежней резкостью отзывался о бездеятельности чиновников, руководящих этими областями русской жизни, не скупился на буквально убийственные характеристики этих лиц. Одновременно Никитенко тяжело переживал, что в связи с утратой своего официального положения в цензурном ведомстве он теперь «лишен возможности служить делу печати честно и независимо, как это делал до сих пор» (II, 532).

Неоднократно упоминает Никитенко в «Дневнике» «новые законы о печати» — «Временные правила о печати и цензуре», утвержденные Государственным советом 6 апреля 1865 года, но вступившие в силу 11 сентября. «Их можно, по справедливости, назвать валуевскими», так как «тут все подчинено произволу министра», утверждает Никитенко (II, 509).

Внешне, казалось бы, для печати наступило облегчение: отменялась предварительная (предохранительная) цензура, узаконенная еще цензурным уставом 1828 года. Но вместо нее вводилась карательная цензура, основанная на системе предостережений, при которой после третьего предостережения издание органа печати запрещалось на время или навсегда, причем право на вынесение предостережения принадлежало лично министру внутренних дел. Новая цензура практически ставила периодическую печать в еще более трудное положение.

И Никитенко это прекрасно понимал. Он записал в дневнике 16 мая 1865 года, т. е. вскоре после опубликования «Временных правил», но еще до введения их в практику: «Издание журналов с освобождением их от предварительной цензуры становится делом крайне затруднительным. Прежде журналы зависели от произвола цензора, который все-таки не мог пренебрегать тем, что о нем скажут в обществе. (...) Издатели в известной мере освобождались от ответственности под его щитом. Теперь не то. Цензора нет. Но взамен его над головами писателей и редакторов повешен Дамоклов меч в виде двух предостережений и третьего, за которым следует приостановление издания. Меч этот находится в руках министра: он опускает его, когда ему заблагорассудится, и даже не обязан мотивировать свой поступок. Итак, это чистейший произвол. (...) Понятно, что пишущая братия сильно переполошилась. Журналисты, по крайней мере петербургские, как слышно, условились подчиняться по-прежнему предварительной цензуре, и это в их положении, может быть, было бы самым разумным. Но вот что мне сегодня говорил член Совета по делам печати Фукс, наперсник и эхо Валуева: „Министру известно, на что намерены решиться журналисты, но они жестоко ошибутся. Если они захотят

остаться под цензурой, то и получают ее, но такую, которая будет несравненно сильнее николаевской» (II, 515).

Уволенный из Совета по делам печати, Никитенко продолжает пристально следить за его работой, часто пользуясь информацией своего друга Гончарова, в то время члена Совета. 23 декабря 1865 года Никитенко записал в дневнике: «Вечер просидел у меня Гончаров. Он с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в Совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати как полицейский чиновник, председатель Совета Щербинин есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чужому влиянию, кроме честного и умного, а всему дают направление Фукс и делопроизводитель» (II, 555). И вывод Никитенко: «Выходит, что дела цензуры, пожалуй, никогда еще не были в таких дурных, то есть невежественных и враждебных мысли, руках» (II, 555—556). Несколько раньше, 28 сентября, давая аналогичную оценку работе Совета по делам печати, Никитенко записал со слов Гончарова: «Там вспоминали меня, говоря, что я один мог бы противодействовать» (II, 536).

Слова Гончарова о доброй памяти, которую оставил Никитенко у здравомыслящих членов Совета по делам печати, конечно, не могли не порадовать его. И сам он, приводя многочисленные примеры различных «запретительных мер» против печати, проводимых высокопоставленными чиновниками, как бы в порядке контраста вспоминает свою «защитительную» работу по линии цензурного законодательства.

С конца сентября 1865 года, т. е. сразу после вступления в силу «Временных правил», на периодические издания мощным потоком хлынули предостережения. Никитенко тщательно фиксирует каждое из них, используя официальные сообщения «Северной почты» и дополняя их своими замечаниями и выводами. Например, второе предостережение «Русскому слову» вызвало такую дневниковую запись Никитенко от 10 января 1866 года по поводу введения «Временных правил»: «Лучше бы не издавать нового положения и не обманывать таким образом публику и печать, будто бы предоставляя последней больше свободы, а на самом деле подвергая ее тягчайшему игу» (III, 9).

С именем Александра II Никитенко справедливо связывает реформы («льготы») в четырех областях: «Крестьянское освобождение, земские учреждения, новые суды, свобода печати». И, считал Никитенко, правительство должно «ни на йоту не отступать от данных льгот» (III, 136). А что на деле получается? Под обещанные и начатые проводиться реформы «ретроградные силы» осуществляют «подкопы», к ним применяют «стеснительные меры» (III, 225).

С каждым годом усиливается крен правительства в сторону реакции. «Совершается то, чего боялись люди мыслящие, наступает время поворота назад, время реакции», — пишет Никитенко 5 ноября 1866 года (III, 55); а 9 февраля 1872 года — уже более уверенно: «Реакция принимает, по-видимому, систематический характер» (III, 225). И уже совершенно категорично и настойчиво — 3 ноября 1874 года: «К правительству с каждым днем более и более теряется уважение. Сильнее и сильнее укореняется мнение, что реформы нынешнего времени и некоторые льготы есть чистый обман, потому что их стараются подкопать со всех сторон. Земство, суды, печать стесняются беспрестанно распоряжениями высших административных лиц. Это уже ни для кого не секрет» (III, 323—324).

И все же главное внимание Никитенко направляет на репрессивные правительственные распоряжения, касающиеся печати. Под таким углом зрения он рассматривает и кадровую политику правительства.

Автор «Дневника» зорко следит за перемещениями внутри государственного аппарата. В марте 1868 года пост министра внутренних дел от Валуева перешел к А. Е. Тимашеву, в 1856—1866 годах начальнику штаба корпуса жандармов и управляющему III Отделением. Это сразу насторожило Никитенко («восторжествуют

ли в нем полицейские инстинкты?» — III, 117). Первое предостережение газете И. С. Аксакова «Москва» позволяет Никитенко заключить: «Новый министр дает знать, что он в делах печати намерен следовать системе своего предшественника» (III, 123).

В сентябре 1870 года председателем Совета по делам печати (вместо уволенного М. Н. Похвиснева) назначен тульский гражданский губернатор генерал М. Р. Шидловский, которому приказали «подтянуть печать» (III, 181). Никитенко по неосведомленности или из осторожности не отметил, что эту «рекомендацию» Шидловскому высказал сам Александр II. Никитенко приводит дошедший до него слух о том, что генерал Шидловский будто бы вначале отказывался от нового поста, мотивируя свой отказ незнакомством с ходом литературных дел, а также тем, что он «человек горячий и привык действовать *энергически*, каковой способ приличен в полицейской сфере, а не в кругу науки и мысли. Ему возразили, что тот-то способ и нужен, ибо хотят „подтянуть“» (III, 182).

Недолго пробыл Шидловский на посту председателя Совета по делам печати. За свое усердие «подтянуть печать» он получил повышение по линии Министерства внутренних дел. В этой связи интересна дневниковая запись Никитенко от 20 ноября 1871 года: «М. Р. Шидловский назначен товарищем министра внутренних дел на место Б. П. Обухова, который после четырехлетнего испытания признан неспособным. На место Шидловского назначен М. Н. Лонгинов, орловский губернатор, который в публике известен как отъявленный противник освобождения крестьян, судебного нового устройства, земских учреждений и всех вообще улучшений, какие начаты в нынешнее царствование. Разумеется, от него ожидают самых враждебных действий против печати» (III, 207).

Никитенко оказался провидцем. Уже в 1872 году он записывает, что в руководимой Лонгиновым «администрации по делам печати господствует какая-то злоба против всего печатного». Особенно сам Лонгинов «с какою-то бешеною страстью» принимает меры против печати (см.: III, 260). О Лонгинове как «притеснителе печати» Никитенко писал неоднократно (см.: III, 319 и др.).

4 июля 1872 года Никитенко записал: «Новый закон о цензуре.⁹ Finis (конец. — В. Б.) печати. Все решается произволом министра внутренних дел. Какого бы специального содержания ни была книга, он ее конфискует. При этом законе, если он будет исполняться, решительно становятся невозможными в России наука и литература. Да правду сказать, — продолжает с грустной иронией Никитенко, — давно бы следовало покончить с ними. К чему они нам? Они только сеют разврат и заставляют усомниться в здравомыслии начальства» (III, 244).

В 1873 году внимание Никитенко обращено на «новое постановление о цензуре», которое прошло через Государственный совет. Рассмотрев некоторые статьи закона, Никитенко особо выделяет распоряжение о материалах, печатаемых в газетах и журналах в форме слухов: «Администрация имеет право требовать от редакций сведений об именах лиц, от коих произошли эти слухи». Эта часть постановления, по справедливому мнению Никитенко, «совершенно убивает так называемые корреспонденции, ибо кто же захочет из провинции сообщать что-нибудь в газеты под Дамокловым мечом высылки куда-нибудь *административным порядком*? Это очень жаль. Гласность, оказывавшая такие огромные услуги нашему обществу, становится теперь совершенно невозможною. А без нее мы опять погрузимся по уши в бездну всяких беспорядков и злоупотреблений, из которой мы понемножку начали было выбираться» (III, 280).

«Притеснение печати у нас доходит до глупости» — так завершает Никитенко в августе 1874 года свои наблюдения над судьбами русской прессы (III, 319).

⁹ Об этом законе, утвержденном Государственным советом 7 июня 1872 года и действовавшем многие годы, см.: *Арсеньев К. К.* Законодательство и печать. СПб., 1903. С. 87—88.

В конце 1875 года резко ухудшилось состояние здоровья Никитенко. Активное лечение дома, продолжительная лечебная поездка за границу (март—сентябрь, 1876) не помогли.

Измученный физическими страданиями, Никитенко старается поддержать в себе бодрость духа. Продолжает неуклонно следить за печатью и цензурой, делая краткие записи в дневнике. Например, запись от 26 ноября 1876 года: «Произошло нечто подобное избению младенцев: разом запрещены или приостановлены четыре газеты: „Новое время“, „Русский мир“, „Биржевые ведомости“ и „Биржевая газета“» (III, 401). 8 января 1877 года Никитенко записал: «Запрещена новая газета „Собеседник“, которой вышло всего 7 номеров, — по доносу Н. В. Мезенцева, начальника Третьего отделения. Я прочел место, подавшее этому повод. Конечно, в нем нет ничего ужасного в цензурном смысле. Редактору „Собеседника“ велено подать в отставку» (III, 406).

В 1877 году со здоровьем все хуже и хуже. Записи в дневнике все реже и реже.

С 3 февраля до 19 июня 1877 года записи в дневнике не делались. По возобновлении их оказалось только четыре. Последняя — 20 июля (о проигранном сражении при Плевне). На следующий день, 21 июля 1877 года, А. В. Никитенко скончался.

В последнее десятилетие жизни Никитенко несколько раз вспоминал о своей прошлой работе в области цензуры, настоятельно подчеркивая, что всегда действовал не как чиновник, а как государственный человек (см.: III, 186—187, 197—198, 231, 256—257, 265, 318, 329 и др.). Знаменательна его запись 10 октября 1872 года: «О Валуеве: мы ошиблись друг в друге. Он думал найти во мне чиновника и не нашел его, а я думал найти в нем государственного человека и нашел только чиновника» (III, 255).

На закате жизни Никитенко сделал как бы исповедальное признание: «Я всегда принадлежал к одной партии: партия эта — человечество и Россия, и ей старался я служить честно» (III, 135). И он был прав.

© М. Д. Эльзон

О ТЕКСТЕ ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА к И. С. АКСАКОВУ ОТ 8 НОЯБРЯ (27 ОКТЯБРЯ) 1858 ГОДА

В «Дополнениях» к Полному собранию сочинений и писем А. И. Герцена М. К. Лемке опубликовал письмо к И. С. Аксакову от 8 ноября (27 октября) 1858 года, снабдив его следующим примечанием: «Напечатано нигде не было; сверено с подлинником, хранящимся у П. Е. Щеголева».¹ В следующем издании это письмо было опубликовано по тексту первопечатной публикации (после сверки с машинописной копией из архива М. К. Лемке) с указанием на неизвестность местонахождения оригинала.²

Автограф этого письма на двойном густо исписанном листке (13,5×18) обнаружен мною в отделе фондов бывшего Ленинградского государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции. Он имеет шифр «Ф. 2. № 12928» и описан как письмо Н. П. Огарева к И. С. Тургеневу. Поскольку П. Е. Щеголев был одним из основателей музея революции, можно думать, что письмо было передано именно им в составе коллекции документов по истории освободительного движения в России.

¹ Герцен А. И. Полн. собр. соч. Л.; М., 1925. Т. 22. С. 122.

² Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1962. Т. 26. С. 220—221, 436—437.

Сопоставительный анализ автографа с печатным текстом позволил выявить следующее.

Публикуя письмо А. И. Герцена, М. К. Лемке внес значительные изменения в пунктуацию, вплоть до разбития отдельных развернутых фраз на самостоятельные небольшие предложения. При этом допущено изменение смысла. У А. И. Герцена: «Неужели С. (Ю. Ф. Самарин. — М. Э.) — может по духу партии не признавать — действительного значения Грановского в Моск. Универ. — то ж о Белинском». У М. К. Лемке: «Неужели С. может по духу партии не признавать действительного значения Грановского в Моск. Универ.? То же о Белинском?»

Имеется несколько случаев неверного прочтения. Третья фраза должна читаться: «Поблагодарите его горячо, от всей души — его письмо доставило нам радостную минуту среди дурных вестей» (в печатном тексте — «бурных»). Замечу, во-первых, что «доставило» и «дурных» в оригинале начинаются с одинаково написанных букв, воспринимаемых как «б» малое, что и привело к ошибке, обесмыслившей построенную по принципу контраста фразу: «радостную — дурных»; во-вторых, в оригинале это конец фразы; М. К. Лемке из одной сделал три — у А. И. Герцена после «молчания» и «молодого человека» стоит тире.

Фраза «С теми встретишься — видишь, нет, не согласен с ними, с вашими встретишься — видишь, что и с ними нет согласия» в оригинале начинается сочетанием «с ними». В следующем предложении — «чтоб скорее скрыть, нежели высказать» (у М. К. Лемке — «чтобы»). Во фразе, начинающейся со слов «Если это приговорительный труд», должно быть «приговорительный»; во фразе «Но, несмотря на все разномыслия (...) искренней любви» напечатано «искренней».

Наконец, имеются отличия в сокращенных написаниях имен, отчеств и фамилий. У А. И. Герцена — «Кон. Сер.», у М. К. Лемке — «Конст. Серг.». Напротив, и у А. И. Герцена, и у М. К. Лемке «Белин.», в новейшем издании — «Белинс.».

Постскрипту автографа кончается словами: «(...) верите ли вы, что Иванов был на дороге к иконописи — которую он, как артист, терпеть не мог?» Дальнейший текст составлен М. К. Лемке из трех фраз, расположенных на первой и последней страницах. На первой странице слева сверху вниз: «Пришлите нам от себя статью о славяноф. направлении — и начнемте уяснять дружеским спором вопрос». На последней сверху надписано: «Статьи С. я никогда не получал». Там же слева сверху вниз: «Или думаете вы, что в самом деле на Западе не было живописи? А ведь это напечатано».

© П. М. Лавринец

Н. С. ЛЕСКОВ В ЖУРНАЛЕ «СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ»

Факт участия Н. С. Лескова в виленском журнале «Сельское чтение» (1877—1878) известен давно. Однако предметом особого исследования этот эпизод биографии писателя не был; опубликованные в журнале лесковские тексты в имеющихся библиографических указателях не отмечены¹ и не переиздавались.

На сотрудничество писателя в «Сельском чтении» мимоходом указал еще А. И. Фаресов, без достаточных оснований причислив журнал к «духовным»: «Редакторы духовных изданий: свящ. Преображенский («Православное обозрение»),

¹ См.: Быков П. В. Библиография сочинений Н. С. Лескова за тридцать лет (1860—1889) // Лесков Н. С. Собр. соч. СПб., 1890. Т. 10. С. I—XXV; Шестериков С. П. К библиографии сочинений Н. С. Лескова // Изв. Отд. русского языка и словесности АН СССР 1925 года. Т. XXX. С. 268—310; Muller de Morogues I. L'œuvre journalistique et littéraire de N. S. Leskov. Bibliographie. Berne etc., 1984 (Slavica Helvetica. Bd. 23).

Поль («Сельское чтение»), А. Поповицкий («Церковно-общественный вестник») и др. — ждут от Лескова статей и рассказов „религиозно-общественного ваяния”.² Переписка писателя с редактором-издателем виленского журнала С. А. Подем³ использовалась А. Н. Лесковым в комментариях к письму его отца П. К. Щебальскому от 3 апреля 1878 года⁴ и послужила материалом его хронологической картотеки,⁵ где, в частности, отмечены принадлежащие Н. С. Лескову статьи и заметки «Сельского чтения».

Переписку Лескова с редактором-издателем «Сельского чтения» позднее изучала О. Е. Майорова. Исследовательница обратила внимание на подписанную Лесковым статью «Горшок каши старому учителю» и обоснованно указала предположительную принадлежность ему ряда неподписанных материалов журнала.⁶ Тем самым О. Е. Майорова заново ввела в научный оборот «неизвестный ранее факт сотрудничества Лескова в „Сельском чтении”».⁷

Редактор-издатель «Сельского чтения» Сергей Андреевич Поль (1830?—1887), капитан-лейтенант в отставке,⁸ был редактором выходившей в Москве с конца 1858 года (№ 1 датирован 1 ноября) до декабря 1859 года «Русской газеты. Ежедневное политическое, экономическое и литературное издание». Любопытно, что газета была в поле зрения Н. С. Лескова в пору его службы разездным агентом частной коммерческой компании «Скотт и Вилькинс» (1857—1860). Это явствует, например, из его письма от 10 декабря 1859 года из штаб-квартиры компании в селе Райском Пензенской губернии Ф. В. Чижову, издателю московского журнала «Вестник промышленности»: Лесков интересовался вопросом освещения квартир переносным газом, обсуждавшимся на его страницах, и отметил, что журнал не встречается «в здешних местах, кроме „Русской газеты”, очень мало уделяли места этому делу».⁹

После подавления восстания 1863 года системой повышенных окладов, двойных прогонов при проезде к новому месту службы и других льгот в Литву усиленно привлекались чиновники, педагоги, литераторы из внутренних губерний России. В их числе оказался и С. А. Поль, значившийся уже в начале 1867 года делопроизводителем Виленской ссудной кассы. В январе 1870 года попечителем Виленского учебного округа Н. А. Сергиевским Поль был назначен на должность редактора газеты «Виленский вестник», в каковой и оставался до 1887 года. В 1868 году «газета политическая и литературная» была передана в ведение учебного округа. Обозначенной подзаголовком «Собственность Виленского учебного округа» ведомственной принадлежности отвечали публиковавшиеся в газете выдержки из отчетов Министерства народного просвещения, распоряжения попечителя учебного округа, корреспонденции о различных сторонах школьного дела.

С ними соседствовали правительственные распоряжения, перепечатки из столичных газет и местная хроника, «придававшая газете вид полицейского листка». Отсутствие «определенного направления» и «случайность сотрудников», «без-

² Фаресов А. И. Против течений: Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904. С. 82.

³ Краткую аннотацию см.: А. Н. Островский. Н. С. Лесков. Рукописи, переписка, документы // Бюллетени Государственного литературного музея. № 3 / Под ред. Н. П. Кашина. М., 1938. С. 112.

⁴ Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению / Под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.; Л., 1940. С. 353.

⁵ ИРЛИ. Ф. 612. № 383. Л. 1282, 1289, 1298, 1321, 1326, 1348.

⁶ См.: Майорова О. Е. Литературная традиция в творчестве писателя (На материале произведений Н. С. Лескова). Дис. ... канд. филол. наук. М., 1985. С. 124, 126, 223, 227.

⁷ Майорова О. Е. Рассказ Н. С. Лескова «Несмертельный Голован» и житийные традиции // Русская литература. 1987. № 3. С. 174.

⁸ См.: Виленский календарь на 1890 (простой) год. Вильна, 1889. С. 239—240; Русский биографический словарь. Т. [14]. Плавильщиков — Примо. СПб., 1905. С. 464.

⁹ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 249.

идейность и бессодержательность газеты» в годы редакторства Поля делали ее «такою же бесцветною казенною, какою была и сама жизнь северо-западного края в управление А. Л. Потапова, П. П. Альбединского и Э. И. Тотлебена».¹⁰ Поэтому известия о журнале под редакцией Поля были встречены скептически. Тон задавала постоянная рубрика «Из литературы и жизни» петербургской газеты «Новое время». «Судя по программе, журнал может быть очень интересным и пополнит несколько пробел в нашей скудной народной журналистике, — констатировалось еще до выхода 24 марта 1877 года первого номера «Сельского чтения». — Но если может служить прецедентом ведение г. Полем редактируемого им „Виленского вестника“, самой бесцветной и пустой из наших провинциальных газет, то ожидать много от будущего журнала едва ли можно».¹¹

Программа «народного журнала» для грамотного сельского населения предусматривала, помимо правительственных распоряжений и обзоров внутренней жизни России, известия о новых открытиях и изобретениях, статьи по сельскому хозяйству, народному врачеванию и промыслам, а также «статьи духовного и нравственного содержания». Среди авторов «Сельского чтения» необходимо отметить преподавателя русского языка в Виленском реальном училище, члена Виленской археографической комиссии, публициста, корреспондента «Московских ведомостей» и «Дня» С. В. Шолковича, священника и этнографа И. А. Бермана, единственного штатного сотрудника «Виленского вестника» А. Д. Давидовича. Несколько практических заметок в «Сельском чтении» напечатала С. М. Крапивина, сотрудничавшая в журналах «Гражданин», «Живописное обозрение», «Детское чтение» и других периодических изданиях. Статью «О славянах задунайских, живущих на Балканском полуострове» поместил в журнале известный славист, этнограф, фольклорист, историк, председатель Виленской археографической комиссии Я. Ф. Головацкий,¹² с которым Лесков познакомился осенью 1862 года во Львове. Проживший в Вильно несколько месяцев 1877 года А. В. Арсенев, автор статей, биографических и исторических очерков и рассказов в «Ниве», стихов и фельетонов в «Пчеле», в августе и сентябре напечатал в «Сельском чтении» статьи «Темное царство лубочных книг» (№ 18; позже перепечатана «Виленским вестником» — № 172, 177; 13, 20 авг.) и «Нельстивое слово о русском солдате» (№ 22, 23; в газете появилась раньше, чем в журнале — № 179, 23 авг.), а также обозрение «Внутренняя жизнь России» (№ 24).

К тому времени в Вильно частной юридической практикой занимался Е. Ф. Зарин, уроженец Пензенской губернии, автор стихотворных памфлетов на пензенского губернатора А. А. Панчулидзева, переводчик, литературный критик, публицист. Знакомство с ним, состоявшееся в пору службы Лескова у А. Я. Шкотта, писатель продолжил в Петербурге в 60-х годах — супруги Зарины «состояли тогда в особых друзьях» и жили по соседству.¹³ Зарин и передал в сентябре 1877 года Полю согласие Лескова участвовать в журнале. Писатель предлагал «Сельскому чтению» «два рода статей: жития святых, занимавшихся при жизни какой-либо профессией, и библиография: литературы, назначенной для народа». Поль, как свидетельствуют его письма, надеялся, что статьи Лескова дадут журналу «надлежащую окраску», а его имя привлечет «круг сотрудников» и защитит его «от несправедливых и жестоких нападок известной части общества, цензуры и начальства».¹⁴

¹⁰ Миловидов А. Первая русская газета в Северо-Западном крае / Отдельный оттиск из № 2 и 3 Бюллетеней Юбилейного Комитета по организации празднования 200-летия русской периодической печати // Тр. Русского библиографического общества при Имп. Московском университете. М., 1902. С. 22.

¹¹ Новый провинциальный журнал // Новое время. 1877. № 369. 9 (21) марта.

¹² Сельское чтение. 1877. № 7. С. 161—167.

¹³ Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памяткам: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 313.

¹⁴ РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 283. Л. 1, 2.

Поль не дождался обещанных статей «духовного содержания», включая жизнеописание Нила Преподобного, упомянутое в письмах Лескову от 17 и 24 декабря 1877 года. Очевидно, тем же замыслом «образцового жизнеописания русского святого, которому *нет подобного* нигде, по здравости и реальности его христианских воззрений», Лесков делился с П. К. Щебальским в письме от 3 апреля 1878 года в связи с предполагавшимся изданием «*Revue slave*». ¹⁵

Но с № 29 (цензурное разрешение 22 октября) в журнале вводится отдел «Книжный указатель», состоящий из бесподписных аннотаций книг «для начальных школ и для народного употребления», т. е. именно той литературы, распространение которой находилось в ведении Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг для народного чтения и для употребления в начальных училищах, где, как известно, в 1874—1883 годах служил Лесков. «Отметки о новых народных книгах и о тех, которые хотя и вышли и не очень недавно, но еще не получили верной оценки», должны были помочь «выбрать из нескольких однородных книг лучшую», предостеречь покупателя от ошибок и «напрасных трат». ¹⁶

Выводы библиографических заметок близки заключениям Особого отдела. Выражается, например, пожелание, чтобы «Симфония, или Согласие на Новый завет» была «в каждой школе, и чтобы книга эта не пряталась далеко, а лежала открыто, так, чтобы каждый желающий мог ею пользоваться»; «Картины двенадцатых праздников» признаются «неудобными для того, чтобы ими пользоваться в школах» (1877, № 29); «Жизнь св. Макрины, или Значение женщины в деле воспитания» не годится «ни для школ, ни для народного употребления»; «Руководство для сельских учителей и учительниц» В. Вахрушевой «лучше не брать в школу» (1877, № 31). Одобрены «Книжным указателем» издания, как правило, включены в «Каталог книг для употребления в низших училищах ведомства Министерства народного просвещения» (СПб., 1878); ср. также «Определения Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения» в ежемесячном «Журнале Министерства народного просвещения» за 1877—1878 годы.

Соображения о принадлежности аннотаций «Книжного указателя» Лескову подтверждают архивные дела Ученого комитета, в частности «Журнал заседаний Особого отдела». Например, аннотированная в «Сельском чтении» в январе 1878 года (№ 2) «Первая книга для чтения» (Казань, 1874) по докладу Лескова 16 февраля того же года была «допущена как пособие»; ¹⁷ азбука и книга для чтения «Школьные ступени» (М., 1878), составленные И. П. Деркачевым, аннотировались журналом в августе (№ 16), а двумя месяцами ранее по докладу Лескова 13 июня 1878 года были «одобрены». ¹⁸

Кроме того, в «Книжном указателе» были помещены аннотация изданной Лесковым книжки «Зеркало жизни истинного ученика Христова» ¹⁹ (1877, № 31, с. 120—121) и обширная рецензия на составленные им «Пророчества о Мессии» ²⁰ (1878, № 5, с. 66—67). Бесспорны приведенные О. Е. Майоровой основания для атрибуции рецензии Лескову — особенности характерного для «церковных» статей писателя стиля и композиции, переключки идей и формулировок с известными статьями Лескова на близкие темы, упоминание об обращении в христианство «известного раввиниста» Е. Ю. Базина, с которым писатель был знаком и состоял в переписке. ²¹

¹⁵ Лесков А. Н. Указ. соч. С. 455.

¹⁶ Сельское чтение. 1877. № 29. С. 88.

¹⁷ ЦГИА. Ф. 734. Оп. 3. Ед. хр. 31. Л. 82, об. — 84.

¹⁸ Там же. Ед. хр. 35. Л. 273—338.

¹⁹ Зеркало жизни истинного ученика Христова / Со старинного наново пересмотрел и издал Н. Л(есков). СПб., 1877.

²⁰ Пророчества о Мессии. Выбранные из Псалтири и пророческих книг святой Библии. СПб., 1878.

²¹ Майорова О. Е. Литературная традиция в творчестве писателя. С. 227—228.

К ним следует добавить красноречивую деталь: заметка о «Зеркале жизни истинного ученика Христова» сообщает, что требовать книжку «нужно от книгопродавца Блиссмера, № 19, по Гороховой улице, в Петербурге. За 50 коп. высылается *десять* книжечек, без особой приплаты за пересылку». ²² Сходным образом в рецензии на «Пророчества о Мессии» советуется выписывать книжку «из Петербурга, посылая деньги в магазин книг религиозного содержания, книгопродавцу Блиссмеру, на Гороховой улице, № 19-й. Выписывающий одну книжку посылает или двадцать копеек, или вместо них две десятикопеечные почтовые марки. А кто хочет получить несколько этих книг и сам распространять их, тому делается большая уступка. Так: 10 книг высылаются за 1 р. 75 коп., — 20 книг — за 3 р. — а 50 книг — всего за 6 рублей». ²³

Подобная практическая и отчасти рекламная информация во всех выпусках «Книжного указателя» встречается еще только однажды — в отзыве о составленной Е. Д. Барятинской «Симфонии, или Согласии на Новый завет», ²⁴ по замыслу и назначению близкой лесковской «Указке к книге Нового завета» (СПб., 1879), однако несопоставимой по объему (409 страниц) с открытым листом «указки». Более того, в шести номерах журнала за 1878 год (№ 1, 2, 3, 7, 9 и 10, 11; с. 16, 29, 47, 95, 128, 140) напечатано адресованное «Любителям благочестивого чтения» объявление о «Пророчествах о Мессии». За два года издания «Сельского чтения» это, наряду с обычными объявлениями о подписке на газеты и журналы, единственная книжная реклама.

Об авторстве аннотаций свидетельствует также письмо Поля от 24 февраля 1878 года, среди прочего извещающее писателя о том, что «Книжный указатель» помещается «в каждом номере и теперь уже израсходован весь». ²⁵ После «Книжного указателя» в № 6 (цензурное разрешение 22 февраля 1878 года) четыре номера «Сельского чтения» (включая сдвоенный № 9 и 10) вышли без аннотаций. Рубрика была возобновлена в № 12 (цензурное разрешение 4 апреля 1878 года). В содержании этого номера «Сельского чтения» указана принадлежность «Книжного указателя» Лескову (с. 152), что впервые обнаружил и отметил А. Н. Лесков; ²⁶ под самим текстом подписи, как обычно, нет.

Очевидно, Лескову принадлежат библиографические заметки в № 29, 31 «Сельского чтения» за 1877 год и в № 1, 2, 5, 6, 12, 16 за 1878 год. Опубликованные в той же рубрике рецензия на третий том книги Е. Н. Водозовой «Жизнь европейских народов» (1878, № 21, 23) и разбор «Справочной книги для сельских хозяев» (1878, № 24 и 25), отличаясь манерой изложения и объемом, по-видимому, написаны другим автором (или авторами).

Таким образом, «Книжный указатель» в виленском журнале иллюстрирует «до сих пор не изученный параллелизм», с каким «журналист и писатель неоднократно выступал в печати с отзывами о тех самых произведениях, которые он рецензировал по обязанности члена Особого отдела». ²⁷

К «Книжному указателю» примыкает анонимная статья «О выборе книг». Большую часть ее составляет критический разбор сочинения Я. Тягунова «Христианский взгляд на мир и человека» (СПб., 1876). Появление книги связывается с распространением «христианского учительства», с которым Лесков близко познакомился в 1874—1876 годах благодаря Ю. Д. Засецкой, В. А. Пашкову, М. Г. Пейкер, М. М. Корфу: «Достаточные люди в столицах начали обнаруживать большую склонность заниматься объяснением Слова Божия простым людям». Од-

²² Сельское чтение. 1877. № 31 (цензурное разрешение 9 ноября). С. 121.

²³ Там же. 1878. № 5 (цензурное разрешение 14 февраля). С. 67.

²⁴ Там же. № 29 (цензурное разрешение 22 октября). С. 89.

²⁵ РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 283. Л. 12.

²⁶ ИРЛИ. Ф. 612. № 383. Л. 1348.

²⁷ Рейсер С. А. Н. С. Лесков и народная книга // Русская литература. 1990. № 1. С. 188.

нако, утверждает в статье «О выборе книг», за дело «иногда берутся люди, которым самим еще не достаёт знания». Примером и служит книга Тягунова «под заманчивым заглавием», содержащая многочисленные промахи и скрупулезно, со ссылками на Василия Великого, Григория Богослова, Августина Блаженного, Кирилла Туровского, перечисленные противоречия библейским текстам, фактам церковной истории и здравому смыслу.

Книга, указывает статья, «по счастью была в рассмотрении Ученого комитета Министерства народного просвещения, и комитетом приняты меры, чтобы ее не допускать в народные школы». Но если «от такой неосновательной книги ограждена школа, то не огражден от нее простой дом, куда она попадет, например, как дар доброго человека, который, судя по заглавию, думает, что дарит книгу самую полезную». Поэтому при покупке книг настоятельно рекомендуется не доверять заглавиям и объявлениям, а руководствоваться каталогом Ученого комитета.²⁸ Вероятно, статьей «О выборе книг» реализовано предложение Поля, высказанное в письме Лескову от 13 октября 1877 года, о том, что «иную библиографическую статью больших размеров можно обратить в передовую».²⁹

Велика возможность, как справедливо отмечала О. Е. Майорова,³⁰ принадлежности Лескову также передовицы «Печальные явления в нашей жизни».³¹ Речь в этой статье идет о распространении в народной среде всевозможных суеверий и азартных игр.

Опубликованная с подписью Лескова статья «Горшок каши старому учителю» — самый большой по объему материал писателя в «Сельском чтении». Тема статьи — обеспечение старости учителей народных школ, которым, в отличие от преподавателей государственных учебных заведений, пенсий от казны не полагалось. Небольшое жалованье, как разъясняла статья, не позволяет земским учителям откладывать на старость; между тем труд учителей тяжел, о чем говорят высокая смертность и меньший срок выслуги пенсий у учителей казенных школ, чем у офицеров и чиновников. Сверх того, убеждает Лесков, учитель — «лучший и ближайший друг» сельского жителя, так как «лучшую пору своей жизни» посвящает обучению его дитяти, «часто малопонятливого от природы, часто своенравного и испорченного» его же, крестьянина, «послаблениями и нерассудительностью».

Не оставлять учителей, по старости неспособных продолжать работу, вынужденными просить подавание, требуют не только справедливость и милосердие, но и выгода: по мнению Лескова, учителя охотнее пойдут служить туда, где им гарантирована пенсия, среди них можно будет выбирать лучших и они будут ревностнее исполнять свои обязанности. Призывая читателей обдумать и обсудить, как «миром шить учителю рубашку на старость, чтобы было в чем дожидаться савана», писатель надеется и на содействие сельских священников: «Что бы ни говорили о их положении, но их просвещенность всегда обеспечивает им еще очень достаточное влияние на ум и сердце селянина».

При разборе достоинств и недостатков различных способов формирования пенсионного капитала Лесков, отталкиваясь от примера Валуйского земства (Воронежской губернии), склоняется к выводу о преимуществе «очень простого и могучего народного русского обычая» перед «чужеземными соображениями сборов» и во многих отношениях нецелесообразными штрафами. Обычай этот «не надо ни вводить, ни прививать, потому что он народом выдуман и в народе живет».

Обычай заключается в подношении учителю в благодарность за выучку «гор-

²⁸ О выборе книг // Сельское чтение. 1877. № 30 (цензурное разрешение 29 октября). С. 97—101.

²⁹ РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 283. Л. 3.

³⁰ Майорова О. Е. Литературная традиция в творчестве писателя. С. 223.

³¹ Сельское чтение. 1878. № 22 (цензурное разрешение 22 сентября). С. 286—288.

шка каши, покрытого ручником (полотенцем), на который клали полтину денег или *сколько по силе*. В том, что такой «горшок каши» может быть «очень сытен», Лескова убеждали как исторические сведения, так и личные впечатления. «Мастера» школ для простонародья в Москве до открытия казною приходских школ в начале XIX века, по его словам, и «сыты были», и «даже домики себе сколачивали». «В 1862 году я сам знал в Риге секретного русского учителя (раскольника), который угощал меня чаем в *своем доме*, построенном, по его собственным словам, „на горшковые деньги“, — свидетельствовал писатель. — Живучи смиреннько на то, что ему платили „положенное“ за учение, он „сколачивал горшок к горшку“, что приходило ему „от благодарных душ за выучку“, — и у него стал дом над Двиною... Так-то всхожа и подьемиста мирская каша!»³²

Таким образом, все публикации Н. С. Лескова в журнале «Сельское чтение» посвящены проблематике народного просвещения и, более того, призваны так или иначе непосредственно служить ему. К широкому кругу вопросов, связанному с различными сторонами школьного обучения и образования взрослых, с качеством «литературного разнovesа для народа» и его воздействием на интеллектуальное и нравственное состояние нации, с просвещением народа, понимаемым не только как распространение положительных знаний, но и укрепление основанных на христианском вероучении нравственных начал, писатель многократно обращался в различных формах на всем протяжении своего творческого пути.

Участие в «Сельском чтении», очевидно, привлекало писателя предполагаемой широкой демократичной аудиторией: журнал ориентировался прежде всего на грамотных крестьян, а также мелких служащих и купцов, а Лесков дорожил возможностью влиять на народные низы. Кроме того, виленский журнал позволял Лескову использовать в печати материалы служебной деятельности в Ученом комитете Министерства народного просвещения. Такая практика, начатая заметкой «Сентиментальное благочестие» о журнале М. Г. Пейкер «Русский рабочий», опубликованной в марте 1876 года в «Православном обозрении», в дальнейшем привела к увольнению писателя из Министерства народного просвещения в феврале 1883 года.³³

Со своей стороны, С. А. Поль рассчитывал на помощь Лескова и как автора, и как служащего Особого отдела в упрочении положения «Сельского чтения» и прибегал к его советам, чтобы «заслужить благорасположение Министерства» и вести журнал «в том духе, какой может быть угоден Министерству».³⁴ В декабре 1877 года попечитель Виленского учебного округа Н. А. Сергиевский представил «Сельское чтение» министру народного просвещения Д. А. Толстому и ходатайствовал о поддержке журнала. В результате журнал получил правительственную субсидию, а Особый отдел Ученого комитета, рассмотрев «Сельское чтение», «мнением своим, утвержденным г. товарищем министра, признал возможным одобрить названный журнал для библиотек начальных народных училищ и учительских семинарий».³⁵ Для привлечения покупателей и подписчиков Поль незамедлительно поместил формулировку «одобрения» («Одобен Ученым комитетом Министерства народного просвещения для библиотек начальных народных училищ и учительских семинарий») в заголовочной шапке своего журнала, начиная с № 4 (цензурное разрешение 7 февраля 1878 года).

Как разъяснял Лесков в письме И. С. Аксакову от 22 января 1875 года, в отличие от «допустить» или «одобрить» только формула «рекомендовать» делала

³² Лесков Н. Горшок каши старому учителю // Сельское чтение. 1878. № 3. С. 33—37; № 6. С. 73—76; № 7. С. 85—87.

³³ См.: Рейсер С. А. Указ. соч. С. 188—192.

³⁴ РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 283. Л. 4, 7 об.

³⁵ Определения Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. 1878. № 3. С. 17.

издание обязательным при комплектовании библиотек соответствующих учебных заведений, а на его закупку могли быть выделены средства.³⁶ «Одобрение» же Ученого комитета помогло «Сельскому чтению» мало: при тираже от 1200 до 1500 экземпляров у журнала было всего лишь 230 подписчиков. В июне 1878 года Поль повторно обратился к министру просвещения с просьбой сбавить подписную цену на журнал при выписке не менее 10 экземпляров, а также «посредством циркуляра» обратить внимание подведомственных министерству училищ на журнал и «содействовать таким образом некоторому его распространению».

На заседании Особого отдела 11 июля 1878 года (в отсутствие Лескова, проводившего лето в Сестрорецке) А. А. Радонежский, поддерживавший довольно близкие отношения с писателем в пору его службы в Министерстве просвещения, зачитал доброжелательный отзыв о журнале. По мнению Радонежского, «Сельское чтение» заслуживало поддержки «прежде всего по своей хорошей цели, по своему внешнему опрятному виду, по незначительной цене, а также и по месту своего издания». Помимо ряда недостатков, в числе «очень хороших статей» в отзыве отмечалась «Горшок каши старому учителю». Особый отдел согласился с тем, что распространение «Сельского чтения» желательно, и определил «представить о сем на благоусмотрение» министра просвещения.³⁷

Однако поддержки журнал не получил и, несмотря на объявления с программой на следующий, 1879 год, прекратил свое существование. На этом завершился и по-своему характерный для неутомимого публициста, критика, рецензента Н. С. Лескова эпизод участия в провинциальном «народном журнале».

³⁶ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 376.

³⁷ РГИА. Ф. 734. Оп. 3. Ед. хр. 35. С. 324—327.

© О. Б. Кафанова

ЛЕВ ТОЛСТОЙ — ЧИТАТЕЛЬ И КРИТИК ЖОРЖ САНД

До сих пор в обширной отечественной литературе о Л. Н. Толстом не рассматривалась проблема его отношения к Ж. Санд.¹ Между тем творчество французской романистки, ставшее в 1840—1850-е годы важным фактом русского литературного процесса и общественной жизни, не могло остаться писателю безразличным. Ж. Санд способствовала обсуждению женского вопроса и института брака, обратила внимание на человека из народа как самостоятельный объект художественного изображения, создала образы идеальных героев, воплощавших новое представление о нравственности и взаимоотношениях между людьми.

В силу особого, присущего произведениям Ж. Санд этико-эстетического содержания ни во Франции, ни в какой другой европейской стране они не имели такого глубокого резонанса, как в России. В отличие от Бальзака, Флобера и других французских реалистов, сильных своим аналитическим критицизмом, но сохранявших «этический нейтрализм», писательница соединяла пафос отрицания с утверждением «идеальной правды» и тем самым больше соответствовала русской культурной традиции.

Многие российские писатели, творческое развитие которых началось в 1840-е годы, в русле «натуральной школы», испытывали глубочайшее уважение к

¹ В настоящее время в печати находится еще одна статья на эту тему: Кафанова О. Б., Юртаева И. А. Л. Н. Толстой и Ж. Санд (полемика форма восприятия) // Проблемы метода и жанра: Вып. 19 (20). Томск.

Ж. Санд на протяжении десятков лет. Влияние романистики на свое творчество открыто признавали Ф. Достоевский и И. Тургенев, А. Герцен и М. Салтыков-Щедрин, Д. Григорович, И. Панаев и др. Мнение Белинского о Ж. Санд как «бесспорно первой поэтической славе современного мира»² определило ее культ на страницах «Отечественных записок» с 1841-го по 1847 год и «Современника» в 1847 году.³ Позднее К. Скальковский, отражая уровень восприятия массового русского читателя, даже сравнил Ж. Санд с Ж.-Ж. Руссо, «которого смелость и новость мыслей и прелесть языка действовали на несколько поколений и имели сильное влияние на внутреннюю жизнь народа».⁴

Л. Толстой начал знакомиться с сочинениями знаменитой писательницы в 1850-е годы, когда кульминация ее творческого развития осталась уже позади, а проблематика лучших романов утратила остроту новизны. Тем не менее он оставил немало свидетельств своего внимания как к личности и отдельным произведениям Ж. Санд, так и к проблемам, связанным с ее деятельностью.

Известно, что дух протеста, бесстрашное стремление свергать признанные авторитеты были свойственны Толстому во все периоды его жизни. Его «восстание» против Шекспира поразило в начале нашего века все культурное человечество.⁵ Столь же резким и однозначным было неприятие музыки Вагнера.⁶ Неудивительно, что и по поводу Ж. Санд Толстой высказывал вызывающие суждения.

6 февраля 1856 года за обедом у Некрасова он всерьез поссорился с Тургеневым из-за своего грубого отзыва о произведениях Санд. Услышав похвалу ее новому роману, он, по свидетельству Д. Григоровича, «резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам».⁷ Несмотря на то что творчество французской писательницы в середине 1850-х годов все более разочаровывало поклонников ее художественного таланта, в редакции «Современника» сохранялось почтительное отношение к ней как к живому классику, имевшему решающее значение для утверждения демократических, социалистических и по сути реалистических тенденций в европейской и русской литературе того времени.⁸ Поэтому Тургенев воспринял выходку Толстого как личное оскорбление. В письме к Боткину он сообщил: «С Толстым я едва ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не ото-

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. VI. С. 279. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

³ См.: Евдокимова Л. В. Литературы Запада в эстетических воззрениях Белинского. Французский романтизм // В. Г. Белинский и литературы Запада. М., 1990. С. 120—138; Кафанова О. Б. 1) Начало восприятия Жорж Санд в России (трансформация метода) // Проблемы метода и жанра. Томск, 1994. Вып. 18. С. 103—114; 2) Романное творчество Жорж Санд в жанровой классификации Белинского // От риторической культуры к культуре нового времени. Тюмень, 1994. С. 33—43.

⁴ Скальковский К. Женщины-писательницы XIX столетия. Французские писательницы. СПб., 1865. Т. I. С. 243.

⁵ См.: Левин Ю. Д. Шекспир и русская литература XIX века. Л., 1988. С. 225—237.

⁶ В письме к брату Сергею 19 апреля 1896 года Толстой описал свое восприятие оперы «Зигфрид»: «Я не мог высесть одного акта и выскочил оттуда, как бешеный, и теперь не могу спокойно говорить про это. Это глупый, не годящийся для детей старше 7 лет балаган с претензией, притворством, фальшью сплошной и музыки никакой» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1954. Т. 69. С. 82—83. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы). Горячий спор Толстого и Римского-Корсакова о Вагнере закончился тем, что Стасов резюмировал в письме к брату: «Толстой ничего не понимает в музыке» (Советская музыка. 1960. № 11. С. 66—67).

⁷ Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1987. С. 133.

⁸ Купреянова Е. Н. Идеи социализма в русской литературе 30—40-х годов // Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969. С. 105—113. См. также написанную Е. Н. Купреяновой главу «Основные направления и течения русской литературно-общественной мысли второй четверти XIX в.» в «Истории русской литературы» (Л., 1981. Т. 2. С. 353—354).

звалась так или иначе. Третьего дня, за обедом у Некрасова, он по поводу Ж. Санд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. Спор зашел очень далеко — словом — он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете». ⁹ Свое негодование поспешил выразить и Некрасов. В письме к Боткину от 7 февраля он назвал речи Толстого «чушь», отмечая в них «много тупоумного и даже гадкого». ¹⁰

Судя по всему, Толстой сознательно спровоцировал скандал, тем более что Григорович предупреждал его накануне об особом почитании Ж. Санд в редакции «Современника». Примерно в то же время — только годом ранее — он впервые шокировал всех петербургских литераторов своими антишекспировскими выпадами. И все же эти проявления эпатажа имели в основе своей действительно негативное отношение, возникшее к Шекспиру из эстетического неприятия, а к Ж. Санд — из-за отрицания идей женской эмансипации.

Реакцией Толстого на проблему феминизма явились его планы и фрагменты драматических произведений конца 1850-х — начала 1860-х годов: «Дворянское семейство», «Практический человек», «Дядюшкино благословение», «Свободная любовь», «Зараженное семейство», «Нигилист». Замысел их был связан с образом Ж. Санд, или, вернее, того типа героини, который Толстой называл «жоржзандовской женщиной».

Впервые Толстой упоминает о какой-то задуманной им комедии в дневнике 13—19 февраля 1856 года, т. е. через неделю после своего скандального поведения в гостях у Некрасова. Предполагаемая пьеса не была написана, но ее основные идеи, по-видимому, получили развитие в виде набросков драматических сюжетов двух комедий — «Дядюшкино благословение» и «Свободная любовь», относящихся также к 1856 году.

Сохранившиеся тексты позволяют судить об общем сатирически-обличительном пафосе Толстого. Действие разворачивалось вокруг эмансипированной московской дамы, усвоившей, по мнению автора, представления Ж. Санд о правах женщины и «свободе любви». Ей противопоставлялась наивная молоденькая девушка, только что приехавшая в столицу из глухой провинции. Динамика сюжета определялась ревностью эмансипирее к сопернице, которую она как можно быстрее старалась выдать замуж.

Разрабатывая подобную ситуацию в откровенной полемике с Ж. Санд, молодой Толстой во многом примитивизировал и вульгаризировал идеи романистки, приближаясь при этом к уровню их восприятия в русской критике 1830-х годов. Тогда отрицание феминизма объединило против Санд почти всех российских литераторов независимо от их социально-философской и эстетической позиции. ¹¹ Для русского общественного мнения того времени неприемлема была экстравагантность личности французской писательницы, ассоциировавшаяся с безнравственностью поведения. А утверждаемое в раннем творчестве Ж. Санд право личности на свободу чувства переиначивалось, по ироничному выражению молодого Белинского, в «завидное право менять мужей по состоянию своего здоровья» (III, 398). Используя термин «свободная любовь», Толстой вкладывал в него именно это значение половой распущенности.

В 1840-е и 1850-е годы подобную точку зрения на Ж. Санд продолжали отстаивать наиболее консервативные критики вроде Сенковского. Толстой с присущей ему антипатией к радикальным теориям примкнул по сути к этому лагерю. Но как раз преднамеренная тенденциозность и помешала ему завершить задуманное и создать полноценные художественные произведения.

⁹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1961. Т. II. С. 337.

¹⁰ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1952. Т. 10. С. 264.

¹¹ См.: Жихулина Л. М. Французский романтизм в русской журналистике тридцатых годов XIX в. // Учен. зап. ЛГПИ. 1940. Т. 4. Вып. 2. С. 164—187.

Трудно сказать, под влиянием каких конкретно героинь сформировался у Толстого стереотип «жоржзандовской женщины». Скорее всего, это был некий собирательный образ, в котором доминировали черты, приписываемые обывательским мнением самой Ж. Санд. Вряд ли он был знаком с «венцианскими» повестями — «Последняя Альдини» и «Ускок», в которых был представлен образ целомудренной девушки, очаровавший юношу Достоевского.¹² По незнанию или сознательно, Толстой отбрасывал все модификации изображенных Ж. Санд женских характеров, включающие и юных чистых героинь (как простолюдинок, так и дворянок), и замужних женщин, среди которых были свято хранившие верность любимому мужу и жертвы несчастного брака, расплачивавшиеся жизнью за свою нелюбовь к законному супругу. По убеждению Толстого, от Санд исходил только один тип — развращенной и нагловатой в своем пренебрежении всеми нормами морали женщины.

Примером схематичного понимания жоржсандизма как способа поведения может служить краткий сценарий комедии «Дядюшкино благословение», которая должна была завершиться осмеянием эмансипированной дамы, тридцатилетней Лидии Никаноровны Енисеевой. Уже из перечня действующих лиц выясняется, что главная героиня кроме законного супруга, «толстого, добродушного холерика», имеет двух «любowników» — Jean'a Мослосского, юношу двадцати двух лет, который «нигде не кончал курса» и «очень модно цветно одет», и Семена Николаевича Кляксина, «самоуверенного придворного старичка» «под 60 лет» (7, 169). Однако предмет нового увлечения Лидии — красивый девятнадцатилетний князь Шерваншидзе, влюбленный в молоденькую родственницу героини. Имя Жорж Санд дважды возникает в развернутом плане, служа как бы жизненным ориентиром распутной женщины:

«Явление I.

Лидия и Мослосской говорят о любви. Л[идия] говорит, что она его не любит больше, Жорж Занд, надо быть откровенной, она любит Грузинского К[нязя]. Он ревнует уже к Старику (...)

Явление VII.

Входит Грузинский К[нязь], Л[идия] выгоняет всех и хочет объяснять ему Ж[орж] З[анд] и что О[льга] выходит замуж, он («е бьет ее оружием и) говорит: она мне мила и вы противная, 2-х женщин нельзя любить» (7, 170).

Завершает крайне неприглядный нравственный портрет Лидии ремарка автора о том, что она «всегда говорит по-французски и курит сигары» (7, 169). Именно сигары в дополнение к мужским панталонам, которые носила Ж. Санд, служили идейным оппонентам писательницы существенным поводом для обвинения ее в аморальности.

Намеченная коллизия подробнее развивается в сохранившемся фрагменте комедии «Свободная любовь», где даже имена основных действующих лиц изменены незначительно. Главная героиня, тридцатилетняя Лидия Андреевна Щурина, на этот раз имеет уже не двух, а трех любовников — двадцатидвухлетнего Масловского, «худощавого франта со стеклушкой в глазу», шестидесятилетнего Ивана Никанорыча Лацкана, «значительное лицо», и подполковника Кулешенко, «недавно вернувшегося с войны» (7, 172).

Муж Лидии, который «(был разбит параличом, очень толст и ленив)» (7, 172), в цинизме не уступает своей супруге. Он не только спокойно терпит измены жены, но убеждает ее не отказывать в нежности влиятельному родственнику из материальных соображений: «Щурин.<...> Поверьте, я понимаю <...> в наш век всю

¹² В «Дневнике писателя за 1876 год», в статье, посвященной памяти Ж. Санд, он вспоминал, что «его, еще юношу <...> поразила тогда эта целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 36).

смешную, бесчестную сторону ревности: я знаю, что любовь должна быть свободна, и что искренность благороднее всего (...) Вот уж 3 года я с удовольствием вижу ваши отношения с Масловским и знаю, что он наш лучший друг. Теперь в нынешнюю зиму вы увлеклись этим героем Полковником, я тоже ничего не говорил, потому что вы как всегда были искренни и честны в вашем увлечении, и оно никому не мешало; но теперь вы вспомните, чем вы обязаны вашему дяде, что мы можем еще ожидать от него. Нам надо беречь его (...)» (7, 174, 175).

Возможно, образом снисходительного до неприличия Дмитрия Сергеевича Щурина Толстой стремился выразить свое негативное отношение к Жаку, герою одноименного нащумевшего романа Ж. Санд (1834), и изображенному в нем конфликту. Жак, постигший иррациональную природу любви, после мучительных колебаний отказывается от мести своей молодой жене, которая полюбила другого мужчину. Более того, узнав о беременности Фернанды, он решает уйти из жизни. Разумеется, никакие денежные расчеты не примешивались к сложной нравственно-психологической коллизии произведения, которое с большими купюрами было напечатано в «Отечественных записках» в 1844 году.¹³

Но уже с первых слов монолога эмансипированной героини, которым начинается пьеса, возникает другая прямая реминисценция из Ж. Санд: «Лидия. Милый дикарь (...) мой Тверино (...) да, я не шутя люблю его и всему свету скажу, что я люблю его (...) Я всегда прямо говорила: „люблю“ тем людям, которых любила, потому что горжусь этим чувством, а этаго дикаго Князька надо обнять и поцеловать при всех, чтобы он понял мою любовь и высказал бы свою; и я сделаю это. — Слава Богу, я уже давно стою выше суеверий толпы» (7, 173).

Понравившегося ей восемнадцатилетнего князя Чивчивчидзе, который, по замечанию Толстого, «очень хорош собой, в Грузинском костюме, говорит по-русски не совсем чисто и с особенным ударением на гласные» (7, 172), Лидия уподобляет герою Ж. Санд. Тверино, центральный персонаж одноименной повести, воплощал интуитивно-чувственное, т. е. истинное, с точки зрения автора, постижение жизни, природы и морали. В середине 1840-х годов этот герой и само произведение восхитили Белинского (IX, 397) и других критиков «Отечественных записок». В заслугу Ж. Санд они ставили создание образа естественного и гармоничного человека, само присутствие которого помогало разоблачить «светскую жеманность», «раздвоение жизни и мысли», «недоверие к страстям и сердцу».¹⁴ Глубокое впечатление повесть произвела и на Чернышевского, который прочитал ее в русском переводе в 1849 году и поведал в своем дневнике о «большом наслаждении» от чтения: «(...) это — я не знаю, как сказать, — что-то богатое, свободное, дух сильный, воображение творческое, чрезвычайно сильное, все это как-то приковало меня, и у меня и теперь еще мелькает Тверино в глазах (...): да, сильный, великий, увлекательный, поражающий душу писатель, эта Жорж Занд: все ее сочинения должно перечитать».¹⁵

Толстой прочитал «Тверино» в 1857 году, о чем свидетельствует его пометка в дневнике от 3 апреля: «Итальянец — Тверино» (47, 121). Он не сделал никаких комментариев по поводу произведения, но свою ироническую оценку отразил в сохранившемся фрагменте пьесы. В контексте откровенно разнузданной речи Ли-

¹³ При переводе были полностью выпущены письма Фернанды и Октава, в которых виновные в прелюбодеянии обсуждают свое будущее: мечтают о скором появлении на свет ребенка, выражают надежду на соединение после возможной смерти Жака (гл. 52—53). Опущены признания главного героя в жгучей ревности, его мысли о чести и смерти (гл. 41—42), а также его размышления о самоубийстве как единственном достойном выходе из создавшегося положения (гл. 54—56). Ср.: Jacques, par G. Sand. Paris, 1834. Т. II. P. 373—423; Отеч. зап. 1844. Т. 35. Август. Отд. I. С. 190—326; Т. 36. Сентябрь. Отд. I. С. 118—176.

¹⁴ Отеч. зап. 1846. Т. 48. Октябрь. Отд. VII. С. 40.

¹⁵ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1939. Т. I. С. 275, 276.

дии упоминание Теверино служит опознавательным знаком ее порочности, развращенности.

Принципиально важно, что свою тираду героиня произносит в окружении атрибутов «разврата»: она «в красном шлафроке, с ногами, обутыми в горностаевые туфли, лежит на большом диване и курит сигару. — (Подле нее на столе стоит бутылка вина)» (7, 173). Правда, ремарка, касающаяся вина, вычеркнута в рукописи, так же как и замечание о «ньюфундланской собаке», которая лежит «на маленьком диване» в будуаре (7, 173). Последняя подробность была слишком явным намеком на обстановку квартиры Некрасова, любимые собаки которого пользовались привилегией лежать на дорогом ковровом диване. Эта характерная деталь превращала задуманную пьесу в резкое осуждение отношений, существовавших между И. И. Панаевым и его бывшей женой, жившей в гражданском браке с Некрасовым. По мнению В. Ф. Саводника, «добродушный И. И. Панаев мог послужить автору моделью для изображения типа снисходительного и покладистого мужа» (7, 385), а «некоторые черты» главной героини «Свободной любви» были «списаны» с Авдотьи Яковлевны Панаевой. Это предположение обосновано и тем, что она «была женщина, всецело усвоившая себе жоржзандовские идеи» (7, 385). Если же вспомнить, что роль хозяйки на редакционных обедах «Современника» выполняла Панаева, то вызывающее поведение Толстого 6 февраля 1856 года приобретает подтекст. Его неприязнь распространялась не только на Ж. Санд, которая представлялась ему символом нравственной распущенности, но и на ее русскую последовательницу.¹⁶

Разумеется, даже беглые схемы обеих пьес свидетельствуют о чудовищном гиперболизме в изображении обличаемых персонажей. Стремясь высмеять жоржзандовскую концепцию любви и брака, молодой Толстой создавал грубый шарж. Из дневниковой записи от 12 января 1857 года видно, что писатель упорно стремился заклеить ненавистный ему женский тип и его создательницу. В плане к комедии «Практический человек» вновь фигурирует «жоржзандовская женщина» рядом с «Гамлетом нашего века»; вместе они должны были олицетворять «вопиющий большой протест против всего; но безличные [?]» (47, 111).

Пьеса «Зараженное семейство» (1864) оказалась единственной завершенной из задуманных антифеминистских комедий Толстого. На ее страницах нашло отражение сложное, чтобы не сказать враждебное, отношение писателя к Чернышевскому, который высоко почитал Ж. Санд¹⁷ и в 1855—1856 годах перевел для «Современника» и прокомментировал многотомное собрание ее мемуаров под названием «История моей жизни» («Histoire de ma vie»).

В образе акцизного чиновника и знаменитого писателя Венеровского в шаржированном виде были запечатлены некоторые черты облика и биографии Чернышевского, а студент-нигилист Твердынский напоминал Добролюбова. В пьесе, разумеется, присутствовала эмансипированная героиня, на этот раз двадцатипятилетняя «девица» Катерина Матвеевна Дудкина. Она появляется «стриженной (...) в коротком платье, с книжкой журнала под мышкой» и обязательной «папироской» во рту (7, 185). При этом она имеет привычку так крепко жать мужчине руку при встрече, что тот «морщится от боли» (7, 218). Говорит Дудкина утрированно книжным, почти протокольным языком, выставляя напоказ свою «ученость» и претензии на понимание общественных потребностей времени. Снисходя до своих «неразвитых» родственников, она объясняет близкие ей самой нравственные запросы Анатолия Дмитриевича Венеровского, на которого имеет тайные виды: «Этот господин женится только в том случае, ежели найдет женщину, вполне понявшую

¹⁶ О крайне недоброжелательном отношении Толстого к Панаевой красноречиво говорит его запись в дневнике 31 июля 1857 года: «Авд[отья] стерва, жаль и П[анаева] и Н[екрасова]» (47, 150).

¹⁷ См.: Скафтымов А. П. Чернышевский и Жорж Санд. Саратов, 1928.

свое назначение, свободную в жизни и в мысли. Ежели он встретит такую женщину, — а их немного, — он, может быть, захочет испытать жизнь с нею, и если в испытании обе стороны в своей равноправности сочтут себя удовлетворенными, он соединится с нею, с этой женщиной или девицей, но никак не браком, так, как вы разумеете» (7, 186).

Дудкину можно было бы назвать точным слепком с тургеневской Евдоксии Кукшиной. Обе «передовые» женщины отличаются непривлекательной внешностью, а отсутствие женственности стремятся компенсировать грубовато-развязным обращением с мужчинами, которых они с первого дня знакомства зовут по фамилии. Но тургеневская «замечательная личность» с презрением отзывается о Ж. Санд, считая ее безнадежно «отсталой»: «Как возможно сравнить ее с Эмерсоном! Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время — как вы хотите без этого?»¹⁸

Никакие детали внешнего облика и поведения Кукшиной не делают ее столь смешной, как научно аргументированное противопоставление себя Ж. Санд, в котором проявляется все непомерное самомнение этой новоявленной защитницы прав женщин. Тургенев показал профанацию высокой идеи, исходящей от почитаемой им французской писательницы. Толстой же все уродливые проявления женской эмансипированности считал прямым следствием влияния Ж. Санд. Степень сатирической гиперболизации образа Дудкиной весьма ярко отражает ее решительное объяснение в любви: «(...) Венеровский! Я исследовала глубину своего сознания и убедилась, что мы должны соединиться! да... В каких формах должно произойти это соединение — я предоставляю вам. Найдете ли вы нужным, в виду толпы и неразвитых как ваших, так и моих родственников, проделать церемонию бракосочетания — я, как ни противно это моим убеждениям, вперед даю свое согласие и делаю эту уступку. Но я желаю одного. Среда, как я уже сказала, душит вас и подавляет меня. Мы должны уехать отсюда. Мы должны поселиться в Петербурге, где найдем более сочувствия нашим убеждениям, и там должны начать новую жизнь, на новых принципах и основах. Вопрос же об обладании мною уже решен между нами» (7, 222).

В этой тираде Толстой мастерски спародировал «эпидемию», которая, по свидетельству С. Ковалевской, охватила в 1860-е годы русскую молодежь: во всех дворянских семьях дети бунтовали против родителей по идейным соображениям, девушки убегали из дома, устремляясь в Петербург — учиться.¹⁹

Однако в целом эмансипированная героиня предстает в этом завершенном произведении Толстого не столько циничной и развращенной, сколько обманутой ложными теориями. В финале она даже вызывает сочувствие, кажется жалкой, потому что ее избранник предпочитает ей «неразвитую», но хорошенькую Любочку. Объясняет выбор Венеровского его товарищ по университету Беклешов: «(...) не дается женщинам вместе милость и развитие. Эти глупенькие, розовенькие все-таки приятнее» (7, 216).

Вообще идеи феминизма представлены в «Зараженном семействе» менее примитивно, чем в предыдущих драматических фрагментах. Некоторые высказывания Венеровского верно передают сущность женского вопроса, бурно обсуждавшегося в то время в России. Например, герой объясняет своей молоденькой невесте, «что одно из главных призваний нашего века — это освобождение женщины из варварского рабства, в котором она подавляется» (7, 235). И когда наивная Любочка излагает собственное понимание этого «освобождения»: «Да, отчего нельзя в другой раз замуж выйти? Я часто это думала. Ну, вдруг наскучит мне один муж,

¹⁸ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. Т. VIII. С. 260.

¹⁹ См.: Ковалевская С. В. Воспоминания; Повести. М., 1974. С. 57.

я разлюблю его совсем...» (7, 235), Венеровский ее осаживает. «Да-с, — разъясняет он, — вот так-то в устах толпы и компрометируется великая доктрина эманципации женщин! Она не в том, совсем не в том. Свобода женщины в том, чтобы быть равноправной мужчине и не быть вечно на помочах отца, а потом мужа. Женщина должна твердо стоять в обществе на своих ногах и быть в силах прямо смотреть в лицо этому обществу» (7, 235).

Передавая достаточно точно смысл этической концепции Чернышевского, Михайлова и других российских идеологов 1860-х годов, Толстой, убежденный в ее несостоятельности, использовал для ее дискредитации не только карикатуру. Он не превратил Венеровского в подлеца, но сделал его догматичным и бессердечным. Пренебрегая всеми «консервативными» традициями, герой отрицает кровные связи во имя идейных и оказывается жестоким по отношению к юной жене, высокомерным и наглым в обращении с родными. Под стать ему и Твердынский, который учит гимназиста Петю презирать родителей. Возможно, сгущая краски в изображении черствости и бездушия этих героев, Толстой укрупненно хотел показать главные, по его мнению, недостатки молодых руководителей «Современника» — их «кабинетность», «оторванность от жизни».²⁰

Выступая подобным образом против «новых людей» (а именно таким было первоначальное название пьесы), Толстой не забыл и Ж. Санд, справедливо видя в ней вдохновительницу нравственных идеалов шестидесятников. В одном из черновых вариантов «Зараженного семейства» герой «развивает» Любочку не с помощью статей собственного сочинения (как в окончательной рукописи), а через романы Ж. Санд (7, 306). И хотя выбор их не уточнен, упоминание автора уже как бы определяет источник зла.

Закончив комедию к началу 1864 года, Толстой добивался ее постановки в текущем сезоне в Малом театре. Однако очень скоро он утратил к ней интерес, почувствовав, по-видимому, ее художественную слабость. «(...) Комедия, кажется, плоха, — признавался он в письме к М. Н. Толстой 24 февраля 1864 года, — она вся написана в насмешку эманципации женщин и так назыв[аемых] нигилистов» (61, 37). Судя по всему, Толстой объективно увидел свою неудачу в откровенной тенденциозности замысла. Никогда не издававшаяся и не ставившаяся на сцене, пьеса осталась фактом внутреннего протеста писателя против феминистского движения, его идеологов, и в том числе Ж. Санд.

Размышления Толстого о браке и предназначении женщины в раннем периоде его творчества нашли свое художественное завершение в романе «Война и мир», особенно в его эпилоге. Судьба Наташи Ростовой — лучшее подтверждение идеала женщины, посвятившей себя семье, и в этом писатель усматривал высокий смысл ее жизни. Итог его рассуждений в публицистической форме был дан в статье «О браке и призвании женщины», опубликованной в сентябрьском номере «Вестника Европы» за 1868 год.

Полемизируя с возможными оппонентами, не принявшими способ решения женского вопроса, предложенный им в романе, Толстой иронизировал: «Почему же, — скажут мне (...) милые дамы, (...) почему же (...) хорошая мать не должна чесаться и умываться?» (7, 133). Писатель обыграл при этом поверхностное представление о себе некоторых читательниц: «Автор по своей особенной логике (...) кажется, предполагает, что все назначение женщины состоит в рожании [и] воспитывании детей, и по невежеству своему не слышал того, что выработала новейшая социальная наука о назначении женщины, игнорирует о той разработке неразрешимого вопроса о браке (...)» (7, 134). И далее он уже с полной серьезностью излагал свои убеждения: «Призвание мужчины — это рабочие пчелы улья чело-

²⁰ См.: Бурсов Б. И. Лев Толстой. Идеиные искания и творческий метод: 1847—1869. М., 1960. С. 251—252.

веч[еского] общества — бесконечно разнообразно, но призвание матки, без которой невозможно воспроизведение рода, — одно несомненное. И несмотря на то женщина часто не видит этого призвания и избирает мнимые — другие. Достоинство женщины состоит в том, чтобы понять свое призвание. Женщина же, понявшая свое призвание, не может ограничиться кладением яиц. Чем более она будет вникать в него, тем более это призвание будет захватывать ее всю и представляться ей бесконечным (...) И потому женщина тем лучше, чем больше она отбросила личных стремлений для положения себя в мат[еринском] призвании» (7, 134).

В то время, когда вся российская печать с энтузиазмом обсуждала не только проблему женского образования, но и идеи равноправия и участия женщины в общественной жизни,²¹ Толстой занял особую позицию. Дискуссия о женском вопросе, отражаясь в искусстве, повлекла за собой новое изображение любви как средства идейно-нравственного пробуждения личности. Ранее других этот этап формирования женского самосознания запечатлел И. С. Тургенев, обладавший исключительной чуткостью ко всем нарождавшимся психологическим и общественным явлениям. Известно, что Толстой заметил новизну тургеневских женских образов, наделенных гражданской активностью, энергией в поисках действенного идеала. «Тургенев сделал великое дело, — утверждал впоследствии Толстой, — тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть, таких, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это верно; я сам наблюдал потом тургеневских женщин в жизни».²² Сам он тем не менее оставался идейным противником феминизма и до конца жизни сохранял неприязнь к той модели женской личности, которая в его восприятии была связана с Жорж Санд.

* * *

Но творчество французской писательницы далеко не исчерпывалось проблематикой женской эмансипации. Негодование Толстого против «жоржзандовских женщин» не мешало ему иногда получать удовольствие от Санд-художника. 24 августа 1854 года в его дневнике появляется любопытная запись: «(...) целый день, кроме утра писанья и чтенья прекрасного р[омана] Жоржа Занда, ничего не делал» (47, 24). Установить, какое произведение имел в виду Толстой, вряд ли возможно, поскольку, обращаясь непосредственно к оригиналу, он не придерживался хронологического принципа в своем выборе. Важен, однако, сам факт его одобрения. Дневниковые материалы убеждают, что на протяжении 1850-х годов — периода интенсивного самообразования — Толстой помимо «Теверино» прочел еще несколько романов Ж. Санд.

По-видимому, первым из них был «Орас». 2 июня 1851 года Толстой — начинающий литератор записал в дневнике по-французски цитату из этого произведения. Фрагмент самохарактеристики главного героя, взятый из десятой главы романа, он поместил в контекст размышлений о собственном кризисном душевном и творческом состоянии. В русском переводе отрывок звучит так: «А потом — эта ужасная необходимость переводить на слова и строчить каракулями горячие, живые и подвижные мысли, подобные лучам солнца, озаряющим воздушные облака. Куда бежать от ремесла! Великий Боже!» (46, 78).²³

Чтение «Ораса» пришлось на время приезда Толстого на Кавказ, где начались,

²¹ См.: Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении. М., 1988. С. 47—53.

²² Цит. по: М. Горький и А. Чехов. Переписка; Статьи; Высказывания. М., 1951. С. 161.

²³ «Et puis cette horrible nécessité de traduire par des mots et aligner en pattes de mouches des pensées ardentes, vives, mobiles, comme des rayons de soleil teignant les nuages de l'air. Où fuir le métier, Grand Dieu!» (46, 78).

по выражению Б. М. Эйхенбаума, его настоящие *Léhrjahre*.²⁴ В процессе работы над повестью «Детство» перед ним возник вопрос о ремесле, которым необходимо было овладеть, чтобы достигнуть мастерства. Непосредственно перед цитатой из «Ораса», анализируя свое состояние, Толстой заметил: «Писать тоже не могу» (46, 78). А месяц спустя, 3 июля 1851 года, он передал муки творческого бессилия описать красоту лунной ночи почти в тех же выражениях, что и жоржсандовский герой: «Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это. Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова — фразы; но разве можно передать чувство. Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно» (46, 65).

Эта запись, отражающая сомнение в возможностях словесного выражения всего разнообразия чувственных ощущений, близка переживаниям литературного героя, «вдохновение которого гаснет», едва он приближается к «проклятому столу». ²⁵ Таким образом, неудовлетворенность Толстого словом и даже «самим процессом писания» находит себе параллель не только у Руссо в его «Исповеди», что подметил еще Б. М. Эйхенбаум,²⁶ но и в «Орасе». А на прямую связь размышлений Толстого, записанных 3 июля, с романом Ж. Санд указывает его неожиданное признание, сделанное на следующий день, 4 июля: «Я читал *Horace*. Правду сказал брат, что эта личность похожа на меня. Главная черта: благородство характера, возвышенность понятий, любовь к славе, — и совершенная неспособность ко всякому труду. Неспособность эта происходит от непривычки, а непривычка — от воспитания и тщеславия» (46, 66).

Чтобы понять парадоксальность сравнения, сделанного Толстым, и прочувствовать его искренность, надо вспомнить, что «*Horace*» (1841) воспринимался современниками Ж. Санд как один из самых интересных и проблемных ее романов. С одной стороны, писательница дискредитировала в нем тип героя-романтика, в котором практические и теоретические начала разобщены. Для Белинского и его единомышленников Орас стал нарицательным именем, обозначающим человека, несостоятельного в творчестве, политике и любви. В статье «Мысли и заметки о русской литературе» (1846) Белинский, для более наглядного разграничения понятия «талант» и «гений», приводил длинную цитату, характеризующую Ораса как автора, способного лишь на подражание и лишеного индивидуальности (IX, 456). Герцен в статье «Оба лучше» (1856) рассматривал Ораса как представителя той буржуазной интеллигенции, которая привела к поражению революции 1848 года: «Орас — главный виновник бедствий, обрушившихся на Европу в последнее время. Он увлек своими фразами массы так, как увлек Марту в романе, — для того чтоб предать их при первой опасности».²⁷

С другой стороны, центральное место в романе заняла проблема семейно-любовной этики. Ж. Санд, несмотря на утверждения враждебных ей оппонентов, были чужды требования сен-симонистов и фурьеристов уничтожить брак и заменить его свободными половыми отношениями. Она без колебаний выступала против «разрушения семьи», в защиту «святости любви на земле». Реальная цель, к которой могла стремиться современная женщина, — это, по ее мнению, «гражданское равенство, равенство в браке, равенство в семье».²⁸ Писательница отстаивала не антитезу «женщина — мужчина», но понятие «человеческое существо» («*l'être*

²⁴ Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пгр.; Берлин, 1922. С. 29.

²⁵ Санд Ж. Собр. соч.: В 9 т. Л., 1972. Т. 4. С. 542. Далее ссылки на произведения Ж. Санд, кроме специально оговоренных, даются по этому изданию с указанием тома и страницы.

²⁶ Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. С. 35.

²⁷ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. XII. С. 336. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

²⁸ См. неотправленное письмо Ж. Санд членам Центрального комитета женского общества, датированное апрелем 1848 года: *Sand G. Correspondance*. Paris, 1971. Т. 8. P. 400—406.

humain»), которое «обнаруживается за всеми различиями и которое способно совершенствоваться (...) как душа и как дитя Бога». ²⁹

Свое представление об идеальном браке романистка реализовала на примере двух супружеских пар. Поль Арсен с Мартой и Теофиль с Эжени строят новую нравственность в микромире, независимом от общественных условий. Продемонстрировав поведением конкретных героев возможность обновления и очищения брака «от религиозного и юридического насилия», ³⁰ Ж. Санд вызвала длительные дискуссии как во Франции, так и за ее пределами, особенно в России. ³¹

Белинский находился под таким сильным впечатлением от изображенного в «Орасе» понимания любви, когда мужчина видит в женщине личность, равную себе по духовному развитию, что пытался руководствоваться этими принципами в своих отношениях с будущей женой. «Для меня, — писал он М. В. Орловой в октябре 1843 года, — противны слова: *невеста, жена, жених, муж*. Я хотел бы видеть в Вас *ma bien-aimée, amie de ma vie, ma Eugénie*» (мою возлюбленную, друга жизни моей, мою Евгению — франц.; XII, 197). ³²

Показанный Ж. Санд образец семейно-любвых отношений стал действенным и для Герцена. Когда возникли осложнения между Боткиным и его молодой женой, он склонен был встать на сторону женщины, усматривая в друге черты жоржсандовского героя. «Что за странная, уродливая история! — отметил он в дневнике 30 сентября 1844 года. — (...) Конечно, Б(откин) более виноват, нежели 18-летняя неразвитая, пылкая парижанка, — ему 35 лет (...) Неразвитость ее не резон — он должен был развить ее. Эгоизму бездна виднеется в этом пренебрежении к ближнему, что-то горасовское» (II, 385).

Толстой, читая роман в 1851 году, как бы вообще не заметил утверждаемого в нем этического идеала. Не обратил внимания он и на образ студента Ларавиньера, который стал для Белинского примером «человека и мужчины» (XII, 147). Тип героя идеи, синтезированный из нарождающихся потребностей, оказался Толстому чужд. Он воспринимал произведение Ж. Санд в контексте собственных идейно-нравственных и творческих исканий. Поэтому неудивительно, что в пору интенсивного самонаблюдения и самоиспытания его привлек проблемный герой. Главный персонаж Ж. Санд сделался для него основой для самокритики, этапом, который ему необходимо было преодолеть в процессе самосовершенствования. Образ Ораса был тем более интересен Толстому, что раскрывался и разоблачался он не прямолинейно, а постепенно, через несоответствие между его высокими словами и недостойными поступками, через объективное исследование его характера, поскольку повествование велось от лица его друга, Теофиля, который «порой ненавидел и презирал его, но все же ни к кому и никогда не испытывал столь властного и непобедимого чувства симпатии» (4, 378).

В предисловии к переизданию романа в 1852 году Ж. Санд писала, что из-за образа Ораса нажила себе «немало непримиримых врагов», настолько узнаваемы

²⁹ Ibid. P. 640 (lettre à Guiseppe Mazzini. 30 septembre 1848).

³⁰ Реузов Б. Г. Жорж Санд (1804—1876) // Санд. Ж. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 35.

³¹ Русский перевод романа появился в «Отечественных записках» в 1842 году (Т. 23. Август. Отд. I. С. 161—284; Т. 24. Сентябрь. Отд. I. С. 45—173).

³² Упоминание имени жоржсандовской героини без всякого пояснения означало, что невеста Белинского владела ключом к смыслу, помнила слова Теофиля, утверждавшего идею брака, основанного на взаимном уважении прав личности: «Чтобы полюбить, надо сперва понять, что такое женщина и с какой заботой и уважением должно к ней относиться. Тому, кто постиг святость взаимных обязательств, равенство полов перед богом, несправедливость общественного порядка и мнения толпы в этом вопросе, любовь может открыться во всем своем величии, во всей своей красоте; но тому, кто пропитан грубыми предрассудками, кто считает, что женщина по своему развитию стоит ниже мужчины, что долг ее в отношении супружеской верности отличен от нашего, тому, кто ищет лишь волнений крови, а не идеала, любовь не откроется никогда» (4, 452).

ми были присущие ему черты. Главный порок, который стремилась при этом изобличить писательница, — «необузданное себялюбие» (4, 375). В посвящении Шарлю Дюверне она добавила, что Орас — «опасный» тип современного молодого человека, ибо он «обладает подлинными достоинствами» (4, 376).

Любопытно, что Герцен, познакомившийся с романом в 1842 году, воспринял Ораса как «жертву века больше, чем организации». «Он не способен к сильной страсти, — отмечал Герцен в дневнике, — потому что не способен жить для другого, в другом» (II, 222—223). И, подобно Толстому, с большой долей самокритичности и честности, он признал обобщающее значение этого персонажа: «А между тем многие ли, сойдя в глубину души, не найдут в себе много горасовского? Хвастовство чувствами, которых нет; страдания для народа, желание сильных страстей, громких дел и полная несостоятельность, как дойдет до дела. А слабость раскаиваться, просить прощенья и на другой день впадать снова в порок. Это я испытал на себе» (II, 223).

Двадцатитрехлетний Толстой не боялся заглянуть в глубины своей души и открыть в себе немало недостатков и пороков для того, чтобы их победить, сделаться более совершенным.

Поскольку первая выписка из «Ораса» относится ко 2 июня, а прямое сравнение себя с жоржсандовским героем Толстой сделал 4 июля 1851 года, становится очевидным, что более месяца роман так или иначе занимал его мысли. Возможно, размышления о характере Ораса побудили его к более беспощадному исследованию своих слабостей. Так, 4 июня он отметил главное, в чем может «упрекнуть себя, это: недостаток твердости характера, тщеславие и неаккуратность» (46, 78). Именно эти черты постоянно подмечались в облике Ораса его друзьями.

Особенно много психологических переключек с дневниковыми самонаблюдениями можно обнаружить в десятой главе романа, откуда и была выписана цитата, посвященная «мукам слова». Перебирая разные причины неудач друга на литературном поприще, Теофиль открывает основную: «Я полагаю, для того чтобы писать, нужно иметь определенное и обоснованное мнение о том, что пишешь (...). Орас не имел твердого мнения о чем бы то ни было» (4, 449). 2 июня Толстой делает аналогичное саморазоблачающее признание: «(...) меня забавляет все; но в том горе, что я слишком рано взялся за вещи серьезные в жизни, взялся я за них, когда еще не был зрел для них (...) так сильной веры в дружбу, в любовь, в красоту: нет у меня; и разочаровался я в вещах важных в жизни; а в мелочах еще ребенок» (46, 77). Но, по-видимому, в самобичевании Толстой переборщил, потому что уже 8 июня он вернулся к проблеме веры в высокие идеалы: «Любовь и религия — вот два чувства — чистые, высокие» (46, 79). Это размышление соотносилось с мыслью Теофиля о том, что «любовь — наиболее религиозное проявление нашей духовной жизни, наиболее важное из наших индивидуальных действий по отношению к обществу» (4, 450).

Хотя Толстой и не высказался по поводу любовно-этической концепции романа, он задумался о сущности любви: «Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал» (46, 79). А затем две страницы он посвятил воспоминанию о Зинаиде Молоствовой, с которой познакомился в Казани, пытаюсь разобраться, можно ли назвать его чувство к ней любовью.

Постоянная внутренняя раздвоенность Ораса, выявляемая пристрастным наблюдателем, отвечала потребности Толстого в саморефлексии. В целом можно говорить о нравственно-психологической связи его восприятия характера Ораса с углублением в собственный духовный и практический опыт.

16 декабря 1853 года Толстой записал в дневнике еще одну цитату из Ж. Санд: «Si une femme d'esprit n'est pas originale, elle est méchante» (если умная женщина не оригинальна, она зла — франц.; 46, 210). Выяснить, откуда взято суждение, не удалось. Но Толстому это размышление о женском характере показалось любопыт-

ным, поскольку, подытоживая все важные события дня, он отметил и «мысль Ж. Занда» (46, 211).

Два последних отзыва Толстого-читателя о романах Ж. Санд относятся уже к более позднему времени. Весьма резкий касается «Консуэло». Это произведение Толстой прочел только в 1865 году, т. е. более двадцати лет спустя после его появления. Поэтому не случайно его реакция значительно отличалась от рецепции «людей 40-х годов». Белинский называл его «великим, божественным» (XII, 124), особенно высоко ценя при этом венецианские главы (VIII, 35). Герцена увлекла историческая сторона книги; «(...) что за гениальное восстановление жизни высшего общества в половине XVIII века; как она постигнула двор Марии-Терезии, Фридриха!» — написал он в дневнике (II, 371).

В середине 1860-х годов попытка Ж. Санд сочетать на протяжении огромной эпопеи элементы исторического, социального и воспитательного романа, психологический анализ и философские отступления показала Толстому несомненной неудачей. 23 сентября 1865 года он дал в дневнике язвительную оценку романа: «Читал *Consuelo*. Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали. — Пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами» (48, 63).

Толстого, нашедшего синтез общественного и личного в совершенствуемом им жанре семейного романа, не могла удовлетворить сама основа произведения Санд, отличающаяся «хронологической беспечностью» и откровенно условным историзмом. Как справедливо отмечал А. И. Белецкий, «история в „Консуэло“ ощущается только как орнаментика, как декоративный фон, которым автор то пользуется, то не пользуется».³³ В качестве романа идеологического, пронизанного пафосом отрицания существующей действительности, поиском разумных путей ее преобразования, он был своевременным в начале 1840-х годов. Но уже Тургенев в 1849 году подметил отсутствие в нем художественной целостности.³⁴ А в 1865 году его недостатки (авторский произвол, псевдоисторизм, отступление от логики жизненной и психологической правды, особенно при изображении главных героев) сделались еще более очевидными для Толстого. Его выразительный и в сущности верный приговор предвосхищал позднейшие критические отклики на роман, метко разя его недостатки.³⁵

К 1870 году относится самая высокая оценка, данная Толстым Ж. Санд-художнику. В письме А. А. Фету от 2 октября писатель лаконично заметил: «Есть у вас *Revue des deux mondes*, там есть „*Malgré tout*” *George Sand*'a. Молодец — старуха» (61, 239). Этот однозначно положительный и конкретный отзыв Толстого требует расшифровки, тем более что названное произведение, написанное в конце 1869 года и публиковавшееся в «*Revue des deux mondes*» с 1 февраля по 15 марта 1870 года, не переводилось на русский язык.

В предисловии, прибегая к метафорической образности, Ж. Санд обрисовала смятение умов накануне франко-прусской войны и краха Второй империи: «Раздраженные и огорченные голоса кричат (...) что мир гибнет (...) волны поднимаются, и от общественного корабля скоро останется лишь обломок. Но те, чье сердце не угасло в страхе, ощущают разнообразные жизненные силы, мощное дыхание которых поддерживает и подхватывает их. Далек ли берег? Зачем об этом спрашивать?

³³ Белецкий А. И. Роман о призвании артиста. Вступительная статья // Санд Ж. Консуэло. М., 1947. С. XIII.

³⁴ В письме к Полине Виардо он писал: «На этих днях я просмотрел „Консуэло”. Очень много прелестных мест, но m-г Альбер несносен так же, как вся нездоровая фантазмагория, которая его окружает. М-ме Санд часто портит самые обаятельные свои женские образы, заставляя их быть болтливыми, рассудительными и педантичными» (*Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. I. С. 347*).

³⁵ См.: *Трескунов М. С. Жорж Санд: Критико-биографический очерк. Л., 1976. С. 131–132.*

Никто этого не знает; но все могут действовать, и тот будет действовать непременно, кто по-прежнему любит родину и еще верит в способность человека к совершенствованию».³⁶

Написанный в кризисный для Франции момент, роман пронизан руссоистской верой в нравственный прогресс личности и полемически направлен против идеи физиологического детерминизма человека. Рассказанная от лица молодой девушки Сары Оуэн (Owen) история «единственного любовного увлечения в ее жизни» составляет сюжетный стержень этого произведения. Проблематика его связана с размышлением над вопросом: в чем состоит счастье и смысл жизни женщины? И шире: в чем вообще предназначение человека? Ж. Санд, давно уже отошедшая от социальных бурь своей эпохи, основывала надежды на личной нравственности и самовоспитании. Разные герои своими словами и поступками подтверждали этический идеал автора, во многом созвучный Толстому.

Отец главной героини, убежденный в единстве прекрасного и доброго, эстетического и нравственного начал в жизни («ce qui est vraiment beau est toujours bon, ce qui est vraiment bon est toujours beau dans l'ordre des idées»),³⁷ и свою дочь воспитывает в этой вере. Абель (Abel), талантливый музыкант, несмотря на беспорядочную жизнь артиста, сохраняет внутреннюю чистоту. Всем своим поведением он восстает против светских правил, которые считает «пошлыми» (fades), «ложными» (menteuses) и «подлыми» (laches). Во имя самопроверки и самопознания знаменитый скрипач соглашается на годичную разлуку с любимой (уезжая при этом на гастроли в далекую «холодную» Россию): «Я хотел испытать, проверить себя, являюсь ли я грубым животным, рабом своих чувств, или несчастным, которого возбуждение от искусства и успеха бросает как добычу химерам и монстрам. Я обнаружил в себе тихого и нежного человека».³⁸

К высшей человеческой мудрости приходит в финале и Сара. Замечательная музыкантша, она предпочитает блестящим успехам в свете семейное счастье, поняв, что «самое сильное средоточие» ее жизни заключается в «материнском чувстве».³⁹ «Если тебе предстоит еще страдать, — рассуждает она сама с собой, решаясь соединить свою судьбу с Абелем, — то разве не найдешь ты вознаграждения в детях, посланных тебе Богом? И разве ты не знаешь, что все счастье состоит в том, чтобы давать счастье тому, кого любишь (...)»? Завершается роман трезвым размышлением героини о притятии жизни во всей полноте ее проявлений: «Я не хочу питать слишком много иллюзий, я хочу иметь перед Богом (...) достоинство примириться уже заранее как с плохим, так и с хорошим».⁴⁰

В период социальных катастроф и крушения многих нравственных ценностей Ж. Санд увидела спасение в интимном мире семьи, помогающем человеку выстоять. Символично название романа — «Malgré tout» («Несмотря ни на что»). Это, с одной стороны, название удаленного от столицы имения, где поселяется Сара, с другой — квинтэссенция пафоса произведения. Писательница синтезировала руссоистское представление о благой природе человека и призыв Вольтера «возделывать свой сад». Главная мысль Ж. Санд была близка и Толстому во время его работы над романом «Война и мир». Понимая, что невозможно изолировать «малый» мир (частную жизнь) от мира «большого» (жизни общества и вселенной), он все же в семейной гармонии видел важное условие счастья человека. Жизненный выбор Сары Оуэн полностью соответствовал представлениям Толстого о предназначении женщины. Название жоржсандовского произведения удивительным обра-

³⁶ Sand G. Malgré tout. A mon ami Edmond Plauchut // Revue des deux mondes. 1870. T. LXXXV. P. 546.

³⁷ Ibid. P. 574.

³⁸ Ibid. T. LXXXVI. P. 293.

³⁹ Ibid. P. 294.

⁴⁰ Ibid. P. 294—295.

зом перекликалось с первоначальным названием романа Толстого — «Все хорошо, что хорошо кончается». Отмеченное сходство объясняет, почему именно это произведение вызвало безоговорочную похвалу обычно столь придирчивого Толстого-критика.

* * *

Больше сведений о читательском внимании Толстого к сочинениям Ж. Санд, которая ушла из жизни в 1876 году, не сохранилось. Интересуясь новинками современной литературы, он вряд ли перечитывал их в 1880-е и более поздние годы. Но некоторые проблемы, продолжавшие волновать русского писателя, так или иначе ассоциировались с творчеством Ж. Санд. Прочно связанный с именем французской романистки женский вопрос вновь нашел отражение в «Анне Карениной».

Первоначальным импульсом к замыслу романа было желание Толстого изобразить «тип женщины замужней, из высшего общества, но потерявшей себя». По свидетельству С. А. Толстой, он хотел ее сделать «только жалкой и не виноватой».⁴¹ Разрабатывая использовавшийся в свое время и Ж. Санд сюжет — супружеская неверность и ее последствия, — Толстой отступил от схемы классического европейского романа.⁴² Еще в одном из вариантов предисловия к «Войне и миру» он писал, что не умеет «положить вымышленным лицам известные границы — как то женитьба или смерть, после которых интерес повествования бы уничтожился». С точки зрения писателя, «смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса» (13, 55).

Последнее замечание отражало близкое и Ж. Санд понимание брака как отправной точки для возможной драмы человеческих отношений. Вместе с тем, вводя в традиционный сюжет «эпический элемент», а рядом с ним, параллельно, развивая иной сюжет, эпический в своей основе,⁴³ Толстой потенциально полемизировал с Ж. Санд. Выдерживая, как правило, одну основную сюжетную линию, французская романистка завершала ее свадьбой или смертью главных героев, в зависимости от счастливого или трагического разрешения конфликта. Подобная структура, сформированная под воздействием классического рационализма, была свойственна и роману «Malgré tout», так понравившемуся Толстому за пронизывающую его нравственную идею.

Роман Толстого продолжался после женитьбы Левина и даже после гибели Анны. Русская критика несколько раз ошибалась, предсказывая, чем закончится «Анна Каренина». Считали, например, что последней сценой будет примирение Каренина и Вронского у постели умирающей героини.⁴⁴ Подобный финал был бы выдержан в духе повести А. Дружинина «Полинька Сакс» (1847), которая, в свою очередь, была ориентирована на роман Ж. Санд «Жак», хотя и содержала скрытую с ним полемику.⁴⁵

Сюжетная линия Анны, приобщающейся к общей жизни через любовь, построенная как череда драматических столкновений со светским обществом, оказалась близкой сюжетной модели ранних произведений Ж. Санд, обычно называемых романами «страсти». Писательница дала два решения судьбы замужней женщины, осмелившейся полюбить по собственному выбору. Утопический вариант был

⁴¹ Толстая С. А. Мои записи разные для справок // Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 497.

⁴² См.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 127—173.

⁴³ Бурсов Б. И. Лев Толстой и русский роман. М.; Л., 1963. С. 107.

⁴⁴ См.: Бабаев Э. Г. Роман и время: «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого. Тула, 1975. С. 54.

⁴⁵ См.: Егоров Б. Ф. Проза А. В. Дружинина // Дружинин А. В. Повести; Дневник. М., 1986. С. 431—438.

показан в «Индиане», где героиня осуществляла свой идеал любви вдали от жестокого «большого» мира, среди экзотической природы острова Бурбон. Трагический и вместе с тем реальный исход продемонстрировала Валентина, становящаяся в финале одноименного романа жертвой несправедливых общественных законов и предрассудков.

Толстой в процессе работы над романом во многом усложнил и облагородил образ Анны. Судя по первоначальным наброскам, он пытался объяснить «преступление» своей героини влиянием новейших нигилистических теорий и запечатлеть как бы еще один тип эмансипированной женщины (20, 4, 6). Поэтому в ранних черновиках в изображении Анны присутствует тень порока: она развязна, фальшива, чересчур экстравагантна; в ней подчеркивается «дьявольское» начало (20, 40, 41, 202). На ее внутреннем облике лежит печать, по выражению Н. К. Гудзия, «не то inferнальной женщины, не то львицы» (20, 596). Предубеждение автора против неверных жен было столь сильным, что главным страдательным персонажем он намеревался сделать Каренина. Такому взгляду на ситуацию соответствовало и первое заглавие романа: «Молодец — баба».

Но постепенно Толстой очистил образ Анны от всех принижающих ее черт; в окончательном тексте она по своим человеческим качествам неизмеримо выше Каренина и Вронского. Он изобразил жизненную драму духовно незаурядной женщины, существом образом переосмыслившей общепринятые нравственные ценности и осознавшей конфликт между существующим и должным.⁴⁶ Продолжая полемизировать с апологетами женской эмансипации, Толстой тем не менее превратил свою «погибшую» героиню в трагическую фигуру, вызывающую глубокое сострадание, созвучное пафосу романов «страсти» Ж. Санд.

«Поздний» Толстой пришел к новому пониманию брака, приблизившись, как это ни парадоксально, к точке зрения на него французской романистки. Он объективно продемонстрировал нравственную несостоятельность союза, основанного только на чувственном влечении. Трагические последствия ограниченного взгляда на женщину как любовницу, «самку» запечатлены в повести «Крейцерова соната». Сознательно отказываясь от традиционного принципа занимательности, Толстой начал произведение с конца. С первых страниц читатель узнает, что Позднышев убил свою жену. Заставляя героя восстановить в памяти все пережитое, начиная со времени ухаживания за невестой до кровавой развязки, писатель показывает нравственное уродство института брака в современном обществе. Сама форма отношений, при которой женщина превращается в предмет плотского вожделения, «орудие воздействия на чувственность», кажется ему противоестественной. Но психологическое прозрение Позднышева стало возможным лишь в экстремальной ситуации, последствия которой трагически необратимы.

В свое время Ж. Санд восстала против той «занимательности», которую принесла с собой школа «неистового» романтизма. Считая признаком плохого художественного вкуса пристрастие к поэтике ужаса и неожиданности, писательница направляла свои усилия на устранение из романного жанра таких его атрибутов, как «кошмары, убийства, отравления (...) причудливые страсти, ошеломляющие события».⁴⁷ Ее противодействие внешним формам драматизма было обусловлено стремлением сосредоточиться на нравственно-психологическом и социальном изображении человека.

Толстой пошел значительно дальше в своем отрицании «занимательности», преодолевая схему романного действия, ставшую нормой и для Ж. Санд. Полное уничтожение сюжетного интереса в художественном произведении становится эстетическим принципом писателя в послекризисный период. В трактате «Что такое искусство?» он писал: «(...) все больше и больше стал входить в искусство элемент

⁴⁶ См.: Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л., 1981. С. 157.

⁴⁷ Sand G. Lucrezia Floriani. Avant-propos. Paris, 1854. P. 9.

половой похоти, который сделался теперь необходимым условием всякого (за самыми малыми исключениями (...)) произведения искусства богатых классов» (30, 88). Настойчиво переводя проблему взаимоотношения полов в идейно-нравственный план, Толстой, сам того не подозревая, все более сближался с Ж. Санд.

Драма «Живой труп» обнаруживает типологические схождения в сюжетосложении и тематике с романом Санд «Жак». Федор Протасов, душевно красивый, благородный человек, обретший внутреннее прозрение, имитирует самоубийство, чтобы дать возможность любимым им людям — жене и другу — соединиться. Герой Толстого использует при этом способ самоустранения, предложенный у Н. Г. Чернышевского Лопуховым. В свою очередь и роман «Что делать?» идейно-тематически и сюжетно восходил к роману Ж. Санд «Жак». В нем через главного героя писательница высказала необычайно смелые для своего времени взгляды на брак, намного предвосхищая движение общественного мнения по этому вопросу.

Жак имел мужество обещать своей невесте тотчас вернуть свободу, как только брак превратится для нее в тюрьму, поскольку «любовь может угаснуть, дружба может стать унылой и тяжелой, а интимная близость вдруг да станет мучением» (3, 59). Но поступки героя далеко превзошли его обещания. Узнав, что у Фернанды появился возлюбленный, он взвесил разные варианты судьбы женщины, нарушившей супружеский долг. «А есть мужчины, — писал он сестре, — которые не задумываясь зарежут неверную свою жену, ибо смотрят на нее как на свою законную собственность. Другие же вызовут соперника на дуэль, убьют или искалечат его, а затем идут вымалывать поцелуи у женщины, которую они якобы любят, хотя она в ужасе отшатывается от них или смиряется с отчаянием» (3, 246). Сам он решил прибегнуть к самоубийству, чтобы дать возможность обожаемой им женщине открыто жить с любимым ею мужчиной.

Многих современников Ж. Санд поразило высокое благородство чувства Жака. Молодой Чернышевский воспринял его поведение, способность любить до самоотречения как образец для подражания в своей личной жизни.⁴⁸ Мнимое убийство Лопухова — это решение человека «новой» нравственности, продиктованное позицией «разумного эгоизма».

Толстой, проведя Федора Протасова сначала по пути героя Чернышевского, привел его затем к смерти, неосознанно вернувшись к трагическому финалу романа Ж. Санд. Оставаясь жить, Федор Протасов не мог разрубить узел жизненных противоречий, так как по решению суда должен был вновь соединиться со своей бывшей женой, успевшей к тому времени во второй раз выйти замуж.

И Жак и Протасов в их романтическом самоотречении и чистоте помыслов оказались «лишними людьми» в окружающем их обществе. Герои вовлечены в столь запутанный клубок противоречий алогичной действительности, что самоубийство, т. е. действие, осуждаемое религиозной моралью, возвышается в обоих случаях до акта христианского по сути самопожертвования. Толстой, вслед за Ж. Санд, показал несовершенство института брака как составного элемента несправедливого общественного устройства.

* * *

Лев Толстой и Жорж Санд, эти, казалось бы, столь разные художники, имели достаточно глубокие основания для некоторых типологических схождений. В ис-

⁴⁸ Из «Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье» явствует, что молодой Чернышевский беседовал с Ольгой Сократовной о романе Санд, примеривая его ситуацию к своим «понятиям о супружеских отношениях». Он записал такой диалог с невестой: «„Неужели вы думаете, что я изменю вам?“ — „Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай“. — „Что ж бы вы тогда сделали?“ — Я рассказал ей „Жака“ Жорж Занда. — „Что ж бы вы, тоже застрелились?“ — „Не думаю“» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. I. С. 528—529).

токах своих философских исканий оба они обращались к Руссо. Ж. Санд, в отличие от современных ей писателей-романтиков, не отбросила модель просветительского антропологизма, а усвоила руссоистскую концепцию изначально доброй природы человека. Влияние Руссо прямо и опосредованно проявлялось в идейно-эстетических и нравственных суждениях романистки, тематике, проблематике и пафосе ее художественных произведений.⁴⁹

Толстой, со своей стороны, на протяжении всей жизни сохранял живейший интерес к автору «Исповеди». В 1901 году он признавался в разговоре с профессором П. Буайе, что «прочел всего Руссо, все 20 томов, включая „Словарь музыки“». «Я более, чем восхищался им, — сообщил писатель, — я боготворил его {...} Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам».⁵⁰ Духовная близость между Толстым и Руссо покоилась, как считал М. Н. Розанов, на «какой-то стихийной, подсознательной близости к земле, к природе, какой-то инстинктивной тяге к первоисточникам жизни».⁵¹

По мысли Руссо, исправление зла, которое приносит в мир цивилизация, возможно или через возвращение к идеалам патриархальной чистоты, или в процессе нравственного самоусовершенствования. Оба эти пути по-своему отразились в творческих поисках Толстого и Санд.

Каждый из художников пришел к вере в народ как естественную силу бытия, противостоящую разращающему духу буржуазного мира. После кризисного периода 1880-х годов, встав на позиции идеолога и защитника патриархального крестьянства, Толстой создал цикл «Народных рассказов». Ж. Санд еще в 1840-е годы издала цикл так называемых «деревенских повестей», в которых впервые в художественной литературе заговорила о присущей крестьянину естественной нравственности. По мнению писательницы, выраженному в романе «Жанна» («Jeanne», 1845), «природа во все времена производит посреди этого класса существа, которые не должны ничему учиться, потому что идеал прекрасного заключается в них самих».⁵² В предисловии к «Франсуа-подкидышу» («François le Champi», 1848) она высказала близкие позднему Толстому убеждения: «{...} ведь крестьянин, самый простой и самый наивный, все-таки художник; и {...} я предполагаю, что их искусство даже выше нашего. Это другой вид искусства, но он больше говорит моей душе, чем иные формы, присущие нашей цивилизации. Песни, рассказы, народные сказки рисуют в немногих словах то, что наша литература умеет только преувеличивать и переряжать».⁵³

Известно, что Толстой предназначал для издания «Посредником» «деревенскую повесть» Ж. Санд «Чертова лужа» («La Mare aux diables»). И хотя план этот не осуществился, само по себе такое намерение — показатель высокой оценки. Небольшое по объему произведение, написанное в 1846 году, имело в России удивительно длительный успех: оно переиздавалось и переводилось до конца прошлого столетия десятки раз, неизменно вызывая сочувственные отклики критиков и внимание читателей. При очень непритязательном сюжете (поездка деревенского парня и девушки в соседнее село с целью женитьбы и устройства на работу) Ж. Санд сумела показать крестьянина как личность, обладающую не только умом, здравым смыслом, но и глубоким нравственным чувством. И такой взгляд во многом оказал влияние на Тургенева, Григоровича и других писателей, обра-

⁴⁹ См.: Трапезникова Н. С. Руссо и Санд: Опыт сопоставительной характеристики // Романтизм в художественной литературе. Казань, 1972. С. 155—168.

⁵⁰ Boyer P. Chez Tolstoï // Le Temps. 1901. 28 août.

⁵¹ Руссо и Толстой: Речь академика М. Н. Розанова 2 февраля 1928 года в торжественном собрании АН СССР. С. 10.

⁵² Отеч. зап. 1845. Т. 40. Май. Отд. I. С. 157.

⁵³ Санд Ж. Франсуа-подкидыш. Предисловие // Санд Ж. Деревенские повести. М.; Л.: Academia, 1931. С. 192.

щавшихся к крестьянской теме.⁵⁴ Именно Ж. Санд способствовала развитию интереса в широких слоях русского общества к деревенскому быту и человеку из народа.⁵⁵

В статье «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» (1894) Толстой вспомнил о Ж. Санд как противовесе «большинству новейших французских авторов», изображающих людей из народа «в виде полуживотных, движимых только чувственностью, злобой и корыстью». Протестуя против утверждающихся натуралистических тенденций, он писал: «Очень может быть, что эти высокие качества народа не таковы, какими мне их описывают в „La petite Fadette” и в „La Mare aux diables”, но качества эти есть, это я твердо знаю, и писатель, описывающий народ только так, как описывает его Мопассан, описывая с сочувствием только hanches и gorges бретонских служанок и с отвращением и насмешкой жизнь рабочих людей, делает большую ошибку в художественном отношении, потому что описывает предмет только с одной, самой неинтересной, физической стороны и совершенно упускает из вида другую — самую важную, духовную сторону, составляющую сущность предмета» (30, 5, 6).

По сути дела речь в этой статье шла не только об изображении народа, но и о понимании человека вообще. Просветительская вера в богатые возможности духовного совершенствования и объединяла Толстого с Ж. Санд,⁵⁶ несмотря на глубокую неприязнь к ней как личности, отождествляемой им с самыми крайними проявлениями эмансипированности.⁵⁷

Толстой упрямо верил в человека, перерождение общества, социально-этическую гармонию, братское христианское единение людей независимо от классовых различий. И в этом источник его подчас неожиданных сближений и схождений с Ж. Санд.

⁵⁴ *Granjard H.* Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps. Paris, 1954. P. 148—164.

⁵⁵ См. об этом: *Купреянова Е. Н.* Проблема народа и художественной правды в понимании теоретиков и писателей «натуральной школы», Бальзака и Ж. Санд // *Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П.* Национальное своеобразие русской литературы: Очерки и характеристики. Л., 1976. С. 320—328.

⁵⁶ Т. Бензон, французская журналистка, посетившая большого писателя в 1901 году в Гаспре, недоумевала: «Из наших романистов Толстой никогда не испытывал особенного пристрастия к Жорж Санд, и это странно, ибо она, несомненно, дочь и наследница Руссо, — которого он обожает» (Толстой и зарубежный мир. М., 1965. Кн. 2. С. 36).

⁵⁷ По свидетельству очевидцев, Толстой и в последние годы жизни неодобрительно и даже грубо отзывался о Ж. Санд. Так, 6 апреля 1909 года на реплику Татьяны Львовны о том, что Санд якобы нечутко, жестоко относилась к Шопену, Толстой взорвался: «Какая стерва! Я в свое время, кроме отвращения, ничего к ней не чувствовал, в то время, когда Тургенев восхищался, увлекался ею, то есть с уважением относился к ней» (*Маковицкий Д. П.* У Толстого: 1904—1910 // «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого: В 4 кн. М., 1979. Кн. 3. С. 382). Гораздо справедливее были его суждения о Санд-художнике. Так, объявив, что «не уважает» Флобера и Ж. Санд, Толстой добавил существенное пояснение: «(...) особенно когда она писала, и переживала романы. Но в старости у нее появилось нравственное чувство. Ее письма лучше, чем Флобера» (Там же. Кн. 2. С. 430).

© А. Г. Прокофьева

ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ С. И. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО

В последние годы усилился интерес к литературе русского зарубежья, в основном к писателям, уехавшим в 20-е годы в Европу. Видимо, поэтому как-то в стороне оказался поэт и прозаик конца XIX—начала XX века С. И. Гусев-Оренбургский, покинувший Россию в 1921 году, но поселившийся не в Европе, а в США, в Нью-Йорке. Уход же за океан значительной части русской эмиграции произошел позже, в 40-е годы. К этому времени Гусев-Оренбургский, объяснявший свою эмиграцию невозможностью в России свободно заниматься литературным трудом, уже сотрудничал в газетах Нью-Йорка, был некоторое время редактором журнала «Жизнь».

Еще до отъезда писателя из России у Гусева-Оренбургского вышло шестнадцать томов собрания его сочинений, оставшегося незаконченным. С. И. Гусев-Оренбургский был широко известен в русской литературе начала XX века реалистическими произведениями об уездной глуши, о жизни духовенства. Выбрать себе псевдоним «Оренбургский» он имел все основания, ибо родился в Оренбурге, учился в оренбургской гимназии и семинарии (позже в уфимской), был священником и учителем в оренбургских селах.

Родители писателя — коренные оренбуржцы, но сведения о них в работах, посвященных Гусеву-Оренбургскому, разноречивы: одни биографы писателя считали отца Гусева «казаком-торговцем» (С. В. Касторский), другие (И. М. Гронский, Л. А. Юркина) писали о «купеческой семье». И. В. Черняева на основе документов жандармского управления и свидетельства о прохождении курса в духовной семинарии, хранящихся в Государственном архиве Оренбургской области,¹ доказала,² что И. В. Гусев был урядником, а затем стал чиновником, губерньским секретарем.

В Оренбургском областном архиве сохранился еще один документ,³ неизвестный исследователям, — послужной список отца писателя, поясняющий, «из какого звания происходит» И. В. Гусев. В этом списке сообщается, что Иван Васильевич Гусев «из солдатских детей... обучался в батальоне военных кантонистов... в службу вступил писарем унтер-офицерского звания в штаб отдельного Оренбургского корпуса» (1839—1850 годы); «по высочайшему повелению переведен в оренбургское казачье войско с переименованием в урядники и с прикомандированием к продовольственному отделению».

Служебный путь отца писателя нельзя назвать ровным и гладким: 23 мая 1852 года Иван Васильевич «без суда и следствия был разжалован в казаки с оставлением на службе в том же отделении» и стал служить старшим писарем в войсковом правлении, но уже в 1853 году (25 июля) вновь произведен в урядники.

Служа в Войсковом правлении, И. В. Гусев в 1854 году «исправлял должность дьяка». (Не тогда ли появилась мечта о карьере священника для будущего сына?)

В 1850—1860-е годы Иван Васильевич был прикомандирован писарем к отделению степных укреплений, служил в полку № 3, в пешем казачьем батальоне № 2, «во временной комиссии, учрежденной для составления новых смет по устройству степных укреплений... во временном совете по управлению Киргизского Ордою».

Незадолго до рождения сына, в 1863 году, И. В. Гусев был «отчислен по болезни в отставку».

¹ ГАОО. Ф. 21. Оп. 1. № 183; Ф. 177. Оп. 1. № 54.

² Черняева И. В. Биографические материалы о С. И. Гусеве-Оренбургском // Русская литература. 1974. № 4.

³ ГАОО. Ф. XI. Оп. 3. № 4254.

Когда будущему писателю исполнилось чуть больше месяца (26 октября 1867 года), его отец «по высочайшему повелению был исключен из Оренбургского казначейского сословия с награждением чином коллежского регистратора за выслугу в урядническом звании определенных законом двенадцати лет».

Через год И. В. Гусев «по прошению был определен в штат Оренбургского губернского правления», где вскоре стал делопроизводителем по строительному отделению (с 26 июля 1868 года), а затем «перемещен чиновником особых поручений по почтовой части Оренбургской губернии» (с 10 декабря 1869 года). Этой датой заканчивается послужной список отца С. И. Гусева.

В послужном списке, кроме того, сообщается, что И. В. Гусев православного исповедания, награжден бронзовой медалью на Владимирской ленте в память войны 1853—1856 годов, женат на дочери казака Полозова Анне Михайловне, имеет сына Сергея, родившегося 23 сентября 1867 года, и дочь Клавдию, родившуюся 24 октября 1869 года.

Годы учебы писателя в Оренбурге и службы в Оренбургской губернии достаточно освещены в работе И. В. Черняевой. О начале же литературной деятельности С. И. Гусева-Оренбургского известно немного. Все биографы выделяют первый рассказ писателя «Слепой», напечатанный в «Оренбургском листке» (1890. 6 мая. № 19) под псевдонимом «М. Инсарский».

Существует мнение, что после первого рассказа Гусев-Оренбургский надолго прервал свое литературное творчество. И. М. Гронский считал,⁴ что писатель не напечатал ни одного произведения в течение девяти лет, вплоть до снятия сана священника. Оренбургская периодика конца XIX—начала XX века опровергает это мнение. Уже в 1894 году в газете «Оренбургский край» (1894. 2 ноября. № 272) под псевдонимом «Анзерский» появился «маленький фельетон» Гусева-Оренбургского «Деревенские письма. Житьишко захудалое». Это небольшой очерк о трудностях жизни деревенского обывателя, чья жизнь зависит от погоды, посевы от «кобылки» и т. д. «Оренбургский край» был газетой прогрессивного направления, выпускался оренбургской интеллигенцией. На его страницах можно было встретить имена А. Е. Алекторова, В. О. Португалова, В. Л. Дедлова-Кигна, Л. В. Исакова. Дал согласие редакции газеты на печатание рассказа «Черный монах» А. П. Чехов.

В 1896 году в «Тургайской газете» (№ 51) Гусев-Оренбургский под тем же псевдонимом «Анзерский» в заметке «Читатель» предложил свои наблюдения над тем, что и как читают обыватели.

Уже будучи корреспондентом «Киевской газеты», писатель не забывает Оренбурга и помещает под псевдонимом «Мистер Доррит» на страницах «Оренбургского листка» дорожные зарисовки «Китайцы едут» (1900. 30 июля. № 31).

Публиковал свои произведения в Оренбурге писатель и в 1906 году, выбрав на этот раз газету социал-демократического направления «Степь». В июне на страницах этой газеты печатался рассказ «В буран (эпизод из жизни Ивана Филипповича Гусляра)», подписанный привычным нам псевдонимом «Гусев-Оренбургский».

Впоследствии, создавая одну из лучших своих повестей — «Страну отцов», писатель рассказал о содержании и направленности оренбургских газет, о преследованиях за прогрессивные корреспонденции со стороны местных властей. В повести выведен образ редактора «Старомирского листка» Веселухи-Миропольского (явный намек на редактора «Оренбургского листка» Евфимовского-Мировицкого).

⁴ См.: Гронский И. С. И. Гусев-Оренбургский // Гусев-Оренбургский С. Повести и рассказы. М., 1958.

© Е. Н. Соболевская

**ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВА «МОЛЧАНИЯ»
КАК ЕДИНСТВО ПОЭТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА**

(ПУШКИН — ВЯЧ. ИВАНОВ — ЦВЕТАЕВА)

Памяти Степана Ильёва

В истории словесного искусства есть произведения, которые, пережив своего создателя, становятся самостоятельными «творцами» или творческими истоками, воздействующими на дальнейшее развитие литературного процесса. Такова судьба известного стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828), породившего не только сотни научных трудов, критических статей, множество интерпретаций,¹ но и художественные произведения.

В начале XX века творчество Пушкина, и в особенности его «поэзия о поэзии», стало предметом усиленного внимания в кругу русских символистов младшего поколения. Новое, «символистское» прочтение Пушкина, в частности его стихотворения «Поэт и толпа», было в какой-то мере подготовлено статьями Владимира Соловьёва («Судьба Пушкина», «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»), написанными накануне 100-летия со дня рождения поэта. «В конце нынешнего юбилейного года, — писал Соловьёв, — после того как Пушкин освещался и рассматривался со всяких сторон, осталось еще сказать о нем разве только как о поэте...»² Анализируя семь пушкинских произведений «о поэзии», в том числе стихотворение «Поэт и толпа», Соловьёв выделяет три образа поэта: пророк, жрец, царь.³ В отличие от Вл. Соловьёва, сконцентрировавшего внимание на стихотворении «Пророк» (1826) и на образе поэта-пророка, Вяч. Иванов в статьях «Поэт и чернь» (1904) и «Заветы символизма» (1910), опираясь главным образом на стихотворение «Поэт и толпа», в основном говорит о поэте-жреце, о поэтическом творчестве как жреческом служении, о взаимоотношениях между поэтом-жрецом и толпой.

Позднее прославленный теоретик и практик русского символизма создаст стихотворение «Поэт на сходке» (1917), представляющее собой художественную модификацию стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

Когда новое поколение художников в начале 1920-х годов определило эпоху русского символизма как «эпоху лжесимволизма» и собственно символизм как «лжесимволизм»,⁴ Цветаева исполнила своего рода гимн этому специфическому явлению культуры, посвятив одному из его представителей — Вячеславу Великолепному — пасхальный триод (трипеснец). Данное произведение Цветаевой содержит такие ассоциативно-сюжетные приемы, которые ориентируют читателя на постоянные «возвраты» к текстам Вяч. Иванова, связанным со стихотворением Пушкина, а также и к стихотворению Пушкина, являющемуся в этой цепочке неким «прародителем». Внутренние связи намеченного контекста могут быть обнаружены на разных композиционных уровнях, но бесспорное единство системы, ее функционирование в качестве целостного организма явлено на уровне сюжета и обеспечено трансформацией мотива «молчания».

В произведении Пушкина «Поэт и толпа» мотив «молчания» присутствует как недостижимое, но чаемое поэтом всеобщее действо, служащее неперенным усло-

¹ См.: *Муравьева О. С.* Поэт, толпа и литературная критика // Русская литература. 1992. № 2.

² *Соловьёв В.* Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Собр. соч. 2-е изд. СПб., [Б. г.]. Т. 9. С. 294.

³ Там же. С. 294—347.

⁴ См.: *Мандельштам О. О* природе слова // Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 1. С. 227—228.

вием дальнейшего пребывания поэта во внутреннем сосредоточении. «В пустынной тишине, — пишет Вяч. Иванов, — в тайной смене ненужных, непонятных толпе видений и звуков должен он ожидать „веяние тонкого холода” и „эпифании” бога».⁵ Но обступивший поэта народ, не ведающий условий свершения великого таинства эпифании, первым нарушает тишину и провоцирует поэта на действие, противоположное молчанию, — речь. Согласно интерпретации Иванова, «в стихотворении „Поэт и Чернь” Пушкин изображает Поэта посредником между богами и людьми (...) Боги „вдохновляют” вестника их откровений людям; люди передают через него свои „молитвы” богам (...) Спор идет (...) между „жрецом” и толпой...»⁶ «Чернь ждет от Поэта повелений, и ему нечего повелеть ей, кроме благоговеющего безмолвия мистерий».⁷ Нетрудно заметить, что первое требование поэта («Молчи, бессмысленный народ!..») не столь категорично, как второе («Подите прочь!..»), и допускает присутствие черни во время нисхождения божества. Поднявшись на ступень фактического молчания, чернь могла бы исполнить отводимую ей поэтом-жрецом функцию зрителя (или неопита — вновь посвященного): наблюдать за процессом совершаемого ритуала и посредством жреца, соединяющегося в финале таинства с божеством, стать причастной этому соединению. Если основываться на мифопоэтической традиции, то поэта и жреца объединяет собственно процесс творения, или иначе — молчаливого делания. «Семантический мотив „делания”, лежащий в основу многих обозначений ритуала, — уточняет В. Н. Топоров, — как бы противопоставляет его (ритуал) „говорению”...»⁸ «Воспроизводя мир, Поэт, как и жрец, расчленяет, разъединяет первоначальное единство вселенной, устанавливает природу разъятых частей через определение системы отождествлений и синтезирует новое единство. Оба они борются с хаосом и укрепляют космическую организацию, ее закон (...) С их помощью преодолеваются энтропические тенденции, элементы хаоса изгоняются и перерабатываются, мир космизируется вновь и вновь...»⁹ Причем, как в ситуации ритуала, так и в ситуации творческого процесса «слово», или «говорение», является всего лишь единицей, малой частью, хотя и важной, но все же частью общей картины «делания». Это подтверждается и соотношением частей ритуала в традиционном его понимании, и соотношением частей творческого процесса в понимании Вячеслава Иванова, изложившего свою теорию в ходе интерпретации пушкинской «поэзии о поэзии». Как отмечает один из современных исследователей, «„дело”, т. е. некоторая последовательность действий в „узком пространстве”, включает в себя вербальный текст как часть целого, ибо онтологически ритуал был несловесным».¹⁰ «Дух влечет его (поэта), — пишет Иванов, — сначала уединиться с богом(...) Он должен воссесть на недоступный треножник, чтобы потом уже, прозревав иным прозрением, „приносить дрожащим людям молитвы с горней вышины”...»¹¹

В статье «Поэт и чернь» Вячеслав Иванов, в частности, отмечает: «Толпа вынуждала Поэта к воздействию на нее: его действием был его отказ от действия (...) Его сосредоточение в себе было самоутверждением действительного начала — и как бы подводит нас к тому, что сосредоточение поэта предшествует его будущему становлению на путь подвижничества — «тайного, „умного” делания»,¹² т. е.

⁵ Иванов В. Поэт и чернь // Иванов В. По звездам. СПб., 1909. С. 36.

⁶ Иванов В. Заветы символизма // Аполлон. 1910. № 8. С. 11.

⁷ Иванов В. Поэт и чернь. С. 34.

⁸ Топоров В. Н. О ритуале: Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 27.

⁹ Топоров В. Н. Поэт // Мифы народов мира: Энцикл.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 327. См. также: Топоров В. Н. Об «энтропическом» пространстве поэзии // От мифа к литературе. М., 1993. С. 34.

¹⁰ Третьковский Я. Текст и ритуал // Проблемы лингвистики текста. Минск, 1991. С. 278.

¹¹ Иванов В. Поэт и чернь. С. 36.

¹² Там же. С. 36—37.

священного безмолвия. Как известно, священное безмолвие включает разные формы «делания»;¹³ самая распространенная из них — «умная», обращенная «вовнутрь» молитва. В целом же, согласно определению Григория Паламы, одного из подвижников Добротолюбия, «Безмолвие есть (...) забвение низших, тайное ведение высших... Это и есть истинное делание, восхождение к истинному созерцанию и видению бога» (курсив мой. — Е. С.).¹⁴ Но пушкинский поэт не соблюдает, можно сказать, самого элементарного условия восхождения — благоразумного молчания, и для поэта, согрешившего речью гневной, врата подвижнического пути к безмолвию, или «умному» деланию, закрываются; желаемое соединение с божеством заменяется столкновением поэта с непосвященной чернью. «Благоразумное молчание» называет Иоанн Синайский «врагом дерзости», «супругом безмолвия» и отводит ему 11-ю ступень (или степень) в Лестнице внутреннего восхождения к Богу (союзу трех добродетелей — Вере, Надежде, Любви), тогда как священное безмолвие тела и души — одна из последних ступеней совершенствования (27-я).¹⁵

Стихотворение В. Иванова «Поэт на сходке» может быть истолковано в качестве своеобразной формы указаний пушкинскому поэту на его гневливость и неумение молчать. Как бы продолжая стихотворение Пушкина с его неосуществленным событием молчания ни со стороны черни, ни со стороны поэта, Иванов показывает другую ситуацию: смиренный юродивый поет о тишине, не слыша ни «гула землетрясения», ни «рева бури»:

Толпа	Поэт
Юродивый о тишине	Яритесь, буйные витии!
Поет под гул землетрясения	Я тишину пою, святя
И грезит: родина во сне	Покой родильницы России, —
Внимает вести воскресенья...	Ея баюкаю дитя... ¹⁶

Мотив «тишины» в этом произведении Иванова, так же как и в его статьях, неразрывно связан с широко распространенными в кругу русских символистов представлениями о тайном служении поэта, о его внутреннем подвиге послушания «во имя того, чему поэт сказал „да“», с чем он обручился золотым кольцом символа...» В отличие от пушкинского поэта, поэт Вячеслава Иванова отъединен от мирской суеты завесой сосредоточенности в своем деле, он — одинокий мастер, ремесленник, «делатель» тишины, святящий своим песнопением покой Родины. Ивановский келейный поэт достиг высших ступеней духовного совершенствования, он, подобно истинно безмолвствующим, не ощущает земных тревог. Согласно Лестнице Иоанна Синайского, три последние ступени пред божественным озарением (30-й ступенью) занимают: священное безмолвие, внутренняя молитва и бесстрастие; но эти три степени восхождения как бы слиты воедино, ибо безмолвие уже по существу включает и две последующие ступени в качестве своих различных форм. «Между пребывающими во глубине безмолвия, — говорит Иоанн Синайский, — одни умалют страсти; другие проводят большую часть времени в псалмопении; иные терпеливо пребывают в (умной) молитве; иные же простираются к видению». «Проходи сии действия по образу лестницы...»¹⁷ — советует автор. Основываясь на учении Иоанна Синайского, подвижники Добротолюбия также пони-

¹³ См., например: *Иоанн Синайский*. Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы Лествица в рус. пер. // Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1901. С. 222.

¹⁴ Цит. по: *Клибанов А. И.* К характеристике мировоззрения Андрея Рублева // Андрей Рублев и его эпоха. М., 1971. С. 82.

¹⁵ *Иоанн Синайский*. Указ. соч.

¹⁶ Русское слово. 1917. № 73. 1(14) апр. С. 3.

¹⁷ *Иоанн Синайский*. Указ. соч. С. 222.

мали священное безмолвие как особое внутреннее состояние, обнимающее разные виды «делания».¹⁸

Известно, что произведение Иванова «Поэт на сходке», не содержащее каких-либо жанровых определений и датированное мартом 1917 года, было впервые опубликовано в специальном «пасхальном» выпуске газеты «Русское слово» (1917. № 73. 1(14) апр.) вместе с другими произведениями, приуроченными к христианскому празднику Пасхи.¹⁹ Иначе говоря, стихотворение Иванова было включено в особый «пасхальный» контекст, в определенную систему, где действуют свои законы, где целое надлежит понимать на основании частного, а частное — на основании целого.

Как отмечает один из современных ученых, «к концу XIX века сформировалась традиция печатания в повременных изданиях литературных текстов, в основном прозаических, каким-то образом связанных с Рождеством и Пасхой...»; произведения пасхального жанра характеризовал определенный набор мотивов, обусловленный лейтмотивом или главной темой — «победа Иисуса Христа над грехом и смертью»; в них «рассказывалось о страстях Иисуса, описывалось празднование Пасхи в разные времена, исследовалось воздействие праздника на современного человека».²⁰ Что касается произведения Вяч. Иванова, то оно вполне соответствует закону контекста; кроме того, стихотворение представляет собой универсальный вариант «календарной» литературы, поскольку из-за насыщенности различными мифологическими мотивами и реминисценциями оно может быть истолковано не только в «пасхальном» контексте, но и в «святочном» (или рождественском).

Каким же образом проявляет себя по отношению к «пасхальному» контексту навязчивый мотив «тишины», священного «покоя», реализованный в произведении Иванова?

В связи с этим частным вопросом на первый план необходимо вынести некую общую основу, присущую «пасхальной» системе в целом. Одной из таких основ является миф о Страстях Господних, в контексте которого «молчание» или «священное безмолвие» можно рассматривать в качестве относительно самостоятельной единицы, существенной для понимания целого. Согласно древнему греко-православному преданию, под крестным, или страстным, путем разумеется «то последнее в земной жизни нашего Спасителя время скорби и неизобразимых страданий, которое, начавшись великим „молением о чаше” в Гефсиманском саду, заключилось закланием безгрешного Агнца, т. е. крестной смертью Богочеловека на Голгофе...»²¹ «Молчание» или «безмолвие» Иисуса Христа во время страстей выделяется всеми евангелистами, причем Матфеем и Марком дважды — на суде синедриона и на суде Пилата (Матф., 26, 63; 27, 14; Мар., 14, 61; 15, 4—5; Лук., 23, 9; Иоан., 19, 9—10). Акцентируют внимание на великом действе молчания Иисуса также интерпретаторы Священного писания: «(...) величавое безмолвие тревожило, озадачивало, смущало и бесило судей (...) Перед этим безмолвием они чувствовали, будто бы обвиняемыми были они, а Он — судьей»;²² «молчание Иисусово постыдило Пилата».²³ Фредерик Вильям Фаррар неоднократно подчеркивает отъединение Иисуса от надругательств завесой безмолвия и во время распятия:

¹⁸ См., например: *Святой Григорий Синаит. Наставление безмолвствующим // Добротолюбие в русском переводе, доп. М., 1889. Т. 5; Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий, Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав // Там же.*

¹⁹ См.: Баран Х. Пасха 1917 г.: Ахматова и другие в русских газетах // Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века. М., 1993.

²⁰ Там же. С. 332.

²¹ См.: Путеводитель в Палестину по Иерусалиму, Святой земле и другим святыням Востока. Одесса, 1890. С. 419.

²² Фаррар Ф. В. Жизнь Иисуса Христа. 6-е изд. СПб., 1893. С. 505.

²³ Иоанн Синайский. Указ. соч. С. 100.

«Несмотря на все издевательства прохожих, первосвященников и членов синедриона, воинов и этих жалких злодеев, страдавших вместе с Ним, Он, как раньше на допросах, так и теперь на кресте, не нарушал своего *царственного безмолвия*» (курсив мой. — Е. С.).²⁴ «Молчание» или «священное безмолвие» Иисуса Христа можно расценивать в качестве одного из этапов его внутреннего подвига, явившегося залогом многого: искупления грехов человеческих, воскресения Спасителя, Его воссоединения с Отцом, будущего пришествия Духа-Утешителя.

Отношение части мифа к его общей модели проливает свет и на художественную трансформацию мифопоэтического сюжета в произведении Вяч. Иванова. Отъединенный от мирского шума юридивый поэт воспекает тишину, святит покой России, ибо ему, внутренне прозревшему, второрожденному посредством безмолвия, известно великое таинство молчания: тишина есть необходимое условие мирного пробуждения «родильницы России» и ее Спасителя, всеобщего внутреннего перерождения народа и его будущего единения в духе.

Цикл стихотворений М. Цветаевой, посвященный Вячеславу Иванову, спроецирован на одну из евангельских сцен молчания Иисуса Христа, в которой Спаситель, рисуя «перстом на земле» и не обращая внимания на вопросы обступивших Его, учительствует безмолвием, а затем и речью смиренной, но народ не «вмещает» ни знаков тайных начертанья, ни слова Божия (Иоан., 8). «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому, что не можете слышать слова Моего» (Иоан., 8, 43); «Кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Иоан., 8, 47). Подобная ситуация между жрецом и не понимающей его толпой представлена и в стихотворении Пушкина. Но если в стихотворении Пушкина поэт-жреца перестал понимать «народ непосвященный» — «клеветники», «рабы», «глупцы», то в произведении Цветаевой написанное Учителем затрудняется прочитать его ученица — его «горлинка», «первенец», «любимица»:

Ты пишешь перстом на песке,
А я твоя горлинка, Равви!
Я первенец твой на листке
Твоих поминаний и здравий.

Звеню побрякушками бус,
Чтоб ты оглянулся — не слышишь!
О Равви, о Равви, боюсь —
Читаю не то, что ты пишешь!²⁵

Цветаевская героиня пытается привлечь внимание своего Учителя внешними земными звуками, но Равви не слышит внешних звуков, он, подобно безмолвствующему поэту Вячеслава Иванова, пребывает без ощущения земных тревог и слышит звуки внутренние. Равви учит свою «любимицу» великому таинству безмолвия, но не речью гневной, как это делает пушкинский поэт, а внутренним подвигом молчания и самоуглубления. Духовное подвижничество Учителя, его внутреннее сосредоточение и независимость от мирской суеты обязывают цветаевскую героиню к личному духовному подвигу:

А сумрак крадется, как тать,
Как черная рать роковая...
Ты знаешь — чтоб лучше читать,
О Равви! — глаза закрываю...²⁶

В контексте цикла Цветаевой отказ героини от внешнего мира и ее самоуглубление можно рассматривать в качестве преддверия к священному безмолвию (или

²⁴ Фаррар Ф. В. Указ. соч. С. 549.

²⁵ Цветаева М. Собр. соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 115.

²⁶ Там же.

«умному» деланию), которое реализовано автором посредством совмещения в одном действии героини нескольких форм «делания» — внешней молитвы, внутренней молитвы и песнопения. Согласно традиции подвижничества, самым сложным, но всеобъемлющим деланием считается творение молитвы, и в особенности молитвы внутренней. «Могущество царя состоит в богатстве и во множестве подданных: могущество же безмолвника в преизобилии молитвы», — говорит Иоанн Лествичник.²⁷ Основываясь на его учении о молитве как матери добродетелей, святой Григорий Синаит приходит к заключению: «Деланий много, но они частны; сердечная же молитва велика и всеобъемлюща...»²⁸ По определению Иоанна Лествичника, «молитва есть пребывание и соединение человека с Богом», «бесконечное делание», «просвещение ума», «зеркало духовного возрастания».²⁹ «Вкусивший молитву, — напоминает Иоанн, — часто произношением одного слова оскверняет ум».³⁰ Состояние внутренней молитвы (или молитвы «умной») требует от молящегося сопряжения всех его усилий и воистину может быть достигнуто и регулируемо им лишь при помощи некоторых приемов. Самый распространенный из этих приемов, известный, по-видимому, еще Иоанну Лествичнику и затем получивший широкое признание и развитие в религиозной практике исихазма, — сочетание молитвенного предстояние с задержкой дыхания.³¹

В произведении Цветаевой содержатся основные признаки истинной молитвы (экстаз духовный и телесное бесстрастие молящегося). Кроме того, автор обращает внимание читателя на одну из особенностей тайного служения своей героини, а именно на известный в молитвенной практике прием, с помощью которого «пребывание и соединение человека с Богом» регулируется:

А покамест песни пела я,
Ты уснул — и вот блаженствую:
Самое святое дело мне —
Сонные глаза стеречь!

*Если б знал ты, как божественно
Мне дышать —дохнуть не смеючи...³²*

Пребывая в уединении, Равви к тому же обязал свою «любимицу». Теперь каждый из них вершит свой индивидуальный подвиг, выраженный общим для них деланием — великим таинством безмолвия.

Реализация мотива «молчания» в цикле стихотворений задевает разные художественные уровни, и в первую очередь один из самых значимых в поэтической системе Цветаевой — уровень датирования произведений. Дата создания цикла — дни пасхальной недели 1920 года. В связи с этим мотив «молчания» может быть истолкован в соответствии с законами «пасхальной» системы как художественная трансформация относительно самостоятельной части мифа о Страстях Господних, подобно интерпретации мотива «тишины», священного «покоя» в стихотворении Иванова. Внутреннее сосредоточение героини, ее отказ от внешнего мира (стихотворения 1 и 2) есть необходимый порог, переход к молитвенному предстоению (стихотворение 3). Причем молитвенная форма «умного» делания в «пасхальном» контексте проявляется в своей первоначальной сущности — соединении человека с Богом, некий акт нового рождения человека, его воскресение и пребывание в Духе.

²⁷ Иоанн Синайский. Указ. соч. С. 232.

²⁸ Святой Григорий Синаит. О безмолвии и о молитве // Добротолюбие... Т. 5. С. 249.

²⁹ Иоанн Синайский. Указ. соч. С. 232—233.

³⁰ Там же. С. 239.

³¹ Там же. С. 227. См. также: Никифор Уединенник. Слово о трезвении и хранении сердца многополезное // Добротолюбие... Т. 5. С. 271—272; Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий, Ксанфопулы. Указ. соч. С. 363—367 и др.

³² Цветаева М. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. С. 116 (курсив мой. — Е. С.).

Иначе говоря, духовное подвижничество, самоуглубление, молчаливое делание служит тем условием, той благоприятной средой, в которой встреча божеского и человеческого становится наиболее реальной.

В самых тесных отношениях с уровнем датирования текста в цветаевском цикле находится уровень архитектоники (или общий вид композиции). Произведение, включающее три стихотворения, состоит из двух относительно самостоятельных частей: первые два стихотворения отделены от третьего одной датой написания и приемом кольцевой композиции. Гармоничное взаимодействие текстовых уровней (сюжета, датирования произведений, архитектоники) является основанием для установления важной специфической связи между выделенными частями. По отношению к первым двум стихотворениям, имеющим одну дату написания — «Пасха 1920 г.», третье, датированное «1-ым Воскресеньем после Пасхи 1920 г.», выступает в качестве конкретного воплощения «в жизнь» (текст) главного завета символизма о великом таинстве священного безмолвия как единственном пути истинного художника. «О символе, — говорит Вячеслав Иванов, — должно помнить завет: „Не приемли всуе“. И даже тот, кто не всуе приемлет символ, должен *шесть дней делать (...)* и сотворить в них все дела свои, *чтобы один, седьмой день недели отдать*, в вышеистолкованном, торжественном смысле,

— для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв». ³³

Следуя законам своих предшественников — символистов-теургов, лирическая героиня Цветаевой вершит личный поэтический подвиг «умного» делания. Посредством ученичества и самоуглубления она становится обладателем тайного знания, шесть дней недели безмолвствует, но тайно «делает», и седьмой день недели посвящает «звукам сладким» и «молитвам».

Выявленное соотношение двух основных элементов цикла поддерживает существование его структуры в целом, обеспечивает полноценное функционирование данной структуры в контексте «трех» (Пушкин — Вяч. Иванов — Цветаева), но главное — поворачивает произведение Цветаевой такой гранью, где индивидуальная реализация мотива «молчания» видится осуществленным и завершенным событием контекста, событием, контуры которого были намечены текстами великих предшественников Цветаевой — Пушкиным и Ивановым. Мотив фактического (или благоразумного) молчания, присутствующий в стихотворении Пушкина «Поэт и толпа» в качестве действия, не осуществимого ни со стороны поэта, ни со стороны черни, интерпретируется в статьях Иванова и соединяется им с представлениями о внутреннем служении поэта, о таинстве священного безмолвия, о подвижничестве; затем в произведении Иванова «Поэт на сходке» мотив «молчания» модифицируется и проявляется там уже как событие безмолвного «делания» одной «стороны» — внутреннее служение поэта, совершаемое под гул внешнего мира, под ропот толпы; и только в произведении Цветаевой, посвященном Вячеславу Иванову, данный мотив преобразуется в сбывшееся великое таинство внутреннего служения двух «сторон» — Равви и его ученицы, в соответствии с конкретным заветом Иванова. Цветаевское событие священного безмолвия, как событие произведения, финального в цепочке контекста, проливает свет собственно на процесс трансформации мотива «молчания». Оглядываясь назад, к творческому истоку контекста («Поэт и толпа»), мы видим поэтапное развитие мотива, подобное восхождению вверх — от фактического молчания к высшей ступени — священному безмолвию. Такая структура художественной трансформации мотива служит, на мой взгляд, бесспорным основанием заключения произведений трех авторов в единый контекст, который для каждого произведения в отдельности является новой средой, где все они проживают новую жизнь бесконечной вереницы своих метаморфоз.

³³ Иванов В. Заветы символизма. С. 20 (курсив мой. — Е. С.).

«ИЗ МИРА Я ДОЛЖНА УЙТИ НЕРАЗГАДАННОЙ...»

ПИСЬМА Е. И. ДМИТРИЕВОЙ (ВАСИЛЬЕВОЙ) М. А. ВОЛОШИНУ

(ПУБЛИКАЦИЯ © В. П. КУПЧЕНКО)

В своих стихах под именем Черубины де Габриаки Елизавета Ивановна Дмитриева (1882—1928, с 1911 года по мужу Васильева) представляла перед современниками подобием блоковских Прекрасной Дамы и Незнакомки одновременно — прекрасной, манящей и загадочной. В реальной жизни знавшие ее лично видели внешне достаточно заурядную, прихрамывающую, скромную молодую женщину — в то же время глубоко образованную, порой весьма остроумную и вместе с тем мистически настроенную. Некоторым открывалась повышенная чувственность этой сложной натуры... Похоже, что ее душа (выразившаяся полнее всего в творчестве) была много богаче, ярче внешнего облика. Но как это выявить, как сопоставить Е. И. Дмитриеву с Черубиной де Габриак?

Обычно лучше всего узнать человека помогают его письма к близким людям. Но с Дмитриевой и тут проблема: ее архив почти полностью утрачен, а дошедших до нас писем — наперечет. Сохранились они в двух местах: в доме М. А. Волошина в Коктебеле (109 писем и записок к нему, а также 26 писем к феоdosийке А. М. Петровой; ныне находятся в ИРЛИ: Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 317—320; Оп. 6. Ед. хр. 23) и в архиве новороссийца Е. Я. Архиппова (16 писем; ныне — в РГАЛИ: Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22). Письма к Волошину интересны и важны тем, что охватывают период с 1908-го по 1928 год и обращены к одному из самых близких Дмитриевой людей. Двенадцать из них были опубликованы В. Глоцером в 1988 году с некоторыми купюрами.¹ Ниже публикуются еще двадцать пять (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 317—320).

Вчитываясь в эти письма, осознаешь, что и в них Дмитриева ухитрилась очень немного сказать о себе. Письма маловыразительны: без юмора (так ей свойственного), без ярких мыслей, почти без эмоций. Информативность их невелика — отчасти из-за пренебрежения поэтессы к «внешней», событийной стороне жизни (главное — душа), но еще, думается, из-за намеренного нежелания «открываться». 13 мая 1922 года она писала Архиппову: «Из мира я должна уйти неразгаданной...» — Почему?.. — «П(отому) ч(то) я сама не разгадала себя», — продолжает она. Это объяснение вряд ли правдиво: Елизавета Ивановна прекрасно себя знала, но не хотела, чтобы эта правда дошла до потомков.

Поэтому она могла порой с лукавить в письме (так звучит неожиданное обвинение Волошина в том, что он ее «оставил на Б. Лемана» в 1910 году — это при том, что именно она была инициатором их разрыва!), а то и просто прилгнуть (как в письме, датированном концом мая 1909 года: мол, Гумилев «сам напросился» с ней в Коктебель, при том, что еще в марте у нее возник с ним роман — «молодая, звонкая страсть»). Но о многом и многом она предпочитала просто умолчать.

М. И. Цветаева (не знавшая Дмитриеву лично) провидчески отметила конфликт, сжигавший ее и бывший одновременно источником ее поэзии: разрыв души и тела. Эстетка по натуре и образованию, она мечтала быть прекрасной. (Показателен факт, сообщенный мне М. М. Тушинской: «Лиля» собрала целую коллекцию фотопортретов патентованной красавицы начала века Лины Кавальери!) Другая ее мания, связанная с первой (способ преодолеть судьбу, утвердиться?), — страсть покорять мужчин. И. фон Гюнтер в своих мемуарах «Жизнь под восточным ветром» употребил, видимо, самое точное по отношению к Дмитриевой слово: ненасытность. Действительно, когда в ноябре 1909 года поэтесса пыталась обворожить Гюнтера, в нее был безнадежно влюблен Н. С. Гумилев, ее глубоко любил тридца-

¹ Васильева Елис. «Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь» / Публ. и вступит. ст. В. Глоцера // Новый мир. 1988. № 12. С. 153—158.

тидвухлетний Волошин, она имела виды на редактора «Аполлона» С. К. Маковского и, наконец, «держала про запас» официального жениха, студента-путейца В. Н. Васильева. «Ей все было мало!» — восклицает Гюнтер. Симптоматична более ранняя история (доселе неизвестная). В 1906 году ближайшая подруга Дмитриевой Лидия Брюллова, отдыхая в Германии, познакомилась с молодым студентом Удо Штенгеле, который в нее влюбился. Его толстые романтические письма скоро надоели Брюлловой и — как рассказывает Тушинская — «Лиля сказала: „Дай адрес, я его в себя влюблю“. И добила его. Потом и ей надоело. И она сообщила анонимно, что „Лили умерла“. И бедный влюбленный прислал в Петербург лавровый венок с траурной лентой...» Рассказ этот подтверждается несколькими стихотворениями Дмитриевой и «Историей об Уде, немецком юноше из города Тюбинген...» (ИРЛИ. Р. I. Оп. 4. Ед. хр. 249. Л. 2—3, об., 10, об.—12, об.).

Вспомним и других мужчин, попадавших в орбиту поэтессы: Бориса Лемана, которого она «держала при себе» много лет; Евгения Архиппова (их переписка, начавшаяся в 1921 году, быстро стала принимать все более интимный характер); наконец, Юлиана Щуцкого... Не исключено, что и в сторону С. Я. Маршака последовали определенные пассы: во всяком случае жену последнего эта дружба «беспокоила» и — по свидетельству Лидии Хейфец — «встречи их прекратились...» (ЦГАЛИ (СПб.). Ф. 199. Оп. 1. Д. 16. Л. 2, об.).

Не зря Гумилев написал о Дмитриевой: «Ты ждешь любви, как влаги ждут поля, / Ты ждешь греха, как поля кобылица». А Дмитрий Усов утверждал: «Мне видится, что ты и херувима, / Сведя с небес, могла склонить на грех...» И не пустой фразой был ее собственный призыв в стихотворении «Лишь раз один, как папоротник, я...»: «О, уступи моей любовной порчел!» Известно, что туберкулез (которым Дмитриева страдала с детских лет) сильно повышает сексуальность, — но и творческое начало, по-видимому, действует в том же направлении. Сама Дмитриева признавалась: «Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь».²

Чем талантливее, недоступнее был ее возлюбленный, тем больше удовлетворения она, видимо, получала. («Душою близка я гордыне!») А мистическая настроенность и сила воображения толкали ее — по примеру св. Терезы³ — представлять себя влюбленной в монахов, святых, самого Христа. (Жоцунство — но тем и упительное!)

Именно это сочетание огненного темперамента с безудержным полетом мечты и дало «Черубину де Габриак». Дмитриева лишь выразила то, что жило в собственной ее душе. Волошин же — по слову Цветаевой — «этому дару дал землю (<...>), этой безымянной — имя, этой обездоленной — судьбу».⁴

И письма Дмитриевой к Волошину приоткрывают нам эту мятежную душу в ее многолетней, непростой динамике.

Пользуюсь случаем поблагодарить за отдельные справки Мари-Од Альбер, М. В. Баньковскую, Е. Н. Будагову, М. С. Ланда, Т. И. Рузанову, М. М. Тушинскую, Т. П. Шаскольскую, В. Е. Вагно.

² Там же. С. 161.

³ См. об этом в статье М. Ланда «Символистская поэтесса: опыт мифотворчества» (Русская литература. 1994. № 4. С. 129—133).

⁴ Цит. по: Цветаева М. Живое о живом // Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 211.

1

Петербург.
16го мая (1908). Пятница.
10 ч(асов) веч(ера).

Я почему-то не знала, писать Вам или нет. Теперь, когда еще нет от Вас вестей,¹ думала — не надо напоминать и многое другое — ненужное, наверно. И для того, чтобы было верно — и честно — пишу. Хотелось давно; старалась привести мысли в порядок — определить связь — не могла; мысли из синего стекла застывали и не двигались, и я перехожу от одной к другой — вспоминаю. Сегодня Вам 31 год² — ведь да; думала об этом вчера и сегодня проснулась с этой мыслью; было нужно что-то сделать, м(ожет) б(ыть), написать Вам. Потом немного теряются силы, о, не совсем, немного только: п(отому) ч(то) Вы уехали, не вижу Вас и не пью чего-то (?) прохладного в Ваших словах, я не знаю что — это, но в этом есть и вера. Но потому и хорошо, что Вы уехали, п(отому) ч(то) лучше самой, так труднее. Вы когда-то говорили, что этот путь — сперва дает сомнение и долгую тоску, и одиночество. И теперь оно пришло, одиночество — пришло, и я одна, к(а)к Агарь в пустыне.³ Только я верю, что так нужно. И потом было так нужно, чтобы Вы прошли мимо, т(ак), к(ак) Вы и сделали; иногда мне кажется, что Вы оттуда, что Вы проходите мимо всех — только проходите, подходя ко всем близко и не приближаясь ни к кому.⁴ Это можно писать? Можно мне писать все, что мне хочется?

А то я буду бояться.

Но часто — очень часто кажется, что Вы оттуда:

«Оттого на усталом лице
Ваши очи прозрачны и сини;
Близок час. Я Вас вижу в венце
Из засохшей и горькой полыни».⁵

Мне хочется говорить Вам очень много, так, как я никому не говорила; говорить о своей жизни, кот(орая) для всех неясна.

И с Вами говорить легко и не страшно.

А о том «пути» я думала много.⁶ И в нем, в самом у меня много сомнений, чувство, что скоро я переступлю черту, что потом назад не будет возврата; и не боязнь, а ужас выбора. Как будто все, что было во мне и около меня, ушло, и я одна в свободном выборе. А я еще так мало знаю, так мало — бесконечно.

Учиться! Да, но ведь для этого уже нужен этот выбор. Я так ясно вижу перед собой два пути, серые и холодные, один из них могу оживить. Но уже нет возврата к прошлому, туда, где было и «да», и «нет», и «может быть» — теперь пришло время выбора.

И знаю, что выберу яркий путь, если убью в себе все ненужное, если оправдаю его до уничтожения. Пишите мне, пожалуйста, Макс Александрович, про что-нибудь. Вам хорошо? Уже в Финляндию. А мне странно теперь.

«В прошлом разомкнуты древние звенья
В будущем смутные лики теней».⁷

Жму Ваши руки.

Дмитриева

Послала о Граале.⁸ Есть уже?

О Claudel'e⁹ брат написал в Chefao,¹⁰ человеку, кот(орый) его хорошо знал.

¹ Волошин выехал из Петербурга в Европу около 11(24) мая 1908 года. По пути в Париж навестил в Гамбурге М. В. Сабашникову и встретился с Р. Штейнером. О последней перед отъ-

ездом встрече с Дмитриевой он сделал запись 4 мая: «Лиля Дмитриева. Тот же взгляд, упорный и не мигающий. „Я его видела. Совсем близко. Видела его лицо. Оно было светлое...”» (Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991. С. 286; далее: Дневники).

² Волошин родился 16 мая 1877 года.

³ Агарь — служанка Авраама, бежавшая от притеснений его жены Сары на родину в Египет через пустыню Сур (Быт. 16).

⁴ Перифраз некоторых стихотворений Волошина. Ср., например: «В вашем мире я — прохожий// Близкий всем, всему чужой» («По ночам, когда в тумане...», 1903).

⁵ Видимо, стихи Дмитриевой.

⁶ Речь, по-видимому, о теософии.

⁷ Цитата из стихотворения Волошина «Быть заключенным в темнице мгновенья...» (1905).

⁸ Грааль — чаша благодати, в которую была собрана кровь Иисуса Христа при распятии. История поисков св. Грааля стала темой многочисленных средневековых преданий. Дмитриева, возможно, имеет в виду свое стихотворение 1907 года «Мое сердце — слово чаша...»

⁹ Клодель Поль (1868—1955) — французский писатель. Волошин интересовался творчеством Клоделя, перевел его поэму «Музы» (Аполлон. 1910. № 9) и мистическую драму «Отдых седьмого дня» (не опубликовано). В 1895—1900 годах Клодель был на дипломатической работе в Пекине; его увлечение Востоком прослежено Волошиным в статье «Клодель в Китае» (Аполлон. 1911. № 7).

¹⁰ Дмитриев Валериан Иванович (1880—начало 1930-х) — морской офицер. В 1908—1910 годах служил на Балтийском флоте, командовал подводной лодкой «Сиг». Участник обороны Порт-Артура; с декабря 1904 года находился в китайском порту Чифу, куда и написал, по просьбе сестры, какому-то знакомому.

2

9 июня (1908). Халола.¹
Понедельник.

Дни странно сплетаются, образуют какой-то круг, отдаляют прошлые, шумные дни.

Когда на мой стол ложатся темно-зеленые, Ваши, конверты, мне нужно повредить какую-то паутину, чтобы взглянуть в Ваши буквы. И в то же время я много думаю о Вас, чувствую Вас. И сейчас мне хочется писать Вам что-то страшно важное и красивое, но слова еще не подчинены мне. Но не грустно от этого: знаю — поймете в просветах.

У нас много сирени и яркие, солнечные дни. Посылаю Вам веточку — мне всегда нужно посылать Вам цветы² — Вам нельзя иначе — Вы ведь это тоже знаете. Теперь, сейчас я вижу Ваш Париж, и меня тянет туда — я так люблю его; у меня в Париже — другая душа и другая жизнь — в Париже я воспринимаю яркие краски и лучше вижу сумерки...³ Если можно, то что-нибудь про Париж — из стихотворений, знаете то, где «смотрят морды чудовищ с высоты Notre-Dame»,⁴ а потом то, где есть «золотые числа Пифагора»,⁵ и то, где «са(п)фир испуганный и зрящий».⁶

Только когда-нибудь, когда захочется писать, когда не скучно и все такое... Все, что есть в В(естнике) Теос(офии),⁷ я читала, а «Декламатора»⁸ нет; многие из стих(отворений), кот(орые) есть у Марго,⁹ я знаю уже, и они у меня есть.

Да, я слишком много бываю в себе, это выходит непроизвольно; я целую неделю лежала, одна; было страшно жарко, и из города пришли злые вести — у меня хлынула кровь горлом, и я лежала, нельзя было даже двигать пальцами, можно было только думать. Теперь не так: я много занимаюсь и гуляю, читаю все, что не дает мне думать. В моем дне много ритма.

Где же мне жить, как не здесь? Я такая же, как и они. Смерть тоже ходит около меня, но они ее боятся, а я нет — и потому она не властна надо мной. Здесь рядом санатория, и в ней я лечусь — оттого я и здесь.¹⁰

Здесь страшно и безнадежно:

здесь не только ждут смерти, здесь еще плачут о жизни, и она сюда приходит,

принимая странные, едкие формы. И от невозможности восприятия ее, плачут целые ночи; нужно долго гладить руки и говорить печальные слова о Радости, чтобы перестали. И то ненадолго. Но во мне самой, наряду с тоской, есть Радость, я могу слушать жизнь, и мне не так трудно.

У меня есть книги, сирень, ко мне приходят Ваши письма.

Дмитриева.

¹ Правильно: Халила — климатический курорт в Финляндии в двадцати километрах от станции Новая Кирка. В «Путеводителе по Финляндии» Г. Москвича (СПб., 1914) Халила описывается как «живописная местность с огромными сосновыми лесами, расположенными по высокому склону, близ небольшого озера». Первое письмо из Халилы Дмитриева послала Волошину 30 мая 1908 года; в Петербург она вернулась 14 августа.

² Обычай вкладывать в конверт цветок или лист растения в дальнейшем сыграл свою роль в мистификации от имени Черубины де Габриак.

³ Дмитриева была в Париже в 1907 году, слушала лекции в Сорбонне.

⁴ Строки из стихотворения Волошина «Дождь» (1904).

⁵ Имеется в виду стихотворение Волошина «Сердце мира, солнце Алкиана...» (1907).

⁶ Подразумевается стихотворение Волошина «Вечерние стекла» (1907) из цикла «Руанский собор».

⁷ «Вестник теософии» — религиозно-философский журнал, выходивший в Петербурге с 1908-го по 1918 год под редакцией А. А. Каменской.

⁸ «Чтец-декламатор» — популярный литературно-художественный сборник, выходивший в Киеве под редакцией И. И. и Ф. М. Самоненко начиная с 1907 года и выдержавший несколько изданий. В 1912 году три стихотворения Черубины де Габриак были напечатаны в четвертом томе (изд. 2-е) этого альманаха.

⁹ Гринвальд Маргарита Константиновна (около 1884—1969) — подруга Дмитриевой. В 1908 году окончила гимназию, впоследствии стала лингвистом. В 1922 году в петроградском издательстве «Мысль» вышла книга Ф. Гельферих «Из воспоминаний» в ее переводе.

¹⁰ Санатория в Халиле состояла из трех отделений, женское носило имя Александровского. В этом двухэтажном здании с девятнадцатью палатами (каждая на две-три пациентки) находились также медицинские кабинеты, библиотека, столовая и крытая веранда для прогулок в ненастную погоду. Однако Дмитриева жила по соседству с санаторией.

3

20 июля. 2 Авг(уста).
1908. Halola

Я очень много читала это время, очень много — запоем. Читала, не видя лиц кругом, с утра до вечера.

Читала Ницше, Достоевского, Штейнера,¹ Безант,² Библию, Бальмонта, Сер(гея) Трубецкого³ и По. И были такие полные, солнечные дни; один день уходил за другим, давая какую-то стройную, сверкающую нить.

Дни, кот(орые) я читаю вся, м(ожет) б(ыть), лучшие во мне — п(отому) ч(то) я тогда творю то, что я читаю; иногда бывает такой восторг, что оставляешь книгу и закрываешь глаза.

Теперь прошли эти дни, но они вернуться. Так хорошо, точно сама Жизнь смотрит.

Представление о Вас у меня связано с васильками и са(п)фирами;⁴ и Ваши конверты мне будят эти образы. У меня теперь есть в душе много слов, которые я потом скажу Вам, — так хорошо, что Вы есть; если бы Ваши слова умерли в книгах, и если бы я читала их, то в них не было бы запаха каких-то пряных, грустных лесных трав, и я бы не поняла их сердцем. М(ожет) б(ыть), Ваши слова и больше Вас, но если бы в них не было Вас, то они не шли бы в сердце.

Я, наверное, очень скоро уеду отсюда — мне хуже делается; я поеду домой, легче станет в комнате с моими вещами. За это лето я почти ничего не сделала из того, что хотела, болезнь мешала мне, но зато многое во мне уяснилось, и лето дало много покоя.

Внешне этой зимой моя жизнь очень изменится, она будет гораздо тяжелее, я буду много работать,⁵ а, наверное, это трудно, я раньше никогда много не работала; но я этому тоже рада, я хочу полной-усталой зимы.

Вы вернетесь в Россию в Петербург или только будете в нем проездом?

Я хотела бы, чтоб Вы были в Петербурге — так мне нужно, и так будет легко. Знаете — у меня какое-то к Вам мистическое чувство: Вы⁶ заставили белого человека показать мне лицо, и вот теперь, когда он ушел надолго, остались Вы.

М(ожет) б(ыть), не нужно говорить это? Но думаю, Вы знаете уже это. А Вам не станет трудно от того, что нет «Руси»?⁷ Вам больно оставлять Париж? Я бы тогда не хотела.

Мне грустно уходить от этого письма.

С Вами — тихо.

Е(лизавета).

¹ Штейнер Рудольф (1861—1925) — глава немецкого отделения Теософского общества, позднее (с 1913 года) возглавил выделившееся из него Всеобщее Антропософское общество. Его книга «Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека» вышла на немецком языке в 1904 году, первое русское издание появилось в 1910 году (пер. А. Р. Минцловой). В письме к Волошину от 30 мая 1908 года Дмитриева сообщала, что переводит эту книгу Штейнера.

² Безант Анни (1847—1933) — английская и индийская общественная деятельница, председатель Теософского общества с 1893 года, автор многочисленных книг и статей. Волошин встречался с ней в Париже в 1905 году.

³ Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905) — философ.

⁴ Сапфир был одним из любимых драгоценных камней Дмитриевой; упоминается в ряде ее стихотворений.

⁵ Весной 1908 года Дмитриева окончила петербургский женский Педагогический институт (на Малой Посадской ул., д. 26); с осени ей предстояло учительствовать.

⁶ Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Дмитриевой.

⁷ «Русь» — ежедневная газета, выходившая с декабря 1903 года под редакцией А. А. Суворина; Волошин сотрудничал в ней как парижский корреспондент с 1904 года. О прекращении издания газеты он извещал мать в первых числах июля 1908 года (по новому стилю). «Как же без „Руси“ в Париже?» — спрашивала она 11 июля (28 июня) в своем ответе на это, несохранившееся его письмо. Однако 16(3) августа Волошин сообщал ей, что «Русь» «возрождается». Газета стала выходить под названием «Новая Русь» (1908—1917).

4

19^{ое} Сент(ября)

2^{ое} окт(ября)

(1908) Петер(бург)

Я недавно была у Каменской¹ — Вы ее знаете; какое у нее странное лицо и странный взгляд — помните их? Я была у нее и думала тоже об Иуде — я много о нем думаю; все, что Вы узнаете о нем — Вы напишите мне — хорошо? Ту легенду, связанную с Notre-Dame, кот(орую) Вы говорили мне весной, я нашла недавно в «(Le) Jardin d'Épicure» — France'a² — Вы ее прочли там? Рассказывали мне Вы ее несколько иначе — лучше, ближе. Но Вы не сказали, что аббат Oegger пошел потом проповедовать религию любви во имя отверженного Иуды! Передо мной лежат мемуары Казановы³ — я теперь буду их читать. Последнее время читала так мало, все время не смотрела в будущее, а опускала глаза в настоящее; от этого у меня сильно все время болела голова. И все-таки настоящее не устраивается. Теперь я буду много читать, особенно стихи, без них грустно; недавно прочла «Oeuvres posthumes» Baudelaire'a,⁴ читали ли Вы это; так хорошо, много неизданных до сих пор стихотворений и потом его дневник — я больше всего люблю читать записки и дневники — это так сближает. Этот цветок нехороший на вид, желтый, но он принесен из церкви, был в венке около Креста, кот(орый) выносят 14 Сент(ября).

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».⁵
Оттого и посылаю. Вы теперь сами видите Марго,⁶ и знаете какая она.

Если можно, напишите мне поскорее; все время так грустно и пусто на душе, хочется, чтобы Вы говорили. У Вас тихий и ласковый голос. Вам хорошо? Иногда думаю, что в январе Вы приедете — и я Вас увижу, но до этого еще много месяцев, и я не знаю, что они мне скажут. На столе у меня белые астры, точно звезды.

Закрытка. На штемпеле: Paris 5—10—08. Отправлена по адресу: Paris XIV-e 35. Rue Boulog. M(onsieur) Volochine.

¹ Каменская Анна Алексеевна (1867—1952) — председатель Российского Теософского общества, редактор-издатель журнала «Вестник теософии», переводчица (псевдоним Alba). Сохранилось ее письмо к Волошину. Визит Дмитриевой к Каменской был, очевидно, связан с готовящейся в журнале публикацией ее перевода стихотворения «Октава» Св. Терезы, помещенного в № 3 за 1909 год.

² «Le Jardin d'Épicure» («Сад Эпикура», 1894) — книга эссе и афоризмов Анатоля Франса. В ней изложена легенда о викарии собора Нотр-Дам де Пари Эжже, последователе шведского мистика Сведенборга. В своей книге «Подлинный мессия» (1829) Эжже предпринял попытку реабилитировать Иуду Искариота — идея, проповедовавшаяся древней сектой манихеев и заключавшаяся в том, что предательство Иуды было необходимо для совершения Христом подвига самопожертвования, и потому его «безымянная жертва» тоже является подвигом; ее разделяли также А. М. Ремизов и Волошин. Об отношении последнего к Иуде см.: *Купченко В.* Подвиг высшего смирения // Наука и религия. 1992. № 2. С. 16—19.

³ Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — венецианский авантюрист и писатель, автор знаменитых многотомных «Воспоминаний» (изданы посмертно в 1822—1826 годах). Видимо, Казанову рекомендовал прочесть Дмитриевой Волошин: это же он позднее, в 1910 году, предложил Цветаевой.

⁴ Имеется в виду издание «Oeuvres posthumes et correspondance inedit» Шарля Бодлера (1821—1867), вышедшее в 1887 году. В 1907 году в Москве был издан дневник Бодлера «Мое обнаженное сердце» (пер. Эллиса).

⁵ 14 сентября — праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день во время Божественной Литургии в православных храмах Трисвятое (молитва «Святой Боже...») заменяется на приводимые Дмитриевой слова пасхального кондака.

⁶ См. прим. 9 к п. 2.

5

30^{ое} сент(ября) } (19)08 г(ода). Петербург.
13^{ое} окт(ября) }

Уже очень давно от Вас нет писем, очень. Теперь мы пишем друг другу полуборванные письма, останавливаемся на полусловах, у меня такое чувство.

Точно с Халолы я потеряла Ваши письма, точно я не пишу Вам письма, а «переписываюсь».

Почему все стало так? Я много об этом думала, и мне было больно. Потому что в Вас для меня много; Вы это знаете.

Вы для меня поэт страшно близкий своим творчеством, в Вас для меня скрыты многие слова, и потом я Вас очень люблю.

И потому, если уйдете или пройдете, то будет горько; только все-таки Вы проходите или уходите, если это нужно.

Вы знаете, а я ничего не знаю. Может быть, в Халоле я все оставила, а Вы думаете, что я теперь пустая, да, Вы это думаете?

Это совсем верно, я теперь стала очень, очень скучная, у меня пустая душа.

Моя внешняя жизнь идет так скверно, так некрасиво и одиноко, что я боюсь; боюсь, что она отражение внутренней.

У меня теперь есть испанская книга об одной мистичке, Maria de Agreda,¹ я ее читаю, и мне хорошо.

Потом я перевожу один испанский рассказ.²

Даю уроки русской истории в гимназии.³ У меня много девочек, которые гово-

рят, что «Олег был царь варягов и сделал Корсунь русской столицей».⁴ Мне жаль, что их нужно поправлять.

Иногда я думаю, что Вам самому нехорошо, тогда хочется быть очень ласковой. Но чувствую себя беспомощной.

Вы весной сказали, что нужно сожаление, т(ак) что не нужно и писать мне, если это все прошло.

Но если Вы не пишете случайно, то напишите поскорее, милый Макс Александрович; я очень устала.

Л(илия).

В письмо был вложен лист растения.

¹ Агреды Сор Мария Коронель д'Жезус де (1602—1665) — испанская религиозная писательница, получившая прозвище «святая Тереза Барокко»; главное ее сочинение — «Мистический город Бога».

² Имеется в виду рассказ К. Беккера «Лунный луч» (см. прим. 11 к п. 7).

³ Дмитриева преподавала в Петровской женской гимназии на Петербургской стороне (Плуталова ул., д. 24).

⁴ Древнерусский князь Олег Святославич (сер. XI века — 1115) владел Ростово-Суздальской землей, княжил на Волыни и в Тмутаракани; ни к варягам, ни к византийскому владению в Крыму городу Херсонесу (Корсуни) не имел отношения.

6

$\frac{17}{30}$ X. (19)08 г(ода). St. P(e)t(e)rsb(u)rg.

Накануне Вашего письма у меня была Ваша «Девочка» (п(отому) ч(то) для меня она — Маргоша,¹ т. е. сделано все, чтобы испортить ее жемчужное имя). Она еще полна Парижем и вами (с маленькой буквы, п(отому) ч(то) здесь есть и Я(ков) А(лександрович)),² рассказывала много и бессвязно, хочет она тоже очень многого и безграничного. А у меня в моей комнате всегда тихо и немного грустно, лежит очень много книг, кот(орые) никогда нельзя прочитать, сейчас опущены шторы и болит голова. И от этого фразы — неверные и лохматые, но все-таки я буду сейчас писать Вам. Скоро у меня в руках будет переписка Maria d'Agreda, это два толстых тома с миниатюрами, с сохраненной орфографией,³ и я уже радуюсь — Вам переведу те фразы, кот(орые) меня остановят. Я уже слышала о Вашей статье в Золотом Руне — мне говорили, что ее нужно читать⁴ — я достану — постараюсь. А афоризмы Ваши будут в следующем № ?⁵ Я спросила Вас об Иуде, п(отому) ч(то) в «Эпохе» (кажется, в ней)⁶ было написано, что Вы пишете о нем статью — я и думала, что она уже окончена.

Было ли где-нибудь напеча(но) Ваше длинное стихотворение, где есть строчки «и были дни, как муть опала, и был один, как аметист».⁷

Я все о нем думаю в последнее время, читаю много франц(узских) стихов, очень много Alfred de Vigny, у меня сейчас какое-то сомнение, кажется, что Вы не должны любить его?⁸ А я люблю, как-то почти все в его стихах принимается мной, только нехорошо, что он не любит деревьев, трав и цветов.

Теперь без них грустно и печально; все время дождь и серый, мягкий туман; в нем вчера были совсем белые похороны.

В такую городскую осень я совсем перестаю быть самой собой, или, м(ожет) б(ыть), делаюсь сама собой, я не знаю; моя внешняя жизнь идет ровно и нехорошо, безо всяких изменений; а во внутреннюю вошла тоска, она приходит каждый вечер около 7-ми часов, и весь вечер я не знаю, что мне делать, и как уйти от нее. Около 11-ти она куда-то исчезает, и я остаюсь одна, усталая и измученная, и произвожу «грустное впечатление», как говорят. Теперь, сейчас $\frac{1}{2}$ 7^о, и она скоро придет.

Вы теперь, вероятно, дома и читаете, или пишете, у Вас хорошо и уютно.

А я сейчас заклею это письмо и пойду опустить его, буду ходить по темным улицам с дождем.

До свидания.

Лиля Дмитриева.

В письмо была вложена веточка папоротника.

¹ М. К. Гринвальд. «Девочка» (или «веселая девочка») — прозвище, данное ей Волошиным в Париже, где она жила летом 1908 года в его ателье.

² Глов Яков Александрович (1878—1938) — двоюродный брат Волошина, переводчик. М. Гринвальд общалась в Париже с ним и с А. Н. Толстым (запечатлевшим ее позднее в романе «Две жизни»).

³ Имеется в виду переписка Марии д'Агреды с испанским королем Филиппом IV, изданная в двух томах в 1885 году.

⁴ В 1908 году в журнале «Золотое руно» были напечатаны статьи Волошина «Демоны разрушения и закона» (№ 6) и «Устремления новой французской живописи» (№ 7/9).

⁵ Видимо, имеется в виду статья «Hogomedon» — классификация видов искусства в соотношении с категорией времени, которая была опубликована в «Золотом руно» лишь в 1909 году (№ 11/12).

⁶ Анонс несуществующего «рассказа» Волошина в петербургскую газету «Эпоха» (1908. 22 сент. № 2) дал А. Ремизов.

⁷ Начальные строки стихотворения Волошина «Второе письмо» (закончено весной 1906 года; обращено к М. В. Сабашниковой). Впервые опубликовано в «Золотом руно» (1906. № 7/9).

⁸ Виньи Альфред де (1797—1863) — французский писатель. Прямых оценок его творчества в статьях и письмах Волошина нами не обнаружено. Однако, по воспоминаниям Ю. Л. Оболенской, летом 1913 года Волошин читал ей вслух поэму Виньи «Моисей» (1822).

7

$\frac{24}{7}$. XI. (19)08.

Вот сегодня радостно и светло; вернулась домой усталая, п(отому) ч(то) встаю рано (а я этого не умею), и мама дала Ваше письмо, и оно сразу дало мне много мыслей и радости. Ваш бюст такой хороший, и, Вы правы, значительный.¹ Лицо греческого мудреца, не совсем Зевса, я его не очень понимаю, а Вы похожи на Эврипида.² А потом этот бюст не будет у Вас? Его уже нельзя будет увидеть.

Он будет Вашим?

То, что Вы написали про Ваше состояние во время лепки этого бюста, вдруг напомнило мне «Портрет Дориана Грея» и «Овальный портрет» По, и стало страшно, Ваша душа не уйдет за этим бюстом?³

Я знаю Аделаиду Герцык⁴ по стихам в «Цветнике Ор»⁵ уже давно и люблю ее, а из стихотворений три: про трех сестер в башне, оно чудесное, про ключи от жизни, на дне моря, и о том, как она «освящает времени ход, чтоб все шло, как идет».⁶

И потом она тоже любит осень; хорошо, что она теперь с Вами.

Я, непременно, пойду к Елене Оттобальдовне,⁷ п(отому) ч(то) мне хочется знать ее. Только немного страшно, но совсем, совсем не тяжело.

А потом будете и Вы.⁸

Теперь, что я? У меня нехорошие утра, когда хочется спать, болит голова и нужно давать уроки; а потом, часов с трех я свободна; маме⁹ теперь лучше, почти хорошо физически, но нравственно в ней что-то уснуло. Точно она может только

страдать и тогда терять разум, или быть тупо-равнодушной. Теперь она — здорова, но точно заснула, точно не она. Теперь скоро она уедет на две недели к брату, и я останусь совсем одна; и я жду этого.

Так нужно мне быть одной, но этого никак нельзя сделать. Около меня много людей, и вечера мои коротки; правда, есть много людей, которых нужно любить, а это единственное, что я немного умею делать, значит я должна это делать, хотя не всегда выходит это так, как я хочу, не умею я так любить, чтобы все блестело. И от этого много грусти и печали. Рядом со мной живет теперь одна моя подруга, кот(орая) проходит через всю мою жизнь. У нее много горя и ее зовут Майя;¹⁰ теперь я вижу ее часто и не знаю, как ее нужно любить, и от этого мне тоже грустно. П(отому) ч(то) нужно как-то особенно сильно, глубоко.

Потом я пишу стихи, кот(орые) совсем не такие, как мне нужно, и их я не люблю. Теперь у меня на душе поздняя, темная осень и еще нет снега. Если бы это скоро прошло! Я была несколько раз у теософов, они чем-то манят меня, но что-то стоит между мной и ими — я больше люблю читать их книги.

А мои испанские легенды такие хорошие: они Gustavo Becquer^{7(a)},¹¹ писателя XIX века, я их все читала несколько раз, но перевожу лишь вторую, про принца, кот(орый) полюбил, как женщину, лунный луч.

Мне хочется сказать Вам гораздо больше, чем я пишу, но еще все нет слов.

До свидания

Лиля Д(митриева).

¹ Бюст Волошина лепил живший в Париже польский скульптор Эдвард Виттиг (1879—1941); его творчеству Волошин посвятил статью «Эдуард Виттиг» (Аполлон. 1913. № 5). В конце ноября (письмо без даты) 1908 года Волошин сообщал матери: «Он (бюст. — В. К.) удивительно хорош. Я не говорю о сходстве, но он сам по себе будет очень крупным произведением искусства. Он в очень строгом античном стиле и напоминает голову Зевса. Я позирую в венке из полныи, как обычно хожу в Коктебеле» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 60).

² Еврипид (около 480 или 484—406 до н. э.) — древнегреческий драматург. Скульптурный портрет Еврипида был выполнен в кругу скульптора Лисиппа (IV век до н. э.).

³ В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891) и в рассказе Эдгара По «Овальный портрет» (1842) развивается мотив переселения души героя в его портрет.

⁴ Герцык Аделаида Казимировна (1870—1925; в замужестве Жуковская) — поэтесса, критик, переводчица. Приехала в Париж из Италии около 5 декабря 1908 года.

⁵ Имеется в виду стихотворный цикл А. Герцык «Золот-ключ» из девяти стихотворений, опубликованный в альманахе «Цветник Ор. Кошница первая» (СПб.: «Оры», 1907).

⁶ Речь идет о стихотворениях А. Герцык из названного цикла: «В башне высокой, старинной...», «Ключи утонули в море...» и «Если в белом всегда я хожу...».

⁷ Кириенко-Волошина Елена Оттобальдовна (1850—1923) — мать Волошина. Приехала в Петербург лишь в январе 1909 года.

⁸ В недатированном письме к матери Волошин сообщал: «Я выеду сейчас же после 13(26) января» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 60). В действительности он приехал в Петербург около 29 января 1909 года.

⁹ Дмитриева Елизавета Кузьминична (около 1859—1941) — мать Е. И. Дмитриевой, повивальная бабка. По отцу — украинка; в ее роду были также цыгане.

¹⁰ Звягина Мария Михайловна (1836—1942) — гимназическая подруга Дмитриевой, учившаяся с ней в 1901—1904 годах. В 1905 году вышла замуж за математика В. О. Лихтенштадта, участника революционного движения. Через семь месяцев после свадьбы оба были арестованы, но Звягину через год, проведенный под следствием в Петропавловской крепости, освободили, Лихтенштадт же в 1907 году был приговорен (за участие в подготовке покушения на П. А. Столыпина) к повешению. В результате хлопот его матери в 1908 году приговор был заменен на бессрочную каторгу и Лихтенштадта перевели в Шлиссельбург (см. о нем: *Этерлей Е.* Узник Шлиссельбургской крепости // *Русская речь.* 1970. № 2. С. 66—72). Сведения о М. М. Звягиной получены от ее дочери М. М. Тушинской. См. также запись о «Майе» в дневнике Волошина: Дневники. С. 292.

¹¹ Беккер Густаво Адольфо (1836—1870) — испанский писатель немецкого происхождения, представитель позднего романтизма. Известность ему принес сборник «Легенды», пере-

веденный на русский язык (под названием «Избранные легенды») еще в 1896 году. Дмитриева переводила его рассказ «Лунный луч»; эпиграф из Беккера предпослан ее «Сонету» («Моя любовь — трагический сонет...») (Аполлон. 1909. № 2. С. 8).

8

(5(18) января 1909 года).¹ Сочельник.

Спасибо за Ваше стихотворение,² глубоко, глубоко спасибо. Я посылаю Вам и свое, недавнее,³ п(отому) ч(то) Вы хотите этого. И книгу Любви Столица я достану и прочту⁴ — о книге слышала, но никогда ни одного стихотворения из нее не читала.

У нас по улицам все елки; и уже пахнет Рождеством; я сегодня утром читала «Историю года»,⁵ а потом была у сестры на кладбище;⁶ все бело и пушисто; но радостно — я не верю, что есть смерти! И в белой, серебряной радости кладбища есть ведь глубокая печаль; значит верно, что это радость.

Марго⁷ уезжает на праздники в Москву, она ходит в розовых шелковых платьях, очень любит книгу стихов Кузмина «Сети»,⁸ но все время печальная и грустная.

Вот о ней не знаю больше.

Мне жаль, что Вы уезжаете из Парижа, кажется, что в Петербурге Вам будет не свободно и грустно.

А Аделаида Герцык останется навсегда в Париже?⁹ Читали Вы роман Sénancour'a «Obermann»?¹⁰

Не забывайте же меня.

Лиля.

¹ У Дмитриевой описка: «1908 г.» Датируется нами по содержанию.

² Возможно, речь идет о стихотворении «Возлюби просторы мгновенья...». Волошин послал его матери 2 января 1909 года (20 декабря 1908 года).

³ На обороте стихотворение «Средь долин шумно-радостных, средь цветущих долин...».

⁴ Столица Любовь Никитична (урожд. Ершова, 1884—1934) — поэтесса. Ее знакомство с Волошиным произошло в 1907 году. Первая книга стихов Столицы «Раиня» вышла из печати в 1908 году в Москве.

⁵ «История года» — книга английской теософки Мабель Коллинз, представляющая собой толкование религиозных праздников с теософской точки зрения (русский перевод Е. Писаревой вышел в Калуге в 1909 году). По мотивам этой книги Дмитриева написала летом 1913 года стихотворение «День Нового года».

⁶ Дмитриева Антонина Ивановна (около 1883—5 января 1908) — учительница, умерла в двадцать четыре года от заражения крови при родах. Рассказ Дмитриевой об этом см.: Дневники. С. 296.

⁷ М. К. Гринвальд.

⁸ Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — поэт, писатель, композитор, критик. Его первая книга стихов «Сети» (М.: «Скорпион», 1908) имела большой успех. Сама Дмитриева была и раньше знакома с творчеством Кузмина по журнальным публикациям; еще в октябре 1907 года она написала пародийное стихотворение «М. Кузмину (Шуршали сестры...)».

⁹ А. К. Герцык вернулась в Россию в 1909 году.

¹⁰ Сенанкур Этьен Пивер де (1770—1846) — французский писатель, предшественник романтизма. Его роман «Оберманн. Письма, изданные г. Сенанкуром» (1804) — одна из первых «исповедей души».

9

$\frac{8}{21}$ II. (19)09.

Дорогой Макс Александрович, я у моего человека достала «Le roman de la Momie»,¹ т(ак) ч(то) не нужно его для меня покупать; п(отому) ч(то) еще у него есть

Bergerac² и Gobineau (La religion de l'Asie centrale),³ а Lovengiul,⁴ по всей вероятности, есть в Публ(ичной) Библ(иотеке).

Мое издание Gautier — другое, т(ак) ч(то) мне хочется знать, с какой главы переводит Ел(ена) От(тобальдовна).⁵

Не хотите ли Вы переводить для клас(ической?) книги *Cazotte* «Le diable amoureux»,⁶ он очень удобен по формату, или «Contes d'Hamilton»?⁷

А ко мне нужно приходиться, но не во вторник, завтра или в среду.

В четверг у Марго⁸ Вас не увижу?

Можно прийти к Вам опять в субботу и принести немного «Momie»?

От Вас светло и спокойно.

Лиля.

Мама⁹ говорит, что она Вам кланяется.

¹ «Le roman de la Momie» («Роман мумии», 1858) — роман о Древнем Египте французского писателя Теофиля Готье (1811—1872), основоположника теории «искусства для искусства».

² Бержерак Савиньен Сирано де (1619—1655) — французский писатель; его главное прозаическое сочинение — «Иной свет, или Государства и империи Луны», было опубликовано в 1657 году под названием «Комическая история».

³ Гобино Жозеф Артюр де (1816—1882) — французский писатель, дипломат и ориенталист. В его книге «Религия и философия Центральной Азии» («Les religions et les philosophies dans l'Asie Centrale»; 1865) оправдывалось социальное и расовое неравенство.

⁴ Ловенжюль Шарль Спельбер де (1836—1907) — бельгийский историк литературы, автор работ о романтизме, виконт. Волошин упомянул его в рецензии «Французская литература» (Аполлон. 1909. № 3. С. 8—9; разд. «Хроника»).

⁵ Е. О. Кириенко-Волошина не раз пробовала свои силы в переводах (главным образом — с немецкого языка), но все ее работы не имели завершения. Информацией о каких-либо ее переводах из Т. Готье мы не располагаем.

⁶ Казотт Жак (1719—1792) — французский писатель, увлекавшийся оккультизмом; казнен по обвинению в участии в роялистском заговоре. Его роман «Влюбленный дьявол» («Le diable amoureux»; 1772) был опубликован в переводе Н. Вальман в журнале «Северные записки» в 1915 году (№ 10, 11).

⁷ Имеются в виду «Сказки» («Contes de Feerie») англо-французского писателя эпохи Регентства Антуана Гамильтона (1639—1720), пародировавшие модные тогда среди французской аристократии волшебные сказки.

⁸ М. К. Гринвальд.

⁹ Е. К. Дмитриева.

10

17^{ое} апреля. (1909)

Макс, дорогой, я обещала Вам написать, что было у Иванова;¹ было очень нехорошо, содержание лекции передавать я Вам не буду, п(отому) ч(то) читал ее не Вяч(еслав) Ив(анович), а Верховский.²

Было, м(ожет) б(ыть), и верно, но очень скучно; я смогла вынести лишь то, что лучше хорошая рифма, чем плохая; 23 апр(еля) опять будут говорить о рифме, но уже сам Вяч(еслав) Ив(анович), тогда я напишу Вам подробно. После чая Пяст читал свою поэму, написанную «ноннами» (построение, близкое к октаве),³ места — хорошо.

Домой я возвращалась одна, по светлому, пустому городу, и это было лучше всего.

Теперь Наташа К.⁴ не поедет к Вам, п(отому) ч(то) она уже куда-то уехала.

Я купила себе много *Datura ciedien*.⁵

Ваш Гомер теперь висит над моим столом, и оттого на нем строже и значительнее.

Мне грустно, что нет цветов, вложить в это письмо.

Присылайте мне стихов Ваших и думайте обо мне.

Кажется, никогда не придет мая, конец его.⁶
Письмо рвется, и не те слова.

Лиля.

P. S. Я послала в Париж 100 fr(ancs).

¹ Весной 1909 года в квартире В. И. Иванова на «Башне» (Таврическая ул., 25) начались собрания «Поэтической академии», в которых участвовали Ю. Н. Верховский, Н. С. Гумилев, И. фон Гюнтер, В. Н. Ивойлов, П. П. Потемкин, А. Н. Толстой и др. 27 апреля 1909 года поэт В. В. Гофман писал А. А. Шемшурину: «Был однажды у Вяч. Иванова. Он, оказывается, читает здесь у себя на квартире молодым поэтам целый курс теории стихосложения. Все по формулам и исключительно с технической, с ремесленной стороны. Формулы свои пишет мелом на доске, и все за ним списывают в тетрадки. А какие-то дамы, так те каждое слово его записывают, точно в институте... (...) Все же учреждение это именуется академией поэтов» (ГБЛ. Ф. 339. Карт. П. Ед. хр. 13). Четвертое — восьмое заседания (с 14 апреля по 16 мая 1909 года) были запротоколированы М. М. Замятниной (см.: *Гаспаров М. Л.* Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 г. // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 89—105). Дмитриева описывает здесь четвертое заседание, состоявшееся 14 апреля; разговор шел об амфибрахии — и она добавила: «В испанских романсах с IX в. *рифма* выдержана в четных строках, но рифма — бедная. А впоследствии на рифму обращают внимание, и она очень обработана — следовательно, это не от языка» (Там же. С. 91). Осенью 1909 года эти собрания были перенесены в редакцию журнала «Аполлон», и академия получила название Общества ревнителей художественного слова.

² Верховский Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, литературовед. Дмитриева посвятила ему стихотворение «Риторнель».

³ Пяст Владимир Алексеевич (наст. фамилия Пестовский, 1886—1940) — поэт и переводчик. Его «Поэма в ноннах» вышла отдельным изданием в 1911 году тиражом в 100 экз. Октава — строфа из восьми строк с закрепленной рифмовкой, нонна — из девяти строк.

⁴ Неустановленное лицо.

⁵ Один из видов дурмана — растения семейства пасленовых, все части которого ядовиты; используется в медицине. Дмитриева упоминает «датуру» и в стихотворении «Наш герб».

⁶ В конце мая Дмитриева собиралась к Волошину в Коктебель, куда приехала 30 мая (вернулась в Петербург 1 сентября).

11

(18 января 1910)¹

Макс, дорогой,

я видела Пантеона² на *vernisage*'e³ и пойду к нему лишь завтра. Вчера у Амори⁴ не была, а Дикс⁵ был у меня, было не слишком хорошо. Я еще не получила письма от Моравской⁶ — очень хочу ее видеть, я прочла несколько ее стихов Маковскому,⁷ он в восторге, хочет ее печатать; так что это уже ее дело.

Аморя, по-моему, ей ничего не даст, ей нужен возврат в католичество, или через него. Диксу ее стихи не понравились.

А у меня чувство — что я умерла, и Моравская пришла ко мне на смену, как раз около 15⁰⁰, когда Черубина должна была постричься.⁸ Мне холодно и мертво от этого. А от М(орав)ской огромная радости!

Макс, Макс, я, как слепая, я не знаю, что со мной.

А видеться не могу — п(отому) ч(то) не могу вынести этого.

Лиля.

Понед(ельник).

Утром.

¹ Датируется по содержанию.

² Петербургское издательство «Пантеон» возглавлял З. И. Гржебин, но из-за преследования его полицией, официальным представителем был М. С. Фарбман. В 1908 году «Пантеон» выпустил книгу Ж. Барбе д'Оревиллы «Лики дьявола» со вступительной статьей Волошина; в 1909 году он предлагал издательству сделать переводы произведений Анри де Ренья, Реми де

Гурмона, Анатоля Франса (см. его запись в тетради: ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 261. Л. 42), но договориться об их публикации не удалось.

³ 17 января в редакции журнала «Аполлон» состоялось открытие выставки современных русских женских портретов (работала по 7 февраля).

⁴ Аморя — домашнее имя Маргариты Васильевны Сабашниковой (1882—1973), художницы и писательницы, жены Волошина с весны 1906 года (через год их брак распался). Знакомство Дмитриевой с ней произошло около 10 ноября 1909 года на «Башне» В. И. Иванова.

⁵ Дикс — псевдоним Бориса Алексеевича Лемана (1880—1945), поэта и востоковеда. Был участником Поэтической академии, членом Антропософского общества.

⁶ Моравская Мария Людвиговна (1889—около 1947) — поэтесса, полька по происхождению. Еще 13 января 1910 года Дмитриева поздравляла Волошина «с Марией Моравской» и выражала желание с ней познакомиться, но добавляла: «только вряд ли я смогу ей помочь».

⁷ Маковский Сергей Константинович (1878—1962) — сын известного художника, поэт, искусствовед, редактор журнала «Аполлон». Главная жертва мистификации Волошина и Дмитриевой, влюбившийся в нее заочно. В своих воспоминаниях «Черубина де Габриак» (Маковский С. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955. С. 333—358) он, в частности, утверждал, что после «разоблачения Черубины» больше с ней не встречался. Этому противоречит как настоящее письмо, так и более позднее, из Екатеринодара (п. 18 в наст. публикации). Маковскому посвящены стихотворения Дмитриевой: «Твои цветы — цветы от друга...» и «Конец («Милый рыцарь Дамы Черной...»)» (оба — 1909 года).

⁸ То есть 15 октября 1909 года, в ходе мистификации (подробнее об этом см.: Волошин М. Рассказ о Черубине де Габриак // Памятники культуры: Новые открытия: 1988. М., 1989. С. 41—52).

12

Суббота. $\frac{6}{II}$. (1)910. СПб.

Я сегодня утром рано отправила тебе мою от(к)рывалочку; а в 11 получила от тебя из Джанкоя.¹

И стало спокойнее. Я рада твоей книге, рада тому, что очень скоро у меня она будет.²

И так завидую тому, что ты один, там, в Коктебеле.

Рада, что не придет Брюсов.³ Я теперь очень занята; Аполлон присылает мне перевод за переводом, неразборчивые и гадкие. Они меня делают тупой. Я ненавижу Paul Adam,⁴ синдикализм,⁵ René Ghil,⁶ а больше всего Chantecler.⁷

До того нехорошо.

Я чиню зубы, и они болят.

Когда они болели в Коктебеле, то всходило солнце и зажигало желтые мальвы. Здесь оттепель.

А внутри, Макс, я не знаю, что внутри! Я все думаю, и слова большие, возмездье, искупление, отречение, только все это неверно. Я очень мучаюсь. Не знаю, чем; внутри нет точки.

Я хочу, чтоб мне где(нибудь) можно было переночевать; у меня душа черная, у меня все болит. Я не пишу стихов, т. е. написала плохие.⁸

Точно умираю, или слепну. Макс, во мне нет радости. Я мучаю и тебя, и себя очень, я не понимаю, чем.

Это очень нехорошо — эгоизм, но мне от него некуда уйти.

Тебе не скучно со мной?

Макс, у меня слова не те, читай за ними, глубже. Пожалуйста.

Ты обещал писать стихи, мне письмо в стихах — не забудь. Я жду. Я всех слов жду. Так голодна я.

А что Ал(ександра) Мих(айловна)?⁹ Что Феодосия?

Мне нужно твердости.
Макс, любимый мой!

Лиля.

¹ Волошин выехал из Петербурга в Крым 4 февраля 1910 года.

² Первая книга Волошина «Стихотворения. 1900—1910» вышла в московском издательстве «Гриф» 27 февраля 1910 года.

³ В. Я. Брюсова Дмитриева посетила в Москве (вместе с Н. Гумилевым) 26 мая 1909 года, по пути в Коктебель (см.: *Ахматова А.* Биографическая канва Николая Гумилева (до 1912 года) / Публ. В. К. Лукницкой, коммент. А. Маньковского // Наше наследие. 1989. № 3. С. 82).

⁴ Адан Поль (1862—1920) — французский писатель.

⁵ Анархо-синдикализм — течение в рабочем движении, ставившее целью социальный переворот с заменой государственной власти руководством федерации синдикатов (профсоюзов). Возникло в конце XIX века во Франции, Испании, Италии, Швейцарии и ряде других стран.

⁶ Гиль Рене (1862—1925) — французский поэт и критик, знакомый Волошина (при его посредничестве сотрудничал в журнале «Весы»).

⁷ Имеется в виду пьеса Э. Ростана (1868—1918) «Шантеклер» (1910). В 1910 году была переведена на русский язык Т. Л. Щепкиной-Куперник и поставлена в петербургском Малом театре.

⁸ Слово подчеркнуто Дмитриевой два раза.

⁹ Петрова Александра Михайловна (1871—1921) — феоdosийка, педагог, друг Волошина с его гимназических лет. 7 августа 1909 года Волошин был у нее вместе с Дмитриевой; в его архиве сохранилось 26 писем Дмитриевой к Петровой (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 6. Ед. хр. 23).

13

1 марта (1910)

Твои письма дают радость и тоску. Радость, п(отому) ч(то) ты мне дорог, и твой покой тоже, тоску, п(отому) ч(то) все ясней, что нет к тебе возврата.¹ Но это без боли, Макс, и не нужно, чтоб у тебя была; п(отому) ч(то) я не дальше, я, м(ожет) б(ыть), гораздо ближе подойду к тебе, но только ты *не путь мой*. А где путь мой (—) не знаю.

Твои «весенние» стихи я плохо чувствую, а сегодняшние мне близки, особенно «цвета роз и меда».² А в первом мне не нравится, что фразы разрезаны, конец на другой строчке, чем начало; потом нехорошо, что *лик* — жен(ского) рода (хотя, м(ожет) б(ыть), это по Далю?).³

А предпоследнее стихотворение о «семисвечнике» мне очень близко, но выбрось последние 4 строчки; жабры, плевры (—) все это никуда; плохо и то, что семисвечник обращается в канделябр, почему не в люстру или лампу?⁴

Помочь тебе в стихах, что я могу — я молчу. Я написала два-три прескверных стишка, которые даже не шлю.

Аморю⁵ и Дикса⁶ случайно не видела 2 недели, когда Дикс был занят. Теперь вижу опять. Аморя хочет ранней весной уехать из П(етербур)га и не возвращаться в него зимой. Это очень грустно.

Моравскую⁷ я не хочу видеть, п(отому) ч(то) она мне ни к чему; что я найду в чужой, если я еще не нашла самой себя?

Лето я, наверное, проведу в Петербурге.

Целую тебя. Пиши. О себе!

Лиля.

¹ В ходе мистификации Дмитриева сама влюбилась в Маковского (см. п. 18), и крах надежд на него, по-видимому, вызвал ее отталкивание от Волошина — инициатора всего предприятия. 31 декабря 1909 года она писала Волошину: «Не могу сейчас придти к тебе целиком (... у меня ничего нет, я — пустая». Волошин долго не мог поверить в конец их любви — и в ряде писем в январе—феврале 1910 года Дмитриева все решительнее говорила о своем намерении уйти. В последнем письме (без даты, по контексту первая декада апреля) она подвела черту: «Да, не нужно писать мне, и я не буду больше. (...) Это мое последнее письмо, от тебя больше не надо ни слова. Мне больно от них». Выбор был сделан в пользу ее давнего (с 1906 года) жениха В. Н. Васильева (см. прим. 4 к п. 14).

² Строка из стихотворения Волошина «Облака клубятся в безднах зеленых...» (написано в Коктебеле 21 февраля 1910 года).

³ Речь идет о стихотворении Волошина «Солнце! Твой родник...», написанном 14 февраля 1910 года.

⁴ Подразумевается стихотворение «Звучит в горах, весну встречая...» (написано 16 февраля 1910 года). Раскритикованную Дмитриевой строфу («Дождем земные дышат жабры, / Еще разрыв одной плевры / И в храме вспыхнут канделябры / Зеленым пламенем листвы») Волошин выбросил. Все три стихотворения вошли в цикл «Киммерийская весна».

⁵ М. В. Сабашникова.

⁶ Б. А. Леман.

⁷ М. Л. Моравская.

14

18. VI. (1)912.
СПб.

5 л(иния), д. 66, кв. 34.

Дорогой Макс,

спасибо за книгу, очень, больше ничего не надо мне, — спасибо. Fabre d'Olivet¹ мне очень нужен, отчаивалась найти. Спасибо, милый.

И за все, что в письме, Макс, благодарю тебя. Мне не за что прощать тебе, нечего. Разве ты обманывал и разве не сгорела бы я уже, если б осталась. Сначала так тосковала по тебе, по твоему, но знала, встречу, — и опять, как в бездну.

Те сокровища, что в душе лежали, не могли пробиться наружу и не пробились бы никогда, на том пути, твоим, любимом, но на который *уже* не было сил. Но ты, далекий, всегда в сердце моем.

Навсегда из жизни моей ушло искусство, как личное.

Внешне иной стала я, безумной и угасшей, так было эти почти три года. И томилась все время, но вот с этого года обрела я *мой* путь и вижу, что мой он.² Узкий-узкий, трудный-трудный, но весь в пламени.

И личного нет. И не будет.

Пиши о себе, Макс, что ты пишешь? Статьи? А прозу не начал писать? Есть ли около тебя ласка?

Бор(иса) Ал(ексеевича)³ вижу часто, и все ближе он; внешне все тот же он, но душою уже не с нами. Он очень болен.

Воля⁴ на полгода уехал в Хиву, на изыскания, он — моя самая большая радость.

Теперь до 20^{ых} чисел июля одна я здесь. Занимаюсь много.

А с 20^{ых} октября уеду в Мюнхен, с Аморей поедем.⁵

Если можешь, пиши, родной. Привет Елене Оттоб(альдовне)⁶ и Алекс(андре) Мих(айловне).⁷

Лиля.

¹ Фабр д'Оливе Антуан (1768—1825) — французский драматург, ученый, философ-мистик. В письме от 8 июня 1912 года Дмитриева просила прислать ей книгу Фабра д'Оливе «Еврейский язык» (на французском языке; вышла в 1816 году), а также древнееврейское сочинение «Зогар» (часть Каббалы).

² Имеется в виду антропософия.

³ Б. А. Леман.

⁴ Васильев Всеволод Николаевич (1883—1944) — сын профессора медицины, инженер-гидролог; окончил Институт путей сообщения в июне 1911 года. Товарищ Б. А. Лемана по гимназии. Венчание его с Дмитриевой состоялось 30 мая 1911 года. Елизавета Ивановна посвятила ему стихотворения: «Ты — мой посох, посох радостный...» (1911), «Как горько понимать, что стали мы чужими...» (1921), «Все тою же проходим мы дорогой...» (1922). Согласно справочнику «Весь Петербург» Васильев в 1915—1917 годах служил в конторе оросительных бызисаний в Бухаре. Упоминаемая далее столица Хивинского ханства город Хива расположена в двадцати верстах от Аму-Дарьи, на системе каналов.

⁵ Отъезд в Мюнхен (вместе с М. В. Сабашниковой) состоялся 20 июля (2 августа) 1912 года. В сентябре Дмитриева выезжала — на лекции Р. Штейнера — в Базель (в ту осень Штейнером было основано Всеобщее Антропософское общество). Вернулась в Петербург в октябре 1912 года.

⁶ Е. О. Кириенко-Волошина.

⁷ А. М. Петрова.

15

28.X. (19)13. СПб.

Спасибо и за письмо, и за стихи, милый Макс! Сегодня Б(орис) А(лексеевич)¹ отправит назад Lunaria,² стихи же можно оставить? Статью о Репине получила.³ Где купить Решаля,⁴ не знаю, — я его достала случайно; постарайся выписать его через какой-нибудь магазин; я боюсь тебя задержать — чувствую себя плохо — выхожу редко, а попросить мне некого. Ты уж прости. Ск(олько) стоит, не знаю, по виду рубля два.

Ты мне непременно напиши, что тебе ответит Трапезников,⁵ если он откажет, хочешь, я спрошу сама о тебе Мар(ию) Як(овлевну)⁶ на Рождестве и постараюсь все устроить.

Мне «Lunaria» не понравилась. М(ожет) б(ыть), никогда я не любила стихи так мучительно, к(а)к теперь, м(ожет) б(ыть), никогда я так не искала их жадно. Отдельные строчки великолепны, в венке *очень* много мастерства,... но это все то же. Это камейя. Устала я от них. Я хочу новой формы, свободной, к(а)к песня, и нового импульса в содержании. Не музея, но жизни.

Я ни (у) одного поэта не нахожу этого. Так сложно то, чего я хочу от стихов, но не вижу таких, каких хочу, а идут, идут в совсем другую сторону. Ты не сердись, Макс, и не смейся — а иногда я плачу от того, что нет хороших стихов, нет, не хороших, я хочу великолепных!

Не обращай внимания на мое «читательское» мнение!

Будь здоров, милый.

Лиля.

Закрытка. На штемпеле: Феодосия. 1.11.13.

¹ Б. А. Леман.

² Венок сонетов Волошина, написанный им 15 июня—1 июля 1913 года.

³ Видимо, имеется в виду сборник Волошина «О Репине», вышедший из печати в марте 1913 года.

⁴ Речь идет об учебнике Е. А. Решаля «Учитесь по-еврейски!» (Варшава, 1904), сведения о котором Дмитриева сообщала Волошину в письме от 15 октября 1913 года. Эта книга имеется в его библиотеке.

⁵ Трапезников Трифон Георгиевич (1882—1926) — искусствовед, антропософ. В письме от 1 октября 1913 года Дмитриева отказалась рекомендовать Волошину в Антропософское общество («Ведь я не знаю тебя, Макс, теперь (...) не вижу уже тебя теперь») и советовала обратиться

«прямо в Берлин». Трапезников (тогда, кажется, еще не знавший Волошина лично) поручил-ся за него — и поэт был принят в Антропософское общество.

⁶ Фон Сиверс Мария Яковлевна (1867—1948) — прибалтийская немка, антропософка, друг Р. Штейнера (с 24 декабря 1914 года — его жена). 11(24) декабря 1913 года Дмитриева уехала с мужем в Германию (Лейпциг, Мюнхен, Берлин), где слушала лекции Штейнера.

16

21 июля. 1916 г(од). СПб.

Может быть, и хорошо, милый Макс, что ты не получил моего письма от 20 VI. Я уезжала тогда на 3 недели и была из них 10 дней в имении у Какангела.¹

У нее было очень хорошо; дубы, липы и мокрые от непрерывных гроз поля.

Я много думала о тебе. Много говорила о тебе с Какангелом.

Может быть, лучше, что ты не получил моего письма.

Спасибо за твои письма.

Я ведь, в сущности, только и хотела знать, кто я в твоей жизни.

И для меня радостно, что в твоей жизни я «есть», а не «была».

Это я хотела знать, потому что грустно быть милым покойником, и еще печальнее для живущего, когда покойники оживают.

Что делать с ними живому, если он вежлив?

Вот, Макс, за что я благодарю Тебя и люблю Тебя. Но я знаю границы, Макс, и слишком вежливым я не заставлю тебя быть. В тот месяц, который ты проведешь у нас,² я попрошу, вероятно, только один вечер.

Как прекрасно жить, Макс, как, несмотря на боль, прекрасно жить!

А как же твоя книга о готике?³ Ведь не бросил же ты ее? Почему вдруг Суриков?⁴

Макс, когда выйдет «Аксель»,⁵ не забудь прислать мне; мне как-то трудно купить эту книгу.

J'ai trop pensé pour daigner agir.⁶

Я прочла книгу Амари,⁷ какие трогательные, капающие слова! Как поэт — он молод?

Ты не хочешь участвовать в *этой* войне или вообще? Почему?

Теперь ответь мне в Финляндию, я пробуду там до 15 августа, мой адрес: Гельсингфорс, Купеческая улица, д(ом) 10, кв(артира) 8.

Ты подружился с Юлией Федоровной?⁸

Будь здоров, Макс.

Лилия.

¹ Какангел («злой ангел» (греч.); возможно, от сравнения «как ангел») — коктебельское прозвище Марии Николаевны Кларк, жившей у Волошиных летом 1909 года, но, скорее всего, знавшей Дмитриеву уже раньше (она звала ее «Ликирики»). Преподавала в частной гимназии Л. О. Вяземской (давней знакомой Волошина); дружила также с С. И. Толстой. Имение ее семьи Спасское находилось под Воскресенском в Московской губернии.

² Волошин собирался в столицы в конце 1916 года, но ограничился Москвой; поездка в Петроград не состоялась.

³ Книгу «Дух готики» Волошин писал для издательства М. и С. Сабашниковых в 1913—1914 и 1916 годах, но так и не закончил. Подготовительные фрагменты к ней опубликованы А. В. Лавровым в сборнике «Русская литература и зарубежное искусство» (Л., 1986. С. 317—346).

⁴ Монографию о В. И. Сурикове Волошин писал по заказу И. Э. Грабаря для издательства И. Н. Кнебеля, но при жизни автора она не была напечатана. Издание осуществил В. Н. Петров в 1985 году.

⁵ Имеется в виду драма французского писателя Огюста Вилье де Лиль-Адана (1838—1889) «Аксель», вышедшая в 1890 году, посмертно, и переведенная Волошиным летом 1909 года для журнала «Аполлон» (публикация не состоялась). Одно из любимейших его произведений, многократно цитировавшееся и повлиявшее на его мировоззрение. Фрагменты из драмы по-

мещены Н. И. Балашовым в приложении к сборнику Вилье де Лиль-Адана «Жестокие рассказы» (М., 1975. С. 149—166), полностью драма по-русски не публиковалась. Следующая далее в письме французская фраза — слова ее главного героя Акселя.

⁶ Я слишком много думал, чтобы снизить до действия (фр.).

⁷ Амари — псевдоним Михаила Осиповича Цетлина (1882—1945), совладельца чаеоторговой фирмы «Высоцкий и сыновья», поэта и мецената (в эмиграции стал основателем журналов «Современные записки» и «Новый журнал»). Видимо, речь идет о его сборнике стихов «Глухие голоса» (М., 1916). Волошин подружился с Амари и его женой Марией Самойловой Цетлин в 1915 году в Париже.

⁸ Львова Юлия Федоровна (1873—1950) — композитор (положила на музыку несколько стихотворений Волошина), теософка. В 1916-м и 1917 годах жила с дочерью в Коктебеле. Ей посвящено стихотворение Волошина «России». Попытки его «подружить» Дмитриеву с Львовой успеха не имели (из-за вражды между антропософами и теософами).

17

Helsingfors.¹ 6.VIII.(19)16.

Милый Макс,

и здесь жизнь идет тихо и мирно. Пахнет северным морем, и облака так отчетливы, как в июле на юге.

Ты слишком аккуратно мне отвечаешь, Макс, и та неудержимость, что дремлет во мне, она не довольна этой пасторской привычностью.

Я боюсь, что ты «считаешься» со мною.

Ах, Макс, зачем, почему не изнутри как-то.

Неубедительно я пишу. Да и не в том дело.

Мне настолько понравился Амари, что мне бы хотелось иметь его и I и II книгу от него лично.² Книжки, данные их творцом, становятся такими же драгоценностями, как и картины. Но не знаю, можно ли его, через тебя, попросить об этом? Ведь у меня нет никакого оправдания, кроме моей любви к сладостному сочетанию слов?

Ты уж реши сам, Макс, ты — умный и знаешь, кто какое и на что право имеет.

Ну, вот как хорошо, что твои стихи выйдут в переводе, как хорошо, что ты уже такой знаменитый!³

Я бы хотела видеть твои работы, и цикл Города может быть прекрасен — пришли хотя бы ключ.⁴

Я живу внешне прилично, а внутри — Бог знает, что там?

В глуби бескрылые напевы
Томят желанием творить,
Но их бесплодные посевы
Не взрастить!⁵

С 20 VIII я на всю зиму в Петрограде.

Целую крепко.

С любовью

Лиля.

¹ С конца июля 1916 года Р. Штейнер находился в Дорнахе, так что Дмитриева, по-видимому, уехала в Финляндию просто на отдых.

² Самая первая книга Амари «Стихотворения» (М., 1906) была в 1912 году конфискована; речь, видимо, идет о сборниках «Лирика» (Париж, 1912) и «Глухие слова» (М., 1916).

³ Скорее всего, имеется в виду стихотворение «В янтарном забытии полуденных минут...», помещенное в сборнике «A book of homage to Shakespeare» (London, 1916) под названием «Portia», наряду с переводом его на английский язык, выполненным Невилом Форбсом. Однако одиннадцать стихотворений Волошина в переводе на французский язык были уже опубликованы Ж. Шюзвилем в 1914 году в «Anthologie de poètes russes».

⁴ Сонет «Города в пустыне («Акрополи в лучах вечерней славы...»)» датирован 24 октября

1916 года. Волошин, по-видимому, сообщил Дмитриевой о замысле написать цикл пейзажей — по одному на каждую строку сонета, — что и было им сделано. Этот живописный цикл демонстрировался на выставке «Мира искусства» в Москве и в Петрограде.

⁵ Источник цитаты не установлен.

18

12/Х. (1919) Екатеринодар.¹

Милый Макс, пользуюсь случаем опять послать тебе весточку, хотя на первую и не получила ответа. Как ты живешь, что ты делаешь? От Новинского² привезли твои новые стихи: «Китеж»³ — мне очень, очень близки они — и тебе удался спокойный пафос.

Пожалуйста, присылай *все* новые стихи.

Ты знаешь о беде, что грозит Мейерхольду?⁴

Борис⁵ делает все, чтобы ему помочь.

Милый Макс! У меня к тебе есть *огромная* просьба, ее можно исполнить в течение дней 10 после получения этого письма. Свези, пожалуйста, в Судак* Вере Петровне Сухановой⁶ (сестра милос(ердия), у них свой дом) книги для меня; она их свезет мне: *Oblat*,⁷ книги твоих стихов (у меня украли) и что-нибудь по мистике, м(ожет) б(ыть), св(ятую) Терезу.⁸ Я буду очень, безгранично благодарна. И люби меня. И напиши письмо. Прости, что не приехала.⁹

Я только сейчас переборола С(ергея) Конст(антиновича).¹⁰ Стала свободной. Во многом из-за тебя.

Поэтому напиши мне. И будь со мной.

Твоя Лиля.¹¹

Письмо пошло через эту барышню, а вообще пиши: Ек(атеринодар). Осваг.¹² Красная. 70.

* Ай-Савская долина (дача рядом с им(ением) графа Мордвинова).

¹ Дмитриева приехала в Екатеринодар с мужем и Б. Леманом в ноябре (?) 1918 года. В июне 1919 года Волошин был там и общался с ними.

² Новинский Александр Александрович (1878—1950-е) — капитан 2-го ранга, начальник Феодосийского торгового порта в 1916—1920 годах, любитель поэзии. О знакомстве с ним во время его приезда в Екатеринодар Дмитриева сообщала Волошину в письме от 12 февраля 1919 года.

³ Стихотворение Волошина, законченное 18 августа 1919 года.

⁴ Режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд находился тогда в Новороссийске и был арестован белыми по обвинению в помощи большевикам. (Волошину сообщал об этом в письме от 27 сентября 1919 года С. Я. Эфрон).

⁵ Б. А. Леман.

⁶ Возможно, дочь П. Я. Суханова, жившего в Петербурге в 1909 году на Невском, 139. Ай-Савская долина отвечается от Судакской к северу; имение графа Мордвинова носило название Суук-Су.

⁷ Роман (1903) французского писателя Ж. К. Гюисманса (1848—1907).

⁸ Французское издание (1840) произведений испанской писательницы-монахини Терезы Авильской (1515—1582) сохранилось в коктейбельской библиотеке Волошина.

⁹ Из письма Дмитриевой к Волошину от 27(9) сентября узнаем, что Новинский предлагал ей (через Волошина) какую-то службу в Феодосии.

¹⁰ С. Маковский находился тогда в Ростове-на-Дону; в письме от 27 сентября Дмитриева упоминала, что он «пишет скудно» (но все-таки переписка была!).

¹¹ Далее следуют приписка и сноски Дмитриевой, сделанные простым карандашом.

¹² Осваг — осведомительное агентство, служба пропаганды Добровольческой армии. Там же служил Б. Леман.

3. II. (1) 923 г(од). СПб.¹

Английская наб(ережная). (д.) 74. кв. 7.

Дорогой Макс! Наконец весть о тебе! Спасибо, огромное спасибо за письмо! Всегда, услыша твой голос, хотя бы издали — меня тянет к тебе — быть с тобой.

Но судьба, не внешняя, а внутренняя, не пустит меня к тебе, и вот только так, с самого дна сердца, я могу послать свою любовь и тебе и тому, кто рядом, около тебя, помогает тебе нести твою душу. Передай мой большой привет твоему другу — Марусе.² Макс, милый! Да благословит тебя Господь.

Изменилась ли твоя жизнь со смертью Елены От(тобальдовны) (— о покое ее молюсь —) — не поедешь ли ты за границу?³ Ты все больше и тверже вырастаешь в русской литературе, все яснее твое имя. Каждый раз я радуюсь, слыша, как теперь говорят о тебе. О твоих двух стихотворениях я не могу ничего сказать, они — прекрасны, но они — куски целого цикла,⁴ и вне его трудно мне говорить. Только язык твой порой прямо страшен, даже непонятно, что эта «варварская» кисть могла касаться Эредиа⁵ и других.

Я хочу знать и о твоей прозе. Все мне хочется знать о твоей жизни, все, что можно. А живопись? Или болезнь руки⁶ закрыла ее совсем? Ты пиши мне, Макс, пиши!

Ты, наверное, уже знаешь печальную весть, но, на всякий случай, повторяю: в ночь на 1 янв(аря), после лекции Доктора до тла сгорел Johannes-Bau (поджог). Центральная группа (Христос, Люц(ифер) и Ар(иман))⁷ уцелела — она была в мастерской. Начали строить новое зданье, меньше, из камня, иного стиля.⁸

Если ты весной будешь в Москве — приезжай в Петербург, если мы останемся на этой квартире, то летом (т. е. когда тепло) у нас есть свободная комната. Хорошо? И Борис и Вс(еволод) Н(иколаевич) со мной — мы по-прежнему занимаемся антропософией. Все глубже и глубже я ее принимаю, хотя и с горечью: это единственное, что мне доступно, то, что для меня — «первая любовь» — искусство — закрыто для меня. У меня немые слова. Спасибо за отзыв о стихах, *только тебе я верю здесь до конца*, ты сказал то, что я знаю сама, только говорю себе не так ласково. Я, конечно, не поэт.⁹ Стихов своих издавать я не буду, и постараюсь ничего не печатать под именем Черубины, хотя меня очень просят о детских сказках, к(оторые) я пишу теперь,¹⁰ не печатать вовсе я не могу, п(отому) ч(то) нужны деньги, но я постараюсь напечатать под моей теперешней фамилией, так, как вышли пьесы для детей, к(оторые) я писала с С. Я. Маршаком¹¹ (тебе о нем говорила Ек(атерина) Вл(адимировна)?¹² Мы вместе устроили Театр для Детей). Прислать тебе книгу?¹³ Если можешь, пришли мне Иверни¹⁴ (мои пропали при всяких террорах), а других книг твоих у тебя нет?

Я сейчас очень в сказках — стихов я не пишу, как мне ни больно от этого. Но уже поздно, Макс! Только это очень, очень большая боль! Слепоты и немоты!

Ты прав — в мою жизнь пришла любовь, м(ожет) б(ыть), здесь я впервые стала уметь давать. Он гораздо моложе меня, и мне хочется сберечь его жизнь. Он и антропоссоф и китаевед. В его руках и музыка, и стихи, и живопись. У него совсем такие волосы, как у тебя. И лицом он часто похож. Зовут его Юлиан¹⁵ — тоже близко. Он очень, очень любит твои стихи и (через меня) тебя. Ты и он — 1^{ая} и последняя точки моего круга.

Целую тебя крепко. Пиши мне.

Лиля.

¹ Дмитриева вернулась в Петроград (вместе с мужем и Б. Леманом) в конце мая 1922 года.

² Заболоцкая Мария Степановна (1887—1976) — вторая жена Волошина (с 1922 года, официально брак был оформлен в 1927 году), акушерка по профессии.

3 Е. О. Кириенко-Волошина умерла 8 января 1923 года. Волошину тогда представилась возможность выехать в Берлин, но он ее отверг.

4 Речь идет о цикле поэм «Путями Каина» (1922—1929).

5 Эредиа Жозе Мариа де (1842—1905) — французский поэт, один из учителей Волошина в поэзии.

6 Волошин страдал полиартритом и в 1922—1923 годах несколько месяцев провел в больницах и санаториях.

7 Скульптурная группа из дерева работы Р. Штейнера.

8 Модель нового Иоганнес-Бау была выполнена Штейнером в 1924 году; строительство здания (из монолитного железобетона) закончилось уже после смерти Доктора в 1928 году.

9 Фраза подчеркнута Дмитриевой два раза.

10 В начале 1920-х годов Дмитриева вместе с Маршаком работала над сказкой «Жар-птица» (сохранилась в его архиве). Какими-либо другими сведениями мы не располагаем.

11 Самуил Яковлевич Маршак (1887—1964) находился с семьей в Екатеринодаре одновременно с Дмитриевой, в 1918—1922 годах.

12 Вигонд Екатерина Владимировна (около 1877—?) — вторая жена профессора Н. А. Маркса, приезжала в Коктебель из Краснодара весной 1921 года.

13 «Театр для детей» был создан по инициативе Маршака и Дмитриевой в конце 1920 года. Сборник пьес «Театр для детей», написанный ими совместно, вышел из печати в 1922 году (еще три издания — в Ленинграде в 1923, 1924 и 1927 годах). В библиотеке Волошина книга не сохранилась.

14 «Иверни» — сборник стихотворений Волошина (М., 1918).

15 Щуцкий Юлиан Константинович (1897—1938) — востоковед, полиглот. Окончил этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук Петроградского университета в 1921 году. Перевел «Книгу перемен» — китайскую библию» (издана в Москве только в 1960 году). Дмитриева посвятила ему тринадцать стихотворений: в 1922 году — «Земля в плену. И мы — скитальцы...» (13 августа), «И вот опять придет суббота...» (осень), «Юдоль твоя — она не в нашей встрече...» (акростих, 26 сентября), «Красное облако стелется низко...» (1 ноября), «Он сказал: „Я Альфа и Омега“...» (2 ноября), «Туман непроглядный и серый...» (18 ноября), «Пусть все тебе!...» (24 декабря); в 1923 году — «Вошла любовь — вечерний Херувим...» (сентябрь); в 1924 году — «Ты сам мне вырезал крестик...» (июнь), «Ты сказал, что наша любовь вереск...» (13 августа), «Чудотворным молилась иконам...»; в 1925 году — «Ах, зачем ты смеялся так звонко...» (9 ноября) и между 1924—1927 годами — «Душа разве может быть грубой...».

20

7.1. (1)924.

Дорогой Макс!

Спасибо за письмо. Я очень ждала твоего приезда, очень хотела говорить с тобой. Писать трудно.

У меня есть «Путем Каина» от Смирнова,¹ — это прекрасно, но больше всего я хочу иметь «Серафима»² — это невозможно?

Так хочу!

Спасибо за приглашение, если хоть какая-нибудь возможность будет, приеду, но не раньше июля, и привезу Юлиана — можно? Найдется ему комнатка, и будешь ли ты ему рад? Я очень хочу вас познакомиться. *Ответь.*

Теперь к тебе просьба от москвичей и меня: не может ли на апрель и дальше к тебе приехать усталая Клодя³ — помнишь ее, жена брата Вс(еволода) Н(иколаевича). Теперь она одна из главных в Антр(опософии) в Москве, друг (самый близкий) Белого, была полгода в (1)923 г(оду) у Д(окто)ра — расскажет тебе о нем.

Напиши ей сам: Москва. Плющиха. 53. к(вартира) 1. Клавдия Никол(аевна) Васильева, или напиши Ек(атерине) Ал(ексеевне) Бальмонт.⁴ Арбат. Б(ольшой) Николопесковский 13. кв(артира) 2 — там же узнаешь и о Маргарите, я знаю, что она у Lory Smitt в Ulm'e.⁵

Все, что ты пишешь про Ирину,⁶ — правда — я ее ведь очень люблю и не отталкиваю, но она сама не приходит ко мне, она уже прошла через меня, и идет дальше, я для нее прошлое. Но ей всегда открыта, Макс!

Макс! Ты знаешь о Мейринке? — Ты мог читать лишь «Голем»⁷ — но его другие романы, они совершенно поразительны.

Ты люби меня, Макс! Целую тебя и Марусю.⁸

Лиля.

¹ Смирнов Александр Александрович (1883—1962) — кельтолог, переводчик, сотрудник издательства «Всемирная литература». Его знакомство с Волошиным произошло в Симферополе в 1921 году.

² «Святой Серафим» — поэма Волошина (1919).

³ Васильева Клавдия Николаевна (урожд. Алексеева, 1886—1970) — переводчица, антропософка. Жена врача Петра Николаевича Васильева, а с 1923 года жена Б. Н. Бугаева (Андрея Белого).

⁴ Бальмонт Екатерина Алексеевна (урожд. Андреева, 1867—1950) — вторая жена К. Д. Бальмонта, переводчица. Дмитриева познакомилась с ней в декабре 1913 года в Лейпциге.

⁵ М. В. Сабашникова выехала в Германию в 1922 году и жила у танцовщицы-антропософки Лори Смит (1883—1957, по мужу Майер) в г. Ульм.

⁶ Карнаухова Ирина Валерьяновна (1901—1959) — писательница-фольклористка, автор сказок. Дружила с Дмитриевой в Краснодаре, где входила в кружок молодых поэтов «Птичник». В 1922 году Дмитриева посвятила ей стихотворения «Разговор с Ириной («Опять, опять стою над бездной...»» (19 сентября), «Еще в сердцах дремали грозы...» (2 октября), «Поля любви покрыты медуницей...» (23 ноября).

⁷ Мейринк Густав (1868—1932) — австрийский писатель, оккультист и теософ. «Голем» (1915) — его лучший роман.

⁸ М. С. Заболоцкая (Волошина).

21

Наб(ережная) Кр(асного) Флота 74.
кв. 7.

12.XII.1926. СПб.

Милый Макс! Спасибо за карточку, она была мне нужна для меня самой,¹ просто было скучно без тебя.

Я все не теряю надежды попасть хоть ненадолго в Коктебель.

Я теперь стала служить — в б(иблите)ке Академии Наук.²

Мне очень чужда «Москва»,³ но почему ты говоришь, что ты *оправдываешь* (не только понимаешь) первоначальный план Д(окто)ра Доннера? Думаешь ли ты, что *надо* было написать такой роман?

Я думала, что, *не* принимая окружения Доктора, — его самого ты все же принимаешь.⁴ Или это не так?

Мне это интересно для того, чтобы понять *тебя*.⁵

Я бы очень хотела увидеть тебя и поговорить с тобой долго.

Я ушла теперь в XII в(ек), в историю Шартрского собора и школы св(ятого) Fulbert'a.⁶ Ты мне здесь ничего не посоветуешь? У тебя нет снимков?

Целую тебя крепко. И Марусю.⁷ Тебе все шлют привет.

С Борисом я разошлась совсем.⁸ Это большой перелом в моей жизни и большое освобождение. — Ведь когда мы с тобой расставались в 1910 г(оду) — ты, в сущности, оставил меня Борису и его влиянию; — оно было очень несвойственно мне. Но это влияние продолжалось целых 15 лет.

— Еще раз целую и всегда жду встречи.

Лиля.

¹ Фотопортрет Волошина Дмитриева просила в письме от 21 ноября 1923 года — «как можно скорее!!!».

² Осенью 1926 года Дмитриева окончила двухгодичные Высшие курсы библиотекосведения и поступила на службу в БАН.

³ «Москва» — историческая эпопея Андрея Белого: две первые части — «Московский чу-

дак» и «Москва под ударом» — вышли в 1926 году; третья — «Маски» — в 1932 году. Доктор Доннер — персонаж, в основном, последней части.

⁴ Речь идет о Р. Штейнере. Волошин, действительно, критически относился к его окружению (и отчасти к антропософии), но его самого принимал безусловно.

⁵ Подчеркнуто Дмитриевой два раза.

⁶ Готический собор Нотр-Дам в г. Шартр на севере Франции был построен в XIII веке на месте сгоревшего в 1194 году романского собора. Фульберт из Шартра — французский монах и арифметик, живший в XI веке. Автор стихотворения о двенадцатиричных дробях.

⁷ М. С. Заболоцкая (Волошина).

⁸ Имеется в виду Б. А. Леман. В начале 1926 года он женился на петербургской немке Марии Федоровне Газе.

22

Суббота (9 апреля 1927)¹

Милый Макс! Как здоровье?

Ив(ан) М(ихайлович) Гревс² просит тебе передать, что ты «его любимый современный поэт», и он очень ждет тебя к себе вечерком на днях. Напиши ему, когда ты можешь, или откажись, если не можешь.

14.IV Гревс не сможет быть. Если ты пойдешь туда во вторник 12.IV, то я тоже приду.

Платонов³ тебя ждет!

А я целую крепко.

Лиля.

¹ Волошин (с женой) находился в Ленинграде с 31 марта по 18 апреля 1927 года, но простудился и почти не выходил.

² Гревс Иван Михайлович (1860—1933) — историк-медиевист, профессор Петербургского университета.

³ Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — историк, академик (с 1920 года), сотрудник Пушкинского Дома (в 1929 году — его директор). Пять писем Волошина к Платонову опубликованы В. А. Колобковым (см.: *Волошин М. А. Письма С. Ф. Платонову* // *De visu*. 1993. № 5. С. 52—61).

23

4.VI.(19)27

Дорогой Макс! 1^{го} июня я вернулась.¹ Последнюю неделю вместе со мной была и Лида.² Теперь мы вернулись обе, — но Борис³ остался.

Я очень боюсь за него, — здоровье его плохо.

Милый Макс, поблаговари Софию Александровну⁴ за письмо, я была ему очень рада. Пришли мне с ней какую-нибудь акварель, чтобы утешить меня в потере всех моих книг и карточек.

Я не успела послать тебе китайские краски от Юлиана,⁵ пошлю при случае. Сюда приезжал Воля,⁶ — он тебе очень кланяется. Лида тебя тоже целует. А я целую крепко тебя, Марусю⁷ и С(офию) А(лександровну). — Я очень устала за эти 6 недель.

Твоя Лиля.

Открытка в Коктебель с оплаченным ответом. На штемпелях: Ленинград 4.6.27; Феодосия 7.6.27.

¹ Речь идет об аресте Дмитриевой.

² Брюллова Лидия Павловна (1886—1954, в замужестве Владимирова) — ближайшая, с детских лет, подруга Дмитриевой. Дочь художника П. А. Брюллова, внучатая племянница Карла Брюллова, Поэтесса. Была казначеем Русского Антропософского общества, в 1920-е

годы — секретарь ленинградского ТЮЗа. Ей посвящены стихотворения Дмитриевой: шуточное «Отъезд из Тюбингена («Он был молочно-пенно-белый...»)» (1907), «Моей одной» (1921) и «Оделся Ахен весь зелеными ветвями...» (1920).

³ Б. А. Леман.

⁴ Рышкова Софья Александровна (1874—1942) — сотрудница Библиотеки Академии наук, по рекомендации Дмитриевой отдыхала летом 1927 года в Коктебеле у Волошина.

⁵ Ю. К. Щуцкий.

⁶ В. Н. Васильев.

⁷ М. С. Волошина.

24

16.VIII.(1927) Ташкент. Крючковский пер.
9, д. Власовой.

Дорогой Макс! Волей судьбы я попала на три года в Ташкент.¹ Ты знаешь уже всю опеку. Здесь хорошо, я давно люблю Туркестан, но скучно без дома. — Ко мне в гости приехал на месяц Юлиан,² он просит тебе передать, что он *очень* тебя любит. Спасибо за несколько слов, к(отор)ые я еще успела получить. Как всё у вас? Целую Марусю³ и тебя со всей нежностью. Напиши мне. От Воли⁴ привет. Всегда твоя.

Лиля.

Открытка. На штампе: Тк 16.8.27.

¹ 1 июля 1927 года Дмитриева вновь была арестована, выслана на Урал и, получив приговор к высылке «минус 6» на 3 года, выехала 1 августа из Свердловска в Ташкент, к мужу. Находилась там под надзором НКВД.

² Ю. К. Щуцкий.

³ М. С. Волошина.

⁴ В. Н. Васильев.

25

8.IX. (1928) Ташкент.

Мой дорогой Макс!

Вчера была Гуна¹ от тебя с подарками. Так хорошо, когда что-нибудь приходит из Коктебеля. Спасибо Марусе² за чудесную коробочку с камешками, похожими на звезды. Я их все время перебираю. На моих белых стенах уже много твоих акварелей: они очень созвучны Туркестану.

Для меня мир кажется сейчас новым, п(отому) ч(то) я целый месяц была сильно больна и еще сейчас без посторонней помощи не могу сойти с веранды.

У меня были всякие неприятности, те немногие книги, к(отор)ые еще у меня были, опять отняты. Я была совсем одна, это было перед приездом Лиды,³ и когда она приехала, я заболела острым воспалением желчного пузыря; — это не опасно, но только очень больно. Весь месяц прошел в жару, морфии и боли, и вот я сейчас, как тень с берегов Стикса, впиваю солнце и зеленые листья. Это лето было не жарким, все время были дожди.

Теперь я жду к себе Юлиана, к(отор)ый в конце месяца приедет сюда прямо из Японии.⁴

Я бы очень хотела повидаться и с тобой, и с Марусей. Может быть, это еще и будет.

Рада, что, по словам Гуны, ты лучше себя чувствуешь. Это письмо придет, пожалуй, к именинам С(офьи) Алекс(андровны).⁵ — Очень поздравляю, но мне еще очень трудно водить пером, оттого не пишу отдельно.

Ты всегда помни, Макс, что я тебя люблю. Мне сейчас тихо и радостно внутри.
Болезнь многое изменила.

Воля⁶ шлет свою любовь.

Крепко целую Марусю; —

И тебя, дорогой Макс!

Твоя Лиля.

В правом верхнем углу помета карандашом: «1928».

¹ Гуна — прозвище Ксении Павловны Девлет-Матвеевой (около 1890—1976), преподавательницы иностранных языков из Харькова. Жила у Волошина в 1925, 1926 и 1928 годах.

² М. С. Волошина.

³ Л. П. Брюллова также, видимо, была выслана.

⁴ Ю. К. Щуцкий находился в Японии в научной командировке от Азиатского музея с 19 апреля по 7 сентября 1928 года. Позднее это послужило поводом к обвинению его в шпионаже.

⁵ С. А. Рышкова.

⁶ В. Н. Васильев.

© В. В. Перхин

ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ (1920—1937) И АВТОБИОГРАФИЯ (1936) Д. П. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО

К НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ КРИТИКА

Творческое наследие Д. П. Святополк-Мирского стало углубленно изучаться у нас и за рубежом в 1970-е годы.¹ В конце 1970-х—1980-е годы издаются сборники его литературных статей и рецензий.² Начиная с 1989 года в московской и ленинградской периодике печатались зарубежные статьи Святополк-Мирского, в том числе опубликованные им в английских и немецких журналах.³ Спустя почти

¹ *Иваск Ю.* О смерти князя Святополк-Мирского // Новый журнал. 1977. Т. 127. С. 290; *Поляков М. Я.* Литературно-критическая деятельность Д. Мирского // [Святополк-]Мирский Д. Литературно-критические статьи. М., 1978. С. 5—20; *Смит Дж.* «О современном состоянии русской поэзии» и путь Д. П. Святополк-Мирского // Новый журнал. 1978. Т. 131. С. 111—115; *Лаврухина Н., Чертков Л.* Дмитрий Петрович Святополк-Мирский: Критический и библиографический очерк. Париж, 1980; *Lavroukine N. Maurice Baring and D. S. Mirsky: A Literary Relationship* // The Slavonic and East European Review. 1984. Vol. 62. № 1. P. 25—35.

² [Святополк-]Мирский Д. О литературе / Вступ. ст. Н. Анастасьева. М., 1987; *S. Mirsky D. Uncollected Writings on Russian Literature / Edited with Introduction and Bibliography by G. S. Smith. Berkeley, 1989.* Книга, подготовленная Дж. Смитом, обстоятельно рассматривалась в нашей печати: *Казнина О. Д.* Мирский. Несобранные статьи по русской литературе // Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 218—233; *Лавров В. А.* «Духовный озорник» (к портрету князя Д. П. Святополк-Мирского, критика и историка литературы) // Русская литература. 1994. № 4. С. 134—141 (заметьте, что по традиции первая часть фамилии критика не склоняется). К сожалению, последний обзор менее полезен, так как насыщен неточностями. Вот некоторые из числа бесспорных. В «La Nouvelle Revue Française» (кстати, это журнал, а не газета) Святополк-Мирский опубликовал статью «История одного освобождения». Членом компартии Великобритании он стал в 1931-м, а не в 1932 году — в этом году он из нее выбыл. Статья «Реализм» является единственным известным произведением критика для Литературной энциклопедии, поэтому утверждение о принадлежности ему «ряда статей» нуждается в обосновании. В июне 1934 года Фадеев не был «большим литературным начальником» (с. 135). Статья «Чужеродный сор» не является «последней публикацией» Святополк-Мирского (с. 135). «Звенья» — не «студенческий журнал» (с. 138), он издавался для «учащихся русской средней школы». Надежды на будущее русской зарубежной литературы критик связывал с А. Ремизовым, И. Бунинным и И. Шмелевым, а из молодых — с Б. Поплавским, Н. Берберовой и Г. Газдановым, но не только «лишь с Мариной Цветаевой» (с. 139).

³ *Святополк-Мирский Д. П.* Литературно-критические статьи / Вступ. ст. В. В. Перхина // Русская литература. 1990. № 4; *Святополк-Мирский Д. П.* 1) О. Э. Мандельштам. Шум

шестьдесят лет стал в какой-то мере реализовываться замысел критика, высказанный им 11 сентября 1931 года. Тогда он спрашивал М. Горького: «Стоит ли предложить советскому издательству издать книжкой мои последние статьи по литературным вопросам? Их наберется с десяток. Но они все на разных языках и предвительно мне пришлось бы их переводить, чего не стоит делать, если дело заведомо нестоящее».⁴ К сожалению, и сегодня это дело не считается «стоящим» — книга его зарубежных статей о русской поэзии, прозе и кино в России до сих пор не издана.

В 1990-е годы исследуются новые аспекты деятельности Святополк-Мирского.⁵

С самого начала исследователи уделяли внимание обеспечению источниковедческой базы изучения биографии и творчества Святополк-Мирского, прежде всего публикации его эпистолярного наследия. Г. П. Струве обнародовал письмо к П. Б. Струве от 20 июня 1922 года,⁶ Л. Флейшман — письмо Б. Л. Пастернаку от 8 января 1927 года.⁷ Затем появились два письма А. А. Блоку от 11 и 14 февраля 1907 года.⁸ В 1977 году архиепископ Иоанн Шаховской (князь Д. А. Шаховской) напечатал 20 писем Святополк-Мирского к нему за период с 12 августа 1925 года по 17 июня 1926 года.⁹ Это была самая крупная публикация 1970—1980-х годов.

В 1990-е годы значительный вклад в открытие писем Святополк-Мирского сделал Дж. Смит, профессор Оксфордского университета. В 1993 году он опубликовал (совместно с О. Казниной) 16 писем к М. Горькому,¹⁰ в том же году — 4 письма к А. В. Тырковой-Вильямс,¹¹ в 1994-м — 24 письма к историку М. Т. Флоринскому.¹² Безусловно, самым замечательным достижением Дж. Смита, о чем надо говорить специально, является издание книги, содержащей 163 письма к П. П. Сувчинскому за период с октября 1922 по сентябрь 1931 года.¹³

К сожалению, письма Святополк-Мирского, отправленные им на родину из эмиграции, до настоящего времени почти не известны. Кроме упомянутого письма к Пастернаку (оно хранится в РГАЛИ), удалось пока обнаружить только одно — К. И. Чуковскому, ниже публикуемое. Между тем было известно, что Святополк-Мирский переписывался с В. М. Жирмунским. Это подтверждает письмо к Сувчинскому от 19.12.24: «Работы Жирмунского о Блоке знаю и состою с ним в переписке, и он мне книжки присылает...»¹⁴ Но в фонде Жирмунского писем Святополк-Мирского нет (Архив РАН. Ф. 1001).

Публикуемые письма тридцатых годов позволяют увидеть интересы Свято-

времени / Предисл. К. Поливанова // Лит. обозрение. 1991. № 1; 2) Поэты в Советской России / Предисл. В. Перхина // Лит. Россия. 1991. 2 авг. С. 21; 3) Русское письмо. Современные течения в поэзии / Предисл. В. Перхина // Советская литература. 1991. № 1. С. 105—110; 4) Н. С. Гумилев / Предисл. В. Перхина // Лепта. 1992. № 1. С. 122—124 и др.

⁴ Архив М. Горького. КГ-П. 51.9.12.

⁵ Казнина О. А. Д. П. Святополк-Мирский и евразийское движение // Начала. 1992. № 4. С. 81—88; Перхин В. В. О единстве русской литературной критики (1917—1937). По материалам наследия Д. П. Святополк-Мирского // Вестн. СПб. ун-та. 1994. Сер. 3. Вып. 3. С. 57—64.

⁶ Новый журнал. Нью-Йорк. 1978. Кн. 131. С. 76—77.

⁷ Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol. V—VI. P. 535—536.

⁸ Лит. наследство. 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 272 (Публикация Н. В. Котрелева, А. В. Лаврова).

⁹ Шаховской, Архиепископ Иоанн. Биография юности. Установление единства. Париж, 1977. С. 197—217.

¹⁰ Kaznina O., Smith G. S. D. S. Mirsky to Maksim Gor'ky: Sixteen Letters (1928—1934) // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1993. Vol. XXVI. P. 87—103.

¹¹ Smith G. D. S. Mirsky: Four Letters to Ariadne Tyrkova-Williams (1926)... // The Slavonic and East European Review. 1993. Vol. 71. № 3. P. 482—489.

¹² Smith G. The Correspondence of D. S. Mirsky and Michael Florinsky, 1925—1932 // The Slavonic and East European Review. 1994. Vol. 72. № 1. P. 115—139.

¹³ Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii, 1922—31. Birmingham, 1995.

¹⁴ Ibid. P. 36.

полк-Мирского, конкретизировать сферу его влияния в годы московской жизни, а также время написания ряда статей и круг знакомств. Вместе с тем письма показывают, что ни с кем из адресатов Святополк-Мирский не был близок духовно. Становятся понятнее его горькие признания, вырвавшиеся в минуту отчаяния 15 мая 1937 года в выступлении на заседании президиума Союза советских писателей: «В 1936 году началось мое личное одиночество, все увеличиваясь, и привело меня к полной неудовлетворенности моей работой».¹⁵ И вновь, теперь уже о конце 1934 года: «...Я замкнулся в себя и для меня началось мое личное одиночество».¹⁶ Об этой духовной драме Святополк-Мирского можно догадываться, сравнивая письма 30-х с письмами 20-х годов — к М. Берингу, К. И. Чуковскому, М. Горькому — и отмечая корректность и сухость одних и душевную теплоту, эмоциональную раскованность других.

Духовная драма Святополк-Мирского была обусловлена не только оторванностью от близких людей — Н. С. Трубецкого и П. П. Сувчинского, остававшихся в эмиграции, но и арестом его друга Н. Н. Дурново, подвергшегося в середине 30-х годов преследованиям по «Делу славистов».¹⁷ К тому же Святополк-Мирский не мог не ощущать того, что в январе 1930 года в письме к М. Т. Флоринскому определил так: «В СССР я все-таки, несмотря на мой коммунизм, поехать не могу — что ни говори, а социальное чужд».¹⁸ О «социальной чуждости» ему напоминали и в Москве, и Ленинграде. Свообразной реакцией на эту неприязнь можно считать начало его Автобиографии 1936 года: «Мой отец, князь... губернатор... генерал-губернатор... министр внутренних дел...» Вызовом было и ненужное по существу указание на размеры земельных владений в Харьковской и Орловской губерниях. В этом сказался характер Святополк-Мирского, чертами которого были, в частности, смелость, гордость родовыми традициями и обостренное чувство личности и личного достоинства.

В течение 1920—1930-х годов Святополк-Мирский написал, вероятно, несколько автобиографий. Об одной из них он упоминает в письме к Флоринскому 23 марта 1927 года: «Прилагаю при сем три экземпляра биографии».¹⁹ 17 февраля 1931 года Горькому сообщал: «Посылаю Вам согласно Вашего письма заявление в ЦИК и на всякий случай короткие сведения о моем прошлом».²⁰ Однако ни одна из автобиографий до настоящего времени не была известна, хотя элементы автобиографии безусловно есть и в статье «Почему я стал марксистом»,²¹ и в статье «История одного освобождения».²² Впервые публикуемая по машинописной копии Автобиография извлечена из личного дела Святополк-Мирского, научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский Дом), и относится к тому времени, когда этот институт возглавлял М. Горький (Архив РАН. Ф. 150. Оп. 2. Ед. хр. 111. Л. 5—7).

В заключение необходимо сказать, что в последние годы появились различные версии смерти Святополк-Мирского. Утверждают, что видели его в 1945—1946 годах, другие встречали его в 1951—1952 годах и уже не около Магадана, а в Коми.²³ К сожалению, некоторые исследователи, словно не зная, что мемуарные

¹⁵ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 172. Л. 50.

¹⁶ Там же. Л. 49.

¹⁷ См.: *Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М.* «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994. (по им. указ.).

¹⁸ *The Slavonic and East European Review*. 1994. Vol. 72. № 1. P. 133.

¹⁹ *Ibid.* P. 130.

²⁰ Архив М. Горького. КГ-П. 51. 9.5.

²¹ *S. Mirsky D. Why I Became A Marxist // Daily Worker*. 1931. 30 June.

²² Лит. газ. 1932. 29 февр.

²³ См., например: *Поляновский Эд.* Поэты и палачи // *Известия*. 1993. 19 сент.; *Ванеев А.* Два года в Абези // *Минувшее*. М., 1992. № 6. С. 145—146. Надо отдать должное Ванееву: он назвал только фамилию. Это публикатор и редактор (их имена не указаны) поставили инициалы в указателе имен Д. П.

свидетельства требуют научно-критического отношения, охотно воспроизводят ошибки и искажения мемуарной памяти, ткнут легенды, забывая не только о необходимости обращения к архивным документам, но и к ранним свидетельствам очевидцев. Забыто, например, сообщение Ю. Г. Оксмана в письме к Г. П. Струве от 27 декабря 1962 года, а он не только видел Святополк-Мирского в лагере, но и был его коллегой по Институту литературы. «Он бесконечно скорбел, — вспоминал Оксман, — по поводу своего перехода в новую веру и приезда в Россию, проклинал коммунизм, издевался над своими иллюзиями. Много говорил о своих планах истории русской поэзии (он верил, что останется жить)».²⁴ Оксман сообщил о причине смерти Святополк-Мирского. Это — пеллагра. Воспоминания Оксмана о финале духовной драмы Святополк-Мирского подтверждаются документально: он находился в Севвостлаге (г. Магадан), где и скончался 6 июня 1939 года.²⁵

²⁴ Цит. по: Stanford Slavic Studies. 1987. Vol. 1. P. 38—39.

²⁵ См.: Вирюков А. Последний рюрикович. Магадан, 1991. С. 47—61.

Письмо Д. П. Святополк-Мирского к М. Берингу

М. Беринг (1874—1945) — английский писатель и литературный критик. В начале XX века (до 1912 года) — корреспондент «Таймс» в России. Был знаком со Святополк-Мирским с 1907 года. Благодаря протекции Беринга русский критик стал в 1920 году автором журнала «The London Mercury» и печатался в нем до 1931 года. В августе 1924 года Святополк-Мирский опубликовал в русской парижской газете «Звено» статью о Беринге. Случайно или нет, но ее появление совпало с пятидесятилетием английского друга. В 1926 году Святополк-Мирский посвятил Берингу лондонское издание «Contemporary Russian Literature». В 1927 году увидела свет новая книга Святополк-Мирского «A History of Russian Literature from the Earliest Times to the Death of Dostoyevsky (1881)». В ней он писал о достоинствах перевода Берингом стихов русских поэтов на английский язык. В 1920-е годы Беринг и Святополк-Мирский составили антологию русской поэзии «Oxford Book of Russian Verse» (см.: Новый журнал. Нью-Йорк. 1978. № 131. С. 302). Подробнее о их взаимоотношениях см.: *Lavroukine N. Maurice Baring and D. S. Mirsky: A Literary Relationship*. P. 25—35. Из этой статьи извлечено нижепубликуемое письмо. На русском языке печатается впервые. Перевод с англ. И. Н. Герасимовой.

Афины, ул. Пиндара, 23
5 сентября 1920

Мой дорогой Морис,

прошло уже много времени с тех пор, как я последний раз получал от тебя известие, и я с большой радостью увидел твоё имя в «Лондонском Меркурии»¹ под благородным сонетом на смерть нашего императора.² Я также узнал из рекламного проспекта твоей новой книги, что ты майор и служил в воздушных войсках. Это все, что мне известно о твоей деятельности. У меня было множество разных дел; с 1914 года я служил в армии³ и покинул ее только три месяца назад, бежав из концентрационного лагеря, где польские собаки предательски интернировали значительную часть нашей армии⁴ и где, к моему сожалению, британские представители не пошевелили даже пальцем, чтобы помочь нам. Я был в Армении и других необычных местах. Я был женат и разведен. И сейчас бью baklooshys (надеюсь, ты не забыл русский?) в Афинах, смотрю на Эрехтеон,⁵ залив Сароникас и вечерние

закаты на Гиметосе,⁶ читаю в свое удовольствие «Лондонский Меркурий» и «Новое французское обозрение»⁷ и не читаю новостей. Это были ужасные годы потерь (в феврале 1920-го был убит мой брат,⁸ погибли все мои друзья, за исключением двоих) и разочарований. Сначала в России с ее Распутиным, Керенским, большевиками и всеми остальными, а затем и в Европе с ее бесславным Версальским договором, проклятым надувателем Вильсоном,⁹ ничтожным трусом Ллойдом Джорджем¹⁰ и предателями-французами.¹¹ Если бы не те два журнала, о которых я сказал выше, и все то, что они отстаивают, у меня не было бы и тени сомнения, что в Англии и Франции дела обстоят хуже, чем в России. Но если у вас есть такие люди, как Клодель¹² и Честертон,¹³ остается надежда на возрождение. Огромным благом является то, что после шести лет изоляции можно вновь вступить в контакт с широким миром.

Возможно, ты знаешь, что все мои мысли всегда были связаны с литературной деятельностью, но литературная деятельность в России сейчас абсолютно невозможна и бог знает, когда нынешнее положение вещей может измениться. Поэтому я начал задумываться, смогу ли я заняться литературным творчеством за границей, в Англии или во Франции. Я помню твое лестное, хотя и анонимное, мнение обо мне в твоих «Вехах».¹⁴ Я думаю, ты смог бы дать мне совет, стоит ли пытаться осуществить что-нибудь в этом роде. Я начал писать книгу на французском о французской поэзии, поскольку она удивляет un barbare (как ты знаешь, мы варвары). Но чертовски трудно писать без определенной цели и вдохновения. Я готовлю также серию эссе о современных русских писателях, не очень известных, и их можно было бы написать на английском. Все это очень похоже на старания мистера Салтино,¹⁵ который пытался стать джентльменом. Но кто старается, тот иногда добивается успеха. Хотя трудно идти к цели в потемках. Я буду очень рад получить от тебя известие и встретиться с тобой, если это возможно. По такому случаю я мог бы быть в Париже не позднее следующей весны или в Лондоне. Афины, за исключением останков V в., is à la longue¹⁶ удивительно скучное и заброшенное место. Я уже немного освоился с современным греческим.¹⁷ У них есть отдельные прекрасные образцы поэзии, Соломос,¹⁸ Валаоритис,¹⁹ но особенно замечательны их народные песни.²⁰

Одна из последних книг, которую я прочитал в Гиевке,²¹ были твои «Вехи». Я часто думал о первой главе, которая, на мой взгляд, является и великолепным образцом размышлений о русской поэзии в целом.

Как я вижу, Чехов²² становится знаменит в Англии. Конечно, это высокое искусство (хотя превосходит ли он Еврипида?²³), но является ли оно пищей для ума? Писатель, которого я хотел бы видеть более широко читаемым на Западе, это Лесков.²⁴ Есть Россия — не Россия Стивена Грэма²⁵ или Ленина, а Россия чернозема... Я никогда не устану об этом говорить.

Остаюсь искренне твой

Д. Святополк-Мирский.

¹ В журнале «Лондонский Меркурий», который с 1919 года издавал Дж. Скуайр, в декабре 1920 года состоялся дебют Святополк-Мирского — критика русской литературы — перед английскими читателями; был опубликован первый обзор из цикла «Русских писем».

² Беринг М. Эпитафия // The London Mercury. 1920. Vol. 2. № 9. P. 269.

³ Святополк-Мирский был мобилизован в самом начале военных действий на германском фронте. См. ниже публикуемую Автобиографию.

⁴ Русские зарубежные газеты писали о десятках тысяч русских солдат, томящихся в концентрационных лагерях Польши. (Тандефельд Николай. Интернированные в Польше // Последние новости. 1921. 5 июня). Сообщалось также, что «с интернированными частями поляки наименее считаются и условия существования интернированных весьма плачевные». Святополк-Мирский находился в польском концлагере с февраля по июнь 1920 года. Из письма Святополк-Мирского в «Литературную газету» от 22 мая 1937 года узнаем, что он «бежал из лагеря и перебрался в Австрию», так как была угроза переброски интернированных частей в

Крым на помощь Врангелю: «Я был далек тогда от сочувствия коммунизму, но мысль сно- ва идти на войну против русского народа была мне отвратительна» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 172. Л. 5). Прибытие в Афины было вызвано тем, что там находились его мать и сестры.

⁵ Эрехтеон (Эрехтейон) — храм Афины и Посейдона-Эрехтея на Акрополе.

⁶ Гиметос (Гимет) — горная цепь к востоку от Афин.

⁷ В этом журнале Святополк-Мирский будет выступать как литературный критик, а в 1931 году опубликует статью «История одного освобождения», повествующую об эволюции к марксизму (*La Nouvelle Revue Française*. 1931. Vol. 37. № 3. P. 389—397).

⁸ Алексей Петрович Святополк-Мирский (? — 1920). В 1908—1910 годах учился в Паже-ском корпусе (ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Ед. хр. 1328. Л. 31, об.).

⁹ Вильсон Т. В. (1856—1924) — президент США, в своей политике преследовавший иск-лнительно американские интересы.

¹⁰ Ллойд Джордж Д. (1863—1945) — премьер-министр Великобритании; «трус», очевидно, потому, что от организации интервенции и помощи белой армии повернул к установлению контактов с Советской Россией.

¹¹ Святополк-Мирский имел в виду, скорее всего, тех французов-военных, которые неои-жиданно, без всякого предупреждения эвакуировались из Одессы, что вызвало растерянность и панику в Добровольческой армии.

¹² Клодель П. (1868—1955) — французский писатель.

¹³ Честертон Г. К. (1874—1936) — английский писатель. В 1920-е годы отзывы Свято-полк-Мирского о Честертоне были благожелательными как о человеке либеральных взглядов (Дни. 1925. 8 нояб.), с «подлинной стихийной демократической силой» (Звено. 1923. 14 мая). Сближение критика с английской коммунистической партией совпало с резкой сменой оцен-ки. В начале 1930-х годов Святополк-Мирский написал книгу «Интеллиджентсиа» (в Москве издана в 1934-м, в Лондоне — 1935-м), где дал Честертону резко отрицательную оценку. В 1937 году Святополк-Мирский вернулся к исходной высокой оценке поэта: он включил его стихи в «Антологию новой английской поэзии» (Л., 1937), в частности «Скрытый народ» («...И в целом мире наш народ мудрей и беспомощней всех») и «Революционер, или Стихи к государственному деятелю» («И Конституцию он без боязни постановил предать позорной казни»). В начале 1937 года публикация этих стихов была рассчитана, безусловно, на совре-менные ассоциации.

¹⁴ В своей книге «Веги русской литературы» (М., 1913) Беринг вспоминал о встрече со Святополк-Мирским в 1907 году — «школьником 17 лет от роду, однако знакомым уже с лите-ратурой на семи языках, автором как английских, так и русских стихов...». Спустя десять лет Святополк-Мирский в статье «Морис Беринг» писал: «Беринг — автор единственных ценных книг, написанных по-английски о русской литературе. Беринг — писатель очень богатой и уточненной культуры. Беринг — единственный из иностранцев увидел русскую литературу сквозь Пушкина» (Звено. 1924. 11 авг.).

¹⁵ Герой рассказа Д. Эшфорда «Молодые посетители, или Планы мистера Салтино» (London, 1919). См.: *Lavroukine N. Maurice Baring and D. S. Mirsky...* P. 28.

¹⁶ В целом (фр.).

¹⁷ Первые уроки греческого Святополк-Мирский получил в 1900 году (ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 2. Ед. хр. 392. Л. 34).

¹⁸ Соломос Д. (1798—1858) — греческий поэт, выступал за утверждение национального языка.

¹⁹ Валаоритис А. (1824—1879) — греческий поэт, писал поэмы в духе народных историче-ских песен.

²⁰ Внимание к народному творчеству и связям с ним профессионального искусства — ха-рактерная черта Святополк-Мирского-критика, присущая, в частности, суждениям о поэзии Есенина, Цветаевой, Твардовского. Исток любви к народной песне — в детском и отроческом периоде его жизни, когда он слушал и записывал солдатские песни (см.: ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 2. Ед. хр. 392. Л. 30, 31), в сельском образе жизни. Эту сторону сознания Святополк-Мирского помогает понять суждение его сверстника князя С. Е. Трубецкого, который писал: «Любовь к мужику, — отнюдь не народническое преклонение перед ним! — чувство особо близкой связи с крестьянством я впитал в себя из окружающей меня среды с самого моего рождения. До некоторой степени мои чувства к крестьянину носили какой-то смутный отпечаток *родствен-ности*, чего совершенно не было, например, в отношении к рабочему, разночинцу или интел-лигенту. Такое восприятие не было индивидуальной моей особенностью: таково же было ощу-щение моих сверстников, росших в той же атмосфере, что и я» (*Трубецкой С. Е.* Минувшее. М., 1991. С. 61).

²¹ Гивёвка — село Люботинского района Харьковской области на берегу реки Мерефы — место рождения критика. Сохранился дом Святополк-Мирских, построенный в 1830-е годы в готическом стиле, модном тогда (ныне в доме располагается детский интернат), а также зда-ние бывшего гивёвского приемного покоя «на три кровати с амбулаторией» (открыт в 1909 году — см.: РГИА. Ф. 1088. Оп. 2. Ед. хр. 268. Л. 1—1, об.).

22 Святополк-Мирский напишет о А. П. Чехове ряд статей, в частности для 14-го изд. Британской энциклопедии (London, 1929. Vol. 5. P. 337—338).

23 Еврипид (ок. 480 до н. э. — 406 до н. э.). Представление о превосходстве античной классики над новейшей литературой — примечательная черта русского эстетического сознания первой трети XX века. Сходную мысль высказывал, например, Ф. А. Степун (см.: Русская литература. 1989. № 3. С. 111).

24 В первом из серии «Русских писем», отправленном Берингу из Афин в октябре 1920 года, Святополк-Мирский писал о Н. С. Лескове: это «человек, который знал Россию лучше любого другого и который находил в ее глубинах не „лишних“ людей Тургенева или фрейдистские характеры Достоевского, но людей несгибаемой воли, непреклонной страсти, не знающих что такое раскаяние, людей подобных стендалевским итальянцам» (The London Mercury. 1920. Vol. 3. № 14. P. 207—208).

25 Грэм С. — автор популярной и поверхностной книги о церковной Руси «Неоткрытая Россия» (London, 1911).

Д. П. Святополк-Мирский к К. И. Чуковскому

Публикуемое письмо свидетельствует, что К. И. Чуковский (1882—1969) входил в круг знакомых Святополк-Мирского еще с дореволюционных времен. Вероятно, он был знаком с литературно-критической деятельностью Чуковского в начале века. В свою очередь Чуковский, в течение всей жизни следивший за английской литературной периодикой, встретив имя Святополк-Мирского в лондонских журналах, не мог не обратиться к нему с предложением о сотрудничестве в замышляемом им журнале «Современный Запад». Ответом на это предложение и явилось письмо Святополк-Мирского.

Добрые отношения были продолжены после возвращения Святополк-Мирского на родину. Этому способствовало сходство взглядов. В частности, оба в середине 1930-х годов считали, что надо продолжить практику издания русских зарубежных авторов, характерную для 1920-х годов (см.: Чуковский К. И. Дневник. 1930—1969. М., 1994. С. 121). С большим сочувствием отнесся Чуковский к трагической судьбе Святополк-Мирского. Его имя упоминается в Дневнике Чуковского на протяжении трех десятилетий в ряду новых и новых жертв авторитарного вмешательства в литературный процесс.

В архиве Чуковского (РГБ. Ф. 620. Картон 68. Ед. хр. 22. Л. 3) сохранилась также открытка Святополк-Мирского, в которой он благодарит за присылку «чудесной книги» — «Листья травы» У. Уитмена в переводе Чуковского (Л., 1935). Автором предисловия «Поэт американской демократии» был Святополк-Мирский.

Письмо публикуется впервые (РГБ. Ф. 620. Картон 68. Ед. хр. 22. Л. 1—2).

24 Gordon Street
London WC1
12 мая 1922 г.

Дорогой Корней Иванович,

получить Ваше письмо¹ было для меня большой радостью, — узнать, что то, что я делаю, встречает отголосок в России, услышать голос с того берега. Мы здесь так боимся, что между нами и вами вырастет неодолимая пропасть. Ваше письмо знак того, что это не так. Вы, остающиеся в России, для нас как святые и подвижники, так как если Русская Культура выживет, она будет обязана вам, вашему героическому усилию. Мы не больше, как крысы, спасшиеся с корабля, Вам еще, может быть, суждено спасти корабль. Я вполне сознаю наши обязанности по отношению к вам. Но русские люди здесь очень мало на что способны экономически, а англичане совсем не так уж интересуются русской культурой, как могло бы казаться. Кроме того, сюда впутаны разные политические issues² и поэтому сделать что-нибудь трудно и сложно. Сделано, однако, что-нибудь будет. Я советовался с Вашими

здешними старыми друзьями.³ Мы отыщем возможности, чтобы подвинуть литературно англичан.⁴

Здесь жизнь не очень легка, русской литературой интересуются мало и не так, как надо. Хотя я пишу по-английски не плохо, я совершенно не могу существовать литер(атурными) заработками. Теперь только благодаря Б. Пэрсу⁵ я получил литер(атуру) в здешнем Университете и более или менее на рельсах.⁶

Очень меня огорчает то, что Вы пишете о Кузmine.⁷ Но меня удивляет, что Анна Андреевна⁸ так принимает к сердцу московские глупости. Это, мне кажется, естественная судьба великого поэта. Помните, в 1831 году о Пушкине писали:

И Пушкин стал нам скушен,
И Пушкин надоел.⁹

И неужели оценки Есенина¹⁰ или Мариенгофа¹¹ имеют какую-нибудь цену? Во всяком случае Анна Ахматова самая интимно близкая из всех русских поэтов огромному числу читателей. А имажинистов будут через двадцать лет читать, как мы Бенедиктова и Марлинского.

С Вашими словами о «Дневнике» ЗГ¹² я совершенно согласен — я, в сущности, зря написал и довольно давно, — а потом статья лежала 6 мес(яцев) ненапечатанной.¹³ Я говорю о ней совсем другое — в другой статье, которая должна появиться в «Contemporary Review»¹⁴ и которой я больше доволен, чем этой, легкомысленной и неосведомленной. С Вашей же оценкой Вашей книги о Блоке¹⁵ согласиться не могу. Поэтому это превосходная книга и не «карикатура», как у Вас прежде бывало,¹⁶ а настоящий Бедекер, как говорил Блок.¹⁷ Она была для меня великой радостью.

Вашей книги о Некрасове¹⁸ не читал, к сожалению, но все жду Некрасова под Вашей редакцией у Гржебина.¹⁹ Читаю тоже Вашу удивительную анкету о Некрасове.²⁰

С величайшей радостью буду писать для «Новой Европы»²¹ и дай Бог, чтобы она у Вас выжила. К современной английской литературе отношусь без энтузиазма — американская гораздо живей. Есть в Англии много *приятных* писателей, Beerbohm, Strachey (2 нрзб.), Masfield,²² но все это определенные эпитоны и Александровичи.²³ Один Честертон,²⁴ мне кажется, живая душа. Зато американцы, при всех недостатках очень молодой и еще наивно заносчивой культуры, очень бодрящи.

Очень буду счастлив получить книгу воспоминаний о Блоке, о которой Вы говорите.²⁵ Вообще книги из России — наш хлеб насущный. Прилагаю при сем мою статью о 1 и 2 томах Блока в «Times Lit(erary) Supplement».²⁶ Передайте мой самый искренний привет Анне Андреевне.²⁷

И Вам да пошлет Бог сил и успеха

Д. С.-Мирский

¹ Письмо Чуковского к Святополк-Мирскому неизвестно.

² Спорные вопросы (англ.). О характере этих вопросов, которые не могли не волновать критика, свидетельствует письмо В. Д. Набокова издателю русской парижской газеты «Последние новости» П. Н. Милюкову от 10 марта 1921 года: «Не знаю, поместили ли Вы мою статейку по поводу предложения Сидней Лоу отдать Сибирь Японии. В английскую печать было бы бесплодно направлять протесты — не напечатают. Я пробовал. А высказаться нужно, потому что твердо уверен, что не один Сидней Лоу так думает» (ГАРФ. Ф. 6845. Оп. 1. Ед. хр. 340. Л. 15).

³ О пребывании Чуковского в Англии и его лондонских знакомых см.: Чуковский К. И. Дневник. 1901—1929. М., 1991. С. 19—23.

⁴ Святополк-Мирский сдержал обещание. Об этом свидетельствуют и переводы М. Беринга из русской поэзии, и издание антологии русской поэзии «Oxford Book of Russian Verse».

⁵ Пэрс Б. (1867—1949) — основатель журнала «The Slavonic Review», который выходил с июня 1922 года и в котором Святополк-Мирский стал постоянным автором. Там он опубликовал рецензию на сборники стихов А. А. Ахматовой (см. перевод: Лит. Россия. 1989. 23 июня).

С. 23), а также значительное число отзывов о трудах С. А. Андреевского, В. М. Жирмунского, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова и зарубежных славистов.

⁶ Б. Пэрс мог оказать такое содействие, так как был профессором русского языка, литературы и истории в Лондонском университете и директором Института славянских исследований при Королевском колледже Лондонского университета. Святополк-Мирский читал в этом колледже курс русской литературы до 1932 года. О развитии отношений с Пэрсом см.: *Smith G. S. The Correspondence of D. S. Mirsky and Michael Florinsky, 1925—32*. P. 133—137.

⁷ Кузмин М. А. — «мастер, который наиболее ценим молодыми поэтами России» — писал о нем Святополк-Мирский в статье «Русское письмо. Современные течения в поэзии» (*The London Mercury*. 1921. Vol. 4. № 22. P. 414. Перевод см.: Советская литература. 1991. № 1. С. 107). Трудно сказать точно, что сообщил Чуковский о Кузмине; возможно, о реакции на появление «Занавешенных картинок» или о том, что Кузмин «взял у меня „до вечера“ 500 рублей и сгинул» (*Чуковский К. И. Дневник. 1901—1929*. С. 190, 118).

⁸ Ахматова А. А. О ее творчестве Святополк-Мирский говорил едва ли не в каждой статье в первой половине 20-х годов, отмечая «нотки искренности и щемящую боль сострадания к грядущим мукам ее Отечества в кассандрических погребальных песнях „Июль 1914“» (*The London Mercury*. 1921. Vol. 4. № 22. P. 416; перевод см.: Советская литература. 1991. № 1. С. 109).

⁹ В это время Святополк-Мирский уже работал над книгой «Pushkin», которая вышла в свет в 1926 году.

¹⁰ Что Чуковский сообщил Святополк-Мирскому об отношении С. А. Есенина к Ахматовой, установить не удалось. Об отношении Святополк-Мирского к Есенину известно достаточно много. Критику, поклоннику мужественной поэзии, ранняя есенинская лирика представлялась похожей на «один из паточных пряников» (Русское письмо. Современные течения в поэзии // Советская литература. 1991. № 1. С. 107). В 1920 году стихи П. В. Орешина он предпочел стихам Есенина. Не одобрял критик и имажинистские увлечения поэта. Позднее Святополк-Мирский высоко ценил есенинскую лирику за ее человечность. В 1926 году он убежденно писал: «Не любить Есенина для русского читателя теперь — признак или слепоты, или, если он зряч, какой-то несомненной моральной дефективности» (*Русская литература. 1990*. № 4. С. 144). См. также примеч. 5 к письму, адресованному Е. Г. Полонской.

¹¹ Святополк-Мирский отзывался отрицательно о творчестве А. Б. Мариенгофа, так как для него была неприемлема позиция поэта, который «говорит нам, что ему было бы приятно вновь распять Христа в чрезвычайке» (*The London Mercury*. 1921. Vol. 4. № 22. P. 417).

¹² Гиппиус З. Н.

¹³ Святополк-Мирский говорит здесь о своей статье «Литература в России большевиков», где он писал о «Дневнике» Гиппиус периода гражданской войны: «Это работа борца... полна гнева и негодования. Она написана с сердечной болью... Дневник, возможно, станет классикой» (*The London Mercury*. 1922. № 27. P. 287).

¹⁴ Имеется в виду статья «Русская литература после 1917 года»; она появилась в «*The Contemporary Review*» в 1922 году, № 680. В ней критик существенно уточнил мнение о «Дневнике» Гиппиус: «...написанный с ее обычной силой, живостью и остроумием, он свидетельствует о странном отклонении от моральных норм и определенной моральной безвкусице» (P. 205). См. перевод статьи: *Русская литература. 1990*. № 4. С. 127—132.

¹⁵ *Чуковский К. И. Книга об Александре Блоке*. Пб.: Эпоха, 1922 (2-е изд. Берлин, 1922).

¹⁶ В 1920 году Святополк-Мирский писал: «Отсутствие идей, субъективность и манерный стиль делают таких критиков, как Чуковский и Айхенвальд, достаточно интересными, но редко заслуживающими доверия гидами» (*The London Mercury*. 1920. Vol. 3. № 14. P. 209).

¹⁷ Святополк-Мирский был знаком с А. А. Блоком, о чем свидетельствуют два его письма (1907) к Блоку в связи с замыслом постановки пьесы «Балаганчик» в Первой петербургской гимназии (см.: *Лит. наследство. 1982*. Т. 92. Кн. 3. С. 272). Мемуарное свидетельство Святополк-Мирского о любви Блока к употреблению фамилии немецкого издателя К. Бедекера для обозначения путешественников подтверждается, например, выступлением «О современном состоянии русского символизма» (1910). Блок говорил: «К моим же словам прошу отнестись как к словам, играющим служебную роль, как к Бедекеру, которым по необходимости пользуется путешественник» (*Блок А. А. Собр. соч. М.; Л., 1962*. Т. 5. С. 426). Возможно, эти слова и имел в виду Святополк-Мирский, слышавший это выступление.

¹⁸ Вероятно, Чуковский спрашивал о своей книге «Некрасов как художник» (Пб., 1922).

¹⁹ Гржебин З. И. (1869—1929) — владелец издательства в Берлине, выпускавшего в начале 20-х годов собрания сочинений классиков для Советской России, в том числе Н. А. Некрасова.

²⁰ Анкета К. И. Чуковского о Н. А. Некрасове включала десять вопросов. На них отвечали Блок, А. Белый, Ахматова, Е. И. Замятин и др. (см.: *Летопись дома литераторов. 1921*. № 3).

²¹ Вероятно, это предварительное название петербургского журнала «Современный Запад» (1922—1924), выходившего под редакцией Замятина и Чуковского; Святополк-Мирский опубликовал в нем статью «О современной английской поэзии (письмо из Лондона)» (1923. № 2. С. 139—150).

22 Beerbohm M. (1872—1956) — пародист; Strachey G. L. (1880—1932) — критик и биограф; Masfield G. (1878—1967) — писатель и критик. Мысль о «приятных писателях» Святополк-Мирский развил в статье «О современной английской поэзии»: «Нам, читателям Блока и Маяковского, надо сделать некоторую операцию над нашими критическими аршинами, чтобы иметь возможность мерить английских поэтов; надо забыть о действительной, жизненной, революционной стихии творчества и вернуться к представлениям 18 в. о поэзии

Приятной, сладостной, полезной
Как летом сладкий лимонад.

...вино английских поэтов — крепости не свыше мадеры и нам, привыкшим к самогону, оно может показаться жидким» (Современный Запад. 1923. № 2. С. 139).

23 Этот термин, возможно подсказанный камерной лирикой «Александрйских песен» М. А. Кузмина, Святополк-Мирский использовал в статьях начала 1920-х годов для обозначения поэтов, изображающих только обособленную личность и любовные страсти.

24 См. предыдущее письмо и примеч. 13 к нему.

25 Возможно, речь идет о книге «Памяти Александра Блока» (Пб.: Вольная философская ассоциация, 1922). Или о предполагавшемся издании с участием Чуковского «А. А. Блок в воспоминаниях современников и его письмах» (М., 1924).

26 Литературное приложение к газете «Таймс».

27 А. А. Ахматова.

Письмо Д. П. Святополк-Мирского к М. Горькому

Известно 16 писем Святополк-Мирского к Горькому (1928—1934). Как уже упоминалось, они опубликованы Дж. Смитом и О. Казниной. Сохранилось также письмо Горького, адресованное критику 8 апреля 1934 года в связи с его статьей о реализме для Литературной энциклопедии (Архив Горького. ПГ.рл.26.38.2), а также одно письмо Горького П. Д. Святополк-Мирскому от 14—17 сентября 1901 года, что указывает на глубокие корни отношений писателя и критика.

Фрагмент нижепубликуемого письма воспроизведен в статье: Перхин В. В. О Д. П. Святополк-Мирском // Русская литература. 1990. № 4. С. 122. Письмо печатается по подлиннику (Архив М. Горького. КГ-П.51.9.1. Л. 1—1, об.).

17 Gower Street
London WC1
2.2.28

Дорогой Алексей Максимович,

я с отъезда все собираюсь писать Вам и все не могу найти подходящих слов, чтоб сказать, каким огромным благодеянием была для меня встреча с Вами.¹ Так, вероятно, и не найду, но у меня чувство, как будто бы я был не в Сорренто, а в России, и эта побывка в России меня страшно выпрямила. И нет наверно другого такого человека, который бы так носил в себе Россию, так, как Вы, и не только Россию, но и то, без чего Россия не может быть — человечество. Мне даже стыдно, что мы такими упырями сидели на Вас и пили эту Вашу русскую и человеческую кровь, и только уверенность, что ее в Вас хватит и (на) нас, позволяет не слишком каяться. Уходя от Вас Сувчинский сказал мне: «А вот Толстого² мы никогда не видели!» Только о Толстом мы и могли вспоминать. Но Вы больше русский, больше «представляете собой» Россию, чем Толстой. Главное же я понял то чувство любви, которое так неизменно сохраняют все, видевшие Вас (по крайней мере, кого я встречал³). Простите, если пишу с чрезмерной (английской) сентиментальностью. Но я не умею лучше выразить то чувство любви и благодарности, которым Вы меня наполнили.

Д. С. Мирский

¹ Святополк-Мирский приезжал к Горькому на Рождество в январе 1928 года вместе с П. П. Сувчинским, который в 1974 году в письме к Дж. Смиуту вспоминал, что Святополк-

Мирский обратился к нему с просьбой познакомить его с Горьким (см.: Oxford Slavonic Papers. 1993. Vol. 26. P. 91). Об этом же Сувчинский рассказывал В. Лосской (см.: *Лосская В.* Марина Цветаева в жизни. М., 1992. С. 206).

² Интерес к Л. Н. Толстому проявился еще в юношеские годы. Святополк-Мирский писал отцу (22.9.1911): «На днях здесь (в Александринском театре. — В. П.) первое представление новой пьесы Льва Толстого («Живой труп». — В. П.). Собираюсь смотреть» (ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Ед. хр. 1328. Л. 39). Позднее в рецензии на «Неизданные рассказы и пьесы» Толстого (Париж, 1926) критик писал о пьесе «Зараженное семейство»: «...По изумительному искусству диалога и интонационной характеристике действующих лиц — она на уровне „Живого трупа“ и „Света во тьме“» (Версты. 1927. № 2. С. 213). Отметим еще статьи «О Толстом» в газете «Евразия» (1928, 24 нояб. С. 6—7) и «Война и мир» в ленинградском журнале «Литературный современник» (1935. № 11. С. 115—133).

³ Святополк-Мирский мог иметь в виду А. М. Ремизова, которого он посещал в Париже и на кухне, где трое «втиснуться могли», вел с ним беседы (*Кодрянская Н.* Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 29). «Только что вернулся из Парижа, где видел Ремизовых», — писал он 25.2.1926 года А. В. Тырковой-Вильямс (*The Slavonic and East European Review.* 1993. Vol. 71. № 3. P. 486). О взаимоотношениях Горького и Ремизова см.: *Крюкова А. М.* А. М. Горький и А. М. Ремизов (Переписка и вокруг нее) // Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 197—212.

Письмо Д. П. Святополк-Мирского к В. М. Саянову

В. М. Саянов (1903—1959) — ленинградский поэт, прозаик, литературный критик. Знакомство со Святополк-Мирским состоялось, вероятно, через посредство Горького, с которым Саянов работал в редакции журнала «Литературная учеба» (1931—1933), выходившего первоначально в Ленинграде. Одновременно Саянов принимал активное участие в организации работы «Библиотеки поэта», первый выпуск которой состоялся в 1933 году. С этой стороны его деятельности и связано публикуемое письмо.

Это единственное письмо в архиве Саянова. Его отличает теплая, сердечная интонация. Во время приездов в Ленинград Святополк-Мирский бывал в доме Саянова. Н. Я. Рыкова, критик и переводчица, рассказывала автору этих строк 19 марта 1994 года: «Как-то я пришла в саяновскую квартиру. Его жена (моя сестра) говорит: „Оставайся обедать — у нас будет настоящий князь“. Я слышала о нем, говорили, что он активно борется за возвращение детей эмигрантов на Родину. У сестры была домработница Егоровна, которая говорила, что была домработницей в доме Гучкова (А. И. Гучков — лидер октябристов, военный и морской министр Временного правительства; с его дочерью В. А. Гучковой Святополк-Мирский находился в дружеских отношениях. — В. П.). Мы думали, врет. И вот сидим мы за столом, Егоровна приносит на стол еду, смотрит на Святополк-Мирского и говорит: „Здравствуйте, Дмитрий Петрович“. Он посмотрел пристально: „Здравствуйте, Егоровна!“ И нам: „Мы встречались в доме у Гучкова, я был еще мальчиком“».

Письмо написано на бланке с грифом: «Литературное наследство. Заведующий редакцией. Москва. Страстной бульвар, 11». Гриф перечеркнут зелеными чернилами, которыми написано письмо. Печатается впервые (ОР ИРЛИ. Ф. 597). Приношу благодарность А. М. Махлиной, Н. Я. Рыковой, Т. С. Царьковой за содействие в поиске письма к Саянову.

Русаковская, 7, кв. 34.
12 февр. 1934

Дорогой Виссарион Михайлович,

я передал Островскому¹ мою статью о Баратынском.² Я ею не очень доволен. Но сейчас ничего лучше сделать не мог. В частности, она очень длинна. Напишите мне об ней Ваше откровенное мнение.

Как обстоит у Вас дело с изданием Случевского?³ Мне говорил Харджиев,⁴ что

оно у Вас на очереди и что дело за вступительной статьей. Если это так и если моя статья о Баратынском не слишком Вас разочарует во мне, я был бы рад написать о Случевском, которого я давно и очень люблю, хотя написать о нем и не так легко.⁵ Напишите мне об этом тоже. Не собираетесь ли сюда. А мне в Ленинград, очевидно, не придется попасть раньше весны.

Искренний привет

Д. Мирский

¹ Островский А. Г. (1898—1989) — переводчик, литературовед, с 1932 года редактор-организатор «Библиотеки поэта».

² Полное собрание стихов Е. А. Баратынского в двух томах со вступительной статьей Святополк-Мирского вышло в Ленинграде в 1936 году в Большой серии «Библиотеки поэта». Статья перепечатана: [Святополк-]Мирский Д. О литературе. М., 1987. С. 215—253. Письмо к Саянову позволяет установить дату ее написания — не позднее февраля 1934 года. Стоит отметить, что суждения Святополк-Мирского о поэзии Баратынского сохранили свое значение до настоящего времени. См.: История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 342.

³ Случевский К. К. (1837—1904) — поэт и прозаик.

⁴ Харджиев Н. И. (р. 1903) — литературовед, искусствовед.

⁵ В своей книге «Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака» (Париж, 1924) Святополк-Мирский поместил три стихотворения Случевского, а в комментариях поставил его поэзию выше стихов В. С. Соловьева. Критик ценил Случевского за философское осмысление явлений, внимание к теме вечности и смерти, смелое обновление поэтических форм. Все это мало соответствовало авторитарной эстетике 1930-х годов с ее установками на утилитаризм и политическую поэзию. К тому же Случевский был оппонентом Н. Г. Чернышевского. Поэтому, вероятно, упомянутое издание его стихов тогда не состоялось.

Письма Д. П. Святополк-Мирского к А. К. Тарасенкову

А. К. Тарасенков (1909—1956) — литературный критик, в 1935 году — ответственный секретарь и заведующий отделом критики журнала «Знамя». Как критик Тарасенков имел диаметрально противоположные устремления по сравнению со Святополк-Мирским. В полной мере это обнаружилось на «Дискуссии по итогам поэтического творчества за 1934 год», проходившей на секции критиков Союза писателей 27 апреля 1935 года. Докладчиком был Святополк-Мирский. Он говорил, что «поэты не имеют право становиться на горло собственной песне» и приветствовал поворот к «органическому и свободному творчеству». Он отстаивал эстетическое своеобразие поэзии Н. А. Заболоцкого, его поэмы «Торжество земледелия», которую многие считали «кулацкой». Тарасенков ему внушал: «Вы чересчур либеральны тов. Мирский». И далее подчеркивал, что точка зрения Святополк-Мирского есть «чрезвычайно неверное сужение вопроса о дурном, вредном влиянии поэзии Заболоцкого». И еще: «Мне кажется, что тов. Мирский... глубоко ошибается, приписывая какую-то частную художественную плодотворность Заболоцкому. Это влияние вредное, оскорбляющее нашу поэзию, которое очень многим молодым поэтам мешает увидеть подлинное величие, серьезность и глубину того мира, изображать который в своем творчестве им надлежит» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 18. Ед. хр. 13. Л. 7, 34, 35).

Эти принципиальные расхождения и обусловили официальный тон писем Святополк-Мирского к Тарасенкову. Письма печатаются впервые (РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 3. Ед. хр. 45. Л. 1—2).

1

2/8.35.

Тов. Тарасенков,

с Кипплингом¹ задержка. Экземпляр его стихов в Библиотеке Института Литературы взят кем-то. Пока он не будет возвращен, не могу писать статью. Выписываю книгу из Академии. Может быть, придет раньше. Так что уж рассчитывайте к № 10.²

Д. Мирский

¹ Киплинг Д.-Р. (1865—1936). Первые оценки идейной позиции Киплинга появились еще в 1920-е годы. В статье «Современные английские романисты» Святополк-Мирский писал: «Киплинг стал окончательно человеком партии и последние его выступления в духе дикого антинемецкого шовинизма не стяжали ему новых лавров» (Звено. 1923. 14 мая). Вместе с тем критик ценил его «ранние публицистические вещи, в которых еще не угадывался грубый империализм» (С.[вятополк]-Мирский Д. О современной английской поэзии. Письмо из Лондона // Современный Запад. 1923. № 2. С. 143).

² Статья «Поэзия Редьярда Киплинга» появилась в 10 номере «Знамени» за 1935 год. Перепечатана: [Святополк-]Мирский Д. Литературно-критические статьи. М., 1978. С. 308—326; [Святополк-]Мирский Д. Статьи о литературе. М., 1987. С. 144—161.

2

22.VIII. 1935.

Тов. Тарасенков,

статья¹ будет готова 25-го. Но в Москву я приеду только 27-го, так что если Вам она нужна ровно 25-го, пришлите за ней в Голицыно (Дом отдыха Литфонда).² Впрочем может быть кто-нибудь будет ехать в Москву и отвезет.

Д. Мирский

¹ См. примеч. 2 к предыдущему письму.

² Литературный фонд СССР был создан в 1934 году в соответствии с уставом, принятым на Первом всесоюзном съезде советских писателей, для «административно-хозяйственного обслуживания писателей». Дом творчества расположился в бывшем девятикомнатном доме антрепренера Ф. А. Корша и на территории бывшего «Голицынского городка» — дачного места, возникшего в начале XX века на землях князя Д. Б. Голицына. Недалеко находилась его усадьба Вязёмы. Там нередко бывал Святополк-Мирский, друживший со сверстниками из семьи Голицыных. 14 сентября 1905 года он писал отцу: «10-го мы снова поехали в Вязёмы и на этот раз мы всех застали и ночевали» (ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Ед. хр. 1328. Л. 8, об.). Через тридцать лет он вернулся в места своей юности...

Д. П. Святополк-Мирский — Е. Г. Полонской

Письмо к поэтессе и переводчице Е. Г. Полонской (1890—1969) показывает отношение Святополк-Мирского к искусству перевода. Он был опытным переводчиком. В 1923 году в журнале «The Slavonic Review» был опубликован его перевод рассказа Е. И. Замятина «Пещера». В 1927 году Святополк-Мирский сообщил Б. Л. Пастернаку о том, что работает над переводом его повести «Детство Люверс» «на два языка, французский... и английский...» (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 429. Л. 1). Чуть раньше, по свидетельству А. М. Ремизова, он осуществил совместно с Е. П. Харрисон перевод «Жития» Аввакума. В 1930 году во французском журнале «Commerce» был опубликован его перевод «Египетской марки» О. Э. Мандельштама, сделанный совместно с Ж. Лимбуром. К сожалению, перечня переводов Святополк-Мирского не существует. Наиболее полно свои принципы

Святополк-Мирский изложил в рецензии на перевод «Дон Жуана» Байрона, который был осуществлен М. А. Кузминым. Там он, в частности, писал: «Перевод великого поэтического произведения должен быть творческим актом, а не механической игрой в мнимую „точность“. Что Кузмин может писать превосходные русские стихи, доказывать как будто не нужно. Но... *Некто* очень строго внушил М. А. Кузмину, что перевод должен быть строго „построчный“, стих в стих, Кузмин, на зло, показал, что из этого выходит. Я, конечно, шаржирую. Но похоже именно на это. И нет сомнения, что принципы этого перевода в корне противоречат художественным убеждениям Кузмина. Но я думаю, что, вернув Кузмину его свободу, можно ожидать хорошего перевода всей поэмы» (Архив РАН. Ф. 1001. Оп. 4. Ед. хр. 49. Л. 6, 7). Это было написано летом 1935 года, т. е. почти одновременно с письмом к Полонской.

Письмо печатается впервые (ОР РНБ. Ф. 602. № 443. Л. 1—4, об.).

Москва

ул. Горького 68, кв. 68
22 августа 1935 г.

Уважаемая тов. Полонская,

простите, что я только теперь пишу, чтобы благодарить Вас за присланную Вами мне книгу стихов.¹ Я был очень рад получить ее — я знаю Вашу поэзию еще с первых времен Серапионовых братьев,² но очень давно ничего Вашего не видал.

Еще до выхода Вашей книги я прочел Ваши переводы из Киплинга в «Знамени».³ Разрешите сделать несколько замечаний о них. Лучшим из трех мне кажется «Баллада о Западе и Востоке».⁴ Здесь у Вас взят правильный тон и правильный словарь, в двух других Вы не делаете никакой попытки передать солдатское жаргонное просторечье — вместо этого общепозитический язык. Это, по-моему, серьезный недостаток. Между тем весь эффект «Mandalay» держится на противоречивом соединении предельно-лирической мелодии и ритма (очень хорошо Вами переданных) с «вульгарной» лексикой. В русской поэзии такую аналогию трудно подыскать, но сходные эффекты есть у Есенина («Исповедь хулигана»),⁵ в блатной лирике, с другой стороны, у Бабея (лирические места «Соли», напр(имер)).⁶ Кроме того в «Mandalay» у Вас несколько ошибок в «реалиях». «Theebaw's Queen», конечно, не «царица Савская», а жена последнего Бирманского императора, которого звали Theebaw (Queen о царях и пр. — жена). Из-за библейской ассоциации в(ы), вероятно, и «иудаизировали» ее имя из Supi — в Цеви. В той же строфе, где у Вас «принесла цветы», у Киплинга «курила чирут», т. е. воскуряла перед идолом *cigaru*. В 3 строфе вы совершенно не заметили «слонов, грузящих тик» (такое дерево), хотя они занимают у Киплинга 2 1/2 строки (*hathi* — инд(ийское) имя слона). А «чудовища в морях на скрипучих якорях» Вы прибавили сами. Что же касается тона и лексикки, я особенно обратил бы внимание на 4 ст(року) 1 строфы, вторую половину 2 стр(офы) (самое неудачное), 2 ст(року) 3 стр(офы) (почему не перевести «напевала ку-ла-ла?»), 4 ст(року) 5 стр(офы) (здесь вы пропускаете «wot do they understand» кот(орую) Киплинг повторяет два раза), наконец, особенно неуместно «высокое» начало последней строфы. Здесь «высокий» тон опять приводит Вас к ошибке в «реалиях» — «где в лесах звериный след». Где же леса? Все это происходит в густо населенной стране, на окраине большого города Рангуна. А в 5 стр(офе)⁷ в стихе «I've a neater, sweeter maiden in a cleaner greener land» Вы не передаете ни повторов гласной *u* (*ea, ee*), ни мотива *чистоты* (*neater, cleaner*), кот(орый) проходит лейтмотивом по всему, что Киплинг написал о бирманках (кстати, во 2 ст(роке) почему не сказать «девочка-бирманка»; почему «из Бирмы», ведь та *из* Бирмы никуда не уехала, все происходит в Бирме). В «Danny Deever» «высокая» лексика ослабляет остроту киплинговского натурализма. Ошибки в реалиях здесь гораздо серьезней. Источник их — неправильно понятое вами слово

«Colour-Sergeant». Colour-Sergeant, старое название *фельдфебеля* (ок(оло) 1900 г. заменено Sergeant-Major), происходит от слова Colours — знамя (букв(ально) «знаменный сержант»), фигура, встречающаяся у Киплинга и в других стихах (например) «The 'Eathen»). Из-за этой ошибки вышло, что место действия — туземный полк; на самом же деле это английский полк (о чем, конечно, говорит и имя Danny Deever, и язык).⁸ Отсюда, вероятно, и «налог на его селенье», хотя «county» административная единица, существующая только в Вашей Великобритании и автономных доминионах, а не в Индии.*

Я позволю себе так подробно писать об этом, так как Ваши переводы в общем, несомненно, прекрасны и им суждены частые перепечатки. В частности, они, несомненно, войдут в «Антологию совр(еменной) англ(ийской) поэзии» Ленгослитиздата, которую я должен редактировать.¹⁰ Если Вам интересно, я сообщил бы Вам другие, более детальные и мелкие замечания (особенно на «Ballad of East and West») или об этом можно будет поговорить при встрече, Вы будете в Москве или я в Ленинграде (последнее произойдет вряд ли ранее конца года).

С искренним приветом

Д. Мирский

* И почему Вы выпустили 6 ст(року) 3 строфы «For'e shot a comrade sleepin», тем подав повод к неверному примечанию редакции «Знамени»?⁹

¹ Имеется в виду книга: *Полонская Е. Г. Года. Избранные стихи.* Л., 1935.

² О писателях из группы «Серапионовы братья» Святополк-Мирский говорил в статье «Возрождение русской художественной прозы» (The Slavonic Review. 1923. Vol. 2. № 4. P. 200—202). О поэзии Полонской в 1920-е годы не писал.

³ В журнале «Знамя» (1935. № 2. С. 103—105) были опубликованы два стихотворения Киплинга в переводе Полонской: «Мандалей» и «Дэнни Дивер».

⁴ «Баллада о Западе и Востоке» в журнале не появлялась; была опубликована в книге «Года».

⁵ С. А. Есенину критик посвятил, в частности, некролог (The Slavonic Review. 1926. Vol. 4. № 12. P. 706—707. Перевод см.: Русский рубеж: Специальное приложение к еженедельнику «Литературная Россия». 1991. № 3. С. 16) и статью «Есенин» (Воля России. 1926. № 5. С. 75—80. Перепечатка: Русская литература. 1990. № 4. С. 144—147). Святополк-Мирский писал о «сладостной мелодичности единственных в современной поэзии» стихов Есенина, о их связи со «стихией народной лирики» и упоминал «песни забулдыги», в которых действительно сплетены лирическая мелодичность и «вульгарная лексика». Сопоставляя стиль Киплинга с есенинским стилем, Святополк-Мирский обнаружил верность своим исходным оценкам поэзии Есенина, полузапрещенной в 1930-е годы. См. также примеч. 10 к письму, адресованному Чуковскому.

⁶ Святополк-Мирский рецензировал сборник рассказов И. Э. Бабеля (М.; Л., 1925) и отмечал, что в рассказе «Соль» есть «подлинная поэзия» и авторское «искусство заостренного, обыкновенно трагического анекдота» (Современные записки. 1925. Т. 26. С. 487). В то же время он подчеркивал, что «некоторые рассказы (особенно «Иисусов грех») вызывают простое недоумение немотивированным нагромождением пакостей».

⁷ Далее следует зачеркнутая фраза: «тоже у Вас совсем не передано ни по ритму, ни по смыслу».

⁸ Все эти замечания критик повторил в статье о поэзии Киплинга (см.: [Святополк-]Мирский Д. Литературно-критические статьи. М., 1978. С. 319).

⁹ См.: Знамя. 1935. № 2. С. 105.

¹⁰ «Антология новой английской поэзии» (Л., 1937) вышла после ареста Святополк-Мирского без указания его имени; вопреки намерению, он не включил переводы Полонской. Отметим, что наблюдения критика над поэтикой Киплинга предвосхитили современные исследования (см.: *Дымшиц В. Редьярд Киплинг // Киплинг Р. Стихотворения.* СПб., 1994. С. 9, 20).

Д. П. Святополк-Мирский — Н. П. Охлопкову

Письмо к Н. П. Охлопкову (1900—1967) — актеру и режиссеру, руководителю Реалистического театра в Москве — было продиктовано глубоким интересом Святополк-Мирского к судьбе драматургии Шекспира на русской сцене 1930-х годов

и к театру вообще. Увлечение театром началось в юности. Дружба с графом П. С. Шереметевым открыла доступ в подмосковные усадьбы, в которых многое напоминало о труппе крепостных актеров XVIII века. Традиции любительского усадебного театра были живы в начале XX века. В Михайловском, имении Шереметевых, каждое лето разыгрывались пьесы русского репертуара. В июне 1909 года в двух постановках участвовал Святополк-Мирский — в частности, он исполнил роль Василия Лукича в пьесе В. Щигрова «Помолвка в Галерной гавани. Картинка петербургской жизни». Позднее в статье «Драма и театральная Россия», опубликованной в 1929 году на страницах «The Encyclopaedia Britannica», он подчеркивал значение шедевров А. В. Сухова-Кобылина, А. Ф. Писемского и особенно А. Н. Островского, «создавшего новый тип театрального реализма». Святополк-Мирский также четко видел: «Русский роман от Тургенева до Горького, русская музыка от Чайковского до Стравинского, русский театр со Станиславским и Дягилевым оказали влияние на соответствующие виды искусства в Западной Европе, которое временами было решающим». Сохранению и обновлению духовных традиций критик старался помочь в 1930-е годы, защищая новаторские постановки пьес Шекспира.

В 1935 году режиссеры А. Д. Попов и С. Э. Радлов выпустили спектакли «Ромео и Джульетта», «Отелло» и «Король Лир», вызвавшие дискуссию в печати о принципах сценической интерпретации и перевода на русский язык шекспировской драматургии. Святополк-Мирский опубликовал в мае—декабре четыре театральные статьи. Значение Шекспира он видел в том, что его герои «готовы идти на гибель во имя принципиального утверждения своего права на свободу», в том, что его пьесы помогают создавать «театр полнокровного, свободного и поэтического реализма». Точность передачи гуманистического пафоса и своеобразия творческой индивидуальности Шекспира была критерием оценки переводов. Критик защищал переводы А. Д. Радловой от обвинений И. И. Юзовского, который, «подражая бабелевскому герою», находил у Радловой «жеребятину» ([Святополк-] Мирский Д. Спор об «Отелло» // Лит. газ. 1935. 24 дек.). Святополк-Мирский утверждал, что «переводы Анны Радловой лучшие из всех до сих пор сделанных русских переводов Шекспира». Вместе с тем он призывал «решительно протестовать против всякой попытки канонизировать эти переводы». Этой цели отвечало появление перевода «Отелло», выполненного Ю. П. Анисимовым. Письмо к Охлопкову было формой поддержки этого перевода в глазах режиссера, задумавшего еще одну постановку «Отелло», и в то же время одобрением его стилистических поисков, сочетавших верность реалистической традиции с условными приемами народного театра.

Письмо печатается впервые, по машинописной копии (РГАЛИ. Ф. 1013. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 1).

Н. П. Охлопкову

В случае если мне б(удет) предложено проредактировать перевод «Отелло», сделанный Ю. П. Анисимовым,¹ я соглашусь взяться за эту работу.²

Я читал только относительно небольшую часть перевода, но то, что я читал, произвело на меня самое хорошее впечатление. То, что отличает этот перевод от других русских переводов Шекспира³ — это его высокое поэтическое качество. Мне кажется, что русские переводчики еще не подошли так близко к передаче индивидуального поэтического голоса Шекспира.

Д. Мирский

10 марта 1936 г.

¹ Анисимов Ю. П. (1886—1940) — поэт, переводчик, искусствовед. Б. Л. Пастернак вспоминал о нем: «Человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски...» (Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 317). Год рождения Анисимова дан по статье Ю. М. Гельперина в словаре «Рус-

ские писатели. 1800—1917» (М., 1989. Т. 1); в словаре «Писатели современной эпохи. Под ред. Б. Козмина» (М., 1992. Т. 1) указан 1889 год, а в комментариях к воспоминаниям Пастернака — 1888 год.

² На театральных афишах и в программках охлоповского «Отелло» значилось: «Перевод Ю. П. Анисимова под общей редакцией Дм. Мирского» (ОР РНБ. Ф. 625. № 680. Л. 3).

³ В 1934 году был издан том Шекспира «Избранные драмы в новых переводах» (М.; Л., 1934), который включал «Гамлета» в переводе М. Л. Лозинского, «Макбета» в переводе С. М. Соловьева, «Короля Лира» в переводе М. А. Кузмина и «Сон в летнюю ночь» в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник. В 1936 году вышел V том Полн. собр. соч. Шекспира, включавший «Отелло» и «Макбета» в переводе А. Д. Радловой.

Письма Д. П. Святополк-Мирского к В. П. Ставскому

В. П. Ставский (1900—1943) — писатель, был секретарем РАПП (1928—1932), на Первом всесоюзном съезде писателей избран в президиум правления Союза советских писателей и одним из пяти его секретарей; после смерти М. Горького, председателя правления, и отставки А. С. Щербакова, первого секретаря, возглавил Союз писателей. Ставский зарекомендовал себя как зоркий защитник авторитарной политики. Он следовал в русле настроений таких «неистовых», как поэт И. С. Фефер, который 1 марта 1936 года на заседании партийной группы правления Союза советских писателей призывал: «...До сих пор такой сумбурный критик, как Мирский, не получил отпора. (...) Я считаю, что Мирский сделал слишком много ошибок, чтобы представители критической секции могли почивать на лаврах и считать, что дело закончено» (РЦХИДНИ. Ф. 88. Оп. 1. Ед. хр. 457. Л. 25). 13 марта 1936 года, председательствуя на собрании московских писателей, Ставский критиковал Святополк-Мирского за то, что ему «почему-то заблагорассудилось возносить Дм. Петровского на пьедестал» (Лит. газ. 1936. 15 марта). Стихи Петровского критик поддержал потому, что поэт умеет говорить «полным голосом от страстного человеческого сердца» (Лит. газ. 1935. 4 сент.). Однако Ставского менее всего интересовало личностное начало в поэзии; он искал соответствия нормам авторитарной эстетики и был возмущен, встретив в стихах Петровского утверждение «дерзкого неверья и сомненья». Таким образом, еще в начале 1936 года Ставский встал на сторону тех, кто с 1934 года травил Святополк-Мирского за отрицательную оценку романа А. А. Фадеева «Последний из удэге».

В октябре 1936 года большинству московских и ленинградских литературных критиков было разослано письмо за подписью Ставского с просьбой ответить на вопросы о состоянии и задачах критики, творческих планах и трудностях в работе. Одним из таких ответов и является нижепубликуемый текст Святополк-Мирского. Стоит добавить, что 5 мая 1937 года на заседании секретариата Союза писателей распределяли квартиры в III и IV секциях писательского дома по Лаврушинскому переулку. Квартиры получили только критики-марксисты И. Л. Альтман и И. М. Беспалов (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 155. Л. 1). Просьба Святополк-Мирского не была принята во внимание, но он вынужден был и в дальнейшем обращаться к Ставскому как к официальному руководителю писательской организации.

Письма печатаются впервые (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 138. Л. 127; Там же. Ед. хр. 172. Л. 9—10; Там же. Ед. хр. 172. Л. 4).

28 окт. 1936 г.

Уважаемый тов. Ставский,

отвечаю на Ваше письмо от 20 X 36 г.¹ Я в настоящее время работаю над биографией Пушкина, которую я должен сдать 15 февраля «Жизни замечательных людей».² Некоторые главы из нее будут помещены предварительно в журнале «Звезда»; первые две главы в январском номере.³ Одна из них готова, другая пишется.

К сожалению, у меня еще остается на руках старая работа, помимо этой. Я заканчиваю редактирование Антологии современной английской поэзии для Ленинградского гослитиздата.⁴ Дело это подходит к концу, но задерживается из-за переводчиков. Кроме того, по старому обязательству я должен к 15 декабря сдать «Литературному наследству» статью для их французского номера о русско-французских литературных отношениях.⁵ Это старое обязательство задержит до известной степени работу над биографией Пушкина.

Кроме того, я получил предложение от Литературного агентства написать статью на английском языке к Пушкинскому юбилею.⁶ Думаю его принять.

Работе моей, вообще говоря, в настоящее время ничего не мешает, кроме бытовых условий. Я надеялся уже к началу ноября переехать на новую жилплощадь, но это опять отложено на месяц (а м(ожет) б(ыть) и более?). Здесь же в крайне тесной, шумной и перенаселенной квартире работать крайне трудно.⁷ И это тормозит мои темпы.

Книгу Новикова о Пушкине я как раз в настоящее время читаю.⁸ Я вполне согласен с Вами, что она заслуживает доброго слова похвалы (больше, на мой взгляд, чем трагедия Глобы⁹). Я был бы рад случаю написать о ней.¹⁰

С товарищеским приветом

Д. Мирский

¹ Имеется в виду письмо с вопросами к литературным критикам. Их ответы см.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 138.

² В серии «Жизнь замечательных людей» книга не издавалась.

³ Главы печатались в 1-м и 2-м номерах «Звезды» за 1937 год. Перепечатаны в книге: [Святополк-]Мирский Д. Литературно-критические статьи. С. 21—184.

⁴ См. примеч. 10 к письму, адресованному Е. Г. Полонской.

⁵ Русско-французским литературным и культурным отношениям были посвящены тома 29—34 «Литературного наследства» (М., 1937). Статья Святополк-Мирского отсутствует.

⁶ Статья не обнаружена.

⁷ В это время Святополк-Мирский жил в Москве по адресу: Большой Каретный пер., 17, кв. 22 (ОР РГБ. Ф. 620. Карт. 68. Ед. хр. 22. Л. 3), недалеко от цирка на Цветном бульваре. Квартира находилась на шестом этаже, в надстройке 1930 года и состояла из четырех комнат.

⁸ Речь идет о книге: Новиков И. А. Пушкин в изгнании. Ч. 1: Пушкин в Михайловском. М., 1936.

⁹ Глоба А. П. (1888—1964) — поэт, драматург, автор трагедии «Пушкин» (Л.; М., 1937). В противопоставлении книге Новикова трагедии Глобы есть полемический оттенок, вызванный, возможно, несогласием с той высокой оценкой, которую дал пьесе Глобы В. А. Луговской (Лит. газ. 1936. 5 окт.).

¹⁰ Отзыв о книге Новикова, вероятно, не был написан.

Ответственному секретарю ССП СССР тов. Ставскому

Моя связь с Авербахом¹ и авербаховцами² искривила весь мой путь как советского писателя. Разоблачение троцкистской сущности авербаховщины и подлинного лица Авербаха заставляет меня дать отчет самому себе и советской литературной общественности в этой связи.³

Я приехал в СССР в 1932 г., имел чисто книжное представление о советской действительности, очень недолгий опыт активной политической работы (в английском рабочем движении⁴), и очень плохо разбираясь в литературной обстановке. В Москве я сперва очутился среди наиболее правых писателей, бывших формалистов и т. п., знавших меня по моей старой литературной деятельности за границей.⁵ Эта среда меня не удовлетворяла. Вскоре познакомился с Авербахом и Ясенским.⁶ Они меня систематически «учили» и старались руководить мною. Руководство это шло под флагом требования от меня большей политической активизации, и мне оно представлялось тогда полезным.⁷ В течение 1933 г. особенно я находился под большим влиянием авербаховцев и был лично близок с Авербахом⁸ и Ясенским. С конца 1933 года личные отношения наши испортились, но это еще не повело к пересмотру с моей стороны их идейного влияния. В начале лета 1934 года Ясенский, которого я перед тем довольно долго не видел, пришел ко мне и завел разговор на тему о том, что происходит общая демобилизация и поправление литературы и что с этим надо бороться. Он привел «Последний из удеге» как пример подмены политических проблем моральными и уговорил меня написать статью об этом романе.⁹ Выступая в первый раз с официальной критикой крупного писателя-коммуниста, я хотел проверить ее на товарищах — членах партии и прочел ее Корабельникову¹⁰ и Ясенскому. Она их не удовлетворила, они нашли ее недостаточно резкой. Я имел слабость подчиниться им и переделать ее. В окончательной форме ее детально редактировал Корабельников, к которому я лично близок никогда не был, но статья которого «Конец чеховской темы»¹¹ мне показалась хорошей и которому я поэтому доверял. Когда появилась статья т. Юдина¹² и особенно т. Косарева,¹³ я понял их как осуждение только отдельных неправильных выводов статьи и хотел выступить с признанием их неправильности. Ясенский меня отговаривал и говорил: «Погоди, увидишь, что ее еще признают правильной». На совещании критиков перед Съездом¹⁴ Корабельников в своем докладе отозвался отрицательно о написанной под его редакцией статье; Ясенский выступил в мою защиту, но говорил не о правильности моих высказываний, а только о моем праве иметь свое мнение о романе Фадеева. Поведение Корабельникова и Ясенского сильно меня поразило, и я понял, что в этом деле оказался орудием в их групповой борьбе. Именно поведение Корабельникова и Ясенского в этом деле посеяло во мне глубокое недоверие ко всяким советам и ко всяким попыткам мною руководить, что в значительной мере создало то одиночество, в котором я теперь нахожусь.

После всего этого дела я начал отходить от авербаховцев, хотя личных отношений с Авербахом не прекратил и тоже ездил к нему на Уралмаш.¹⁵ Но о своей литературной работе говорить с ним избегал.¹⁶ С Ясенским же стал видаться редко и только по его инициативе.

Считаю нужным отметить, что моя статья о Пушкине, заключавшая в себе столь справедливо осужденные тезисы,¹⁷ была написана в начале 1934 г. до статьи о Фадееве и хотя безо всякого непосредственного воздействия, но под общим влиянием «левых» фраз авербаховцев.

Считаю нужным также отметить, что начавшаяся во мне с конца 1934 г. внутренняя реакция против авербаховщины отчасти привела меня к ошибкам противоположного (формально-противоположного) рода, сказавшимся в некоторых моих статьях о поэзии 1935 г. и в выступлении на Минском пленуме.¹⁸

От идейного влияния авербаховщины я освободился во всяком случае с начала 1935 года, но связь с ней сбила меня с пути, и я до сих пор несу тяжелые последствия ее. Однако все отрицательное значение этой связи я понял только недавно после разговора с тов. Фадеевым (в начале марта)¹⁹ и только в самое последнее время понял, на каком опасном пути я стоял.

Я твердо надеюсь, что руководство Союза советских писателей не откажет мне в конкретной помощи, чтобы я мог выпрямить свой литературный путь и ликвидировать отрицательные результаты как моей связи с авербаховщиной, так и прежней моей биографии.

Д. Мирский

3 мая 1937 г.

¹ Авербах Л. Л. (1903—1937) — литературный критик и публицист, в 1926—1932 годах генеральный секретарь РАПП, член редколлегии «Литературного наследства». Племянник Я. М. Свердлова (см.: Москва. 1988. № 9. С. 188), он был в родственных отношениях с Горьким через З. А. Пешкова, брата Свердлова, усыновленного Горьким (см.: Лит. наследство. М., 1988. Т. 95. С. 34, 994). Об особых отношениях Горького и Авербаха см. также: *Примочкина Н. Н.* «Ликвидировать — слово жесткое» (Горький против постановления ЦК) // Изв. Академии наук. Сер. лит. и яз. 1995. Т. 54. № 2. С. 9—11. Горький поручил Авербаху роль «политического руководителя» Святополк-Мирского. В конце 1932 года Авербах докладывал Горькому на Капри: «Мирский завтра сдает статью о Джойсе. Весьма любопытно» (Архив М. Горького. КГ-П. 1.31.35). Авербах оказался редактором Святополк-Мирского в ряде изданий, организованных Горьким.

² С 23 по 30 января 1937 года проходил суд над участниками «параллельного антисоветского троцкистского центра». Он послужил новым толчком к поиску врагов в литературной среде — участников «троцкистско-авербаховской организации в литературе». Имя Авербаха стало нарицательным, так как припомнили, что Л. Д. Троцкий был покровителем Авербаха в его бытность редактором «Юношеской правды» (1920) и «Молодой гвардии» (1922—1923). В число авербаховцев попали, в частности, А. Н. Афиногенов и С. М. Киршон, К. Я. Горбунов и Б. Ясенский. Святополк-Мирский, вероятно, сразу понял, какой опасности он подвергается в связи с судебным процессом, так как среди обвиняемых был Г. Я. Сокольников, который в 1931—1932 годах, являясь полпредом СССР в Великобритании, по просьбе Горького помогал критику вернуться на родину. В этой ситуации Святополк-Мирский сделал несвойственный ему шаг: 26 января он опубликовал в «Литературной газете» статью «Чужеродный сор», в которой с армейской прямоотой заявил: «Наш сталинский дом, прочно построенный, будет чист от них». Демонстрация политической благонадежности не помогла. Уже в феврале началась очередная — и последний — этап его травли. Поначалу его называли «подгосломком Бухарина» за то, что он «иносказательно» выступал против политической поэзии (Я. М. Алтаузен в «Правде» 25 февраля 1937 года; И. Г. Лежнев, там же, 28 февраля 1937 года), затем — «эстетским критиком» (Плиско Н. в «Литературной газете» 5 марта 1937 года).

³ В 1937 году особенно ясно обнаружилась противоречивость политического сознания критика: с одной стороны, он поддержал авторитарное властвование, с другой — надеялся на общественное мнение и литературную общественность. Эту надежду он выражал и в письме в «Литературную газету» от 22 мая 1937 года, которое не попало в печать (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 172).

⁴ Письма критика Горькому свидетельствуют о том, что связь с английской коммунистической партией была установлена весной 1931 года (см.: Архив М. Горького. КГ-П. 51.9.8). 10 июня 1932 года он писал: «Этот год, мне кажется, я провел не без пользы, особенно для себя, так как впервые по-настоящему и активно соприкоснулся с рабочим движением» (Там же. КГ-П. 51.9.13). Таким образом, работа Святополк-Мирского в рабочем движении продолжалась около четырнадцати месяцев.

⁵ В Москве о заграничной литературной деятельности Святополк-Мирского знали Пастернак, которому он писал и посылал журнал «Версты» (см.: РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 429. Л. 1), А. Е. Крученых. 29 сентября 1935 года критик подарил ему свою фотографию с надписью: «Опережающему Всех А. Е. Крученых. Д. Мирский» (Там же. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 334. Л. 2).

⁶ Ясенский Б. (1901—1938) — «большевик польской поэзии», с 1929 года жил в СССР. В мае 1933 года Святополк-Мирский вместе с Ясенским ездил в Среднюю Азию с «поручением по Истории заводов от Авербаха» (Архив М. Горького. КГ-П. 51.9.16).

⁷ 13 августа 1931 года Святополк-Мирский впервые попросил Горького быть его политическим руководителем: «Мне очень не хватает авторитетного партийного руководства. В Англии я чувствую конкретно, что могу и чем могу быть полезен, а в Союзе? Я ясно вижу, что к политической работе меня допустить нельзя, а интересуется меня только политическая работа. Что мне делать?» (Архив Горького. КГ-П. 51.9.11).

⁸ 19 февраля 1933 года Святополк-Мирский писал Горькому: «Много вижу Авербаха, которого я очень ценю» (АГ. КГ-П. 51.9.15).

⁹ Статья «Замысел и выполнение» была опубликована в «Литературной газете» 24 июня 1934 года.

¹⁰ Корабельников Г. М. (р. 1905) — писатель. В 1937 году исключен из Союза писателей, в 1949-м — восстановлен.

¹¹ *Корабельников Г. М. Конец чеховской темы. М., 1934. (Б-ка «Огонек». № 35).*

¹² Юдин П. Ф. (1899—1968) — в 1932—1938 годах директор Института красной профессуры, работник аппарата ЦК ВКП(б), секретарь фракции ВКП(б) в оргкомитете Союза советских писателей. 27 июня 1934 года он направил И. В. Сталину, Л. М. Кагановичу и А. А. Жданову письмо с критикой ряда публикаций в «Литературной газете», в том числе статьи «Замысел и выполнение». Вдохновляемый идеей усиления классово-борьбы, Юдин заявил, что «бывший врангелевский офицер, бывший белый эмигрант Мирский (бывш. князь Святополк-Мирский)... вообще выбрасывает тов. Фадеева из советской литературы... Со стороны Мирского это по меньшей мере наглость...» (ААН. Ф. 1636. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 17). Возможно, об этом письме стало известно Горькому, так как 2 августа он направил Сталину письмо, в котором заявил, что группу Юдина отличает «интеллектуальная слабость» и «крайняя малограмотность в отношении к прошлому и настоящей литературе». В этом же письме Горький поддержал критика: «Оценку Мирским „Последнего из удэге“ я считаю совершенно правильной... Мое отношение к Юдину принимает характер все более отрицательный» (Лит. газ. 1933. 10 марта. С. 6). 5 августа Юдин произнес речь на Всесоюзном совещании критиков и сказал о статье Святополк-Мирского: «Так нельзя писать ни об одном писателе, который что-то внес свое в советскую литературу. Решать судьбу Фадеева как писателя нельзя давать людям вроде тов. Мирского» (РЦХИДНИ. Ф. 88. Оп. 1. Ед. хр. 596. Л. 15). В январе 1935 года в статье «Литературные забавы» Горький вновь поддержал критика (об этом подробнее см.: *Перхин В. В. Литературные споры М. Горького (1935—1936) // Вестн. СПб. ун-та. 1993. Сер. 2. Вып. 4. С. 50—57*). Понимая, что власть все же еще считается с мнением Горького, Юдин продолжил закулисную борьбу. В том же месяце он написал письмо против «Литературных забав» с разоблачением антимарксистской философской и политической позиции Горького, в котором вновь осудил попытку Горького «поднять на щит бывшего белогвардейца Мирского» (ААН. Ф. 1636. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 13). Политическая ситуация 1937 года позволила эти политические обвинения вынести на страницы печати (см.: *Юдин П. Об авербаховщине // Октябрь. 1937. № 6*).

¹³ Косарев А. В. (1903—1939) — деятель комсомола, в 1929—1938 годах генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ.

¹⁴ Всесоюзное совещание критиков проходило 5 августа 1934 года при оргкомитете Союза писателей. Всесоюзный съезд писателей начался 17 августа.

¹⁵ В 1934—1935 годах Авербах работал секретарем партийного комитета Уральского завода тяжелого машиностроения (Уралмаша), построенного в 1928—1933 годах, и одновременно исполнял обязанности парторгана механического цеха, в котором проводил по 10—11 часов из 16—18-часового рабочего дня. «Стал я старый и измученный», — жаловался тридцатилетний Авербах Горькому летом 1935 года (Архив Горького. КГ-П. 1.31.40). В конце апреля того же года он писал Горькому: «О моей жизни, если интересовались, Мирский, видимо, рассказывал. Завод явно становится на ноги и предъявляет к нам все большие требования» (Архив Горького. КГ-П. 1.31.43). Поездка критика на Урал, возможно, была совершена по поручению Горького, но были и другие мотивы — проявление гуманных чувств по отношению к деятелю, устранившему из литературной жизни, и серьезный интерес к росту индустриального могущества родины.

¹⁶ Недоверие к Авербаху, как можно предположить, было вызвано принципиальными расхождениями во взглядах на литературную жизнь. Святополк-Мирскому была абсолютно чужда идея усиления классово-борьбы, — Авербах был ее рьяным последователем, о чем свидетельствует отправленная им Горькому из Свердловска статья «Письмо с проверки». Он, как и прежде, призывал искать врага: «Выявить врагов, изгнать их вон, разобраться в том, как могли они оказаться в наших рядах...» (Архив Горького. КГ-П. 1.31.41).

¹⁷ Речь идет о статье «Проблема Пушкина» (Лит. наследство. 1934. Т. 16—18. С. 91—112), в которой Святополк-Мирский наряду с интересными идеями выдвинул и такой тезис: «У Пушкина лакейство проникает... в самую сердцевину его творчества, диктует ему стихи, равные по силе лучшим его достижениям» (Там же. С. 101). Статья вызвала полемику (см.: Пушкин. Временник пушкинской комиссии. 1. М.; Л., 1936. С. 253—264). В условиях 1937 года ошибочные методологические увлечения Святополк-Мирского, с которыми он уже расстался, квалифицировались как ошибки политические.

¹⁸ Минский пленум проходил в феврале 1936 года и был посвящен вопросам поэзии. Святополк-Мирский выступил с речью, которая была опубликована под заголовком «Поэзия Грузии» (Лит. газ. 1936. 29 февр.). В ней он, в частности в полемике с А. И. Безыменским, поддержал поэзию Б. Л. Пастернака.

¹⁹ А. А. Фадеев вошел в жизнь и сознание Святополк-Мирского в феврале 1928 года. Тогда критик прочитал роман «Разгром» и сообщил Сувчинскому: «Читаю русские книжки. Одобрил „Баклажаны“ Заяцконого и „Разгром“ Фадеева (очень)» (*Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. 1922—31. P. 98*). Этот роман стал одним из факторов ускорения эволюции политического сознания критика. В 1928 году Фадеев увлек Святополк-Мир-

ского идеями коммунизма, а спустя несколько лет он же своим творческим поведением и политической практикой способствовал прозрению критика. На статью «Замысел и выполнение» Фадеев «обиделся» (так сообщал Горький Сталину в письме от 2 августа 1934 года). Но все же в письме к другу В. А. Луговскому от 10 апреля 1935 года он несколько свысока, но одобрительно говорил о Святополк-Мирском как критике поэзии (Лит. обозрение. 1981. № 7. С. 111). Судя по интонации, с которой Святополк-Мирский сообщал Ставскому о беседе с Фадеевым, она прошла мирно. Вскоре критик выступил на общемосковском собрании писателей, где сказал, что суждение о Фадееве как писателе, развивающемся в направлении, противоположном всей советской литературе, было «неискренним». Примечательно, что Фадеев, выступивший на этом собрании с заключительной речью, даже не упомянул о Святополк-Мирском (Лит. газ. 1937. 6 апр.).

3

14 мая 1937

Уважаемый тов. Ставский.

3 мая я подал Вам заявление¹ о моих отношениях с Авербахом и авербаховцами. Не найдете ли Вы возможным поставить этот вопрос на обсуждение в президиуме?² Я чувствую, что здесь необходима полная ясность не только в этом вопросе, но и в отношении писательской общественности ко всей моей прежней и нынешней деятельности.³

Д. Мирский

¹ См. письмо к Ставскому от 3 мая 1937 года.

² В левом верхнем углу письма резолюция Ставского: «На президиум 25. V».

³ 15 мая 1937 года «Литературная газета» сообщала о заседании парткома московской организации Союза советских писателей, которое состоялось несколькими днями ранее. О нем, вероятно, стало известно критику. Перед заседанием президиума ССП было заседание секретариата, который включал пять человек. На нем Ставский резко отделил вопрос о Святополк-Мирском от вопроса о «пребывании в руководстве людей, которые были с Авербахом тесно связаны, являлись его пособниками и помощниками» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 1. Ед. хр. 157. Л. 9). Он говорил: «Относительно Мирского. То, что Фадеев сказал, по моему, является нашим общим мнением (запись выступления Фадеева отсутствует. — В. П.). Мне кажется, мы должны самым решительным образом осудить поведение Мирского, в чем он и сам признавался. Чтобы было ясно наше отношение к этому вопросу. Что мы осуждаем его поведение, когда человек пишет статьи, как он сам говорит, искренние, неискренние, когда человек занимает позиции, как он сам говорит, неискренние позиции. Осудить надо это дело. Такое предложение я вношу. Мы из этого практические выводы сделаем, но мы эти факты должны осудить. (...) Вопрос этот исчерпывается» (Там же. Л. 10). Таким образом, Ставский авторитарно продиктовал решение. Осудили критика его же словом «неискреннее поведение», а главное — не поддержали политические обвинения Юдина («врангелевец») и не связывали дела с «авербаховцами». Примечательна и последняя фраза: «Вопрос этот исчерпывается». Ставский не хотел его развития. К Святополк-Мирскому он не предъявил политических претензий. Но именно этого ждали неистовые и давние противники критика во главе с Юдиным. Заседание президиума, в состав которого входило более тридцати человек, проходило в ином ключе, нежели секретариат. Слово Святополк-Мирского на президиуме нуждается в отдельной публикации. Здесь приведем вступление: «Начну с того, что на днях в „Лит. газете“ была напечатана статья Юдина, где он назвал меня врангелевцем и белогвардейцем. Да, действительно я был офицером Деникинской армии, когда отряд, в котором мы находились, был выброшен на территорию Польши, мы были интернированы в концлагерь. Тогда же я решил уйти из лагеря и перебраться в Чехословакию. В то время я был далек от сочувствия коммунизму, но я твердо решил, что никто не заставит меня бороться против русского народа» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 172. Л. 46). Обвинение Юдина поддержал А. А. Лахути. Член секретариата, он не возражал против предложения Ставского. А на заседании президиума перешел в атаку: «„Я также хорошо помню, как Бруно Ясенский во время нашей встречи в Сталинабаде рассказывал невероятные факты вашей биографии“. Мирский: „Вы забыли, что я с вами познакомился до моего приезда в Сталинабад. Что обо мне рассказывал Ясенский, я не знаю и отвечать за это не могу“» (Там же. Л. 66). Лахути ничего не ответил и замолчал... Секретариат принял постановление, в котором пункт, посвященный Святополк-Мирскому, был выдерган в формулировках Ставского. 27 мая в «Комсомольской правде» без подписи появился отчет, в котором акцент был сделан на «связи с Авербахом и его компанией» и утверждалось: «Президиум ССП

вынес решение, осуждающее поведение Мирского, который в угоду троцкистско-авербаховской компании писал вредные для советской литературы статьи». Таким образом, критику предьявлялось политическое обвинение в связи с «троцкистами». Этическая оценка секретариата и президиума ССП была заменена политической оценкой.

Эти закулисные игры, вероятно, велись с учетом того, что редакционные статьи рассматривались тогда как директивы. Один пример. 2 июня 1937 года зам. заведующего Ленкогизом Киселев направил в редакцию журнала «Звезда» запрос: «В №№ 1—2 „Звезды“ за текущий год напечатаны статьи участника троцкистско-авербаховской группы Д. Мирского (главы из книги о Пушкине. — В. П.). Так как президиум Союза советских писателей квалифицировал статьи Д. Мирского как „вредные для советской литературы“ и „написанные в угоду троцкистско-авербаховской компании“ (см. сообщение «В Союзе советских писателей» — «Комс. правда», № 119 от 27 мая с. г.), просим сообщить нам — можно ли беспрепятственно указанные №№ „Звезды“ со статьями Мирского пускать в продажу» (ЦГАИПД. Ф. 25. Оп. 9. Ед. хр. 31. Л. 32).

2 июня Святополк-Мирский был арестован. 28 июля 1937 года постановлением Особого совещания при НКВД СССР Святополк-Мирский «по подозрению в шпионаже» был заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет (ЦА ФСБ РФ. Архивное следственное дело Р-21251. Л. 28).

Автобиография Д. П. Святополк-Мирского

Мой отец, князь Святополк-Мирский,¹ генерал, был губернатором в Пензе и Екатеринославе, генерал-губернатором в Вильне (1902—4) и министром внутренних дел (сентябрь 1904—январь 1905).² Родители мои были помещики, имения у них были в Харьковской губ. (900 десятин) и Орловской губ. (500 д.). После смерти моего отца (1914 г.) имения перешли к детям (двум сестрам, брату и мне), при пожизненном владении матери. Мой брат служил в белой армии (убит в 1920 г.).³ Мать⁴ (умерла в 1926 г.) и сестры эмигрировали в 1920 г. Сестры живут во Франции; София Петровна Похитонова — замужем за инженером (тоже белоэмигрантом) в Гренобле (Франция); другая, Ольга Петровна, работает в редакции французского художественного журнала.⁵ Я с ними изредка переписываюсь.

Я окончил I Петербургскую гимназию в 1908 году⁶ и поступил на факультет восточных языков, на китайское отделение.⁷ Курса не окончил и в 1911 году поступил вольноопределяющимся в 4 гвардейский стрелковый полк;⁸ в 1912 году, выдержав офицерский экзамен, был произведен в офицеры.⁹ В 1913 г. ушел в запас и стал готовиться к государственным экзаменам по историко-филологическому факультету (классическое отделение), получив разрешение держать экзамен экстерном.¹⁰ В мае 1914 года я выдержал экзамен и получил от проф. Ростовцева¹¹ предложение остаться при университете, но вследствие мобилизации не мог им воспользоваться. Мобилизован в начале империалистической войны и был на германском фронте до лета 1916 г., потом на Кавказском, где оставался до демобилизации весной 1918 г. Зимой 1916—17 гг. проходил подготовительные курсы военной академии в Петрограде.¹²

В июне 1918 года уехал из Закавказья на Украину (Харьков), в декабре переехал в Крым. Там был в марте 1919 года мобилизован в Деникинскую армию, где и находился до февраля 1920 года на штабных должностях, сперва в 1 Кубанской дивизии (Донбасс и Царицын), потом в 3-й пехотной дивизии (Харьков—Льгов), потом в 9-й пехотной (Нежин—Тирасполь).¹³ Вместе с последней перешел польскую границу.¹⁴ С тех пор находился в эмиграции до 1932 года, сперва в Греции (июнь 1920—март 1921),¹⁵ потом в Англии.

В Англии я занимался литературным трудом, а в мае 1922 г. получил доцентуру русской литературы (lectureship в King's College, Лондон), которую занимал до 1932 года.

До революции я выпустил одну книгу стихов (СПб., 1911)¹⁶ и был близок к некоторым литературным кругам околосоциалистическим.¹⁷ В Англии помещал критические статьи в журналах London Mercury, Contemporary Review, Nation и

других. В 1923—25 помещал литературные статьи в белоэмигрантских журналах (Современные записки, Звено).¹⁸ Издал по-русски одну книгу (антологию «Русская лирика». Париж. 1924).¹⁹ По-английски издал целый ряд книг по русской литературе (в том числе двухтомную историю Русской литературы, 1927—28, и книгу о Пушкине, 1927)²⁰ и по русской истории (Russia. A Social History. London, 1931) и главу о России 1015—1462 годов в Cambridge Medieval History.²¹

Политикой, за исключением гимназического периода,²² не занимался, я был до 1925—26 гг. совершенно чужд революции и в 1917—1926 гг. настроен определенно контрреволюционно, но политикой интересовался мало. В 1925—26 году у меня начался перелом, сперва под преимущественным влиянием советской художественной литературы. В 1926 г. решающую роль в этом переломе сыграла английская всеобщая стачка,²³ возбудившая во мне впервые ненависть к буржуазии. Около того же времени я выпустил первый том сборника «Версты» (Париж, 1926), который давал место советским (вернее, полусоветским) настроениям некоторых интеллигентов.²⁴ Это повело к моему разрыву с белоэмигрантскими литературными кругами.²⁵ За первым томом «Верст» последовали в 1927 и 28 гг. еще два. В 1928 году я ездил к А. М. Горькому в Сорренто и беседы с ним сыграли огромную роль в моем дальнейшем поведении. В 1928—29 годах я участвовал в журнале «Евразия»²⁶ — органе левой группы евразийцев, которому я пытался своими статьями придать еще более «левый» характер.²⁷ Все это, однако, было еще «национал-большевизмом», разновидностью (сменовеховства) на почве националистской идеологии.²⁸ Окончательный перелом к коммунизму и марксизму-ленинизму произошел только в 1929 году и был закреплен зрелищем всеобщего экономического кризиса²⁹ и Года Великого Перелома.³⁰ В конце 1929 г. я получил предложение от одного буржуазного английского издательства написать жизнь Ленина. Изучение сочинений Ленина в связи с работой над этой книгой имело для меня огромное значение. Книга вышла в 1931 году. Издательство хотело ее задержать, но вследствие уже понесенных расходов нашло это невыгодным. Книга, как я теперь вижу, полна грубейших политических и теоретических ошибок (вследствие моей полной оторванности от масс и советской общественности), но субъективно она была коммунистической.³¹ Она получила положительную оценку в английской партийной прессе.³² Выход ее послужил моему сближению с британской партией. В 1931—32 гг. до самого отъезда в СССР я активно участвовал в коммунистической работе и провел около 60 митингов в разных частях Англии (и Ирландии) преимущественно от имени Друзей Советского Союза. В конце 1931 г. я вступил в британскую компартию (но по переезде в СССР автоматически выбыл из нее³³). В сентябре 1932 года я был делегирован на Амстердамский антивоенный конгресс. Напечатал в «Labour Monthly» ряд статей по вопросам марксистско-ленинской теории.³⁴

О возвращении в СССР я возбудил ходатайство в начале 1931 года через А. М. Горького.³⁵ Оно было удовлетворено в июле того же года. Приехал я в СССР 30 сентября 1932 года.

Независимо от моего возвращения в СССР моя политическая деятельность в 1931—32 гг. сделала для меня невозможным дальнейшее пребывание в лондонском университете и я заявил о своем уходе в 1931 году.

В СССР находился на службе только с октября 1932 года по май 1933 в издательстве иностранных рабочих, где я участвовал в переводе Ленина на английский язык.³⁶ С тех пор занимался только литературной работой. Напечатал большое число статей по разнообразным литературным вопросам в «Литературной газете», альманахе «Год XVI» и других, а также ряд статей к разным изданиям.³⁷ Состою членом Союза советских писателей с 1934 года.

Мои работы по английской литературе³⁸ следующие: а) на английском языке об Эмили Бронте, о Литтоне,³⁹ Стрейчи,⁴⁰ Байроне и большое число рецензий в London Mercury, 1922—31; б) на французском языке: «T. S. Eliot et la fin de la

poesie bourgeoise», журнал *Echanger*, 1931; в) на русском языке (главные): вступительные статьи к «Перигрину Пиклю» Смоллетта (*Academia*),⁴¹ к Уолту Уитмену (Ленгослитиздат),⁴² статья о Т. С. Элиоте («Красная новь», 1933, № 3), о Джойсе (Альманах «Год XVI», том I), о Свифте («Лит. учеба», 1935, № 5).⁴³ Также вступительные статьи к английским изданиям Фильдинга, «Гулливера» и «Робинзона Крузо» в издательстве иностранных рабочих.⁴⁴

Сведения обо мне могут быть подтверждены относительно ранней части А. М. Сухотиным⁴⁵ (сотрудник института БСАМ,⁴⁶ Москва, Малые Конки, 5, кв. 51) и инженером К. П. Покровским⁴⁷ (Москва, ул. Горького, 68, кв. 68). О моей деятельности за границей — А. М. Горьким;⁴⁸ советскими писателями, бывавшими в Париже (Л. В. Никулиным,⁴⁹ И. Э. Бабелем, И. Г. Эренбургом); тогдашними работниками лондонского полпредства (в частности, А. Ф. Нейманом,⁵⁰ ныне отдел печати НКВД); и товарищами по британской компартии (в частности, тов. Даттом,⁵¹ издательство иностранных рабочих).

Д. Мирский

10 июня 1936 г.

Р. С. В настоящее время работаю 1) над редактированием антологии современной английской поэзии (Ленгослитиздат);⁵² 2) переводом «Потерянного рая» Мильтона (*Academia*); 3) подготовкой большой работы об основных течениях английской литературы 1600—1660.⁵³

¹ Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857—1914). В Большой Советской Энциклопедии (М., 1976. Т. 23. С. 96) отчество указано неверно.

² Эти данные соответствуют информации, имеющейся в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (СПб., 1907. Доп. том II. С. 604). Время вступления в должность министра внутренних дел — август, а не сентябрь.

³ См. примеч. 8 к письму, адресованному Берингу.

⁴ Екатерина Алексеевна Святополк-Мирская (урожд. графиня Бобринская) (?—1926). В 1904—1905 годах вела дневник, который опубликован: Исторические записки. М., 1965. Т. 77.

⁵ Публикацию дневника Е. А. Святополк-Мирской редакция «Исторических записок» сопроводила примечанием о том, что дневник принесла ее «дочь, советская гражданка Ольга Петровна Святополк-Мирская». Этот факт расходится с сообщением о ее пребывании во Франции; вероятно, после окончания Великой Отечественной войны она вернулась на родину.

⁶ До 15 лет будущий критик обучался в Гиевке гувернантками и домашними учителями. В 1905—1907 годах учился в Москве в Катковском Императорском лицее.

⁷ 13 октября 1908 года Святополк-Мирский писал отцу: «Был профессор Иванов (китайский язык) и Постышев (японский язык)... ужасно скучны. Японский язык довольно легок. Зато китайский чрезвычайно дик. Обо всем в их грамматике совершенно другое понятие» (ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Ед. хр. 1328. Л. 19). Неудовлетворенность учебным процессом и избранной специальностью способствовала уходу из университета.

⁸ 22 и 28 сентября 1911 года писал отцу: «Завтра еду в Царское Село. Форму оказывается надо шить в полковой швальне. В этом году будет масса знакомых вольно-определяющихся во всех полках»; «Буду я вероятно во 2-ой роте, которой командует Драгомиров» (ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Ед. хр. 1328. Л. 38, 40).

⁹ Святополк-Мирский имел звание подпоручика Лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской фамилии полка. Находился в полку 2 года и 3 месяца.

¹⁰ См. университетское дело Святополк-Мирского (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Ед. хр. 52715).

¹¹ Ростовцев М. И. (1870—1952) — археолог, историк античности, признавал наличие капитализма, буржуазии и пролетарских революций в древности. С 1918 года в эмиграции, с 1925 года жил и работал в США. В 1927 году Святополк-Мирский собирался обратиться к Ростовцеву за помощью в организации своих лекций в Америке (см.: *The Slavonic and East European Review*. 1994. Vol. 72. № 1. P. 129).

¹² В личном листке по учету кадров для отдела кадров Института литературы (Пушкинский Дом) АН СССР Святополк-Мирский отметил, что был в армии за период империалистической войны 3 года и 8 месяцев и имел последний чин — капитан (Архив РАН. Ф. 150. Оп. 2. Ед. хр. 11. Л. 4).

¹³ В личном листке по учету кадров Святополк-Мирский сообщил, что служил в Деникинской армии с марта 1919-го по февраль 1920 года в должности адъютанта штаба дивизии (Там

же. Л. 4, об.). Однако Сувчинский вспоминал, что Святополк-Мирский был «начальником штаба дивизии, которая шла на Харьков» (цит. по: *Лосская В. Марина Цветаева в жизни*. М., 1992. С. 206).

¹⁴ См. письмо к Берингу и примеч. 4 к нему.

¹⁵ Приведенные даты позволяют установить, что в польском концлагере Святополк-Мирский был около пяти месяцев (с февраля по июнь 1920 года), а в Греции около десяти месяцев.

¹⁶ *Святополк-Мирский Д.* Стихотворения. 1906—1910. СПб., 1911. В фонде А. Е. Крученых сохранился важный документ. На листе бумаги зелеными чернилами Крученых написал стихи из книги Святополк-Мирского:

В Москву! Скорей в Москву!
Тебя, моя царица,
Увижу, и опять огонь мой разгорится.
Паду к твоим ногам с надеждой и мольбой,
И буду говорить: возьми меня, я твой.

Ниже следует шутовское стихотворное продолжение, сделанное Крученых и намекающее на увлечение Святополк-Мирского в 1930-е годы обедами в московском ресторане «Националь»:

«Националь» я буду посещать
И Юрий Карлович (Олеша. — В. П.) Шартрезом
Нас будет снова угощать?!

Завершается альбомная страница карандашной записью Святополк-Мирского: «Предсказание осуществилось. 8.2.36. Д. М.» (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 334. Л. 12).

¹⁷ В 1907 году гимназист Святополк-Мирский боролся за осуществление постановки пьесы Блока «Балаганчик» в 1-й Петербургской гимназии и обратился за содействием к автору. Кроме того, просил у М. А. Кузмина разрешения воспользоваться написанной им к «Балаганчику» музыкой (см.: *Богомолов Н. А.* Михаил Кузмин осенью 1907 года // *Лица: Биографический альманах*. 5. СПб., 1994).

¹⁸ Перечень зарубежных публикаций см.: *Лаврухина Н., Чертков Л.* Дмитрий Петрович Святополк-Мирский. Критический и библиографический очерк. Париж, 1980; Дополнения в рецензии Дж. Смита: *The Slavonic and East European Review*. 1982. Vol. 60. № 3. P. 453—456.

¹⁹ *Святополк-Мирский Д.* Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Paris, 1924. Там же в 1925 году появилось второе издание. Тогда же А. В. Тыркова-Вильямс написала рецензию. Ее текст опубликовал Дж. Смит (*The Slavonic and East European Review*. 1993. Vol. 71. № 3. P. 487—489). В 1979 году в США было осуществлено репринтное переиздание антологии со вступительной статьей Г. П. Струве.

²⁰ Святополк-Мирский имел в виду свои книги: 1) *Modern Russian Literature*. London, 1925; 2) *Contemporary Russian Literature*. 1881—1925. New York, 1926; 3) *Pushkin*. New York, 1926. Книги переиздавались неоднократно. В 1946 году проф. Уитфорд на базе двух книг издал однотомник. В 1964 году в Мюнхене вышел немецкий перевод.

²¹ *The Cambridge Medieval History*. Cambridge, 1932. Vol. 7. P. 599—631. О Святополк-Мирском — историке России см.: *Паушто В. Т.* Русские историки эмигранты в Европе. М., 1992. С. 166 (библ.), 231—232 (биографич. очерк; есть неточности).

²² Для гимназического периода более характерны художественные увлечения. Политические интересы заметно проявились в университете. На первом курсе он сообщал отцу: «Я записался в Союз 17 октября, но думаю, что проку от октябристов не будет» (ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Ед. хр. 1328. Л. 17).

²³ Всеобщая забастовка в 1926 году в Великобритании проходила в мае, участвовало 5 миллионов человек (горняки бастовали до ноября).

²⁴ Это суждение показывает, что Святополк-Мирский был не только редактором, но и издателем «Версты». В числе интеллигентов, которым он дал место, были А. М. Ремизов, М. И. Цветаева, П. П. Сувчинский, С. Я. Эфрон, Л. П. Карсавин и др.

²⁵ «Версты» были встречены резким неприятием части эмигрантской общественности. П. Б. Струве опубликовал статью под заголовком «Отвратная ненужность», в которой, в частности, писал о Святополк-Мирском: «Это неглупый и небездарный человек, с недурным историко-филологическим образованием... стал — на глазах всего честного народа Зарубежья — объедаться большевической гнилью и угощать ею других, приплясывая и притопывая» (Русская мысль. 1927. № 1. С. 62). З. Н. Гиппиус в статье «О „Верстах“ и о прочем» утверждала, что журнал Святополк-Мирского «серьезного значения не имеет» (Последние новости. 1926. 14 авг.). Редактор и критик им ответил: «Негодование большинства моих обличителей я могу только радоваться... я не хотел бы иметь общих с ними мыслей... К сожалению, Гиппиус подобно многим другим людям, которые ей не верста, частично ослепла от навязчивых красных кругов в глазах» (Версты. 1927. № 2. С. 253).

²⁶ «Евразия» была газетой — еженедельником по вопросам культуры и политики. В редакционный коллектив входили 8 человек, в том числе участники «Верст»: Карсавин, Сувчинский, Эфрон. Газета имела девизы: 1) «Кто хочет быть субъектом истории, тот должен быть с

Россией»; 2) «Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии. Она — шестая часть света. *Евразия* — узел и начало новой мировой культуры».

27 Святополк-Мирский опубликовал в «Евразии» несколько десятков статей и рецензий, в том числе такие, как «Наш марксизм», «Социальная природа русской власти» и цикл «Национальности в СССР».

28 Эту самооценку нельзя признать точной. В 1929 году в политическом сознании критика доминировала интернациональная идея. Самооценка 1936 года сложилась не без влияния тогдашней официальной трактовки евразийства, в частности, она перекликается с комментарием к статье Святополк-Мирского «Почему я стал марксистом» (Бюллетень ТАСС. 1931. 4 июля): Святополк-Мирский «перешел на позиции „национал-большевизма“. Он решил, что какова бы ни была его позиция в отношении коммунизма, коммунисты являются лучшими патриотами, чем белые, которые объединились с иностранными интервентами».

29 Мировой экономической кризис 1929—1933 годов сопровождался резким падением производства и ростом безработицы (в США в 1932 году было 17 миллионов безработных) и явился мощным фактором перестройки сознания современников. В 1933 году были установлены дипломатические отношения между США и СССР.

30 Здесь Святополк-Мирский говорит о влиянии советских экономических событий 1929 года на свои взгляды, но не дает оценки политической реальности. В 1933 году он критиковал явления, последовавшие за годом великого перелома: «Есть много такого, что Ленин не одобрил бы, будь он жив»; «Чаще всего великие народные бедствия начинались с благих намерений и заверений сильных мира сего» (*Авдеенко А.* Отлучение // Знамя. 1989. № 3. С. 18).

31 В 1935 году, встретившись со Святополк-Мирским в Москве, Р. Роллан похвалил его книгу о Ленине; автор ответил, что «сейчас он бы ее уже не написал, что ушел вперед» (Вопросы литературы. 1989. № 4. С. 229). В 1930—1960-е годы книга переиздавалась в Лондоне, Париже и Гаване.

32 14 мая 1931 года он писал Горькому: «Здесь коммунисты очень сочувственно отнеслись к моей книге о Ленине и дали в партийной печати ободряющие отзывы о ней» (Архив Горького. КГ-П.51.9.8). В советской прессе появились иронические суждения: Святополк-Мирский «сейчас перешел на коммунистическую платформу, сотрудничал в текущем году в полуофициальном органе английской компартии „The Labour Monthly“ и издал даже книжку о Ленине... марксизм Мирского носит весьма кустарный характер» (Интернациональная книга. 1932. № 5. С. 34).

33 Это уточнение показывает, что он не хотел использовать легенду-прикрытие, которую применил Горький в 1935 году, утверждая, что критик — член английской компартии (*Горький М.* О литературе. М., 1935. С. 357).

34 На рубеже 30-х годов в вопросах политики он старался придерживаться официальной точки зрения. С этих позиций он вел полемику с «буржуазной прессой», доказывал, что в Советском Союзе «немарксистская философия» не осуждается и не запрещается: «Достаточно упомянуть тот факт, что философ Лосев, ярко выраженный идеалист с сильным мистическим оттенком, продолжает публиковать свои произведения со скоростью одного тома в год» (*The Labour Monthly.* 1931. Vol. 13. № 10. P. 650). Он не мог знать, что в это время Лосев был уже арестован. В 1937 году Святополк-Мирский назовет такое знание действительности «книжным».

35 В письме Горькому 17 февраля 1931 года: «Очень буду счастлив, если, как Вы говорите, можно будет уже поехать (в СССР. — В. П.) одновременно с Вами в апреле месяце» (Архив Горького. КГ-П.51.9.5).

36 В Издательстве иностранных рабочих он был редактором по английскому отделу. Кроме работ Ленина, перевел на английский язык книгу М. Н. Покровского по истории России.

37 Библиография московских статей Святополк-Мирского включена в упомянутую ранее книгу Лаврухиной и Черткова; кроме того, есть аннотированная библиография Дж. Смита в упоминавшейся книге «D. S. Mirsky. Uncollected Writings...» (P. 368—385).

38 Полный перечень см. в библиографии Лаврухиной и Черткова.

39 Бульвер-Литтон Э. (1803—1873) — романист.

40 О Дж. Стрейчи (G. Strachey) Святополк-Мирский писал в своей книге «The Intelligentsia of Great Britain» (London, 1935). См. также письмо к Чуковскому и примеч. 22 к этому письму.

41 *Смоллетт Т. Д.* Приключения Перигрина Пикля: В 2 т. Л.; М., 1934. Т. 1. С. 7—59. Статья перепечатана: [Святополк-Мирский Д. О литературе. С. 98—136.

42 Имеется в виду статья «Поэт американской демократии» в кн.: *Уитмен У.* Листья травы. Л., 1935. С. 9—30.

43 Статья о Свифте была опубликована в № 7—8 «Литературной учебы» за 1935 год. Статьи о Элиоте, Джойсе и Свифте перепечатаны: [Святополк-Мирский Д. О литературе.

44 Имеются в виду предисловия в изданиях: 1) *Fielding G.* The History of Tom Jons. М., 1936. P. XVII—XXIV; 2) *Swift J.* Gulliver's Travels. М.; Л., 1935. P. XIII—XXVI; 3) *Defoe D.* The Life and Adventures of Robinson Crusoe. М.; Л., 1935. P. V—XXIV. Эти статьи не учтены как Лаврухиной и Чертковым, так и Смитом. Примечательно: в предисловии к русскому изданию

романа Дефо (Л., 1934) критик сделал акцент на классовом анализе, а примерно через год в английском варианте статьи писал об особенностях романной формы, «диапазоне выразительных средств» и «человеческом содержании» романа.

45 Сухотин А. М. (1888—1942) — языковед, проф. Московского гос. педагогического института, один из основателей фонологической школы; друг юности Святополк-Мирского. Ему посвящено стихотворение «Оды» (*Святополк-Мирский Д. Стихотворения... С. 67*). Его брат С. М. Сухотин — товарищ Святополк-Мирского по университету, затем по службе в гвардейском полку (см.: ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Ед. хр. 1328. Л. 41). Возможно, он один из погибших друзей, о которых упомянуто в письме к Берингу.

46 Большой советский атлас мира.

47 Покровский К. П. (?—1938) — приятель Святополк-Мирского в юности (см.: *Богомолов Н. А. Михаил Кузмин осенью 1907 года // Лица. 5. С. 433—436*), инженер Транстроя в 1930-е годы и близкий друг четы А. Д. и С. Э. Радловых. В 1935 году до переезда в комнату на Большом Каретном переулке Святополк-Мирский некоторое время жил в квартире Покровского. Об этом свидетельствует адрес на его письме к Полонской (это адрес Покровского) и сообщение Радлова в письме к жене от 26 января 1935 года о положении в доме Покровского: «Приехал в Москву, встретившую меня мрачно. Нюра лежит с нарывом. (...) Рядом верещит Валушка и безмятежно в кальсонах и халате сидит Мирский и пишет статью...» (ОР РНБ. Ф. 625. № 679. Л. 1).

48 Еще до возвращения на родину Горький рекомендовал М. Кольцову использовать критику в качестве автора журнала «За рубежом»: «На мой взгляд, следует привлечь и Святополк-Мирского. Он член английской компартии, отлично знает быт и настроения лондонской интеллигенции. Писать ему нужно на (Г. Я.) Сокольников» (Новый мир. 1956. № 6. С. 156).

49 В фонде А. С. Кручных хранится запись спора Л. В. Никулина и Святополк-Мирского о составе русской армии 1910-х годов, а также газетная вырезка с дружеским шаржем Кукрыниксов и юмористической подписью Никулина: «Удостоверяю: Дмитрий Петрович Святополк-Мирский» (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 334. Л. 7).

50 Личность не установлена.

51 Датт Р. П. (1896—1974) — деятель английского рабочего и коммунистического движения, историк и публицист, редактор журнала «The Labour Monthly», в котором печатался Святополк-Марксистский. В 1935 году был в Москве на VII Конгрессе Коминтерна. В том же году в Москве вышла его книга «Фашизм и социалистическая революция».

52 Антология новой английской поэзии. Л., 1937.

53 30 января 1937 года Святополк-Мирский писал в отчете: «В IV квартале 1936 г. я представил в институт литературы план предпринятой мною работы об английской литературе первой половины и середины XVII в. (от Шекспира до Мильтона) и велись подготовительные работы» (Архив РАН. Ф. 150. Оп. 2. Ед. хр. 111. Л. 11). В фонде В. М. Жирмунского, который тогда заведовал отделом западной литературы Института литературы (Пушкинский Дом), сохранился «План книги Д. П. Мирского „Английская литература XVII в.“». Ее завершение планировалось в декабре 1937 года: «В течение 1937 предполагается представить два частных доклада (весна и осень) на темы „Мильтон“ и „Литературная критика в 17 в.“» (Архив РАН. Ф. 1001. Оп. 4. Ед. хр. 51. Л. 1, 3). Однако приказом от 19.4.37 Святополк-Мирский был уволен со своей должности с 15.3.37 (Там же. Ф. 150. Оп. 2. Ед. хр. 692. Л. 48). В другой выписке, из приказа от 19.4.37, сказано: «Профессора Мирского Д. П. освободить от обязанностей учебного специалиста Запад(ного) отд(ела) с 1.IV.37» (Там же. Ед. хр. 111. Л. 12). 20 июня 1937 года Президиум АН СССР постановил: «Освободить от работы старшего научного сотрудника института литературы Д. П. Мирского» (Там же. Л. 13).

© Владимир Глоцер

«ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ... УЕХАЛ К НИКОЛАЮ МАКАРОВИЧУ»

ПИСЬМО Т. А. ЛИПАВСКОЙ К А. И. ВВЕДЕНСКОМУ И Г. Б. ВИКТОРОВОЙ

Биографам Даниила Хармса (1905—1942) и Александра Введенского (1904—1941) хорошо известно, насколько тесными были взаимоотношения в кругу обзирютов, — они, можно сказать, были почти родственными. Первая жена Введенского, Тамара Александровна Липавская (урожденная Мейер, 1903—1982), сочеталась вторым браком с другом Введенского и его товарищем по гимназии имени Л. Д. Лентовской — Леонидом Савельевичем Липавским (псевдоним — Л. Савель-

ев, 1904—1941). Вторая жена Введенского, Анна (Фанни) Ивантер (р. 1906), после развода с Введенским оказалась возлюбленной Даниила Хармса.¹ Друг Хармса и Введенского, Яков Семенович Друскин (1902—1980), товарищ Введенского и Липавского со школьных лет, человек свой в кругу обэриутов,² после гибели на фронте Липавского становится близким другом Т. А. Липавской. А когда в 1936 году Введенский переезжает из Ленинграда в Харьков и женится на Галине Борисовне Викторовой (1913—1985), все три жены Введенского поддерживают между собой дружеские отношения.

В свои наезды в Ленинград из Харькова Введенский посещает дом Липавских на Гатчинской, 7,³ и в один из приездов знакомит свою последнюю жену, Г. Б. Викторову, со своей первой женой, Т. А. Липавской, и своим другом Л. С. Липавским. Сохранились фотографии, на которых все четверо сняты во время застолья. По крайней мере дважды Введенский берет с собой в Ленинград и своего маленького сына Петю (Петр Александрович Введенский, 1937—1993). Т. Липавская даже приезжала как-то на дачу харьковских писателей в Лещиновку, где Введенский жил с новой семьей.⁴

Словом, это был узкий круг лиц, связанных друг с другом пожизненными узами.

О дружбе Даниила Хармса и Александра Введенского и говорить нечего. Начавшись в середине 20-х годов, она продолжалась до самой их смерти. Оба печатались в одних и тех же сборниках.⁵ Оба входили в одни и те же литературные группы. Вместе создавали ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства). Сотрудничали в одних и тех же журналах для детей. И оба были арестованы в конце 1931 года и одно время вместе отбывали ссылку в Курске. После нее почти одновременно вернулись в Ленинград. Входили в одну и ту же секцию детских писателей. И так далее и тому подобное. «Они жили очень дружно, они никогда не ссорились», — свидетельствует А. С. Ивантер.⁶

Одним из самых тяжелых испытаний для этого круга был арест в 1937 году Николая Макаровича Олейникова (1898—1937), поэта и детского писателя, хотя формально и не входившего в ОБЭРИУ,⁷ но всегда жившего интересами друзей, постоянного собеседника Хармса, Введенского, Липавского и Друскина.⁸

И вот наступил 1941 год, война. Александр Иванович Введенский — в Харькове, Хармс и Липавский — в Ленинграде.

По-видимому, переписываются они редко. Известно всего одно письмо Хармса

¹ «С Хармсом мы романились до войны», — рассказывала мне А. С. Ивантер (запись 19. XII.1987). «Когда мы с Введенским жили, он [Хармс] не обращал на меня никакого внимания» (запись 15. VI.1995).

² Как известно, Я. С. Друскин, музыкант, математик, философ, теолог, сохранил рукописи Хармса, Введенского и Олейникова, находившиеся в архиве Хармса. Ныне бóльшая часть их — в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (фонд 1232, Я. С. Друскина).

³ Этот адрес Липавских назвала мне 16 июня 1995 года Л. С. Друскина. По другим данным, Липавские жили в доме 8. — *Шубинский В.* (составитель), *Выховских И.* (схема с адресами). *Обэриуты // Искусство Ленинграда. 1990. № 7*; комментарии А. Кобринского и А. Устинова к «Дневниковым записям Даниила Хармса» («Минувшее». М.; СПб., 1992. Вып. 11. С. 561); ОБЭРИУ (Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград». [М.], 1992. С. 445).

⁴ Письмо Т. А. Липавской к Г. Б. Викторовой, датированное 12 мая, без года (1957?). Личный архив Б. А. Викторова (Харьков).

⁵ В изданиях Союза поэтов «Собрание стихотворений» (Л., 1926) и «Костер» (Л., 1927).

⁶ Запись моей беседы с А. С. Ивантер (15. VI. 1995).

⁷ Существует, впрочем, свидетельство обэриута Игоря Бахтерева о принадлежности Н. М. Олейникова к ОБЭРИУ. — *Назаров В., Чубукин С.* Последний из ОБЭРИУ // Родник (Рига). 1987. № 12.

⁸ См.: *Липавский Л.* Разговоры / Публикация и комментарии Анны Герасимовой // Логос. 1993. № 4.

к Введенскому.⁹ Зато жена Липавского, Тамара Александровна, время от времени пишет в Харьков Введенскому и Викторовой. До нас дошло несколько ее довоенных писем, сбереженных вдовой Введенского и хранящихся теперь у ее сына — Бориса Александровича Викторова.

23 августа 1941 года в Ленинграде был арестован Даниил Хармс. Жена Хармса, Марина Владимировна Малич (1909?—1984?), сообщает 1-го сентября о его аресте своему другу, Наталии Борисовне Шанько (1901—1991), которая к тому времени эвакуировалась в Молотов (Пермь): «Двадцать третьего августа Даня уехал к Никол<аю> Макаровичу...»¹⁰ И буквально в тех же словах — 4-го сентября, в открытке, адресованной О. Н. Гильдебрандт-Арбениной: «23 августа Даня уехал к Юрию Ивановичу».¹¹ Это был прозрачный эвфемизм, прекрасно расшифровываемый людьми этого круга, обозначавший арест.

Итак, Хармс арестован. Но знает ли об аресте Хармса его ближайший друг — Введенский? До сих пор это оставалось неизвестным, или, вернее, никто не задавался этим вопросом.

И вот письмо Т. А. Липавской.¹²

«13 сентября

Дорогие Галя и Шура

Пишу второе письмо на расстоянии нескольких коротких дней.¹³

Мы пока все живы и здоровы.

Леню вижу, но теперь гораздо реже, т. к. я к нему ездить не могу.¹⁴ Но вчера он приезжал сам, сегодня проводила его.

У нас часто бывает Яша,¹⁵ он просил вас кланяться, в особенности Пет(ь)ке.¹⁶ Даниила Ивановича я давно не видела, он еще 23^{го} августа уехал к Николаю Макаровичу.

Нюрочка приезжала на два дня,¹⁷ она похудела, похорошела.

Ленина сестра Нина¹⁸ живет у нас. Я продолжаю свою инструкторскую работу по жактам, это берет у меня много времени.¹⁹

Друскины снова сошлись и живут сейчас все рядом со мной²⁰ и теперь Яша помогает мне по хозяйству, вместе ходим за покупками и мне веселее.

⁹ Не ранее 1936 года. Послано в Харьков. — *Даниил Хармс*. «Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние». Записные книжки. Письма. Дневники / Публикация Владимира Глоцера // *Новый мир*. 1992. № 2. С. 201—202. Факсимильное воспроизведение страницы с этим письмом — в «Московском наблюдателе», 1991, № 5 (в публикации А. Герасимовой).

¹⁰ *Глоцер В. И.* К истории последнего ареста и гибели Даниила Хармса. (Письма М. В. Малич к Н. Б. Шанько) // *Русская литература*. 1991. № 1. С. 205.

¹¹ Юрий Иванович — Ю. И. Юркун (1895—1938), писатель и художник, муж О. Н. Гильдебрандт-Арбениной, арестованный 3 февраля 1938 года. Цитирую по комментариям к письму О. Н. Гильдебрандт-Арбениной Ю. И. Юркуну от 13 февраля 1946 года/Публикация и комментарии Г. А. Морева// Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15—17 мая 1990 г. Составление и редакция Г. А. Морева. Л., 1990. С. 255.

¹² Выражаю признательность Б. А. Викторovu за предоставление публикуемого письма и сообщенные мне сведенья.

¹³ Предыдущее письмо Т. Липавской написано 6 сентября. Тоже сохранилось.

¹⁴ Л. С. Липавский находился в армии, под Ленинградом.

¹⁵ Я. С. Друскин.

¹⁶ Сын Г. Б. Викторовой и А. И. Введенского. В этом же письме — Петушок.

¹⁷ А. С. Ивантер, вместе с другими работниками Студии Леннаучфильм, рыла окопы под Ленинградом.

¹⁸ Н. С. Липавская.

¹⁹ В письме от 6 сентября Т. Липавская сообщала: «Я работаю все инструктором ПВХО по жактам».

²⁰ Друскины жили на Гатчинской, 5. Л. С. Друскина рассказала мне: «Недалеко от Невского, 150, упала бомба. И на семейном совете мы решили, что жить у Московского вокзала опасно, и мы переехали к другому моему брату, на Гатчинскую, 5» (запись 16.VI.1995).

Маме²¹ стало сейчас лучше, она даже бродит по квартире.

Пишите как можно чаще, теперь мне как-то сильно не хватает вас и много я дала бы, чтобы быть сейчас вместе с вами. Как живет сейчас Петушок? Помнит ли он меня. Я его крепко целую, Борю тоже.²² Женя и Саша²³ здесь. Марина Владимировна живет там же где и Шварц.²⁴ Ну вот пока и все новости. Дм. Дм. видим часто, у них начались занятия.²⁵

Еще раз прошу вас писать

Тамара

Привет Галиной маме²⁶».

Письмо по первому впечатлению обычное. Но пишется оно не от нечего делать («второе письмо на расстоянии нескольких коротких дней»). За бытовыми подробностями скрыт импульс, владевший автором письма, — то, ради чего оно и писалось. Тут главное сообщение — «Даниила Ивановича я давно не видела, он еще 23¹² августа уехал к Николаю Макаровичу». Это была весть об аресте Хармса.

Письмо Т. Липавской проникнуто тревогой за Введенского, стремлением как можно поскорей предупредить его о грозящей ему опасности. Липавская помнила про 1931 год, арест Хармса и Введенского по общему делу. «Пишите как можно чаще...» Это был сигнал для Введенского: берегись, Хармс уже арестован! Но сказать ему об аресте Хармса следовало не по междугороднему телефону, который всегда прослушивается, а по почте, в невинном с виду письме.

Письма тогда из Ленинграда в Харьков доходили на второй-третий, в крайнем случае — на четвертый день. Так, открытка сестры Введенского, Жени, отправленная из Ленинграда 24 июля 1941 года (по штемпелю), достигла Харькова уже на следующий день, 25-го, в 16 часов (тоже по штемпелю).²⁷ В сентябре, допустим, письма могли идти и дольше, но все равно отправленное 13—14 сентября письмо доходило в Харьков меньше чем за неделю.

Следовательно, Александр Введенский, которого арестовали 27 сентября 1941 года, благодаря сообщению Т. А. Липавской, успел незадолго до своего ареста узнать об аресте Хармса. Возможно, что, помимо собственного желания Липавской, написать Введенскому об этом попросила жена Хармса, М. В. Малич, и может быть, оттого еще совпадают фразы «...уехал к...». С мыслью, что его друг уже арестован и он вслед за ним, Александр Введенский навсегда покидает под конвоем свой дом на Совнаркомовской. Второй раз — пусть и вдали друг от друга — Хармса и Введенского связывает одна и та же ужасная судьба.

²¹ Мать Т. А. Липавской.

²² Б. А. Викторов (р. 1934).

²³ Евгения Ивановна Введенская (1909?—1946?), сестра А. И. Введенского, педиатр, умерла от туберкулеза, и ее муж Александр Левитан, врач, погиб на фронте.

²⁴ Жена Хармса, М. В. Малич, после того как в дом на Маяковской (Надеждинской), 11, попала бомба, переехала в «писательскую надстройку» (канал Грибоедова, 9), где жил и Е. Л. Шварц.

²⁵ Дмитрий Дмитриевич Михайлов (1892—1942?), преподавал в университете, знакомый Липавского, Друскина и людей их круга, участник их встреч (см. «Разговоры» Л. Липавского).

²⁶ Мать Г. Б. Викторовой, Елизавета Васильевна Викторова (урожденная Мак-Киббин, 1888—1983).

²⁷ Личный архив Б. А. Викторова.

ХРОНИКА

ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ К. Р.

29 сентября 1995 года в Малом конференц-зале Российской Академии наук на Университетской набережной состоялись первые в России Чтения, посвященные памяти Президента Императорской Академии наук великого князя Константина Константиновича (1858—1915).

Чтения были организованы Санкт-Петербургским научным центром Российской Академии наук и Санкт-Петербургским фондом им. М. В. Ломоносова.

С докладами выступили ученые из Пушкинского Дома, Санкт-Петербургского университета, Библиотеки Академии наук. Зарубежное литературоведение представлял В. В. Петроченков (Джорджтаунский университет, Вашингтон, США).

Исследователь творчества К. Р. и автор издаваемой в настоящее время монографии о нем Л. И. Кузьмина (Пушкинский Дом) в докладе «Августейший поэт» обратила внимание на широкую известность в дореволюционной России оригинальных произведений К. Р., многочисленных переводов, заметив, что многие стихотворения, утратив по понятным причинам имя автора, известны как романсы Чайковского, Глазунова, Глиэра и др. Л. И. Кузьмина осветила издательскую судьбу сборников поэта, рассказав о самых строгих критиках Константина Константиновича И. А. Гончарове и Н. Н. Стракове. В докладе также отмечены отклики А. А. Фета на поэтический труд К. Р. Исследовательница указала, что К. Р. был во многом последователем А. А. Фета как художник размышления, поэтизирующий душевную сосредоточенность. Тон лирики К. Р. преобладающе светлый и благодаря пронизывающей его музыкальности близок к творческой манере Ф. И. Тютчева. Однако в «пестрой поэтической полифонии» конца XIX века К. Р. стоит особняком. В его поэзии нет гражданственности, но нет и господствующего в большей части поэзии пессимизма, она чужда «непременной достоверности и материальности». Пушкинское начало, наличествующее в поэзии великого князя, состоит, по мнению исследовательницы, в христианском ладе с миром.

«Будучи поэтом вдохновения», К. Р. «ценил в стихе прозрачность и недосказанность». Самым задушевым образом была Родина. И хотя в творчестве Константина Константиновича отсутствовала тема «народа»,

тема революции, «поэт, творящий сердцем», предчувствовал «годы смятений и бурь».

Л. И. Кузьмина говорила о глубокой религиозности поэзии К. Р., отмечая, что «религиозные мотивы не просто христианская символика, увлечение библейской тематикой, это — вера, но при этом вера просвещенного человека, владеющего знаниями гносеологических корней христианства». В основе религиозного сознания К. Р., утверждала докладчица, «бессмертие души человека и... упование на возможности личности». Выход из всех общественных проблем К. Р. видел в искусстве, в возвышении души человека.

Л. И. Кузьмина обратила внимание и на военные стихи поэта: «Для К. Р. назначение армии в стране было исключительно и свято». В докладе отмечены реминисценции в произведениях Б. Пастернака, М. Исаковского, К. Симонова. Крылатые строки из поэзии К. Р. стали опознавательными знаками: «Растворил я окно», «Красноречивей слов иных немые разговоры», «Все это песня соловья за нас договорила», «Умер бедняга в больнице военной», «Свеча горела на столе».

Проблеме становления творческой индивидуальности К. Р. посвятил свой доклад «Крест свой и крест Христов» В. В. Петроченков из Джорджтаунского университета (США). Отметив, что «мы находимся при самом начале процесса переоценки роли императорской фамилии и русской империи», докладчик указал на тот факт, что «трагические эпизоды последнего царствования... уже переосмыслены православием». Утверждая, что «бытие каждой личности осознается как крестный путь мучительного высвобождения из мирского и восхождения к духовному», исследователь показал это на примере жизненного пути великого князя Константина Константиновича. Осевой идеей этого пути оказывается понятие долга перед отечеством, народом, близкими, историей, культурой. Докладчик отметил особенную религиозность Константина Константиновича, его тяготение к монастырской жизни, нелюбовь к политике, стремление окружать себя людьми, объединенными идеей служения. В. В. Петроченков обратил внимание и на педагогический аспект деятельности великого князя: будучи главным начальником, а впоследствии генерал-инспектором всех военно-учебных заведений, он гуманизировал военное образование в России, «приведя его в со-

гласие с основами православной этики».

Духовное наставничество со стороны И. А. Гончарова и многолетняя дружба с А. Ф. Кони рассматривались исследователем как «пример реализованного братства во Христе — высшей формы человеческого общения».

Далее докладчик проследил эволюцию религиозного становления великого князя на примере его работы над драмой «Царь Иудейский». В заключение В. В. Петровичев напомнил, что еще в 1916 году было образовано «Общество памяти К. Р.» и была отлита памятная медаль. Докладчик предложил возродить это общество, которое, по его мнению, могло бы стать центром по изучению жизни и творчества К. Р., способствовать изданию его собрания сочинений, переписки, дневников и т. д.

Л. И. Киселева, зав. Отделом рукописной и редкой книги и картографии Библиотеки Академии наук, выступила с докладом о создании отделения рукописей в то время, когда императорскую Академию наук возглавлял великий князь Константин Константинович. На должность хранителя был избран В. И. Срезневский, который много сделал для организации рукописных фондов, их пополнения и научного описания. Именно Срезневскому принадлежала блестящая идея комплектования фондов БАН рукописями, собранными у населения во время археографических экспедиций на Север России.

Руководство Академии и сам президент с большим вниманием относились к Библиотеке и рукописному отделению, где стали сосре-

доточиваться материалы по истории литературного движения, автографы известных писателей. В 1911—1912 годах там был открыт музей Л. Н. Толстого. Благодаря пониманию президентом важности сохранения для науки книжного фонда было принято решение о строительстве нового здания для Библиотеки. Оно было построено еще при жизни Константина Константиновича.

Докладчица заметила, что работа по научному описанию рукописей была прервана разгромом БАН в 30-е годы, войной 1941—1945 годов и перестройкой в 1989 году. В настоящее время из планов Библиотеки исключено это фундаментальное направление работы, и хотя сотрудники продолжают описывать рукописи, результаты их трудов не издаются.

На конференции также прозвучали доклады Е. В. Соболевой «Великий князь Константин Константинович и проект академической реформы», Э. Д. Фролова «Академики-антиковеды „школы Ф. Ф. Соколова“ В. В. Латышев, В. К. Ернштедт, А. В. Никитский (конец XIX—начало XX в.)», И. П. Медведева «Заслуги великого князя Константина Константиновича в развитии отечественного византиноведения», А. Н. Цамутали «Великий князь Константин Константинович и женское образование в России».

В тот же день на заседании Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН был заслушан доклад В. С. Соболева «Великий князь Константин Константинович — президент императорской Академии наук: 1889—1915 гг.».

© А. В. Дубровский

РУССКАЯ КЛАССИКА XX ВЕКА: ПРЕДЕЛЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Этой теме была посвящена научная конференция, организованная отделом новейшей русской литературы ИРЛИ РАН и кафедрой русской литературы XX века Ставропольского государственного педагогического университета 27—28 сентября 1995 года в Ставрополе.

Она открылась докладом доктора филол. наук Л. П. Егоровой (Ставрополь) «Основы литературоведческой интерпретации». Докладчица подчеркнула, что в период переоценки художественного наследия важно дальнейшее углубление теоретических основ интерпретирования текста. Различные типы интерпретации отчетливо дифференцируются по следующему ряду признаков: 1) по основным формам; 2) по принадлежности интерпретирующему субъекту; 3) по содержанию-смысловой сути; 4) по функционированию в социокультурной ситуации. Л. П. Его-

рова подробно остановилась на соотношении понятий «анализ» и «интерпретация», отметив, что в основе литературоведческой интерпретации лежит анализ авторской позиции. Объективно-субъективный характер литературоведческой интерпретации определяет ее пределы, за которыми находятся как субъективистская интерпретация классического текста, так и самодостаточный литературоведческий анализ, не ставящий целью интерпретирование произведения в целом. Касаясь проблем интерпретации в аспекте герменевтики, докладчица показала дискуссионность вопроса о соотношении понятий «понимание» и «интерпретация».

В историко-литературном плане Л. П. Егорова подчеркнула необходимость актуализации тех сторон произведений М. Шолохова, А. Фадеева, Л. Леонова, которые объективно выражали авторскую пози-

цию, но не были востребованы в свое время, замалчивались и искажались либо сознательно, либо в силу «зашоренности» взгляда интерпретатора. Необходимо также выявлять противоречия в самом художественном мире писателя, что значительно обогащает интерпретацию новыми смыслами; здесь возможен прямой спор интерпретатора с автором.

В докладе канд. филол. наук А. М. Любомудрова (Санкт-Петербург) «О восприятии творчества православных писателей XX века (И. С. Шмелев)» приводились примеры того, сколь неадекватной авторской художественной задаче оказывается интерпретация критикой тех произведений, в основе которых лежит святоотеческая духовная культура, православное аскетическое мировоззрение. Для понимания подобных книг недостаточно внешнего представления о предмете и знания светской секулярной культуры — необходимо серьезное знакомство с православными воззрениями на мир и человека, внутреннее постижение самого духа христианской жизни. Другим следствием подобного внешнего подхода стала наметившаяся в литературоведении послеперестроечной поры тенденция определять творчество многих художников как «христианское» и «православное», хотя строгий анализ показывает, что в культуре Нового времени таковых писателей было весьма немного.

По мнению докладчика, методологической основой для решения этих проблем могло бы послужить наследие святого Игнатия (Брянчанинова), епископа Ставропольского (1807—1867) — человека глубоко связанного с миром русской культуры и оставившего высказывания о всех видах художественного творчества. А. М. Любомудров призвал коллег из Ставропольского университета, расположенного в здании Духовной семинарии, более широко знакомить студентов с замечательной личностью святителя Игнатия, четыре года трудившегося на ниве духовного просвещения в Ставропольском крае.

Разговор, начатый А. М. Любомудровым, продолжался на секционных заседаниях. (К конференции был приурочен выпуск сборника¹ с достаточно подробным изложением содержания докладов, что позволило сразу приступить к их обсуждению.)

В докладе канд. филол. наук Л. И. Бронской (Ставрополь) «„Русская идея“ в „Лете Господнем“ И. С. Шмелева» православие рассматривается как одна из главных дефиниций «русской идеи». Символика названия («годовое движение жизни, в которой осознается присутствие Бога»), универсальность понятий, вынесенных в подзаголовки, раскрытие круговорота жизни, народной веры

через пристальный, чистый, ориентированный только на добро взгляд ребенка позволили докладчице раскрыть многогранность «русской идеи» во всей ее полноте.

Проблема религиозно-духовного потенциала России в повести М. Горького «Детство» была предметом исследования канд. филол. наук В. А. Ханова (Нижний Новгород). «Святочные рассказы» Бунина в контексте современности рассмотрены канд. филол. наук О. Н. Калениченко (Волгоград); М. Н. Капрусова (Борисоглебск) показала, что в поэме С. Есенина «Иорданская голубица» тема России синонимична теме Христа и мотив Андрея Первозванного раскрыт в аспекте народной мифологии.

Возвращаясь к пленарному заседанию, отметим доклады канд. филол. наук Т. С. Царьковой (Санкт-Петербург) и доктора филол. наук А. М. Буланова (Волгоград), в которых и интерпретация произведений последовательно и адекватно авторскому замыслу подана сквозь призму традиции. А. М. Буланов раскрыл возможности интерпретации на основе традиций русской классики XIX века, прежде всего Ф. М. Достоевского. Докладчик говорил не только о близости философско-этической проблематики, реминисценциях, но и о типологии характеров, что помогает постигнуть смысл художественного мира современного писателя. Остановившись в этом плане на прозе В. Распутина, докладчик сделал вывод, что «увиденная» и осмысленная традиция уже сама по себе есть прочтение классики. В докладе Т. С. Царьковой большой интерес вызвало введение в научный оборот новых фактов биографии и творчества А. Скалдина и постановка проблемы «А. Скалдин — предшественник М. Булгакова?». В дальнейшем обсуждались темы «Маяковский и Пушкин» — полемически по отношению к интерпретации Ю. Карабчиевского (канд. филол. наук П. К. Чекалов, Ставрополь); «Мандельштамовская струя в поэзии И. Бродского» (канд. филол. наук Н. А. Петрова, Пермь); М. А. Булгаков-драматург и Н. В. Гоголь (асп. О. П. Павлова, Волгоград); «„Крохотки“ А. Солженицына в контексте традиций русской малой прозы» (асп. Ю. В. Орлицкий, Москва).

Важное место в работе конференции заняла интерпретация художественного текста в аспекте мифопоэтической традиции; ее глубокое теоретическое обоснование было дано в докладе канд. филол. наук А. И. Смирновой (Волгоград). Историко-культурный миф в литературе рубежа веков рассмотрела канд. филол. наук Т. В. Саськова (Москва); канд. филол. наук Н. О. Осипова (Вятка). — мифологему вокзала в русской поэзии первой трети XX века. Канд. филол. наук В. А. Колотаев (Ставрополь) трактовал архетип как ключ к интерпретации образа Ивана Бездомного у Булгакова; канд. филол. наук В. П. Крючков (Саратов) выявил смысл символики луны в романе «Мастер и Маргарита».

¹Русская классика XX в.: Пределы интерпретации. Сб. материалов науч. конф. / ИРЛИ РАН; Ставропольский пед. ун-т; Редкол.: Н. А. Грознова, Л. П. Егорова, И. Н. Иванова. Ставрополь, 1995. 191 с.

Объектом литературоведческой интерпретации на конференции стали в основном проза и поэзия первой половины XX века: проза М. Горького и И. Бунина (канд. филол. наук В. С. Воронин, Волгоград), В. Набокова (канд. филол. наук Е. В. Тихомирова, Иваново). Свою трактовку проблемы гуманизма в романе К. Федина «Города и годы» предложила канд. филол. наук Г. П. Толпаева (Ставрополь) и др. Интерпретация поэтических текстов представлена в докладах асп. И. Н. Ивановой (Ставрополь) «Ирония в художественном мире Брюсова», доктора филол. наук Г. Г. Исаева (Астрахань), рассмотревшего поэму Хлебникова «Тиран без ТЭ» в контексте традиций восточной образности. Доктор филол. наук С. Г. Исаев (Новгород) интерпретировал поэму М. А. Кузмина «Форель разбивает лед». Интерес вызвало выступление канд. филол. наук С. Н. Зотова (Таганрог) «Телесность художественности как предмет интеллектуального переживания Пастернака». Асп. К. Б. Жогина (Ставрополь) избрала средством интерпретации художественного текста имя собственное у М. Цветаевой. Канд. филол. наук В. М. Садилова (Сочи) остановилась на лексике цветообозначения в лирике Волошина. О ритмической организации лирического пространства в пьесе М. Цветаевой «Метель» говорила канд. филол. наук С. Б. Яковченко (Ставрополь).

Артистично прочитал свой, к сожалению, не опубликованный доклад А. А. Дуров (Ставрополь): «К проблеме понимания текстов русского авангарда (на материале пьесы Д. Хармса «Елизавета Вам»)». Рассмотрев пьесу как своего рода «Евангелие от Хармса» в сопоставлении с «Супрематическим зеркалом» К. Малевича, докладчик подробно остановился на таких «прибавочных элементах» образности, как основанное на игре местоимений «самолишение лица» героями, лейтмотив горения с его антитезой определений «красное—черное».

Асп. Я. В. Хихловская (Москва) раскрыла интерпретацию как метод творческого освоения «вечных образов». Обратившись к образу Дон Жуана в поэзии «Серебряного века», Я. В. Хихловская показала, что распределение смысла в новой интерпретации осуществляется по следующим уровням: 1) самовыражение автора, его нравственной, эстетической и философской позиции путем контакта «герой—я сам»; 2) актуализация нового содержательно-смыслового пласта вечного образа и «снятие» предыдущего; 3) соотношение новой интерпретации со сложившейся традицией (ренессансной, просветительской, романтической) и ее переосмысление в соответствии с ценностными ориентирами эпохи и позицией автора.

Отметим и ряд других докладов теоретического характера: доктора филол. наук К. Э. Штайн (Ставрополь) «Порядок в поэтическом тексте», канд. филол. наук Н. Г. Вла-

димировой (Новгород) «Литературные реминисценции и интерпретация текста», асп. А. В. Останковича (Ставрополь) «Идеи симметрии в гармонии сонета» и др.

Доклад на тему «Об одном из ключевых моментов в интерпретации русской классики XX века: повышенная содержательность художественной формы» представила доктор филол. наук Л. Ф. Киселева (Москва). Ею сделан вывод о необходимости прочтения произведения через его поэтику: «Повышенная содержательность художественной формы, повышенная структурность произведения, повышенная апелляция автора к читательскому восприятию — так можно определить в самых общих чертах основы поэтики русской классики XX столетия». Теоретические положения подтвержались примерами из «Жизни Клима Самгина» М. Горького, рассказа В. Набокова «Сказка», романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Разгрома» А. Фадеева, рассказов В. Шукшина. Л. Ф. Киселева коснулась и последнего романа Л. Леонова «Пирамида».

В ряде докладов были проанализированы критические интерпретации текста (канд. филол. наук Е. В. Белопольская, Ростов-на-Дону; асп. А. А. Арефьева, Череповец).

Выступавшие не обошли вниманием вопрос: так что же такое классика? Исходя из тезиса М. Гаспарова, что к классикам можно отнести всех писателей определенных периодов, считающихся временем расцвета той или иной национальной культуры, в программу был включен доклад доктора филол. наук В. В. Агеносова (Москва) «Последний акмеист (поэзия Д. Кленовского)». Введение в научный оборот новых фактов, интерпретация ведущих мотивов лирики Д. Кленовского — любви, смерти — дали возможность глубоко раскрыть мир поэта. Как явление современной классики охарактеризовал лирический цикл В. Бокова «Сибирское сиденье» канд. филол. наук В. М. Головки (Ставрополь). Большой интерес вызвал прочитанный на заключительном пленарном заседании доклад канд. филол. наук И. В. Савельзона (Оренбург) о романе Саши Соколова «Палисандрия». Отталкиваясь от автоинтерпретации («роман, который покончит с романом как с жанром»), докладчик выделил структурообразующие начала произведения (маски, зеркала, двойничество) и показал, как деавтоматизируются и уничтожаются, доходя до абсолюта, все характеристики художественного текста.

На заключительном пленарном заседании были также обсуждены доклады, посвященные школьной интерпретации художественного текста: канд. филол. наук Л. Г. Даникян и учительницы средней школы № 2 г. Ставрополя А. Я. Семченковой, предложивших трактовку рассказа А. Платонова «Сокровенный человек», и канд. филол. наук К. А. Рублева, прибывшего из Семипалатинска, «Системная интерпретация — стержень

литературоведческого обеспечения работы учителей-словесников». В последнем докладе освещались задачи и опыт работы филолога в школе в условиях Ближнего Зарубежья.

Конференция завершилась экскурсией по историческим и литературным местам Ставрополя, которую провел доцент Ставропольского педуниверситета Г. А. Великов.

© *Л. П. Егорова,
А. М. Любомудров*

НЕОБХОДИМОЕ УТОЧНЕНИЕ

В 1993 году крупнейший современный английский славист, хорошо известный у нас, Энтони Кросс, профессор Кембриджского университета, член Британской Академии, явился инициатором и ответственным редактором выпускаемой англо-американским издательством «Berg Publishers Limited» серии книг под общим заглавием «Anglo-Russian Affinities» («Англо-русские схождения»), посвященных широкому разностороннему кругу проблем взаимосвязей обеих стран в области политической и общественной жизни, литературы, культуры и т. д. Думаю, нет необходимости объяснять, какое значение имеет эта серия для общения и духовного сближения наших стран.

В серии издан сборник работ самого Э. Кросса «Anglo-Russia: Aspects of Cultural Relations between Great Britain and Russia in the 18th and Early 19th Centuries» («Англо-Россия: Аспекты культурных отношений Великобритании и России в XVIII и начале XIX века»).¹ Далее до 1995 года в серии вышли: сборник под редакцией Э. Кросса «Engraved to the Memory: James Walker, Engraver to the Empress Catherine the Great, and his Russian Anecdotes» («Гравировано на память: Джеймс Уолкер, гравер императрицы Екатерины Великой и его русские истории»), монографии Яна Кристи «The Benthams in Russia, 1780—1791» («Бентамы в России, 1780—1791») и Патрика Уоддингтона «From „The Russian Fugitive” to „Ballad of Bulgarie”: Episodes in English Literary Attitudes to Russia from Wordsworth to Swinburne» («От „Русского беглеца” до „Баллады о Болгарии”: Эпизоды английских литературных отношений к России от Вордсворта до Суинберна»). Начат цикл сборников, освещающих взаимосвязи великих русских писателей — их отношение к Англии и ее культуре и восприятие их личности и творчества в Великобритании. Уже вышли сборники: «Ivan Turgenev and Britain» под редакцией П. Уоддингтона и «Dostoevskii and Britain» под редакцией У. Д. Лезербарроу. Планируется выпуск подобных сборников, посвященных Л. Н. Толстому (редактор У. Гарет Джонс) и Чехову (редактор Патрик Майлс). Кроме того, в серии намечено издание английского перевода моей монографии «Шекспир и русская литература XIX века» (Л., 1988).

Впрочем, фрагмент из этой монографии уже появился в рассматриваемой серии. Новозеландский профессор Патрик Уоддингтон, известный тургеневед, автор капитальной монографии «Turgenev and England»

(London, 1980), в вышедшем под его редакцией упомянутом сборнике «Иван Тургенев и Британия» наряду с английскими статьями, опубликованными в Великобритании и США со времени жизни русского писателя до наших дней, поместил и перевод отрывков из моей книги, озаглавив его (даю в русском переводе): «Ю. Д. Левин, <Тургенев, Шекспир и гамлетизм> (переведенные отрывки из Шекспир и русская литература XIX века, ред. М. П. Алексеев, Ленинград, 1988, с. 118—19, 145—8, 170—4)». Такая публикация, конечно, большая честь для меня, и я весьма благодарен редактору. Однако одно его замечание вынуждает сделать приводимое ниже уточнение.

В одном из отрывков, публикуемых в переводе, после характеристики гамлетизма героев рассказов Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849) и «Дневник лишнего человека» (1850) я писал: «Гамлетовские черты (в тургеневском их толковании) обнаруживаются в образах „лишних людей” последующих произведений писателя: герои повести „Ася” (1857), Литвинове в романе „Дым” (1867), Санине в „Вешних водах” (1871) и др.». К переводу этой фразы П. Уоддингтон сделал примечание: «Ю. Д. Левин не упоминает здесь решающего значения гамлетизма и его соответствия образу Нежданова в романе Тургенева „Новь” (1877)».² Между тем в своей монографии я писал об этом образе дальше, поскольку связывал Нежданова с «новой волной» русского гамлетизма, которая была вызвана «провалами и разочарованиями в движении народников, а затем в 1880-е гг. и общей политической реакцией в стране. Уже Тургенев с присущей ему чуткостью уловил это и показал в романе „Новь” (1876) в образе Нежданова, которого друг его Паклин дважды называет „российским Гамлетом”... а сам он, размышляя наедине с собой, восклицает: „О Гамлет, Гамлет, как выйти из твоей тени? Как перестать подражать тебе во всем, даже в позорном наслаждении самобичевания?»³

Правда, П. Уоддингтон после приведенного выше замечания добавляет: «Следует подчеркнуть, что данный текст не является законченной статьей, а состоит из отрывков большого исследования».⁴ Однако такая общая неконкретная оговорка едва ли рассеет создавшееся уже у читателя представление, будто бы Нежданова Левин пропустил.

© Ю. Д. Левин

¹ См. рецензию: *Демидова О. Р.* Англо-русские культурные связи: Итоги исследований // Русская литература. 1995. № 2. С. 261—263.

² Ivan Turgenev and Britain / Ed. by P. Waddington. Oxford; Providence, USA, 1995. P. 276.

³ Левин Ю. Д. Шекспир и русская литература XIX века. Л., 1988. С. 177.

⁴ Ivan Turgenev and Britain. P. 276.

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА ФРИДЛЕНДЕРА

22 декабря 1995 года на 81-м году жизни после тяжелой непродолжительной болезни скончался академик Георгий Михайлович Фридлендер. Потеря эта невосполнима для нашей науки и культуры, самоотверженному служению которым он посвятил свою жизнь.

Г. М. Фридлендер был выдающимся ученым-гуманитарием мирового масштаба, огромной эрудиции и широких научных интересов. Он автор многочисленных работ по истории русской и западноевропейских литератур XVIII—XX веков, сравнительному литературоведению, теории и методологии литературы, эстетики, философии, социологии. Однако главным научным призванием Г. М. Фридлендера была русская литература XIX—начала XX века. Его первые работы появились в печати в 1936 году и сразу обратили на себя внимание научной и общественной мысли. Научная деятельность Г. М. Фридлендера, прерванная в 1942 году заключением его в систему Севжелдорлага (из-за немецкого происхождения деда), возобновилась лишь через 4 года. Сотрудником Пушкинского Дома Г. М. Фридлендер стал в 1955 году. Четыре десятилетия работы в Институте он был инициатором, главным редактором и участником многих коллективных изданий. Его книги «Поэтика русского реализма» (1971), «Литература в движении времени» (1983), многочисленные статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе и других классиках русской литературы, опубликованные в коллективных работах института и журнале «Русская литература», членом редколлегии которого Г. М. Фридлендер стал в 1981 году, дали в 1960-х — начале 1980-х годов существенный импульс развитию нашей историко-литературной и педагогической мысли. Поистине бесценны заслуги Г. М. Фридлендера в области изучения Ф. М. Достоевского. По инициативе, при непосредственном участии и под руководством Г. М. Фридлендера группой Достоевского, организованной им в кон-

це 60-х годов, в Пушкинском Доме был осуществлен ряд фундаментальных трудов, посвященных великому писателю. К их числу относятся: первое Полное академическое собрание сочинений Достоевского в 30 томах (1972—1990), серия сборников «Достоевский. Материалы и исследования», своеобразные «спутники» этого издания (вышли в свет 12 сборников); трехтомная «Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского» (1993—1995). Книга Г. М. Фридлендера «Достоевский и мировая литература» (1979, 2-е изд. 1985) была удостоена Государственной премии.

Г. М. Фридлендер — автор более 400 печатных трудов, ряд которых переведен на немецкий, французский, английский, испанский, итальянский, норвежский, чешский, латышский и другие языки.

Г. М. Фридлендер, наряду с главной своей любовью — русской литературой, постоянно уделял значительное внимание и литературам Запада. Ему принадлежит монография о Лессинге, статьи о Дидро (а также переводы их произведений), Гегеле, Шиллере, Гейне, Ибсене, Томасе Манне, Х. Ортеге-и-Гассете, а также ряд работ по проблемам сравнительного литературоведения.

Научно-общественная деятельность Г. М. Фридлендера получила широкое международное признание. Он был действительным членом Российской академии наук, почетным президентом Международного общества Достоевского, сопредседателем Российского общества Достоевского, почетным доктором Ноттингемского университета, членом патронажа редакции журнала сравнительного литературоведения «Revue de la littérature comparée».

Светлую и благодарную память о замечательном ученом и добром, сердечном человеке мы будем бережно хранить в наших сердцах.